Илья Эренбург

Необычайные похождения Хулио Хуренито

Жизнь и гибель Николая Курбова

Илья Эренбург

Необычайные похождения Хулио Хуренито

• • • • • • • • • • •

Жизнь и гибель Николая Курбова

Московский
рабочий
1991

ББК 84Р7
Э76

Составление
Ю. Н. Жукова, С. Н. Земляного

Предисловие
С. Н. Земляного

Тексты печатаются по изданиям: **Эренбург Илья**. Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников. М.; Л.: Госиздат, 1927. **Эренбург Илья.** Жизнь и гибель Николая Курбова. М.: Новая Москва, 1923 (Серия «Библиотека современников»).

Эренбург И. Г.
Э76 Необычайные похождения Хулио Хуренито. Жизнь и гибель Николая Курбова: Романы / Сост.: Ю. Н. Жуков, С. Н. Земляной, предисл. С. Н. Земляной.— М.: Моск. рабочий. 1991.— 384 с.

В книгу вошли два романа Ильи Эренбурга: «Необычайные похождения Хулио Хуренито», который по праву считается вершиной творчества писателя, и «Жизнь и гибель Николая Курбова», малоизвестный советскому читателю. Эти произведения полностью без купюр в последний раз печатались в 20-е годы.

Э $\frac{4702010201—143}{М172(03)—91}$ 126—91 ББК 84Р7

ISBN 5—239—00985—6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Роман И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» был написан летом 1921 года. К моменту появления на свет «Хулио Хуренито» за плечами его тридцатилетнего автора (Эренбург родился в 1891, умер в 1967 году) было уже многое и далеко не ординарное: участие еще гимназистом в революционной деятельности в России в рядах большевистской партии; арест, тюрьма и ссылка; эмиграция во Францию и посещение практически всех европейских стран; литературный дебют на поэтическом и переводческом поприще; религиозные искания и духовные скитальчества; дружеские контакты с крупнейшими представителями художественного авангарда от Аполлинера до Пикассо и интимная посвященность во все аспекты существования парижской богемы; кровавое безумие мировой войны и работа военным корреспондентом; Февраль и Октябрь 1917 года и переворот извечного хода вещей; возвращение на Родину и трудный поиск своего места в хлынувшей в новые русла жизни; круто заложенный переход от аскетической романтики «военного коммунизма» к реализму нэпа; заревые всполохи нового искусства Советской России; новое свидание с Европой начала 20-х годов — изменившейся и неизменной.

«Хулио Хуренито» вышел из-под пера совсем не дилетанта и отнюдь не новичка в писательском ремесле. С его именем к тому времени были связаны сборники оригинальных и переводных стихов, которые не прошли незамеченными российскими критиками, а «Стихи о Канунах», переводы французских поэтов привлекли к нему внимание читательской общественности. Человеческим документом неостывшей поэтической силы по сей день остаются стихи Эренбурга 1917—1922 годов, собранные в книгах «Молитва о России», «Раздумия» и «Звериное тепло». И тем не менее подлинный масштаб писательского дарования Эренбурга впервые и неожиданно раскрылся в романе «Хулио Хуренито», который незамедлительно принес ему европейскую и мировую славу. Эта книга заставила говорить об Эренбурге как об одной из самых больших надежд сов-

сем не бедной тогда первоклассными талантами литературы Советской России и русского зарубежья.

Роман Эренбурга получил очень высокую оценку многих выдающихся соотечественников писателя, включая тех, с кем он впоследствии разошелся очень далеко,— от Ленина, Бухарина и Воронского до Маяковского, Пастернака и М. Булгакова. Первые рецензенты, которых идейно-художественный феномен книги поставил в трудное положение, между академическими разборами, идеологическими выговорами и неоднозначными похвалами роняли какие-то сбивчивые слова о гениальности автора, взывали к великим теням Петрония и Лукиана, Вольтера и Гейне, Достоевского и Толстого, приводили параллели из современной западной литературы. Теперь, через семьдесят лет, становится очевидно, что «Хулио Хуренито» — абсолютный пик в творчестве Эренбурга, написавшего, как он сам подсчитывал, более сотни книг. Собственно, это стало понятно не сегодня, даже не вчера, такая оценка уже успела стать «общим местом» в воспоминаниях о писателе. «Мне и сейчас думается,— писал, например, Ф. Левин о «Хулио Хуренито»,— что этот развернутый социально-политический памфлет, пожалуй, самое высокое достижение Эренбурга и, как бы ни были значительны его следующие книги, лучшего он ничего не написал» [1].

На какой-то свой чрезвычайно сложный манер с этим был согласен и Илья Григорьевич Эренбург. В своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» он заявлял: «В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю. Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно... Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга... Я люблю «Хуренито», потому что я написал его по внутренней необходимости: я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго... О «Хуренито» помнят у нас предпоч-

[1] Воспоминания об Илье Эренбурге: Сборник. М.: Советский писатель, 1975. С. 50.

тительно пенсионеры, а мне он дорог: в нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь» [1].

Владимир Маяковский при встрече с Эренбургом в Париже в 1922 году весьма положительно отозвался о романе, отметив: «Вы поняли многое лучше других». В ответ Эренбург, согласно его собственному свидетельству, рассмеялся: «А по-моему, я все еще ничего не понимаю...» [2]

Скромничал Илья Григорьевич: в творческом усилии, которым был воздвигнут роман, «самое главное было,— как он писал задним числом,— понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира, с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в «Стихах о Канунах», нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультрановым искусством» [3].

Как справедливо отмечал немецкий исследователь романа Р. Шредер, «в тогдашней капиталистической послевоенной Европе «Хулио Хуренито» был одной из первых книг или даже первой книгой, которая затронула крайне чувствительный нерв времени» [4]. Линия преемственности, как показывает Шредер, тянется от романа Эренбурга к «Волшебной горе» и «Доктору Фаустусу» Т. Манна, к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова и другим известным произведениям художников слова. Видимо, настала пора вывести «Хулио Хуренито» из тени и раскрыть его действительное значение в культуре XX века.

Совсем не шуточное содержание, «искренние чувства» и мысли автор облек в форму дерзкую, легкомысленную, глумливую и даже непристойную. Он был готов стать (и стал)

---

[1] *Эренбург И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1966. С. 393—394.

[2] Там же. С. 255.

[3] Там же. С. 308—309.

[4] *Ehrenburg I.* Die ungewöhnlichen Abenteuer des Julio Jurenito und seiner Jünger. Trust D. E. Romane. Berlin, 1975. S. 444.

осквернителем святынь, гнусным пасквилянтом, «пакостником с задумчивыми идейными глазами», скандалистом, дабы не оказаться литературным неудачником. И этой опасности ему удалось блестяще избежать. Настолько блестяще, что сенсационный (по тогдашним понятиям, тиражам и гонорарам) успех книги чуть не погубил более глубокие замыслы и мотивы ее создателя. «Хулио Хуренито» немедленно окутался в глазах широкой публики ореолом некоей запретности, эксцессуальности. «Какое отдохновение от «большевистского гнета»,— писал автор разгромной статьи о творчестве Эренбурга И. Евдокимов,— лечь в кроватку с «Хулио Хуренито», изданным Государственным издательством. Сам Бухарин рекомендует острого писателя» [1]. Тонкость заключалась в том, что Николай Бухарин и в самом деле, не вдаваясь особо в содержание, сделал упор в своем предисловии к роману на том, что «книга получилась веселая, интересная, увлекательная, умная» и даже — «занимательная».

Эренбург приложил немало усилий и продемонстрировал незаурядное мастерство, чтобы книга вышла не скучной, что называется, читалась. Тут и использование приемов «плутовского» и авантюрного романа, и пародирование «житийных» повествований и евангельских преданий; и проблематика, сводившая с ума европейских интеллектуалов 20-х годов,— от гибели Запада и крушения гуманизма до сексуального раскрепощения и смысла большевизма. В сравнении с другими забытыми шедеврами 20-х годов «Хулио Хуренито» отличает бóльшая органичность применяемых в романе авангардных технических средств: техники романа-фельетона, кинематографического монтажа; методов эмоционального подогрева читателя, заимствованных из эстрадных шоу и цирковых ревю; элементов документализма; придания «образу автора» в произведении некоторых характерных черт самого писателя, вплоть до имени; иронии и самоиронии как доминанты художественного стиля; экзотизма главного героя (после «Ностромо» Д. Конрада в

---

[1] *Евдокимов И.* Илья Эренбург // Новый мир. 1926. Кн. 8—9. С. 225.

«Хулио Хуренито» впервые крупно заявлена латиноамериканская тема в европейской литературе) и т. д.

Популярности «Хулио Хуренито» в определенной мере способствовал и язык романа: некоторым критикам он казался крайне небрежным, большинство же читателей и писателей сочло его раскованным — Эренбург одним из первых предложил русский аналог космополитического жаргона европейской художественной и политической богемы.

Хулио Хуренито — роман и его главный герой — родился не под палящим солнцем Мексики в раскаленной Гуанахуате 25 марта 1888 года, а в Европе 20-х годов, на многолюдном перекрестке влиятельнейших литературных традиций нашего столетия. Ограничимся указанием на те из них, на которые опирался, которые переосмысливал и к которым примыкал Эренбург в своем романе. Во-первых, это интеллектуальная проза литературного авангарда. Во-вторых, это литература писателей «потерянного поколения», выраставшая из катастрофического опыта войны. В-третьих, это сатирическая и социально-обличительная литература левой ориентации. В-четвертых, это русский идеологический роман, сдвигавшийся в сторону «субъективной эпопеи». Конечно, само разграничение этих традиций в значительной мере условно, и это лучше всего показывает объединяющий их в себе роман «Хулио Хуренито». И все же оно может послужить своеобразной системой координат, позволяющей точнее оценить художественные и идейные особенности книги.

Озабоченность Ильи Эренбурга, чтобы его первое прозаическое детище было одето по последней литературной моде и принято в лучшем обществе, оказала «Хулио Хуренито» дурную услугу. Даже Николай Бухарин, благословивший Эренбурга на поездку в Европу, а саму книгу — на публикацию в Советской России, заострял внимание на ее «занимательности» в разительном противоречии с тем, что говорилось ее автором буквально на следующей странице: «Мне было бы весьма обидно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман, более или менее занимательный». За необычностью художественной формы и занимательностью

фабулы многие не сумели увидеть и оценить глубины содержания, его серьезности.

С высоты семидесяти лет, истекших после выхода книги в свет, стало очевидным, что ее создатель должен быть безоговорочно причислен к числу самых прозорливых и удачливых прорицателей будущего в XX веке. Он сумел распознать в зародыше страшную опасность германского национал-социализма, за двенадцать лет до Освенцима и Бабьего Яра предсказать «в недалеком будущем» проведение «торжественных сеансов уничтожения иудейского племени». Эренбург угадал неизбежность трансформации возникшего из недр Октябрьской революции государственного и общественного устройства в тоталитарную диктатуру, увидел возможность «исламского возрождения» с его обвалоподобными геополитическими последствиями.

«Хулио Хуренито» — это философская сводка основных черт современности [1]; это попытка отдать себе отчет в последних достоверностях эпохи, до которых можно доискаться разумом. Это в собственном смысле слова философский роман; в основе его поэтики лежит философия истории, концепция XX века.

Многие решающе важные для концепции романа идеи, повороты мысли, проблемы имеют своими истоками идейные разногласия в большевистской партии, в оппозиционной царизму среде российской интеллигенции первых двух десятилетий нашего века. Большевизм настолько глубоко проник в умственные поры писателя, что Эренбург, открещивавшийся от партии стихами: «Я ушел от ваших громких дерзких песен, от мятежно к небу поднятых знамен, оттого, что лагерь был мне слишком тесен...»,— своим первым крупным прозаическим произведением, в первую очередь его военными главами, дал художественную версию большевистской позиции в отношении первой мировой войны. Совсем не случайно, что из «Хулио Хуренито», с которым Ленин познакомился одним из

[1] Инициалы главного героя книги — Х.Х.— это сознательно или бессознательно закодированное обозначение двадцатого века.

первых в Советской России уже по первому, берлинскому изданию, ему запомнились именно эти главы. Как сообщает Н. К. Крупская, из современных произведений «Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну» [1].

Без особого риска ошибиться можно предположить, однако, что в эренбурговском описании войны Ленину более всего приглянулись не литературные иллюстрации к теории империализма и неизбежности войн в условиях его безраздельного господства, довольно-таки схематичные, а убийственная сатира на социалистические партии, их лидеров, обеими руками раскручивавших маховик военной истерии, капитулировавших не только перед диктатом верхов, но и перед шовинизмом низов.

Сатирическая дерзость в обращении с пореволюционной действительностью стала Эренбургу в немалую политическую цену. Показателен такой факт: в статье одного из руководителей Агитпропотдела ЦК РКП(б) Я. Яковлева «О «пролетарской культуре» и «Пролеткульте», написанной по инициативе Ленина, Эренбург аттестован как «эстет, ненавидевший Советскую республику за то, что она разбила его прекрасные игрушки, а ныне «сменовеховец» (Правда, 24—25 окт. 1922 года). Редактор «Красной нови» А. Воронский, бывший одно время референтом Ленина по вопросам литературы, постарался отвести от Эренбурга упреки за то, что он чересчур вольно «рисует портреты вождей нашей революции», и утвердить в общественном мнении оценку «Хулио Хуренито» как «очень интересной и ценной художественной сатиры» [2].

Неоценимая заслуга Эренбурга перед нашей общественностью состоит в том, что он одним из первых разглядел возможность внутреннего срыва революции, консолидации ее репрессивных элементов в систему насилия. И не его вина в том, что это предупреждение не было услышано.

Линия идейной преемственности связывает «Хулио Хуре-

---

[1] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Художественная литература, 1986. С. 437.

[2] См.: *Воронский А.* Искусство как познание жизни // Красная новь. 1923. Кн. 5. С. 375, 370.

нито» с другим романом Эренбурга, получившим широкую известность в 20-е годы,— «Жизнь и гибель Николая Курбова». В «Николае Курбове» писатель возвращается к традиции психологической прозы. Эта традиция преломилась в книге сквозь призму творчества А. Белого, которому обязан роман многими стилевыми особенностями.

Вокруг «Николая Курбова» сразу же разгорелись жаркие споры. А. Воронский, хотя и с определенными оговорками, счел эту книгу Эренбурга заметным явлением в литературе. «Если бы не раздражающая, какая-то вывихнутая манера, роман мог бы стать очень высоким художественным произведением» [1],— писал он. П. Коган выставил роману оценки несравненно более низкие: «Жизнь и гибель Николая Курбова» — романтические вариации на тему о тайнах чеки. Нечто вроде облагороженного Пинкертона. Так должен представлять себе жизнь на Лубянке обыватель, обладающий фантазией. Этот роман Эренбурга ниже «Похождений Хуренито», но он любопытен» [2]. «Николай Курбов», как сможет убедиться читатель, далек от романтизма; некоторые его сцены, в том числе сексуальные, подчеркнуто натуралистичны; в романе очень важную роль играет психологический анализ, кое-где даже навязчивый. Но как бы то ни было, эта книга Эренбурга занимает свое, только ей принадлежащее место в литературе 20-х годов.

И занимает прежде всего потому, что Эренбург предпринял в ней попытку понять происходящее в Советской России (а действие романа развивается в основном в 1921 году) прежде всего через личность и психологию профессионального революционера-большевика Николая Курбова. Видимо, можно согласиться с определением Курбова как «философского героя», которое дал Ю. Тынянов [3]: движущей силой его поступков является мировоззрение, известное понимание социаль-

---

[1] Красная новь. 1923. Кн. 5. С. 377.

[2] *Коган П.* Литература этих лет. 1917—1923. 2-е изд. Иваново-Вознесенск, 1924. С. 87.

[3] См.: *Тынянов Ю.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 154.

ного космоса и своего положения в нем. Курбов — человек, который «сам себя построил. Строил год за годом: Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях. Строил для высокого и длительного горя: дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле — великий строй». Трагедия Курбова,— а он гибнет, точнее, «устраняет себя»,— это мировоззренческая трагедия: оказывается несостоятельной его философия, которая не выдерживает столкновения с живой жизнью. Если говорить более конкретно, то обнаруживает свою искусственность и утопичность тот образ социализма, который лелеял в своей душе Курбов и который он утверждал любой ценой, не считаясь ни с чем, переступая через судьбы людей, втягиваемых в кровавое колесо массового террора.

Сюжетную канву романа составляет история расследования Курбовым, ставшим одним из руководителей ЧК, контрреволюционного заговора, в его центре — бывший эсер-террорист Высоков, в котором нетрудно угадать Б. Савинкова. В действие оказываются втянутыми чекисты, сексоты, совслужащие, белоэмигранты, «бывшие» из разных сословий, проститутки, воры, нарождающиеся нэпманы и т. п. Завязке действия предшествует длительная экспозиция, в ходе которой рассказывается о прошлой жизни Курбова. При этом автор многое заимствует из своей собственной биографии: Курбов водит дружбу с рабочими обойной фабрики, где Эренбург с Бухариным устраивали забастовку, встречается с членом ЦК РСДРП(б) товарищем Иннокентием (И. Дубровинским), которому посвящены проникновенные страницы в мемуарах писателя, и т. д.

Детективный сюжет служит Эренбургу своего рода кулисой, в ее обрамлении развертывается подлинная история — драматическая история одного из представителей того «тончайшего слоя» большевистских руководителей, с которым Ленин связывал перспективу социалистического развития страны. Курбов пользуется доверием вождей РКП(б) и Советского государства, участвует в заседаниях Совнаркома, и последние его мысли перед смертью улетают в кремлевский зал, где за огромным зеленым столом вершат дела страны Ленин, Троцкий, Бухарин...

Курбов неотступно думает, почему оказалась неудачной попытка непосредственно «ввести» коммунистические начала. Эренбург рисует своего героя как одного из плеяды московских «левых коммунистов», лидером которых был Николай Бухарин. По нему, как по эталону, выверяет Курбов правильность своей позиции, вслед за ним, Бухариным 1921 года, автором «Экономики переходного периода», рассматривает нэп только как уступку и отступление. Причиной того, что пришлось уступать и отступать, для Курбова является неспособность людей быть на высоте идеи, их приземленность; идею он под сомнение не ставит: «Еще раз: люди могут быть только людьми. Концессии иностранным капиталистам. Возможность экономического отступления. Все правильно, обдумано, неизбежно. Запад не поддержал. Развал. Длительная пауза. Пока же необходимо жить, то есть поспешно жевать теплый душный хлеб, греться у мурлыкающей печки и любить. Да, любить, как видно, нужно многим, может быть, и всем». Все это чуждо Курбову, его философии, во всем этом он видит грязь и скверну. Курбов исповедует для себя известную версию сверхчеловечества, он не согласен быть просто человеком. Символом этого сверхчеловечества является девственность Курбова, его чистота.

Чтобы художественно подчеркнуть надбытность Курбова, его мировоззренчески обоснованное сверхчеловечество, автор вводит мотив демонизма главного героя. Он кажется Кате Чувашевой не то сошедшим в земной ад в тоске о человеческом падшим ангелом, не то вышедшим из ада демоном, который влачит за собой «по грязным половицам свое поломанное крыло». Этот мотив связывает «Николая Курбова» с «Хулио Хуренито», с заключенной в романе о Хулио Хуренито — Великом Провокаторе проблематикой зла как движущей силой исторического развития.

В самом деле, демон-коммунист Николай Курбов, столкнувшись с провалом дорого обошедшегося стране военно-коммунистического эксперимента, видит в этом результат заговора, рядом с которым просто ничтожным выглядит заговор Высокова,— заговора всех тех сил, которые противятся ра-

циональной организации общества. А среди заговорщиков — и меньшевики с их предупреждениями о преждевременности социалистических преобразований, и женщины с их неизбывной жаждой любви, и рабочие, недовольные разрухой и беспорядком, и обюрократившиеся партийцы из главков и трестов. И Курбов решает: нэп — не выход, «необходим усиленный террор». Решает и добровольно становится тем, кого в романе не раз называют палачом, идет туда, «куда его вели любовь к числу и дикий подвиг — в «презренную чеку!». Таким образом, стержневое для романа противоречие: противоречие между рациональной формулой жизнеустройства и самой жизнью, Курбов, как и многие левые коммунисты того времени, полагает разрешить насилием, террором — в пользу формулы.

В романе показана в ходу машина террора, запущенная в гражданскую войну, да так и не демонтированная впоследствии. Ее приводят в движение самые разные люди — фанатичные коммунисты и обыватели, праведники и садисты. Главное же впечатление, которое выносится из описаний Эренбурга,— это ощущение независимости работы карательных органов от личных качеств их сотрудников.

Противоположным Лубянке полюсом в романе является Девкин переулок недалеко от Цветного бульвара, где располагается вегетарианская столовая «Не Убий», в задних комнатах которой — притон «Тараканий Брод». Именно здесь сходятся все нити заговора — и малого, высоковского, и большого, общежитейского. Здесь — пристанище всех тех цыпленков, которые «хочут жить», если использовать слова знаменитой песни, взятые Эренбургом в качестве одного из эпиграфов к роману: грабители, фальшивомонетчики, сексоты, скупщики краденого, мешочники, папиросники, извозчики, девки, спившиеся интеллигенты и другие представители неофициальной, «теневой» России, которые хотят перейти вброд Советскую власть. Здесь Курбов знакомится с Катей Чуващевой, здесь, в «страшном и прекрасном аду», рождается и умирает их любовь, здесь Курбов из демона становится человеком и дает земное счастье женщине, здесь он выпалывает себя, как сорную траву.

Любовь к Кате открыла Курбову глаза на великую красоту и непреоборимую мощь обыкновенной жизни людей, которую он хотел если не истребить, то перестроить. Новый Курбов, полюбивший с Катей и «неоседланные стихии», внезапно осознал, что этот «четкий, продуманный рай» — химера, что стихия рынка, развязанная нэпом, влечет жизнь в другое русло. Живой цыпленок стал побивать в нем холодно-рациональную формулу. И Курбову, уподобившему одного большевистского вождя — шару, другого — треугольнику, третьего — идеальной прямой, было видение, как, «раскрыв свой нежный пасхальный христианский ротик, он (цыпленок.— *С. З.*) проглотил вот этих, и шар, и треугольник, и идеальную прямую, всех, не подавился ни папками, ни пишущей машинкой, ни «всемирной».

Видение это стало обретать реальность, правда,— через семьдесят лет. Курбов же, говоря современным языком, так и не сумел поступиться принципами, принять нэп, любовь, жизнь: «Чтили Христа, сказавшего: «Огонь я пришел низвести на эту землю». Мы же низводим на злобную, огнем охваченную, звездный строй, единый план вселенной. Да, правда — его, Курбовская,— в жадных взглядах, в голосе крутого комсомольца, в голом городе, в черной, пулеметной, ротационной беседе. Это — ясно. Ясно и другое: он выбыл из строя. Он не может. Перепутанное уравнение. Машина испорчена, и настолько, что никак не починить». И Курбов предпочел смерть компромиссу с жизнью.

Два романа Ильи Эренбурга, которые возвращаются в круг нашего чтения,— книги с открытым финалом, хотя оба они заканчиваются сведением последних счетов с жизнью их героями. Всем своим напором, всем содержанием эти книги говорят: жизнь — неостановима, она бесконечно богаче любой формулы или даже системы, она не нуждается в понуканиях. И выигрывает в конечном итоге всегда тот, кто выбирает жизнь.

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ХУЛИО ХУРЕНИТО И ЕГО УЧЕНИКОВ:

Monsieur Дэле, Карла Шмидта, Мистера Куля, Алексея Тишина, Эрколе Бамбучи, Ильи Эренбурга

и негра Айши,
в дни мира, войны и революции,
в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале,
в Кинешме, в Москве
и в других местах,
а также различные суждения
Учителя
о трубках,
о смерти, о любви, о свободе,
об игре в шахматы, об иудейском племени,
о конструкции
и о многом ином

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Хулио Хуренито» — прежде всего интересная книга.

Можно было бы, конечно, сказать много «серьезных» и длинных фраз по поводу «индивидуалистического анархизма» автора, его нигилистического «хулиганства», скрытого скептицизма и т. д. Нетрудно сказать, что автор — не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно страстно его желает. Все это было бы очень верно и очень почтенно.

Но все же книга от этого не перестает быть увлекательнейшей сатирой. Своеобразный нигилизм, точка зрения «великой провокации» позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах. Но особенно удались автору те страницы, где бичуется капитализм, война, капиталистическая культура, ее добродетели, высоты ее философии и религии. Автор — бывший большевик, знает кулисы социалистических партий, человек с большим горизонтом, прекрасным знанием западноевропейского быта, острым глазом и метким языком. Книга поэтому получилась веселая, интересная, увлекательная и умная.

Говорят, о вкусах нельзя спорить: de gustibus non est disputandum. Однако все — вероятно, потому что позабыли о латинских герундиях и герундивах,— только и делают, что «спорят о вкусах».

Надеемся, что читатели обнаружат хороший вкус и с удовольствием прочтут занимательного «Хулио Хуренито».

Н. Бухарин

Вступление

С величайшим волнением приступаю я к труду, в котором вижу цель и оправдание своей убогой жизни, к описанию дней и дум моего Учителя Хулио Хуренито. Подавленная калейдоскопическим изобилием усилий некоего мирового Хроникера, который ныне творит грядущие учебники истории, моя память смутилась и одряхлела; этому способствовало также недостаточное питание в России, главным образом отсутствие жировых веществ. Со страхом думаю я о том, что многие повествования и суждения Учителя навеки утеряны для меня и мира. Но образ его ярок и жив. Предо мной стоит он, худой и неистовый, в оранжевом жилете, в незабвенном галстуке с зелеными крапинками, и тихо усмехается.

Я иногда пишу еще по инерции стихи среднего достоинства и на вопрос о моей профессии бесстыдно отвечаю: «Литератор». Но все это относится к быту: по существу, я давно разлюбил сей непроизводительный образ времяпрепровождения. Мне было бы весьма мучительно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман, более или менее занимательный. Это означало бы, что я не сумел выполнить задачи, данной мне в тягостный день 12 марта 1921 г., день смерти Учителя. Да будут мои слова теплыми, как его волосатые руки, жилыми и домашними, как его пропахший табаком и потом жилет, на котором так любил плакать маленький Айша, трепещущими от боли и гнева, как его верхняя губа во время припадков «тика».

Я называю Хулио Хуренито просто, почти фамильярно «Учителем», хотя он никогда ничему не учил; у него не было ни религиозных канонов, ни этических заповедей, у него не было и простенькой, захудалой философской системы. Скажу больше: нищий и великий, он не обладал даже жалкой рентой обыкновенного обывателя — он был человеком без убеждений. Я знаю, что по сравнению с ним любой депутатик покажется образцом стойкости идей, любой интендант — величием честности. Нарушая все запреты существующих ныне кодексов

этики и права, Хулио Хуренито не оправдывал этого какой-либо новой религией. Перед всеми судилищами мира, включая сюда революционный трибунал РСФСР и жреца-марабута центральной Африки, Учитель предстал бы как предатель, лжец и зачинщик неисчислимых преступлений.

Хулио Хуренито учил ненавидеть настоящее, и, чтобы ненависть эта была крепка и горяча, он приоткрыл перед нами дверь, ведущую в великое и неминуемое завтра. Узнав о его делах, многие скажут, что он был лишь провокатором. Так называли его при жизни мудрые философы и веселые журналисты. Но Учитель, не отвергая сего почтенного прозвища, говорил им: «Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора с мирной улыбкой и с пером «Ваттермана» в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет земле».

Но современники не хотят принять этого праведника без религии, мудреца, не прошедшего философского факультета, подвижника в уголовном халате. Для чего же Учитель приказал мне написать книгу его жизни? Я долго томился этими сомнениями, глядя на честных интеллигентов, старая мудрость которых выдерживается, подобно французскому сыру, в уюте кабинетов с Толстым над столом, на этих мыслимых читателей моей книги. Но коварная память на сей раз выручила меня. Я вспомнил, как Учитель, указав на семя клена, сказал мне: «Твое вернее, оно летит не только в пространство, но и во время». Итак, не для скалистых мозгов, не для вершин, не для избранных ныне, бесплодных и обреченных, пишу я, а для грядущих низовий, для перепаханной не этим плугом земли, на которой будут кувыркаться в блаженном идиотизме его дети, мои братья.

Илья Эренбург

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моя встреча с Хулио Хуренито.— Черт и голландская трубка

26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнасс перед чашкой с давно выпитым кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому гарсону шесть су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал. Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо совершенно нечаянный освободитель — французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то надеявшийся через меня продать свои произведения «одному из princes Chtioukin» [1], шулер неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший угрызения совести, наконец моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж и попавшая, вероятно по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обормоты. Эта последняя, кроме канонических шести су, подарила мне еще большую булку и, растроганная, трижды поцеловала мой нос.

Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием и других обстоятельств, как-то — хронического голода, чтения книжек Леона Блуа, различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и прозревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки — колониальная и зеленная — казались мне кругами ада, усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет шестидесяти,— бесстыдным эфебом. Я детально разрабатывал приглашение в Париж трех тысяч инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих аперитивы. Потом я выпивал стакан абсента, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему при-

[1] Князей Штюкиных *(фр.)*.

выкшему кабатчику, что еще Нострадамус предугадал в «Ротонде» питомник смертоносных сколопендр, а в полночь шел тщетно стучаться в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои заканчивались обыкновенно у любовницы, француженки, с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал в самые неподходящие для сего минуты объяснения: чем разнятся семь «смертных» грехов от семи «основных»? Так проходило мало-помалу время.

В памятный вечер я сидел в темном углу кафе, трезвый и отменно смирный. Рядом со мной пыхтел жирный испанец, совершенно нагишом, а на его коленях щебетала безгрудая костистая девушка, также голая, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом пили «мар» различные более или менее раздетые люди. Объяснялось это довольно обычное для «Ротонды» зрелище костюмированным вечером в какой-то «неоскандинавской академии». Но мне оно казалось решительной мобилизацией вельзевулова воинства, направленной против меня. Я делал различные телодвижения, как бы плавая, чтоб оградиться от потного испанца, и в особенности выставленных против меня тяжелых бедер натурщицы. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто мог бы ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действа.

Дверь кафе раскрылась, и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто. В «Ротонду» приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди наружности непотребной. Поэтому ни индеец с куриными перьями на голове, ни мой приятель, барабанщик мюзик-холла в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица, мулатка в ярком кепи мужского покроя,— не вызывали никакого внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковиной, что вся «Ротонда» дрогнула, на минуту замолкла, а потом разразилась шепотом удивления и тревоги. Только я сразу постиг все. Действительно, стоило лишь внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого пальто. Выше висков ясно выступали под кудрями крутые рожки, а пальто тщетно старалось прикрыть острый, приподнятый воинственно хвост.

Я знал, что борьба бесцельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания: смолистая дача под Москвой, я в детской ванне, розовый и беззащитный, прогулки с гимназисткой Надей по Зубовскому бульвару, вечера в Сиене над обрывом, пахнущие миртой. Но эти последние сладостные видения отгонял от меня державный хвост.

Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционных

когтей, а может, проще, повелительного приглашения следовать за ним в «такси». Но мучитель проявлял редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, даже не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво он крикнул: «Garçon, un bock!» [1] — и через минуту на его столике пенился узкий бокал. Черт пьет пиво! Этого пережить я не мог и вежливо, но в то же время взволнованно сказал ему:

— Вы напрасно ждете. Я готов. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тело и душа. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле?..

Повторяю, я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моем конце, так как сразу отметил, что мой черт темперамента флегматического.

Теперь, вспоминая этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск, я преклоняюсь перед яснозоркостью Учителя. В ответ на мои маловнятные речи Хулио Хуренито не растерялся, не позвал лакея, не ушел — нет, тихо, глядя мне в глаза, он промолвил:

— Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет.

Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показались мне откровением — и дивным и гнусным. Все мое стройное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и «Ротонда», и я, и где-то существовавшее добро. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг.

— Но хвост, хвост?..

Хуренито усмехнулся.

— И хвоста нет — ни карамазовски-датского, ни остренького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как и я, любите трубки. У меня великолепная коллекция: английские из старого вереска «Три-би», венгерские черешневые, турецкие из красной земли Леванта с жасминовыми мундштуками, голландские...

Я не мог вынести и тихо застонал, глядя с последней надеждой на подобранный влево хвост. Тогда Хуренито, расстегнув пальто, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться было не на что, ибо хвоста не стало. Кроме того, он снял котелок, и воображаемые рога оказались лишь жесткими густыми завитками волос, как у негра. В томлении глядел я на невольного обманщика, а Хуренито спокойно раскуривал свою трубку.

Я отнюдь не радовался тому, что моего врага нет, что он — лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют,

---

[1] Официант, бокал пива! *(фр.)*

пусть ада, но все же жилого, понятного, ощутимого. Желая обрести хоть какую-нибудь опору, я спросил Хуренито:

— Хорошо, предположим, что его нет. Но хоть что-нибудь существует?..

Хулио снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась картина в трамваях «Употребляйте только Дентоль», и вежливо, почти виновато ответил:

— Нет.

Это «нет» звучало так, как если бы я попросил у него спичку или спросил бы его — читал ли он последний номер «Comedia».

— Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?..

— Испанец этот родился лет тридцать тому назад. Был голеньким, потом оброс волосами. Выдает себя за декоратора, на самом деле спекулирует на бирже. Сегодня заработал сорок луи. Доволен. Желудок работает исправно. Прочие органы тоже. Сейчас поужинал (три франка, vin comris) [1], взял девицу (пять франков). Потом потеряет на бирже двадцать луи. Потом заболеет подагрой и будет пить вонючую воду. Потом умрет, сгниет, травка будет, «петух или курица». За всем этим вам предоставлено бесплатно удовольствие находить в этом тайную цель и сокровенный смысл.

— Нет,— я не мог удержаться и кричал,— этого не может быть! Вы без хвоста, но вы — он самый. Есть добро, понимаете? — вечное, абсолютное!

Хуренито не смутился, даже не повысил голоса.

— Право же, я не черт. Вы слишком льстите мне. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет! Можете спать спокойно, даже брома не требуется. Но и добра тоже нет. И того, другого, с большой буквы. Придумали. Со скуки нарисовали. Какой же без черта Бог? «Добро», говорите? А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала. Вроде вас. Есть хочется, сосет под ложечкой, а спросить нельзя. Надо пить сладкий тягучий ликер. Тошнит. И от испанца тоже тошнит, руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят. Мальчика — отдала крестьянам, надо платить сто в месяц. Сегодня получила открытку — болен, доктор, лекарство, прочее. Прирабатывай. Еще веселенькой будь, на бал, пожалуйста, да не девица Марго, а карфагенка Саламбо, и испанца целуй в губы — скользкие улитки — быстро, отрывисто, будто сама с ума сходишь от страсти. Может быть, еще двадцать су накинет. Словом, быт — ерунда, хроника. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики полетят вверх тормашками. Все, конечно, по графам распределено: сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка вышла, недоразу-

---

[1] Включая вино *(фр.)*.

меньице. Справедливость? Что же вы хозяина не выдумали получше, чтобы у него на ферме таких безобразий не было? Или, может, верите, зло — «испытание», «искупление»? Но это младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Девицу-то испытует так? Ай да многолюбящий! Только что ж он испанца не испытует? Весы без гирек. На том свете? Да, да! А свет этот где? на какой карте? Пока что «душа» абстракция, а ручки-ножки, умрешь — попахивают, потом косточки, потом пыль.

Я сидел долго молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая; я быстро вскарабкался на нее.

— Пусть так, нет ни Творца, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, то есть реальность, есть смысл, есть дух и Творец.

— Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего «ничто» тоже хвостика нет. А вот трубка здесь, и я здесь, и испанец. В том-то и вся хитрость, что все существует, и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан-старичок, пищит в первый раз маленький Жанчик. Дождь давеча шел, а теперь подсохло. Вертится, кружится, вот и все.

— Но ведь так же нельзя жить, это гнусно, стыдно, наконец просто не нужно!

— Что делать — не вы выбирали! Вас ставят перед fait accompli [1]. Дом меблированный. Одним очень нравится — уютно, другие возмущаются и пока что мирно перевешивают картинки с одной стены на другую.

В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуренито и была его первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и лакеев, я вскочил, откинул стул и закричал:

— Но ведь можно же уничтожить дом!

Хулио кивнул головой и попросил меня сесть.

— Вполне законное желание. Давайте-ка займемся этим.

«Он, наверное, анархист, в Испании много анархистов»,— подумал я и шепотом спросил:

— Бомба? Адская машина?

— Вы — прелестное дитя,— ответил Хуренито.— Бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов, самое большее — какого-нибудь короля, который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Нет, мы займемся иным.

Я понял, что спрашивать его далее непристойно, и, церемонно поклонившись, сказал:

— Я буду вашим учеником, верным и старательным. Но дайте

---

[1] Здесь: перед фактом *(фр.)*.

мне реальность, не то сегодня ночью или завтра утром я сойду с ума.

Он вынул из кармана маленькую пенковую трубку и протянул ее мне.

— Набейте добрым «капоралом» — и курите — это реальность.

Мы поужинали, и, спросив после сыра две рюмочки «Кло-Вужо», Хуренито снова подтвердил мне, что это, то есть «Кло-Вужо»,— истина, а не сон. Под утро в «неоскандинавской академии», представив мне пухленькую шведку, одетую в прозрачную тунику и похожую на свежую булочку с деревенским слезящимся маслом, он сказал:

— Это на самом деле, это вам не добро.— И дружески хлопнул меня по плечу.— Теперь спокойной ночи! До завтра!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Детство и юность Учителя

В настоящей главе я хочу поделиться с читателями немногочисленными и отрывистыми сведениями о жизни Хулио Хуренито до памятного вечера в «Ротонде», когда встретил его. Иногда Учитель рассказывал мне отдельные эпизоды своих отроческих лет, и я попытаюсь их восстановить, чтобы все уверовали, что Хуренито не миф, не сказочный герой, но сын сахарозаводчика из Гуанахуаты Педро-Луиса Хуренито.

О происхождении Учителя ходили вздорные легенды. Наиболее часто мне приходилось слышать рассказ о том, как Будда воплотился в этого высокого худого человека, с глазами, полными движения, но обладавшими непостижимой силой останавливать время. Поводом к этим сказаниям послужило следующее, само по себе незначительное событие. В марте месяце 1888 года, в городе Аллахабаде, в Средней Индии, из храма исчезла ценная статуя Будды, которую ученые относили к третьему или четвертому веку нашей эры. Очевидно, произошло это вследствие сонливости сторожа и пристрастия некоторых британских чиновников к древностям Востока. Двадцать пять лет спустя в теософских кругах упорно говорили о том, что Будда перевоплотился в мексиканца Хуренито, и благодаря этому изображение его прежней личины перестало быть зримым. Легенда пользовалась таким успехом, что, когда Учитель как-то ночевал в мастерской одного русского поэта-теософа, разыгралась курьезная сцена. Ночью поэт прокрался к спящему Учителю и начал ощупывать его лицо. Застигнутый и слегка заподозренный в дурных намерениях, он объяснил, что искал на лбу Хуренито бородавку —

третий глаз, форменное отличие воплощений Будды. Эти и подобные им басни, разумеется, не заслуживают никакого доверия.

Учитель родился 25 марта 1888 года в Мексике, в небольшом городе Гуанахуате, известном своими золотыми приисками. Он был крещен по обряду католической религии и получил имена Хулио-Мария-Диего-Пабло-Анхэлика. Я полагаю, что он был ребенком пытливым и неудобным. Так мне известно, что мальчиком пяти лет он отпилил пилой для хлеба голову котенка, желая познать отличие смерти от жизни. Два года спустя, усомнившись в Богоматери и во многом ином, он прокрался в церковь, выпотрошил статую Мадонны, сделанную из парчи на каркасе, и остался вполне удовлетворен этим опытом.

В шестнадцать лет он влюбился, стал глядеть на звезды и думать о вечности. Но, испытав кой-какие временные услады, о звездах и вечностях забыл, от девицы спешно удалился и раз навсегда потерял вкус к тому, что люди зовут любовью. К счастью, девушка скоро утешилась и вышла замуж за подрядчика из Вэра-Круца. Хуренито о первой любви слез не проливал, но послал этой единственной отмеченной им в жизни женщине мельхиоровый сервиз на двенадцать персон.

После сего он отправился искать золото в Эль-Оро, но, не желая тратить времени на работу в приисках, выпил кувшин крепкой «пульки», вытащил солидный нож и пред толпой возвращавшихся с работы золотоискателей провел им по земле, сказав: «На сегодня здесь территория Гуанахуаты, и никто из вас не перейдет этой границы, не заплатив мне выкупа». В Эль-Оро люди жадны, но трусливы, и при одном имени разбойной Гуанахуаты готовы отдать все на свете, лишь бы спасти жизнь. Час спустя Хуренито пробирался по лесистым горам с мешком золота. У индейцев купил он лошадь и благополучно достиг границы Соединенных Штатов. Об этом происшествии я слышал от друга Хуренито и моего — художника Диего Риверы, который был в Эль-Оро в памятный день, видел черту на песке, испуганных рабочих и куски золота в широкой шапке с кожаным ремнем Хуренито.

В одном из южных штатов Учитель продал золото за восемь тысяч долларов и приступил к трате оных, для чего поил джином встречных негров, скупал редкие почтовые марки и заказывал в наиболее независимых газетах хвалебные статьи о себе, с приложением к ним портретов каких-то подозрительных эфебов. Так, усиленно работая, он успел уничтожить шесть тысяч, не осилив, однако, двух. Тогда он созвал богатых, но скупых коммерсантов города на парадный обед, после которого, угостив их отменными сигарами «Ля-Корона», зажег скрученные в пачки стодолларовые билеты, чтобы все могли закурить. Коммерсанты ерзали на коленках, соби-

рая легкий серебряный пепел. Их пищеварение было нарушено, зато Хуренито избавился от надоевшего ему нудного занятия — тратить деньги.

Хуренито вернулся снова в Мексику и решил заняться революцией. Это были бурные годы молодой республики. Из всех партий Хуренито предпочел Запату и его простодушных мятежников, ненавидевших городскую культуру, машины сахарных заводов, паровозы, людей, несущих смерть, деньги и сифилис. Каранца, убив предательски Запату, заманил Хуренито. Хулио случайно спасся. В часы ожидания смерти он испытал вместо описываемой поэтами торжественности сильную скуку и сонливость. После этого эксперимента он уже просто и буднично убивал других. Он командовал индейцами в знаменитой битве при Селая, где была разбита наголову прекрасная армия Вилли. Его отвагой, находчивостью, способностями был восхищен Обрегон, теперешний президент мексиканской республики. Но свергать, расстреливать и гоняться за врагами оказалось тоже делом однообразным и скучным. После седьмой революции Хуренито купил микроскоп, готовальню, четыре ящика книг и занялся различными научными изысканиями. Вскоре после этого он посетил Лиму и Буэнос-Айрес, поселился же в Нью-Йорке.

Хуренито изучил математику, философию, токарное ремесло, электротехнику, гидрологию, египтологию, игру на окарино, шахматную игру, политическую экономию, стихосложение и ряд других наук, ремесл, искусств, игр. Он с исключительной легкостью овладел знанием языков. Вот на каких он говорил совершенно безукоризненно: испанский, английский, французский, немецкий, русский, итальянский, арабский, ацтекский, китайский. Десятки других языков и наречий он знал вполне корректно.

Одновременно с этим Хуренито занимался искусством. Труды его в этой области я опишу далее.

Все эти занятия не удовлетворяли Хуренито, и после длительных раздумий он решил — это было 17 сентября 1912 года,— что культура — зло и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Запаты, а ею же вырабатываемыми орудиями. Надо не нападать на нее, но всячески холить ее язвы, готовые пожрать полугнилое тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим провокатором.

Начало его деятельности ознаменовалось неудачей. Хуренито был слишком молод, жизненно неопытен и одинок. Он вздумал действовать наивным путем убеждения и организовал с помощью специальных аппаратов световые плакаты на ночном небе Нью-Йорка. Жители этого города хорошо помнят оригинальное начинание. Стирая звезды, горели величавым блеском письмена: «Голодные,

есть еще филе из бекасов. Прославьте же дары цивилизации!» и т. п. Все решили, что это рекламы большого гастрономического магазина. Но один бродяга ирландец почему-то кинул бомбу в шикарный ресторан «Бристоль». Ирландца посадили на электрический стул, а Хуренито, не желая предаваться подобным захолустным идиллиям, сел на пароход «Рекс» и отправился в Европу, где почва для его деятельности была более благодатной, нежели в слишком Новом и еще недостаточно обжитом Свете. Через несколько месяцев после приезда Хуренито в Европу я встретился с ним и стал его первым учеником.

Вот все, что я знаю о первых двадцати пяти годах жизни Учителя. Мне хочется кончить эту главу словами любви к земле, родившей великого человека. Две страны будут чтить далекое потомство: родину Учителя — Мексику и Россию, где он закончил свои дни и труды. Два города будут вечно манить к себе паломников: маленький грязный Конотоп и далекая Гуанахуата.

Россия и моя родина. Я никогда не был в Мексике. Но я глубоко люблю этот, святой для меня, край. Я люблю городок на холме, с домами, встающими уступами, суровый и голый, испещренный лишь кактусами и черными пятнами «квебраплятос», на долю которого выпала честь быть колыбелью Учителя. С глубоким уважением я повторяю имена людей, которых Хуренито знал в дни своей юности: президента Обрегона, выдающегося инженера Паники, художника Риверу, поэта Моралеса и философа Вескуселоса. Если книга эта дойдет до них, пусть они с доверием примут слова уважения и признательности. И если кто-либо из прочитавших мою книгу познает счастье увидеть наяву Гуанахуату, пусть он за меня поцелует ее угрюмую, раскаленную, благословенную землю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Доллары и библия.— Три дня мистера Куля

Несколько дней спустя, рано утром ко мне пришел Хуренито и сразу, даже не здороваясь, протянул номер «Petit parisien» с отчеркнутым объявлением. В отделе «Разное», меж анонсом о новом слабительном для кур, больных дифтеритом, и письмецом какого-то Поля к напрасно ревнующей его «кошечке», коей он верен до гроба, было напечатано следующее:

АКЦИОНЕРНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЛЯ БИБЛЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ТУЗЕМЦЕВ ЕВРОПЫ
(Сан-Франциско — Чикаго — Нью-Йорк)
ИЩЕТ

деятельных миссионеров в различные страны, а также агентов по продаже патентованных аппаратов

Являться: Hotel de la Croix, 10, M. Cool

— Ты понимаешь, как это кстати,— сказал Хуренито (в первый же вечер после ужина он стал говорить мне «ты», дружески и вместе с тем повелительно).

Через полчаса мы уже сидели в кабинете мистера Куля. Лицо его, широкое, плоское, упитанное, ничего особенного не выявляло. Зато были необычайны ноги в носатых рыжих ботинках, которые лежали на двух специально вращающихся пюпитрах, несколько выше уровня головы. Он одновременно: читал библию, диктовал стенографистке письмо министру изящных искусств Чили, слушал по телефону вчерашние цены на скот в Чикаго, беседовал с нами, курил толстую сигару, ел яйцо всмятку и разглядывал карточку какой-то полнотелой артистки. Для этого к его креслу, напоминавшему зубоврачебное, были приделаны станки, трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Куля. Так, впоследствии я заметил, что приемы разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером, сидя один в ресторане и скучая, он отрывисто гаркнул проходившей мимо актрисе: «Алло! Женщина? Это я — мистер Куль. Свободны? Хотите? Алло! Представьте смету. Я даю ужин и десять долларов». Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки, и эта вполне понятная привычка неприятно отражалась на окружавших его. Но в общем это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, посвятив тотчас же Хуренито в сущность своих намерений.

Прожив достаточное число лет в Америке, мистер Куль по рассказам приезжавших и по статьям газет узнал, что Европа лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации — библия и доллар — не идут в ней рука об руку. Мистер Куль

понял, что Америка должна отплатить благодарностью за тот великий момент, когда матрос Хуан Луис, известный в двух Кастилиях разбойник, прежде нежели зарезать индейца, пробормотал молитву, побрызгал его морской водицей и таким образом положил начало торжеству креста. Ныне пришла очередь Америке спасать обезумевшую Европу. Для проведения сего в жизнь мистер Куль сорганизовал акционерное общество с весьма солидным основным капиталом и, приехав в Европу, начал разрабатывать план деятельности. Сообщив все это Учителю, он стал нажимать наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без деталей, цифровых данных и чертежей.

1. Необходимо стремиться прекратить воровство не только репрессивными мерами. Для этого надо оградить нестойкие души бедняков от соблазнов города, напоминая им о вечных благах, доступных всем. «Акционерное Общество» изготовляет различные дидактические рекламы: над булочными вывешиваются огненные круги с надписью: «Не единым хлебом сыт человек», над пивными: «Блаженны алчущие», над магазинами готового платья: «Царство Божие внутри нас» и т. д.

2. Обязать всех содержательниц публичных домов поставить в этих учреждениях автоматы с необходимыми для гигиены принадлежностями. На пакетиках должно быть напечатано: «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Куля, являлись делом весьма доходным, ибо, обходясь в триста франков штука, они приносили в месяц до тысячи франков чистой прибыли.

3. Докладная записка министру юстиции французской республики. Побывав несколько раз у тюрьмы Сантэ во время казней, мистер Куль с радостью констатирует большое стечение публики и остро развитое чувство справедливости, выражающееся в нескрываемом энтузиазме при зрелище сей наставительной церемонии. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, устанавливающих вокруг тюрьмы на время казни бараки со сластями, прохладительными напитками и даже с игрушками для ребят, которых приводят умные и энергичные матери. Но мистер Куль удивляется, почему эти празднества не использованы для нравственной пропаганды, и, вполне понимая некоторые особенности французской светской власти, предлагает предоставить «Акционерному Обществу» организацию дела. Вокруг гильотины — передвижные поместительные трибуны, с платой, доступной даже трудящимся кругам населения. Магазины, в которых кроме обычных товаров фотографии преступников до и после акта правосудия, духовные и моральные книги,

наконец, прокат биноклей. После окончания официальной части празднества кинематографический сеанс: детство преступника и порядочного человека; первый шалит, потом крадет, потом насилует, потом убивает, потом голова его в руках уважаемого m-r Деблера; второй — пай, копит су, данные на шоколад, женится, книжка в сберегательной кассе, рента, тенистая могила и памятник «в вечную собственность». Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить стремление светской части общества: преступник забыл о школе, об обществе, о своих обязанностях как избирателя, о высшем существе — «Отечестве». Для разъезда — «Молитва девочки за душу злодея» и «Марсельеза».

4. Предвидя после конфликта в Марокко возможность войн, мистер Куль опасался пролития крови миллионов христиан и потому предлагал всем европейским государствам, имеющим колонии в Африке, озаботиться созданием черных войск. Насильственное вылавливание взрослых из деревень он находил жестоким и, главное, непрактичным. Опыт устриц, страусов и различных видов зверей подсказывает идею питомников. Отбираются самки наиболее плодовитых племен, и через тридцать лет любое государство имеет свое войско, совершенно готовое к употреблению, не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов своего собственного населения.

Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, мистер Куль пожаловался Учителю на косность Европы. Министр юстиции не ответил ему. Во многих публичных домах поставлены его аппараты, но нравоучительные надписи тщательно замазаны сажей. Выставленные в Лондоне световые рекламы против кражи были разбиты какими-то злоумышленниками, вероятно — русскими анархистами. Наконец вместо «черных питомников» Европа увлекается мирными конгрессами. Поэтому он и решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных агентов.

Хуренито, высказав все свое восторженное удивление перед активностью и революционностью идей мистера Куля, скромно, но не без достоинства указал на свой стаж в Мексике и предложил свои услуги. Его краткая речь произвела столь сильное впечатление на мистера Куля, что, отбросив яйцо и не дослушав последнего курса баранов, он воскликнул:

— Вы тоже великий человек! Алло? Вы будете моим гидом по Европе. Издержки и прочее. Алло? Представьте смету.

Откланявшись, мы вышли.

Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днем и вчерашним. Все утерявший, я уже не принял мистера Куля за черта, несмотря на его подозрительные ноги, кнопки и проекты. Но все же он показался мне чрезмерно отвратительным и более опасным, нежели

булочница или испанец. Я сказал об этом Учителю. Хуренито согласился со мной.

— Конечно, он отменно гнусен, но я руководствуюсь при выборе учеников не реакцией на них моего раздражительного пищевода, а степенью их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке, мы проведем с ним три ближайших дня. Смотри и учись. Это гораздо поучительнее, чем все видения ада твоих добродетельных постников.

Учитель, как всегда, ты был прав! Что все костры святого Игнация, что весь духовный огонь Зосимы по сравнению с этими тремя днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя книжка в боковом кармане мистера Куля? Они прошли, быстрые и неумолимые, воспоминания о них напоминают ленту кинематографа.

Вторник. В час дня, позавтракав, мистер Куль едет на выставку. Среди других его внимание останавливают кубистические «натюрморты» молодого художника Доро. Две чашки, огурец и кочан, разложенные по плоскостям. Хуренито объясняет. Мистер Куль явно возмущен.

— Это грубый материализм! Алло? Безнравственность! Падение духа! Я понимаю огурец в руках Мадонны. Одухотворенный огурец. Но вы говорите «форма»? Алло! Растление! Покупаю.

Вынимает чековую книжку банка. Скупает у содержателя галереи все полотна Доро. Три часа дня. Сияющий художник привозит мистеру Кулю свои картины. Двадцать восемь штук. Снова чек. Засим немедленно на глазах у Доро два грума-негра режут картины на мелкие кусочки.

— Алло, молодой человек, вы должны оставить искусство. Вот это прекрасно и нравственно. (Показывает на шесть белесоватых дев под кипарисами.) Это не Доро, а как его?..

Хуренито подсказывает:

— Морис Дени.

— На деньги, полученные от меня, купите небольшой посудный магазин или займитесь продажей моих патентованных автоматов. Алло? Возражения бесполезны. Все, что вы будете делать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Но это моя собственность. Куплено. Что хочу, то и делаю. Доллар, мой друг, высшая сила. Доллар и библия.

Пять часов дня. Сенсационное сообщение в «Intransigeant» — молодой художник Доро повесился. Причины неизвестны. В шесть часов Хуренито по поручению мистера Куля заказывает надгробный венок с надписью: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

В среду мистер Куль решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнает, что в Медоне под Парижем рабочие обойной фабрики дружно бастуют уже две недели, требуя уменьшения на один час рабочего дня. Заботы низших слоев населения о грубо материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Куля. В одиннадцать часов утра у него агенты частного сыска с исчерпывающими данными о четырех членах стачечного комитета. Получив указания, они приступают к работе. Пьера Гранье, алкоголика, незнакомцы приглашают в бар. К пяти часам, после дюжины пиконов, он валяется мертвецки пьяный в кладовой. У Бидо дочка больна чахоткой, любимица семьи. Предложение ехать на юг. Четверть часа испытания — и чек из той же синенькой книжки. С поездом 8 час. 20 мин. Бидо уезжает в Ниццу. Старичка Бедье запугивают фотографиями тюрьмы, какими-то перехваченными приказами и нарочно на сей случай нацепленными орденами одного из агентов конторы. Он убегает в Париж к своему племяннику. Остается Лиз — не пьет, денег не берет, орденов не боится. В три часа долгое совещание в кабинете у мистера Куля. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. В семь часов собрание забастовщиков. Выясняется, что три главаря бежали, четвертый, Лиз, в тюрьме; под его тюфяком нашли тысячу долларов, происхождение которых он объяснить не мог.

— Вор!

— Подкупили!

— Долой!

Представитель хозяина, старый приказчик, услужливо объясняет:

— Станьте на работу, и никакого наказания не будет.

Общее ликование. Стачка кончена. Мистер Куль заказывает памятную доску, но колеблется в выборе текста: он запрашивает по радио своего друга пастора Бонса в Чикаго, можно ли, ввиду смены феодального строя капиталистическим, произвести небольшое исправление в тексте Писания. Удовлетворительный ответ. На воротах фабрики: «Богу — божье, хозяину — хозяйское».

Четверг. Весна. Мистер Куль настроен игриво. Отдыхает. «Любовь, любовь, пьянишь ты кровь!» Прелестная девушка. Алло! Кто это? Младшая продавщица перчаточного отделения магазина «Лувр». Пригласить вчерашних агентов. Полдень. У m-lle Люси оказывается жених, m-r Paul, служит в «Лионском Кредите». Узнайте слабости. В пять часов дня m-r Поль проигрывает тысячу восемьсот франков в баккара. В шесть он заходит за Люси. У дверей магазина расстаются, девушка плачет. В восемь ей приносят письмо с предложением явиться в «Cafe Royal», кабинет № 8, где она получит немедленно тысячу восемьсот франков. Мы едем с мистером Ку-

лем в ресторан. У входа какой-то нищий просит су. Я снова поражаюсь энергии нашего нового друга. Поворачиваясь к просящему, он подымает руку к небу: «Крепись, мой друг, там последние будут первыми». В кафе я с Хуренито в общей зале. Час спустя к нам выходит мистер Куль, как всегда — жизнерадостный. Он выписывает в книжечке m-lle ... тысячу восемьсот франков... Минуту подумав, пишет на оборотной стороне чека: «Любовь покрывает все» (Коринф. 13, 5).

Так прошли три дня деятельности мистера Куля. Выйдя ночью из кафе, я смутился. Пахло теплым дождиком, бухли почки каштанов, и сердце мое поддалось радости бытия. Я вспомнил Доро, посиневшего, с высунутым языком; Лиза, которого жандармы подбодряли пинками; наконец маленькую Люси, тщетно пытавшуюся в вестибюле под насмешливыми взорами лакеев прикрыть пудрой заплаканный красный носик. Я не выдержал:

— Скажите, как вы не убили Куля?

Хуренито рассмеялся:

— Друг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомните, мы хотим все разрушить. А Куль — это великолепное тяжелое орудие.

Так мистер Куль, сам того не ведая (ибо он считал Хуренито своим гидом и аккуратно выплачивал ему сто долларов в месяц), стал вторым учеником великого Учителя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Симпатичные боги Айши.— Различные суждения Учителя о религии

Утром в отеле «Мажестик», написав более двадцати деловых писем, Хулио Хуренито позвонил груму, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и приказал мальчишке негру высунуть свой язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих. На следующий день грум явился без зова, стал у стола и предупредительно высунул свой острый шершавый язык. Когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Хуренито:

— Гихрэ тоже может это делать.

На наши недоуменные вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную каморку под черной лестницей, где жил грум. На полу мы увидали маленького негритянского божка, только что выдолбленного из скорлупы кокосового ореха. Он сидел скрестивши ноги, и на его высунутом языке была наклеена

почтовая марка. Айша (так звали грума) с материнской нежностью глядел на идола, приговаривая: «Гихрэ очень умный, все умеет». Далее мы увидали еще двух божков: один из них чистил ботинки, другой стоял перед дверью со вставленным в нее осколком зеркала. Оказалось, что Ширик и Гмэхо (так звали двух братьев Гихрэ) тоже всемогущи и способны делать вещи сложные и непостижимые. Учитель был обрадован и даже взволнован.

— Вы видите,— сказал он мистеру Кулю и мне,— здесь, в отеле «Мажестик», творится великолепная мифология. Через сотни лет Ширик будет отряхать земной прах с блуждающих душ, Гмэхо впускать их в святые врата, а милый Гихрэ с почтовой маркой в два су служить вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентальным. Или вы позабыли послеобеденные анекдоты мудрых эллинов и бесплатных гурий бедного погонщика верблюдов? Ты, иудей,— сказал он мне,— помнишь, как Иегова обижался на твоих девушек, как он боролся с Иаковом, ревновал Израиль ко всякому вавилонскому идолищу и торговался насчет захудалого Содома? А вы, мистер, не присвоили ли вы богу всех человеческих ремесл от рождения до смерти, обставив их только некоторыми отступлениями от физиологии? Бедненькая жена Рафаэля, кстати весьма добродетельно исполнявшая свои супружеские обязанности,— сколько благочестивых слез безнадежно старых дев Германии вызвала она в своем дрезденском продлении. Разве придумали люди для своего разнорасового Олимпа другие порядки, нежели для китайской империи или для республики Сан-Марино? Одни смягчают тиранию справедливости конституционным вмешательством милосердия, другие, наоборот, торжественно восстанавливают самодержавие. Небесные министерства: военное — с различными чинами серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, юстиции — суд, прокурор и защитник, смягчающие обстоятельства, весы лавочника, каторга срочная и бессрочная, просвещения — пророки, пропаганда, даже световые рекламы на стенах вавилонского дворца. Вы, дети мои, пережевываете прошедшую через все четыре законных желудка жвачку, а Айша готовит новую для Клоделей или Булгаковых тридцатого века.

Айша слушал Учителя очарованный. Изобилие таинственных слов и дивных имен так поразило его, что, упав на колени, он поцеловал носок ботинка Хуренито. Учитель сказал ему:

— Ты теперь будешь следовать всюду за мной.

— Жаль, что я не знал, я предложил бы вам лучшего грума,— заметил мистер Куль. Я же спросил Учителя, почему его выбор остановился на маленьком негре.

— Он верит,— ответил Хуренито,— а это столь же редко в вашей Европе, как красивая девственница или честный министр.

Ваша вера труслива, от нее ложится тень сомнения и иронии, мальчишеского любопытства и расчетливости торгаша, боящегося прогадать на товаре. Какой аббат не смотрит тихонько в школьном учебнике естественной истории, велика ли глотка кита, и не пытается объяснить непорочное зачатие сложным символизмом модного философа? Ваше безверие не храбрее вашей веры: за ним плетутся суеверие, обращения за полчаса до смерти, книжки Штейнера, вечное клянчение у дверей страхового общества. Ваши атеисты, выпив рюмку вермута, храбрятся и ругаются, а потом, припомнив запах кладбища в летний полдень, держат на всякий случай под рукой евангелие, рассуждают о неуловимом духе (неопределенный жест пальцами) и не спят всю ночь, если жена разбила туалетное зеркало. Я беру Айшу, ибо в нем жива голая, бесстыдная всеободряющая вера, и это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощелыгу, а для него я буду богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова, которого он будет резать, рисовать, лепить и которому останется верен до смертного издыхания.

Так говорил Учитель. Мистер Куль, увлеченный этими мыслями, тщетно пытался возмутиться, и, наконец, чтобы оправдать себя, свою улыбку сочувствия столь безнравственным суждениям, он сказал:

— Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы безусловно хороший христианин и, кроме того, отменный гид,— и ласково толкнул Хуренито толстым пальцем в бок.

Впоследствии неоднократно Учитель возвращался к вопросам веры, верований и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых «важных проблемах» шутя и балагуря. Учитель утверждал, что серьезно, академически, проникновенным голосом или приводя библиографию, можно говорить лишь о способе обкуривания трубок, о различных манерах плеваться — со свистом или без свиста, о построении ног неповторимого Чаплина. Во всех других случаях он предпочитал усмешку молитве и веселый фельетон многотомному исследованию. «Когда весь сад давно обследован,— говорил он,— тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом. Только резвясь, прыгая без толку по клумбам, думая о недополученном поцелуе или о сливочном креме, можно случайно наткнуться на еще не известный цветок».

Стремясь передать здесь различные суждения Хулио Хуренито о вере, я боюсь, что, по причине моего характера, угрюмого и неповоротливого, я придам им ложную, нарочитую серьезность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет шестнадцатилетней де-

вушки о различных системах пропорционального представительства.

Как-то, перетаскивая из конуры «Мажестика» в свою мастерскую братьев Гихрэ — Гмэхо и Ширика, Учитель сказал:

— Им будет уютно между Христом в кастильской юбочке и бронзовым Буддой, гладящим пальцем живот. Боги прекрасны, равны и достойны друг друга. Но тщетно хотите вы остаться Айшей. Он бога только что сделал, как молоденький поэт, написавший первое стихотворение, волнуясь бегает с ним, пуповина еще болтается. А вы даете в коленкоровый переплет (кожаные углы, инициалы) книги какого-то гения, сгнившего пятьсот лет тому назад,— тысяча, две тысячи,— гимназистик зубрит, вы чтите, но не интересуетесь; только редко-редко, в приемной дантиста, очень скучая, благоговейно раскрываете двести сорок шестое издание. Для вас Бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка с мазью (ну, кто кому ее прописал? рецепт давно утерян) на полке в ванной комнате, которую вы не выкидываете только потому, что она так давно стоит, что вы ее перестали замечать.

— Конечно, эксперименты с Иовом,— однажды заметил Учитель,— были несколько рискованными. Пожалуй, теперь «общество борьбы с вивисекцией» привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но, по крайней мере, за убытки, за болезнь, падеж жены, детей, скота было дано хорошее вознаграждение. Не додумавшись до воскрешения, привели новую супругу, к тому же весьма плодовитую. Возможно, что Иов был даже в выигрыше, во всяком случае, добродетель восторжествовала. Но что сказать о Берке, о старом меховщике Берке, который был праведнее самого Иова, славил справедливость Господню днем и ночью и умер с распоротым животом на помойной яме Балты? Дети будут счастливы? внуки? Да, да, что-то до двадцатого колена... Но ведь порют живот, пожалуй, уже у тридцатого, порют аккуратно, без заминки. Опять Вседержитель пари держит? Но почему же миллионы Берков должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечисто. Даже младенец знает о том, что Иван-честный, работящий и добрый, умрет, вспухнув с голоду, на задворках у Ивана-вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнет — и никаких раскаяний, ползания на четвереньках, удовлетворяющего общественное мнение смертного пота,— ровно ничего! Нет, до последней минуты все обследовано, и ничего утешительного не замечено. Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля, а что под землей? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах да пар, а если нет? Кто знает? Живет, живет человек, кругом холера, крушения поездов, японцы, а он все живет, потом ест карася в сметане, маленькой косточкой давится — и конец. Кто знает, не свыше

ли? Случай? А может быть, этот случай умненький, кончил богословский факультет и сдал экзамен на звание «провидения»? Стоит бабка в церкви, молится своей «заступнице усердной»: Буренушка стельная — кого? дай, матерь божья, телочку! (За грехи — теленка.) Вместо бабки — святая Женевьева, вместо теленка — готы, и готова фреска Пювис-де-Шаванна. Это о земном, а о над...— еще сомнительнее. Только неуверенность — палка о двух концах. Всякому приятнее отправить такое письмо, да еще при таких порядках на почте, заказным, а не простым. Книжки пишут, школы... Идет безверье, то есть валюта страны небесной обесценена до крайности. Кассир расплывается, тонет в туманах, его же создавших.

В другой раз Учитель говорил нам о влиянии пола на религию:

— Бешеного быка закалывают. Если кобыле вовремя не дают жеребца, она заболевает. Нет котов, влюбленных в сук, и ни один самый испорченный фокстерьер не волочится за овцой. У нас иначе. Так как вершина есть и начало спуска, а чувственное предвкушение длительнее и сладостнее судорог страсти, многие ищут наслаждения в безбрачии. На постели образ тускнеет, даже при минутном удовлетворении, на стенке он цел. Хрупкая девица на брачном ложе (когда подруги говорили — все выходило лучше) — быстро, внятно и не по вкусу. Кроме того, он сопит. А тот, другой, с золотыми кудрями, смертельно грустный, недоступный... Ах, скорее стройте беленькие бегинажи с медными подсвечниками и накрахмаленными занавесками! Господа кюре за шторками, вы услышите в ваших кабинетах миллионы вздохов и признаний, о которых тщетно мечтают агрономы и пивовары. Ничего, если иногда будет маленький подлог и некоторое возвращение к матери-природе. А они, сопящие и несопящие, сначала распаляемые запахом подмышников, потом чувствующие приступ тошноты, разве они не сочиняли стихов о небесной красоте той, иной, немыслимой, которой не нужно подмышников, не рисовали ее на всяком обрубке дерева или клочке холста? Я видел в Ганахо, под Бургосом, пастуха, тупого парня лет двадцати, который царственным жестом оскопил себя в деревенской церковушке пред ее изображением и час спустя умер, обливаясь кровью. Он — «выродок», ибо другие обливаются только слюной сладострастия или чернилами умиления. А тайные секты разноблудников, а преступные целовальники икон, а старые монахини, вечером смахивающие пыль со статуй, а дряхлый Верлен, пробиравшийся от морщинистой грязной бабы к каменной девушке с розой в руке...

Будучи в Лейдене, мы зашли с Учителем в протестантскую кирку. На голых стенах висели лишь копилки и расписание занятий в воскресной школе. Пастор весьма красноречиво говорил о благо-

нравственности Спасителя и о вреде спиртных напитков. Учитель сказал нам:

— Бедные люди, они еще раз повторили жест ребенка, который срывает с игрушки ленты и бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Рима. Они не поняли, что ее глубочайший смысл в этих кружевах обрядов, в этих нашивках догм, шелесте месс, в румянах и золоте венчика. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами, не подумав о том, что под поцелуями человеческих губ ризы — слова, слова и слова — стали трепетными и теплыми и что плоти вне этого не было. Ободрав с кочана лист за листом, они церемонно водрузили пред собой кочерыжку, копилку и господина пастора, который не одобряет (кстати сказать — великолепного) «Шидама».

Когда в Париже в 1913 году организовалось «Общество рациональной постановки мелкой торговли», Хуренито в качестве владельца магазина коралловых бус явился на учредительное собрание и внес предложение поставить общество под высокое покровительство «апостольской церкви».

— Нигде,— говорил он,— я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Есть большие и маленькие грехи, есть дорогие и дешевые искупления. Церковь вытравила из памяти дорогое бездельникам и тунеядцам, ненавистное нам понятие «даром». Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала: «Нет. Ничего даром. За добро — билет (отвечают всем достоянием неба). За грехи платите. Поклон, сто поклонов, свеча в два су, в сорок су, постройка часовни, путешествие в Лурд, в Сан-Яго, в Рим». Мы будем под святой сенью Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приходо-расходные книги, весы и крепкие ключи к американским замкам.

Речь Хуренито была покрыта аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости «Общества».

Поучая учеников, Хулио Хуренито любил нам показывать различные экземпляры той или иной человеческой породы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с которыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределенные и с виду бесцельные отношения. Так в Генте он познакомил нас с неким Зютом, фламандцем, занимавшимся игрой на тромбоне, обкуриванием длинных глиняных трубок и выжиданием кофе перед сложными машинками — «фильтрами». Этот Зют, кроме вышеупомянутых достоинств, был, как мне казалось, родственником поэта

Метерлинка. Я сужу об этом по многим признакам. Так, например, когда мы на минуту замолкали и в комнате становилось тихо, Зют значительно вздыхал, а затем вздох свой пояснял: «В комнате кто-то присутствовал». Вообще молчал он не просто, а торжественно. Любимыми его словами были: «кто-то», «что-то» и «странный». Он изъяснялся примерно так: «Мне грустно — по саду кто-то прошел», «Сейчас с какой-то девушкой что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки», «Вы слышите, как странно бьют часы, они что-то предвещают». За утренним кофе он был полон воспоминаниями приснившихся снов, за обедом — смутными ощущениями иных миров, за ужином — предчувствием неведомых встреч (что, впрочем, не мешало ему есть с хорошим аппетитом). Во всем он видел тайну — в форме облака, в залетевшей в комнату птичке, даже в суповой миске, которую разбила его прислуга, неповоротливая фламандка. Просидев с ним два часа, я заподозрил его не только в родственных отношениях с Метерлинком, но и в некотором нервном заболевании. Я поделился моими соображениями с Учителем, но он возразил мне:

— Увы! Зют вполне здоров, и я не думаю даже, что он родственник Метерлинка, вернее, таких родственников у достопочтенного поэта наберется не одна тысяча. На домике Зюта громоотвод, а в передней барометр. Когда он заболевает, то зовет лучшего доктора и не может вымолвить ни единого слова от волнения, пока лекарь не положит трубку в карман и не пробубнит, наконец, название болезни по-латыни. Он очень любит повторять слово «провидение», но прививал себе, между прочим, оспу, дифтерит и тиф. Конечно, если ты его об этом спросишь, он не смутится и скажет: «Не надо испытывать судьбу» — и прочее. Но в нем ты можешь наблюдать человека, который не может жить без тайны. Ты скажешь, что еще много на свете неясного для разума. Разумеется, но из длинной анфилады запечатанных комнат несколько дверей взломаны, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхолаживает Зютов, это заставляет их приделывать печати. Далее идет косметика, штопка драных штанов и различные способы старой потаскухи выдавать себя за невинную девственницу.

Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свел меня с одним немецким теософом Вольфом.

В жизни Вольф был обыкновенным немцем, имел нечто вроде жены, т. е. какую-то худосочную девицу Матильду, выполнявшую в доме самые различные обязанности. Но иногда, покушав изрядное количество свинины, выпив пива тоже вдоволь, выкурив сигару и не зная, что далее делать, то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о министерском кризисе или ловят мух, хрустя ими меж ногтями, или просто очищают многими способами нос, уши и

прочее,— Вольф вдруг становился важным, запирал в кухню подобие жены, чтобы она ему не мешала стуком посуды, объявлял, что у него высшее состояние духа, так как из мира астрального, в котором пребывал ранее (т. е. со свининой и с Матильдой), он переселяется в «Будхе», что теперь он решительно сосредоточивается и видит все. Далее шло вовсе неподобное. Оказывалось, что Вольф был прежде не Вольфом, а жаворонком, вождем племени ацтеков и любовницей Людовика XV. Кроме этого, он знал не только названия всех городов Атлантиды, но даже расписанье трамваев ее столицы. Он показывал своим сослуживцам какой-то стертый польский грош, уверяя, что это один из сребреников, полученных Иудой. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком предназначенной ему звезды Кассиопеи. Уезжая летом на месяц отдохнуть, он направлялся в Дорнах к своему наставнику Штейнеру и там ковырял какие-то камни, строя капище. О нем Учитель говорил мне как об очаровательном хитреце:

— Вольф знает все, но ему скучно упражняться над математическими проблемами или социальными трактатами. Кроме того, ему слишком много преподносили слабительное Реформации, чтобы он мог вернуться к милой мистике средневекового мясника. Поэтому он предпочитает, выдумав забавную тайну, потом остроумным способом разоблачать ее. Это ничуть не хуже головоломок воскресных выпусков газет. Это вполне корректный и практичный спорт, а засим — разве тебе еще не ясен путь от Айши до Вольфа?..

Путешествуя по Италии, мы часто заходили в различные церкви. Обыкновенно в них бывало уютно, но грязно, ибо мало кто считался с плакатом: «Просят из уважения к месту не плевать». Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни, и детей, играющих в прятки, мы находили в церквах кошек, собак, даже кур. Мы видали немало любопытных церемониалов. В Сетиньяно ряженые всадники, люди в масках с крохотными дырочками для глаз, вдовы в трауре, девушки в подвенечных платьях хоронили Христа. Действие происходило ночью при свете вздыбленных факелов, под барабанный грохот и вой монахов. Во Флоренции к собору подводили белого быка, на котором восседал некий субъект, в панцире, лицом к хвосту. Заканчивалось все это ракетой в форме птицы, влетавшей в церковь и зажигавшей огни. В Риме, в подземной церкви, монах, исступленно крича, водил за собой прихожан от алтаря к алтарю, стегал свое тело веревками и потом ложился в гроб. Наконец в Неаполе, при свете сотен костров, при треске шутих и пистонов закипала кровь на статуе какого-то святого с мало распространенным именем. Сначала кровь отчего-то кипеть не хотела, и толпа награждала святого особыми итальянскими выражениями, состоящими из

сочетания слов возвышенных и бранных. Потом кровь закипела, все хлопали в ладоши, кричали святому «браво», и дело кончилось танцами. Наблюдая все это, Учитель говорил:

— Бедный ватиканский узник, как подобает его чину, он дремлет с повернутой назад головой. Ему снится враг Вольтер, и он не подозревает даже о существовании Макса Линдера. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции своего же собственного детеныша. Вместо размышлений отцов церкви — популярная лекция народного университета, вместо декалога — неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Что же заменит великолепные страсти, шепот и блеск, фиолетовые рясы и рык органов? Гримасы Чаплина, мертвые петли Пегу и миллионы огней грядущих карнавалов.

В ту же эпоху Учитель представил папе Пию X докладную записку, которая нигде не была напечатана, но вызвала возмущение почти всей римской прессы. «Osservatore Romano» даже давал понять, что это интриги некоей великой державы. Копии записки у меня не сохранилось, но я считаю необходимым передать ее содержание. Хулио Хуренито не мог выносить тупых анахронизмов, даже когда его непосредственно не затрагивали. Его равно возмущали ничтожность распространения электричества в Париже, солдат в парике перед дворцом английского короля и я, целующий руку дамы. На этот раз он предлагал папе некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно двум профессорам духовной академии написать вкупе шесть страничек о прагматизме или решиться осветить церковь электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу, так же тщательно, как изучает коммерсант способ рекламы. У человека былых времен чувство, именуемое «религиозным», исходило от спокойного созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру, лепоте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих и были очагами покоя. Теперь покой — полчаса после обеда пищеварение, лень и одна-две игривых мысли. Природа — несколько раз в год, с субботы до понедельника — спешное восклицание: «О, как это прекрасно!» — прогулка, обед и открытые письма с видами. Но «религиозное чувство» или, точнее, чувство восторга, которое религия может использовать, подымается у современного человека при ощущении быстроты движения: поезд, автомобиль, аэропланы, скачки, музыка, цирк и прочее. Посему надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и в автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных в исступленные, перенеся их на арены с ошеломляющими прыжками, скачками, гиканьем би-

чей и взлетами аэропланов. Таковы были основные мысли записки. Ответа на нее не последовало.

Приводя суждения Учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он возвратил апостольской церкви заблудшую овцу, а именно мэра Гириека — Тика. Этот мэр был ненавидим всеми кюре окрестности, и в корреспонденциях парижской газеты «La Croix» выяснялось, каким именно наказаниям будет он подвергнут в аду. Тик в одной из церквей устроил зал для танцев, для обучения фехтованию и для других «разумных развлечений», а проходя мимо другой, выполнявшей прежние функции, останавливался и отплевывался. Он вычеркнул во всех школьных хрестоматиях слово «бог», заменив его «идолом», и приказал писать письма не в Сан-Назер, но в Назер просто. Я не стану приводить длинной беседы и первоначальных плоских доводов m-r Тика: как кит мог проглотить Иону? как может быть бебе без содействия мужчины? и тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Хуренито перешел к существу вопроса. Фундамент нашего социального быта построен на небе. Не ведая того, m-r Тик вырывает камни из собственного дома, он анархист. Этого мэр вынести не мог, он в волнении прошелся по зале, поглядел, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и обмотал живот трехцветной лентой. Почему египетский раб строил пирамиду? Не потому ли, что ее возглавлял,— да простит m-r Тик выражение... бог? (Мэр пожаловался на головную боль.) Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет бога, то почему у m-r Тика дом? Почему его не может взять поденщик Лото? Ах, m-r Тик так неосторожен! (Мэр начал просить прощения — занят, заседание.)

Неделю спустя в «La Croix» было напечатано следующее:

«Еще один Савл. Известный своими гонениями на церковь мэр Гириека — Тик явился на днях к настоятелю церкви Сан-Антуан и рассказал, что у ручья Фью ему явилась Святая Дева и промолвила: «Покайся, пока не поздно!» В начале июня первый специальный поезд богомольцев направляется в Гириек к ручью Фью. Запись на места — в редакции».

Мы были с Учителем в катакомбах близ Рима на Аппиевой дороге. Поглядев на черные скользкие проходы, надышавшись смрадом, вдоволь налюбовавшись на старика монаха, продававшего за сходную цену двум баварским крестьянкам свеженькое ребро какого-то мученика,— мы вышли наверх. Было просторно, свежо и безлюдно. Я осмелился тогда спросить Учителя, что думает он о судьбах религии? Хуренито сказал:

— Истлеют все кости и все боги. Разрушатся соборы и забудутся молитвы. Не жалей об этом. Видишь там, на солнце, откидывая ноги, прыгает по степи маленький жеребенок. Разве не пере-

дает он беспредельного восторга бытия? А здесь, у лачуги, задрав морду к небу и опустив хвост, воет собака — не вся ли скорбь земли в ней? Им будут подобны грядущие люди. Они не станут замыкать своих чувств в тысячепудовые облачения. Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминание о легких днях человечества — нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который еще ни о чем не ведает, который царственным жестом тянется сорвать — что? — брошку на груди матери? яблоко в саду? или звезду с неба? Потом его научат, как надевать лифчик, как целовать руку отца, как шалить и как молиться. Пока он дик, пуст и прекрасен. Если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть человечество, люби, люби крепко детей! Оскорбляй святыни, преступай заповеди, смейся, громче смейся, когда смеяться нельзя, смехом, мукой, огнем расчищай место для него, грядущего, чтобы было для пустого — пустое.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Алексей Спиридонович ищет человека

На следующий день после встречи нашей с Айшей мы отправились в Голландию, где у Хулио Хуренито был ряд дел: заседание пайщиков «О-ва канализации острова Явы», доклад в гаагском «Трибунале Мира», закупка большой партии картин мастеров семнадцатого века, кофе и ножей людоедов с прелестной резьбой по рисункам немецкого экспрессиониста Отто. По пути мы остановились в Антверпене и вечером направились в порт. Длинный ряд кабачков соблазнял нас медными бананами, качающимися попугаями и неграми с воткнутыми в жестяные губы трубками из тыквы. Мы вошли в один, как будто наиболее спокойный (мистер Куль высказывал всяческие опасения касательно библии и долларов). На столах и под сидели люди самых разных цветов: белесые скандинавы, подрумяненные фламандцы, хорошо прожаренные солнцем итальянцы, пережаренные арабы и черные сомалийцы. Люди эти неистово кричали, и мистер Куль, схватившись за доллары, мысленно цитировал библию, убежденный, что сейчас начнется свалка с ножами, а возможно — и с браунингами. Но Учитель успокоил его, объяснив, что это кастильцы вполне дружески говорят о достоинстве икр дочери кабатчика. Мрачный англичанин сидел один, на птичьей клетке, каждые пять минут выплевывая: «Виски!» — потом он оживился, показал сам себе какой-то детский фокус, состоящий в таинственном появлении монеты в шляпе, и, показав его, сам же

долго, простосердечно смеялся. Французы пили мало, много шумели, хвастались — один тем, что он в Марокко заколол в течение одного дня двенадцать разбойников, другой — тем, что у себя в Ниме он в течение одной ночи доставил ряд различных удовольствий такому же количеству девиц. Оба они, когда мимо куля с перцем проходила служанка, уродливая баба лет пятидесяти, хватали ее за руку выше локтя, с возгласами: «Э-э! красотка!» — что, очевидно, являлось необходимым ритуалом.

Вдруг в дальнем углу кто-то застонал по-русски:

— Друг мой, брат мой, скажи мне, человек я или нет?

Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента, с жидкой, как будто в год неурожая взошедшей бородкой, в пенсне с одним стеклом выбитым, в широкой фетровой шляпе, на которой, наверное, сидели и лежали различные посетители различных кабачков.

Он настойчиво тряс одного из негров, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос, тем более предлагаемый на языке непонятном, но от волнения и усилия понять высунул кончик языка и качал во все стороны головой. Зрелище это было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского, который необузданно обрадовался, увидав соотечественника, и предложил мне тотчас же решить проблему, не выясненную бедным сомалийцем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом кувшин и четыре стакана, что «все фикция!». Это понравилось Учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты, или, выражаясь языком более патетическим, «чудеса», подтверждающие отсутствие реального пространства и времени. Русский был настолько этим потрясен, что пощупал свои карманы, нос негра, а потом долго и глубокомысленно сидел, приложив свою руку с браслетом к уху и, очевидно, проверяя, идут ли его часы. Убедившись, что у негра есть нос, что часы не испорчены и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, не зная, как это все согласовать, он икнул, спросил еще литр водки и гордо объявил:

— Все фикция, но существует человек!

На ласковую усмешку Учителя он обиделся, хотел уйти, не ушел, но счел нужным представиться:

— Свободный человек, то есть Алексей Спиридонович Тишин.

Непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать свою жизнь и просил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Тогда Тишин объяснил, что он привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах, и так как ему уже за тридцать, то менять привычки тяжело, но жизнь рассказать необходимо, иначе он побьет

негра, или утопится, или начнет здесь же строить баррикады. Все три возможности нам мало улыбались, но и идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом Учитель убедил Алексея Спиридоновича, что кабачок в порту то же самое, что вагон, и поэтому, рассказав здесь свою жизнь, он не отступит ни от великих традиций русской литературы, ни от своих тридцатилетних привычек.

Родился Алексей Спиридонович в городе Ельце и там же провел свое детство. Мать его вскоре после рождения Алеши убежала с французом Жоржем, парикмахером местного предводителя дворянства. В Москве Жорж, получив от нее «сувениры без цены», то есть ларец с фамильными бриллиантами, счел свою миссию в стране дикарей законченной и уехал в родимую Тулузу. Мать Алеши попробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам, но, проваландавшись два года, умерла. Мальчик рос с отцом, генералом в отставке и большим самодуром. Наблюдали за ним различные, довольно быстро сменявшие друг друга гувернантки, которые досуги свои отдавали попечениям о генерале. После ночей в кабинете отца они били Алешу, щипали его с вывертом и при этом смеялись: «Ну-ка, попробуй, пойди пожалуйся отцу!» Зато когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствуя немилость, они дарили Алеше трубочки со сливками, пришептывая: «Ты хороший мальчик, пойди скажи папе, что я тебя очень люблю и его тоже. Только смотри, не говори, что это я тебе сказала». Генерал пил запоем. Порой, схватывая висевший над турецким диваном хлыстик, хлестал им по спине Алешу, приговаривая: «Шлюхино отродье, вот тебе! И черт тебя знает, чей ты! Цирюльник поганый! иди мыль морду!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой с сеткой, который завывал: «Ангел мой чистый! солнышко мое! недостоин я тебя, гад, блудодей! Раздави меня! плюнь, ну, плюнь в отца!» Он не успокаивался, пока Алеша не делал вид, что плюет в него. Иногда после этого генерал смиренно уползал на четвереньках, как пес к себе в конуру, но порой вдруг вскакивал, рыча: «Как, в отца плюешь, пащенок?» — хватал хлыст, и все начиналось сызнова.

Особенно запомнилась Алексею Спиридоновичу одна ночь. Генерал как-то привез молоденького медвежонка, который стал закадычным приятелем Алеши и участником всех его игр. Звали медвежонка Бумбой, был он растяпым, падким до всяких сластей и очень ласковым.

Ночью генерал будит Алешу, закутывает бережно в одеяло и несет в садик. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит Бубма. Генерал размахивает наганом, хохочет: «Убиение святого Севастиана, картина, достойная кисти Айвазовского, хи-хи-хи!

Мишка, тащи сюда бутылочку зубровки — за переход души раба божьего Бумбы!» Медвежонок, думая, что с ним играют, облизывается и урчит. Генерал стреляет, спьяна — мимо, только лапу прострелил. Бумба отчаянно визжит, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Алешу несут наверх в забытьи. Жар, горячка. Ничего — отлежался.

Еще рассказывал Алексей Спиридонович о своих детских играх. Больше всего он любил ловить на окошке мух и отрывать им лапы, крылышки. Но потом ему становилось их жалко и скучно. Тогда он устраивал «мушиный лазарет» — в одной спичечной коробке помещались мухи без крылышек, в другой — однокрылые, в третьей — безногие и так далее. Иногда он молился перед иконой богородицы, чтоб она устроила в раю его, Бумбу и маму (о которой он слыхал от старушки ключницы), но раздраженный тем, что у него, только у него — у Пети, у Васи и у всех есть — нет мамы, что Бумбу пристрелил отец, вынимал из шляпы очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть глаза богоматери: «Вот тебе, вот тебе!»

Когда Алеша был в шестом классе гимназии, генерал перепил зубровки и схватил простуду во время поездки на богомолье к Тихону Задонскому, куда он возил с собой девку Любку и фрейлейн Шарлотту. Он умер покаявшись, причастившись, оставив сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Алеша впервые познал тяготы плоти. До этого он, лишь прочитав тайком в «Ниве» «Воскресенье» Толстого, тщетно старался горничную Лену претворить в Катюшу, неожиданно, как бы невзначай прошмыгивая пальцами по ее телу и заставляя ее бить нещадно посуду. После долгих волнений, колебаний и страхов Алеша отправился с «камчадалом», усатым Пукловым, в заведение Анжелики Карповны и там за три рубля получил от дородной, но расторопной Стеши некоторое элементарное воспитание. Когда Алеша вышел из каморки в салон Анжелики Карповны, Пуклов, глотая мутное пиво, спросил восторженно: «Ну, что скажешь, брат? Здорово? Это мое открытие, в некотором роде Колумб!» Но Алеша, закрыв лицо руками, бубнил: «Что я сделал?» И, получив «размазню», выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминал мать и хныкал. А на следующий день, решив начать жизнь новую и достойную, пошел в библиотеку, записался по второму разряду и выбрал книги Мережковского и Бердяева.

Все это, конечно, не помешало ему отправиться вскоре,— правда, не к Стеше, но к Маруне, черной и потной молдаванке, похожей на истекавшую соком маслину. Читать книжки о грехе и об Антихристе он также не перестал. Он завел альбом и, разделив его на отделы: «Любовь», «Бог», «Природа» и другие, выписывал туда

наиболее потрясавшие его мысли. Так, в отделе «Человек» значилось: «Человек создан для счастья, как птица для полета» — В. Короленко; «Человек — это звучит гордо» — М. Горький и так далее.

Засим он влюбился в голубоглазую Нюру, дочь почтового чиновника, отличительными чертами коей были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котенка и страстная любовь к шоколаду с фисташковой начинкой. Влюбившись, ходил, вздыхал, наконец долгими разговорами о своем одиночестве и подсаживаниями поближе на узкой кушетке добился основательного поцелуя. После этого его охватили сомнения. Как ни была возвышенна и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как ни были сладки пухлые губки Нюры, многое заставляло его призадуматься. Нюра — не Стеша и не Маруня, у нее отец и прочее. Значит — жениться? Но Нюра и не Беатриче, у нее нет жажды божественного и священного бунта. Значит — служба, пеленки. Главное — дети. Разве можно читать Ницше или Шопенгауэра, когда рядом пищит младенец? Конечно, дети не всегда бывают, говорят даже, будто есть кое-что. Но ведь «кое-что» — это не бирюзовое колечко, его не поднесешь невесте. И такое загрязнение идеала!.. Он раскрыл альбом, отдел «Любовь», и прочел: «Только утро любви хорошо» — С. Надсон. Это определило решение: и он послал Нюре письмо на шестнадцати страницах о «великом конфликте между разумом и сердцем» и о «непостижимых путях провидения». Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища прокурора, он вознегодовал: «Вот вам вечная любовь, идеал! А впрочем, я незлобив и желаю ей счастья».

Лет двадцати Алексей Спиридонович начал заниматься политикой, т. е. составлять конспект по «Политической экономии» Богданова и размышлять: грех или не грех убить губернатора? Как-то Пуклов, приятель с детских лет, ставший членом подпольной организации, привел к Алексею Спиридоновичу рыжего детину в косоворотке и пробасил: «За ним слежка, все ночевки провалены, так что он у тебя переночует». Весь вечер Алексей Спиридонович пытался добиться у гостя, что он думает о революции, о насилии и об искуплении. Но парень оказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с языком да еще на альбом с видами итальянской Ривьеры. Все последующие дни Алексей Спиридонович томился сомнениями: «Быть может, он убил или убьет. Я приютил его, спас. Значит, я покрываю убийство. Я — убийца. Конечно, «не мир, но меч», а как понять тогда «поднявший меч — от меча падет»? Словом, Алексей Спиридонович был глубоко удручен и подавлен совершившимся. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. Ясно — следят. Прежние духовные терзания сменились житейскими. Он видел себя в тюрьме, бритым, в кандалах, даже идущим на виселицу. Это улучшило его мо-

ральное состояние, ибо он почувствовал себя героем, но все же не давало возможности спокойно жить. После мучительной недели он решил бежать за границу. Не зная, однако, как это делается, он подал прошение орловскому губернатору. Три дня он ждал ареста и был бесконечно удивлен, когда ему принесли заграничный паспорт. «Я перехитрил их»,— думал он, мчась в спальном вагоне по Германии.

За границей Алексей Спиридонович искренно считал себя политическим эмигрантом. Заказывая модные костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поразивших его вещей, как-то: специальный набор мазей и щеток для чистки мундштуков, электрические щипцы для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил выказывать свое преклонение перед «сермяжной Русью» и противопоставлять тупой и сытой Европе ее «смиренную наготу». Ничем он не занимался и в опросных листках отелей в рубриках «профессия» гордо ставил — «интеллигент», чем немало смущал швейцаров. Иногда он впадал в уныние и решал, что необходимо трудиться для «грядущей России». В одну из таких минут он записался в версальскую школу садоводства, ибо верил, что грубый материализм чужд славянству и что родине нужны будут цветы. Но, прослушав первую лекцию об удобрении, сбежал в Париж и мертвецки напился. Другой раз он почувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между «группой содействия партии социалистов-революционеров» и «обществом улучшения церковного хора», считая социализацию земли и возрождение церкви равно важными. Он беседовал с неким мрачным эсером, занимавшимся предпочтительно игрой в шашки и набиванием папирос, на разные отвлеченные темы, а от него шел в кафе с садиком, где рябой псаломщик любил обыгрывать в кегли французов, и начинал приставать к нему с теми же вопросами. В конце концов он записался в обе организации, внес членские взносы, но ни на одно собрание не пошел, ибо наступили летние жары и было приятнее, завесив окно мокрой простыней, в одних кальсонах пить настоящий русский чай Высоцкого.

Европа не испортила Алексея Спиридоновича, и он по-прежнему боялся согрешить. Познакомившись в кабаке с веселой француженкой по кличке «Юю», он направился к ней и готов был совершить все, что в таких случаях полагается, когда заметил, что она не проявляет к нему никакого внимания, раздумал и начал одеваться. На недоуменные вопросы он деликатно отвечал, что может предаваться земной радости без духовного общения, ибо это было и в Элладе, но не без взаимной страсти, и ушел, получив вдогонку груду ругательств, а также неподходящий для метания предмет, который оказался у Юю под рукой.

А между тем шли годы, деньги тоже уходили, немало этому спо-

собствовали и бывшие опекуны, теперь доверенные. Присылки становились все скуднее. Алексей Спиридонович переселился в мансарду и вместо «Cafe de Monico» посещал различные притоны в районе рынков и вокзалов. Но, как прежде, выпив полбутылки, он начинал бить стаканы, устраивать трагический массаж лба, кидая неизвестно кому горькие истины: «Все фикция, но есть человек!..», «Что мир? — ничто, а человек — это дух!..» — и прочие.

За таким занятием в кабачке Антверпена, куда он попал, объезжая со скуки старые церкви Бельгии, мы застали его, и приблизительно такова была его биография, рассказанная нам — хоть, видимо, не впервые, но с пафосом, слезами и глубоким волнением. Закончив рассказ, он закричал:

— Пусть я скот, жалкий слизняк, но есть человек!..

Учитель мягко возразил:

— Друг мой, ваше интересное и поучительное повествование только еще убедительнее показывает, что то, о чем вы мечтаете, так же иллюзорно, как и все на свете.

Тишин возмутился, и так как мы уже заметили, что сильные душевные движения у него связаны с битьем посуды, то поспешили увести его прочь из кабака.

Алексей Спиридонович объявил, что он немедленно едет на пароходе «Реджина» в Рио-де-Жанейро, чтобы искать Человека. Учитель возразил, что если Человек существует, то область его нахождения распространяется на два полушария, и ему незачем ехать в Бразилию. Он — Хуренито — и мистер Куль охотно предоставят господину Тишину необходимые для розысков средства. Будет основано «Общество для изыскания Человека». Если же эта работа ни к чему не приведет, и Человек окажется несуществующим,— Алексей Спиридонович должен будет признать правду Хуренито и в дальнейшем следовать за ним.

— Я очень рад буду иметь возле себя коренного русского. Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи и, кажется, даже парламент! Но все, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы исчезнуть без следа. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать, я знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела, я знаю, что не вам сокрушить эти спаянные кровью многих сотен поколений насиженные города. Но вы велики, и такой пустыни не выдержит дряхлый мир — голова закружится. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой. За это я вас люблю, и я верю, что вы, господин Тишин, будете со мной.

Алексей Спиридонович торжественно подал Хуренито руку. Это

было на рассвете в пустынном порту, среди дремавших эмигрантов — евреев из Галиции и каких-то бродяг в каскетках, ругавшихся меж собой из-за большого желтого шейного платка. Картина была несколько оперная, и Хуренито, усмехнувшись, запел: «Где же цыпочка, где же Маргариточка?» — на что Алексей Спиридонович почему-то обиделся.

Я не стану подробно описывать деятельности «Общества изыскания Человека» ввиду ее чрезмерно сложного и разнообразного характера. К тому же труды академической секции общества собраны датским психологом Фальсом и должны вскоре появиться в свет. Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Алексея Спиридоновича результаты, доказав отсутствие специальных, им предначертанных схем и обнаружив полное тождество обследованных экземпляров с выродочными (дегенеративными) особями, уже ранее известными зоопсихологам. Что касается практической деятельности Общества, т. е. непосредственных розысков Человека, в плане Алексея Спиридоновича, то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов. Вначале агенты Общества, соблазненные огромными премиями, рыскали повсюду с анкетами, составленными Алексеем Спиридоновичем и состоящими из тридцати восьми вопросов, ища тех, кто удовлетворит предъявленным требованиям. Они привозили в правление Общества на рю де ля Боэси самых неожиданных претендентов: замшенных богаделок, зобастых идиотов из Альп, докторов философии из Гейдельберга, молоденьких еврейчиков «бундистов». Но вскоре, разочарованные строгостью Алексея Спиридоновича, они перешли на службу к мистеру Кулю и занялись продажей его неподражаемых автоматов.

Во всяком случае, искать «человека» стало модным, и возможно, что некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный парижской газетой «Matin» непосредственно за конкурсом лучших танцев и наиболее остроумных определений обманутой любви. Газета поместила фотографию молоденькой женщины в лохмотьях, с грудным младенцем. Подпись: «Эта женщина утверждает, что она три дня ничего не ела и что ей негде спать. Как должен поступить настоящий человек, увидев ее?» Ответы были весьма разнообразны и всесторонни: «Озаботиться нравственным воспитанием молоденьких девушек», «Очистить наши улицы от бродяг», «Подвергнуть ее медицинскому освидетельствованию», «Испытать, сколько она еще сможет прожить при подобных условиях», «Свергнуть кабинет министров», «Передать миру в стихах или, в случае неумения, в прозе ее муки». Премию получил наиболее распространенный (13.426) ответ: «Сказать ей: стыдитесь. Вы молодая женщина и должны работать». Как курьез газета отмечала получившее один голос пожелание: «Отвести ее в ясли и на государственный счет накормить».

Отчаявшись в работе Общества, Тишин пробовал сам предпринять розыски, но был трижды обокраден, раздет, избит каким-то консьержем и, наконец, посажен в тюрьму, откуда Учитель должен был его освобождать.

Хуренито, наконец, решился спросить упрямца, признает ли он себя побежденным.

— О, нет,— закричал Алексей Спиридонович,— пойми меня! (Надо сказать, что он был очень фамильярен, на следующий день после знакомства с Хуренито он захотел выпить с ним на брудершафт и облизал щеки Учителя, после чего тот, брезгливо морщась, направился к умывальнику.) Пусть я не нашел истинного человека, но он существует! Не веришь? Вот тебе доказательство — я человек! Ты усмехаешься? Да, я животное! низкое! подлое! грязное! Но я люблю Наташу, и я человек, я бог! Слышишь?

Далее многоречиво и патетично он рассказал о своей любви к какой-то курсистке Орловой, изучающей в Париже французский язык. По вечерам она играет ему «Песню без слов» Чайковского, и Алексей Спиридонович чувствует, что он — человек.

— Все это прелестно, в том числе и Чайковский,— возразил Учитель,— но чем, собственно, твое чувство (вполне законное, скажу кстати) отличается от некоторых эмоций моего кота Джо? Тем, что кошка не берет на прокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными?

Алексей Спиридонович впал в ярость, крича, что «его любовь — любовь человека», ибо ей «ничего не нужно» и «она навек».

— Что же, посмотрим...— сказал Учитель,— отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев.

Предсказанию Хуренито суждено было скоро осуществиться, увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае месяце, т. е. пять недель спустя после описанного мной разговора, Наташа Орлова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Алексей Спиридонович, как-то выпив, посмел обвинить Учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явно нелепостью, ибо Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, произведенной одним из лучших хирургов Франции. Учитель в крайне мягкой форме ему ответил, что, ведя большую игру, он не нуждается в мелких взятках, и, чтобы доказать ему свою правоту, он скорее заставил бы m-lle Орлову жить до ста лет, так как ее смерть способна лишь замедлить неминуемое. Действительно, вначале Алексей Спиридонович был безутешен. В дождливую ночь, обманув бдительность привратника кладбища, он приполз на могилу Наташи и, уткнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увезли. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой, о том, как она любила пармские фиалки и музыку, какие у

нее были маленькие ручки (перчатки $5^1/_2$) и как он ее любил. Раз он сказал:

— Я думаю, для нее лучше, что она умерла, она не узнала всего горя жизни.

Учитель шепнул мне:

— Начинается! он уже ищет утешения.

Потом Алексей Спиридонович стал интересоваться обычными жизненными делами, читать газеты, играть в шахматы. Вспоминая о Наташе, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторону. Но это случалось все реже и реже. Как-то, когда Айша, подарив ему букетик фиалок, сказал: «Это любила твоя госпожа»,— он рассердился, и Хуренито заметил: «Дальнейшая фаза — он ищет забвения». Потом, в течение довольно долгого времени, Алексей Спиридонович о Наташе не упоминал вовсе, был весел, спокоен и ровен. После этого перерыва, вспомнив ее снова в беседе со мной, он заговорил о ней безо всякого волнения, я сказал бы — «эпически», как говорят о воспоминаниях детских лет, о бабушке или о семейном гардеробе, т. е. сочувственно-доброжелательно. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с француженкой m-lle Виль, художницей, взбалмошной и весьма очаровательной. Началось все по порядку: вздохи, одиночество, но на сей раз без неудобного отца и без аппендицита. Он пришел к нам и заявил, что: «В судьбе — высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой, она бы с ним мучилась, ей теперь лучше, и m-lle Виль тоже, ну, да и ему...» Заметив насмешливый взгляд Учителя, он смутился, закричал, что Хуренито прав, что он, Алексей Спиридонович, «не человек, а скот», но что «жизнь, несмотря на это, прекрасна».

Через месяц m-lle Виль, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и философия Тишина, заменила его аргентинцем-жокеем, а Алексей Спиридонович приплелся к Учителю с причитаниями о «жизни-фикции». С тех пор следовал он за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Хуренито он не усвоил и часто сбивался с пути, увлекаемый различными, как он сам говорил, «фикциями», но любил Учителя елико мог. Таков был четвертый ученик Хулио Хуренито.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Различные суждения Учителя о любви

В настоящей главе я приведу некоторые суждения, поясняющие отношение Учителя к земной любви. Злая молва утверждала, что Хуренито развратник, что он растлевает девочек и возит с собой в

специальном сундуке-шкафу какое-то чудовище, полуженщину, найденную им на вершине Анд, для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Все это — низкая ложь. О жизни Учителя я рассказываю, глава за главой, все, не утаивая ничего из его великолепного наследства. О плотской любви и о страсти Учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без смущения, хихикания, пауз и слюнявых словечек. С равным вниманием глядел он на гимназистку пятого класса, у которой под передником только начинают тесниться груди, стыдливо просящую у него автографа в альбом, и на грандиозное зрелище случки кровавоглазых бешеных быков.

Однажды, проходя мимо быка, в ярости и муке оседлавшего телку, Учитель снял шляпу и на недоуменный вопрос мистера Куля ответил:

— Я повторяю ваш условный жест. Снимите и вы котелок, мистер Куль. Если обнажать голову (а это, кроме всего, гигиенично), то не перед выцветшими красавицами с золотыми венчиками, не перед трупом, начинающим уже попахивать,— нет, здесь, перед этим жестом пахаря, вспахивающего жесткую землю, перед этим, в муке, от нищеты извергаемым семенем, перед потом, кровью, перед жизнью.

Мистер Куль безусловно считал Учителя человеком глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало Хуренито быть хорошим гидом. Но периодами американец впадал в душеспасительное состояние и начинал надоедать Учителю сомнительными наставлениями.

Я помню, как утром, встретив в саду нашего миссионера, Хуренито сказал ему:

— Мистер Куль, вчера вечером на моем ночном столике я нашел грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в моей комнате крайнюю чистоту, сплю всегда с открытым окном, люблю свежий воздух и не могу допустить подобных явлений. Будьте добры перенести вашу деятельность за пределы моей спальни.

— Вы шутите? Я занес вам высокоталантливый и безусловно нравственный труд нашего молодого проповедника Хэля «О супружеской жизни согласно наставлениям апостола Павла».

— Вот именно, об этой скабрезной литературе я и говорю. Были тычинки и пестик, козел и коза, отрок и девушка! Пришли ваши апостолы и пророки, отцы церкви и кастраты, объявили великое — стыдным, достойное — едва терпимым, расплодили кары и гнусный шепоток в углу, сюсюканье перед чистотой, т. е. перед малокровным, худосочным бессилием, вырождающимся извращением. Вместо первого человека, весною буйно кидающего на траву женщину, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой разрешается человеку, по его человеческой, т. е. низменной, слабости, спать с законной

супругой. «Конечно, лучше не женитесь»,— советовал ваш любимый апостол. Подумали ли вы над этим? Лучше не рожайте. Установили культ матери, окружили ее грудь ангельским светом, повели ее в храм, но путь к этому храму завалили грязью, заплевали брезгливыми плевочками монахов. Конечно, не смогли оскопить человечества,— пороху не хватило,— а посему были «терпимыми». Что же, не удивляйтесь, если мир после этого превратился в один огромный «дом терпимости». Вы сказали: «плотское плохо», и миллионы уверовали. Одни надели вериги и занялись бесплодным делом, т. е. днем и ночью думой о том, как бы удержать пробку в бутылке газированной воды. Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье аскета или в каморке старой девы? Думают, не ведая о том, думают телом, истомой, мечтами о вечной деве или небесном женихе. Другие — большинство — решили: скверно так скверно. То, что могло быть храмом, стало свалкой нечистот. Вместо дивного мифа — портсигары с двойной крышкой: на первой — пейзаж или незабудочки, а на второй, тайной, для приятелей — нечто совсем нехорошее. Этот портсигар, то есть, простите, духовную книжицу, я, мистер Куль, заботясь о чистоте и гигиене, принужден был из моей комнаты со всей поспешностью выкинуть.

Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше его даже современную проституцию. На этой почве ему пришлось столкнуться с косностью и враждой общества. Так раз к нам явился знакомый Хуренито виконт Ленидо, размахивая тростью. История этого юноши из весьма знатного рода такова. Проиграв в казино Биарица последние крохи наследства, наделав мыслимые и немыслимые долги, он познакомился со старой американкой мисс Хопс, которая жаждала любви, нежных признаний и герба на визитной карточке. Дальнейшее понятно, надо только добавить, что мисс Хопс была на редкость уродлива, так что ее лицо казалось чем-то, на лицо отнюдь не похожим и бесстыдно обнаженным, и не менее страстна, требуя безо всякого стеснения на пляже, чтобы жених то обнял бы ее за талию, то коснулся бы ее груди. Получив свадебный билет, Учитель был озабочен тяжелым будущим этой четы. На свадьбу он не пошел, но послал в виде подарка большой платок мексиканской выделки и извлечение из «Календаря сельского хозяина» о приемах спаривания жеребца с ослицею. Жеребцу в таких случаях показывают кобылу, а потом завязывают наглухо глаза. Прилагая платок, Хуренито предлагал воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья. Как я уже сказал, виконт явился к Учителю на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но Учитель сам признал свою ошибку.

— Это было непростительно с моей стороны, я послал вам все, кроме... кобылы. Но я думал, что у вас здесь обширные знакомства.

Я понимаю ваше негодование, простите меня великодушно. Знаете ли вы m-lle Тонетт?

Виконт опустил палку, рассмеялся и ушел, захватив несколько адресов.

Другой раз, в кафе, где мы сидели, явился m-r Бок, мелкий журналистик, целый день жадно выискивающий сенсацию строк на двадцать и принужденный довольствоваться трехстрочными известиями о кражах, которые давал ему чиновник префектуры, получавший за это право не регулированных ничем визитов к m-me Бок. Журналист начал приставать к Хуренито, прося какой-нибудь, хоть небольшой сенсации, ну, что-нибудь о революции в Мексике или о новых изобретениях мистера Куля. Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Боку совершенно необычайную по грядущему успеху заметку:

«Исключительное злодеяние! Вчера вечером в людном месте Парижа на рю Сан-Онорэ известный парижский адвокат m-r Трик, вице-председатель «Лиги борьбы с уличной безнравственностью», совершил гнусное насилие над молоденькой девушкой Люси З., шестнадцати лет. Самое ужасное в этом преступлении то, что оно совершено с ведома родителей девушки, владельцев большого мыловаренного завода, которые находились в это время в той же квартире».

M-r Бок убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана, а через несколько дней журналист явился к Хуренито с забинтованной головой.

— Вы меня подвели. Все оказалось выдумкой. Этот негодяй Трик просто женился на Люси З., и они поселились у ее родителей на рю Сан-Онорэ. Меня уже три раза били и собираются еще бить. Я не ночую дома и не бываю в редакции. Кроме всего, я получил повестку из суда. Вы сделали меня самым несчастным человеком на свете...

Учитель возразил:

— Друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастиях, но я не погрешил против истины. Шестнадцатилетняя Люси не могла дать никакого согласия на все над ней совершенное, ибо ее воспитывали в чистоте и благонравии. Она не ведала даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела два раза и сильно боялась его. Родители ее, разумеется, ведали о преступлении...

Бок застонал:

— Но ведь поймите же, они венчались!..

— Только чтобы избавить вас от еще больших неприятностей, я не упомянул, что в преступление были посвящены также представители государства, т. е. чины мэрии, скрепившие брачный контракт.

Эти доводы не убедили Бока, и он ушел расстроенный, захватив с собой все содержимое кошелька Хуренито, дружески ему предло-

женное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что m-r Трак — конкурент и ярый враг m-r Трика, разыскал бедного журналиста и предложил ему наградные и уплату за диффамацию.

Учитель говорил:

— Когда два человека основывают вместе коммерческое дело, они интересуются капиталом и соответствующими способностями друг друга, а не любовью к поэзии или умением играть в футбол. Когда хотят посадить в саду дерево, то не занимаются рассуждениями: что такое земля — прах или святыня, не любуются ею как пейзажем и не оценивают ее у соседнего перекупщика, но смотрят, подходит ли она для такого-то дерева. Когда заходят покупать воротничок к рубашке, то, как бы ни была красива окраска и низка цена, никто не возьмет слишком большой или маленький номер. Когда же людей сводят для супружества, то исследуют все, кроме того, для чего, по существу, их сводят. Узнают, каково приданое невесты и много ли у нее серебряных ложек, сколько получает жених и есть ли шансы на увеличение оклада, любит ли он играть в бридж или нет, умеет ли она готовить паштет с печенкой, знают ли они иностранные языки и пр. Узнав, ведут не в контору, не в благотворительное учреждение, не на экзамен филологии, а к широкому уютному ложу, стыдливо потупив глаза, и потом очень удивляются статистике «несчастных браков».

О, лицемеры, вселенские матримониалы, волочащие земную радость по захватанным папкам нотариуса, маклера пломбированных товаров, и вы, пришептывающие при сделках возвышенные словечки, патеры, пасторы, попы и раввины,— какой притон не покраснеет от вашего присутствия?

Учитель познакомил нас в Севре с четой Нольво. Оба были энтомологами, то есть предпочитали всему на свете обследование гусениц. Помимо этого, они были молоды, не уродливы, милы, жили в уютной квартире, где среди стеклянных банок с червями стояли фарфоровые статуэтки и вазы с цветами, словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы часто встречались с Нольво и по какой-то особенной горечи мелких словечек, почти неуловимых движений, заметили, что не все обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре Нольво-муж сделал Учителю соответствующие признания. Оказалось, что супруги друг друга нежно любят и чувствуют взаимную близость, сидя по целым дням над распоротыми червями, или вечером, для отдыха читая трогательные элегии comtesse de Ноай. «Наши души созданы одна для другой,— сказал Нольво,— но...» И далее он смутно коснулся того, о чем современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра и на судебном процессе — о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость, это превращает страсть в оброк, выполняемый

двумя каторжниками. Учитель познакомил бедного ученого с m-lle Виль, которая к этому времени совершенно износила своего аргентинца, а нам предложил чаще встречаться с госпожой Нольво. Очевидно, страдания супругов были длительны и чрезмерны, ибо дело пошло быстрым темпом.

Через две недели, возвращаясь из Парижа после свиданий с Виль, Нольво не мог уже скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Нольво, как это ни покажется странно, остановила свой выбор на Айше и тоже, судя по рассказам нашего наивного брата, не жалела об этом. Казалось, должно было наступить совершенное счастье. Но супруги, вместо того чтобы в свободное от m-lle Виль и Айши время продолжать рассматривать гусениц и читать стихи, предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Засим Нольво-он повез Виль коллекцию особенно интересных червей, найденных им в различных породах сыров, требуя, чтобы она разделила с ним все его восторги перед желудками этих существ, после чего был своей любовницей изгнан решительно и навсегда. Нольво-она решила читать Айше сонеты о любви греческих нимф и, когда тот, убаюканный ее голосом, уснул, начала громко рыдать: «Ты не понимаешь духовной красоты...» Все это протекало более или менее на наших глазах, так как ни господин Нольво, ни Айша скрытностью не отличались.

— Вот вам еще один пример издыхания Эроса,— сказал нам Учитель.— Нольво обязательно хочет поцелуев, духовного общения и вытаскивает из кармана червей. Он взращен в понимании своей плоти, как чего-то низшего — не залы, но передней. И он предаст свое тело, свой восторг, свою любовь, вернется к госпоже Нольво, будет ласкать ее без страсти, без воли, без радости, только потому, что, проспав с ней ночь, он найдет утром духовное общение, два микроскопа и книжечку в парчовом переплете.

Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Милане, где мы часто бывали у депутата Стрекотини. Сей муж был плюгав и щупл, но мнил себя безумным революционером, непонятым пролагателем новых путей, словом, чем-то вроде Бранда, ставшего марксистом. Сдирая воротничок, потея и не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику «ампир», он любил поносить «собственнические инстинкты» и «мещанский уклад» современного буржуа. Жена его, итальянка, в теле, слушала эти речи с чуть заметной насмешливой улыбкой, как будто она знала к ним какие-то достаточно веселые примечания. Слушая же, она все чаще и все нежнее поглядывала на Алексея Спиридоновича, в это время переживавшего очередное разочарование жизнью. Один из таких многообещающих взглядов был перехвачен товарищем Стрекотини, который оборвал обличение «проклятой собственности» на самом патетическом месте,

отослал супругу якобы по делу в редакцию, а сам стал выразительно ждать, когда мы уйдем.

Вечером Алексей Спиридонович получил письмо:

«Гражданин, я счел вас за честного человека, за русского социалиста, и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посмели быть назойливым по отношению к моей жене. Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. С социалистическим приветом Стрекотини».

Из этого письма Алексей Спиридонович узнал о чувствах супруги депутата и поэтому, когда на следующий день увидел в «Avanti» объявление: «Мой ангел. Не обращай внимания на тирана. Я твоя. Приходи в три часа в галерею!» (быстрота появления и экономия места указывали на опытность госпожи Стрекотини),— понял, к кому оно относится, бросил пессимизм и пошел бриться.

Учителя очень развеселило это небольшое происшествие.

— Что ты наделал, Алексей Спиридонович? Ты забыл, что у врага собственности есть не только собственная квартирка с изящной мебелью, но и собственная жена. А ведь жена или муж, это, как вещь,— мое, твое, чужое. Покушение на них — наказуемая по закону кража. Мужа можно взять, как добрый деревянный шкаф, бывший уже в употреблении, но, конечно, чтобы потом никто им не пользовался, ключик за поясом. Жена же, как кровать, должна быть новая и неподержанная. Ты пренебрег этим, разбойник, ты не гражданин, но преступник, нарушитель священных обычаев величайшего революционера мира.

Учитель повел нас в воскресенье в лондонский Гайд-парк.

— Глядите на тех, которые могут, но которым не разрешено.

В траве сидели молоденькие парочки. Это женихи и невесты, принужденные ждать долгими годами свадьбы, пока молодой человек не «встанет на ноги», то есть не сделается более или менее старым. Они могут видеться в комнатах только при посторонних или по праздникам в парке, где и стараются при всей невозможности этого насытить накопляемую страсть. У них под глазами круги, а глаза мутны от желания. Как преступники, они ерзают по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распаляемые беглыми поцелуями. Пройдет лет пять, может быть десять, им, усталым, развращенным всеми этими ухищрениями, больным от невольных пороков, родители, которые сами свою юность и радость растеряли в притоптанной траве, милостиво разрешат — «теперь сколько угодно».

Эти парочки припомнил Хуренито в другой раз, входя с нами в гнусное заведение в Париже на рю Пигаль:

— Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут.

В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели добрые буржуа. Я запомнил лицо одного, с красной ленточкой в петлице. В отделение, отгороженное от залы решеткой, вошли голые мужчина и женщина, проделывавшие обстоятельно все, что мнилось бедным дикарям прошлого священным, и получавшие по десяти франков за сеанс. Мало-помалу, разбуженные зрелищем, добрые буржуа зашевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались: «О какой бык!..» Наиболее потрясенные лезли к актерам, предупредительно огражденным барьером. Полагая, что время настало и что клиенты после такого допинга будут способны познать радость бытия, из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватали гостей. Господин с ленточкой в петлице долее всех проявлял безразличие, а под конец потребовал, чтобы с ним отпустили особу, участвовавшую в действе.

В начале 1914 г. в Лондоне вышла книга «Энциклопедия механической любви», нечто вроде современной «Кама-Сутры». По недосмотру типографии книга эта попала в склад какого-то «Евангелического общества», которое, воспользовавшись суматохой первых недель войны, уничтожило все издание. Уцелело лишь шесть экземпляров (один из них, насколько мне известно, находится в «Аду» парижской Национальной библиотеки). Эта книга была составлена одиннадцатью самыми старыми проститутками Парижа. Как известно, в Париже женщины указанного ремесла в молодости не ценятся, оставаясь в дешевых кафе левого берега на положении учениц. Только к тридцати пяти годам, потеряв молодость и красоту, но приобретя искусство, они становятся модными, ценными и могущественными. Женщины с таким стажем составили «Энциклопедию», и Хуренито охотно согласился написать к ней предисловие. Вот как оно заканчивалось:

«Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной, великолепной организацией. Не удивляйтесь и в любви встрече с тем же феноменом: великое искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки — жалкие кустарные поцелуи. Вы пришли на семнадцать минут к вашей возлюбленной, вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждет автомобиль. Вы приехали с биржи, где по радио продавали банкиру в Мельбурне акции хлопковых плантаций Бухары, и едете сейчас на аэродром смотреть международные состязания. Не ждите, что вас встретит Суламифь. Нет, вы найдете перед собой прекрасную, усовершенствованную согласно последнему слову техники машину, которая даст вам в течение семнадцати минут, по вашему выбору, любые из тринадцати тысяч восьмисот шести досе-

ле открытых развлечений, не уступая вашему беспроволочному телефону, великолепному «форду» и передвижной электрической ванне».

Хулио Хуренито рассказывал нам, что он организовал в Мексике «Кружок проституток для оказания помощи дамам общества». Проститутки, видя, с какой завистью рассматривают их в кафе «порядочные» женщины, и желая отплатить добром за различные филантропические начинания светских дам, обратились к ним при содействии Хуренито со следующим воззванием:

«Дорогие товарищи, наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные в вечное пользование зачастую отвратительным вам мужьям, выполняете не менее тяжкие работы. Посему мы решили прийти вам на помощь. Тем из вас, которым нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать соответствующие заявления в нашу «секцию охраны брака». Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, формальной распиской отдавать женам не менее тридцати шести вечеров в год. Но есть среди вас другие, тщетно тоскующие о радостях плоти. Мы среди тысяч находим одного, двух, трех, тапера, сутенера, случайного гостя, они же обречены на муки тюрьмы. Мы устраиваем для них особые тайные «вторники», обещая соблюдение секрета и проверенное на опыте общество наиболее одаренных из наших гостей».

Хуренито говорил, что «кружок» пользовался неслыханным успехом, но через полгода был обнаружен «полицией нравов» и председательница его подвергнута аресту.

Приведу также здесь речь Учителя на «Интернациональном конгрессе борьбы с проституцией», протекавшем в 1911 году в Филадельфии.

— Милостивые государи, я знаю, что слова мои вызовут протесты, быть может негодование, но я считаю необходимым выполнить свой гражданский долг и выступить здесь решительно в защиту проституции. Наше общество покоится на великом принципе свободы торговли, и я не могу допустить, чтобы вы покушались на эту священную основу цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление выдвинуть важность человеческого тела, но никто здесь не будет отрицать наличности разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий — не восстаете против права журналиста продавать себя еженощно за построчный гонорар? Почему вы не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям различные земные блага, и миссионеров, награждающих неофитов отнюдь не небесной манной? Священно право обладания своим телом и право продавать его за золото или за кредитные биле-

ты. Проституция является одним из наиболее ярких выразителей нашей культуры, и я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить ее под охрану международных законов, отнести ее к числу самых чтимых учреждений наравне с сенатом, биржей и академией искусств. Прошу немедленно поставить на голосование мое предложение — переименовать конгресс в «Международное общество насаждения проституции».

При содействии полицейских Хулио Хуренито был в экстренном порядке удален из зала заседаний.

Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бы рассекал тяжелые туманы веков, и мы, изумленные, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел, радостно сопряженных; не тех тел, дряблых и бесформенных, что мы привыкли наблюдать в общих банях, но новых, суровых, как сталь, и все же вольных. Он говорил нам, что путь к этим предельным празднествам дик и труден. Через отрицание любви, поношение тела, чрез скрытые тканями лица и совокупленье по разверстке идет он. Будет час — мужчина вместо поцелуя протянет женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или правнук его (что время?) объединит смутные атавистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее объятие.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Эрколе Бамбучи

Из Голландии мы направились в Италию и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по монастырям и соборам, занимались также обследованием различных «кианти», «барбера», «джензанно» в грязных траториях; сбором пожертвований на памятник д'Аннунцио из каррарского мрамора и золота пятьдесят шестой пробы (для этого Айша обходил с кружкой кондитерские и шляпные магазины, ударяя в кастрюлю и выкрикивая «Эввива!»), а также совместными с футуристами выступлениями, которые, впрочем, были однообразны и состояли в выявлении бурных восторгов перед поломанной мотоциклеткой, которую турист-американец оставил за ненадобностью лакею одного из венецианских отелей. Так шли дни, легкие и беспечальные. Приближалось время отъезда, ибо все церкви были осмотрены, все марки вина обследованы, в кружке Айши бренчали уже четыре лиры одиннадцать сольди и кольцо из американского золота, великодушно снятое с пальца некой маркизой Нукапрути, а футуристы и мотоциклетка нам окончательно надоели.

В жаркое летнее утро решили мы направиться в любимый квартал Рима Транстэверэ, не зная точно зачем: не то поглядеть мозаики святой Параскевы, не то выпить из глиняных кувшинов невинное «фраскатти», не то просто проститься с милым нашим сердцам городом. Поехали мы в экипаже и, вступив в узенькие улички Транстэверэ, почувствовали дивный запах постного масла, сохнущих на перетянутых через улицу веревках пеленок, церковного ладана, насквозь просаленных домов — незабываемый запах «Вечного Города». Вскоре извозчик остановил лошадей, и мы недоуменно стали поглядывать то на колеса, которые как будто были все на месте, то на конец улички, откуда мог идти нам навстречу очередной крестный ход, но откуда никто не шел. Извозчик же пылко и красноречиво ругался с каким-то человеком, лежавшим поперек дороги и явно не желавшим очистить путь. Извозчик приводил свои доводы: он везет иностранцев, к святой Параскеве проехать иначе нельзя, на улице лежать не полагается, а ездить можно; человек возлежащий — свои: сегодня жарко, уже два раза ему пришлось вставать и встать в третий раз ему гораздо труднее, нежели извозчику объехать кругом. Спор этот продолжался долго, потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия, достойный древнего Сената. Мы вылезли из коляски и тоже, правда робко, как дилетанты, подавали свои реплики. Мистер Куль пробовал соблазнить ленивца лирой, но итальянец, ловко ногой подобрав брошенную в сторону монету, не двинулся с места. Тогда извозчик, впав в предельный пафос, начал пробовать последние средства: он грозил бродяге святой Параскевой, путь к которой он преграждает и которая нашлет на него язвы, понос и комаров, карабинерами, которые артистически изобьют его мокрыми полотенцами, связанными в жгуты, и потом посадят в тюрьму, палкой мистера Куля, своим хлыстом, лошадиными копытами. Так как все это выходило из плана абстрактной дискуссии, итальянец не счел возможным возражать, но, сладко потянувшись, зевнул, почесал пуп и плюнул высоко в соседний дом, попав прямо в вывеску повивальной бабки над вторым этажом. Этот жест окончательно покорил Учителя, проявлявшего все время признаки умиления. Он подошел к итальянцу и, дружески ткнув его ногой в живот, сказал:

— Хочешь поехать в экипаже и вообще жить со мной?

Итальянц задумался, после, видимо, думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, подошел к коляске и сел на самое удобное место мистера Куля. Потом он сказал дружески Учителю:

— Мне очень жарко, но вы мне все же нравитесь... Садитесь-ка рядом! — и, сам о том не думая, вообще, вследствие высокой темпе-

ратуры и благородной лени не думая ни о чем, стал с этой минуты пятым учеником Хуренито.

По дороге Учитель заметил, что его новый питомец одет чрезвычайно своеобразно, а именно: обмотан различным тряпьем, которое в зависимости от местонахождения важно именовалось «рубашкой» или «штанами». Хуренито предложил ему заехать в магазин и выбрать одежду по своему вкусу. Итальянец оказался очень скромным; решительно отказавшись от костюма, он взял высокий лакированный цилиндр, несмотря на жару, зимнюю куртку для шофера, с козьим мехом наружу, и, наконец, кальсоны «зефир» лососиного цвета в изумрудную полоску, которыми немедленно заменил тряпицы, исполнявшие назначение штанов. Облаченный в столь своеобразный наряд, он почувствовал симпатию к Учителю и даже какие-то угрызения совести, ибо воскликнул: «Синьор, я ваш гид!» Возле трехэтажного дома, недавно обгоревшего, он схватил Хуренито за рукав: «Глядите, это развалины Рима!» — после чего в изнеможении откинулся назад и попросил лиру на кувшин вина.

В гостинице «Звезда Италии» предупредительный портье, сдержав свое изумление при виде живописного туриста, подбежал к нам с листком, прося его заполнить. Но странный посетитель презрительно заявил ему, что он «слава Мадонне, писать не умеет и учиться этому скучному делу даже за вторую пару таких же прекрасных штанов не станет. Имя? Эрколе Бамбучи. Откуда приехал? Он лежит днем на виа Паскудини, а ночью под железнодорожным мостом, что близ церкви святого Франциска. Род занятий? Он на мгновение смутился, поглядел себе на ноги, оглянулся, как будто потерял что-то, но потом гордо закричал: «Никакой!»

Мистер Куль, Алексей Спиридонович, даже Айша очень заинтересовались выбором Учителя и начали всячески интервьюировать Эрколе, который разлегся на софе курительного салона. Мистер Куль интересовался главным образом отношением Бамбучи к библии и к доллару. Но итальянец проявил и к тому и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллары — это нечто вроде лир и даже лучше, заявил, что он от них не отказывается, но полагает, что не Бамбучи должен добывать лиры, а приблизительно наоборот. Он часто думал, что какой-нибудь «английский осел» найдет его на виа Паскудини и даст ему тысячу лир. За что? За то, что он настоящий римлянин, за то, что он Эрколе, и вообще... у этих ослов (жест в сторону Хуренито) нет Рима, но есть уйма денег. Кроме того, у него были другие планы — например, жениться на богатой американке.

— Вы американец? Правда? Может быть, у вас есть дочка, которая хочет выйти замуж за благородного и красивого римлянина, за Эрколе Бамбучи? Нет?.. Жаль! Скажите, а ваши родители не выходцы из Кави-ди-Лаванья? Видите ли, оттуда многие уехали в Амери-

ку, и это неплохой способ найти дядюшку. Нет? Ну, что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне десять сольди. Так. На два сольди можно съесть у стойки макарон в сале, на два — живых полипов, на четыре — литр вина, на остаток — кусок «Тосканы» — хорошая сигара, толстая, как собачий хвост. Или на все шесть вина, а возле Колизея подобрать дюжину великолепных окурков, ибо «эти ослы» бросают недокуренные до конца папиросы. Засим — под мост, и уверяю вас, что жизнь превосходная штука, а ваши доллары ерунда.

Произнеся такую длинную сентенцию, Эрколе предался своему любимому занятию, то есть начал плеваться, решив окружить сложным узором ботинки мистера Куля. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Эрколе остановил его:

— Не бойтесь! Я не буду Эрколе Бамбучи, если я задену кончик вашего башмака!

Отдаться вполне этому мирному занятию помешал Эрколе Алексей Спиридонович, проникновенным голосом начавший допытываться:

— Скажите, у вас бывают муки, терзания?

— О да, в особенности осенью, когда много дынь и фиг, бывает, что я не могу уснуть от колик.

— Нет, духовные муки! Как объяснить вам это? Чувствуете ли вы иногда потребность все уничтожить, сжечь старый хлам, переродиться? — Еще бы, он, Эрколе, обожает праздники, когда из домов вытаскивают старье, тюфяки с клочьями сена, одноногие столы, провалившиеся ящики, складывают все в костры и зажигают. Шутихи — бум! бум! Это все в честь святой Марии.— Вот, вы говорите «святой», значит, вы чувствуете, что есть нечто над нами, провидение...

— Ну, конечно! А банко-лотто? Никто, слышите, никто, даже сам король не знает, какие выйдут номера! — Эрколе очень любит играть в банко-лотто, один раз вскладчину он выиграл четыре лиры. А почему все так устроено — вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, умру — об этом думать не стоит, ибо думать вообще очень трудно и скучно, а тем более в такую жару. Лучше будет, если Алексей Спиридонович принесет две «Тосканы», ляжет рядом, закурит и будет плевать вокруг второго ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядюшка, а так — что-то с долларами.

Айша сказал:

— Вы не знаете, почему господин взял его с собой, а я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажи, Эрколе, ты умеешь сделать бога?

Итальянец вознегодовал:

— Ну кто этим теперь занимается! У нас их столько наделали!

На каждого римлянина два бога, три святых и еще одна великомученица. Ты не думай, что я в бога не верю (Эрколе даже перекрестился), но я вообще не хочу ничем заниматься, а тем паче таким скучным ремеслом. Если бы я делал что-нибудь, то только подтяжки. Это — удивительная вещь. (Эрколе оживился.) Я их никогда не носил, но видал на Джузеппо Крапапучи и даже пытался ночью стащить, только он проснулся. Когда мне приходится вставать, я не могу разговаривать, потому что, если я начну разговаривать, я должен махать руками, а если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать — это очень утомительно. Иногда я отпускаю их вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести — они лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумаешь. Знаешь, если тебе не жарко и ты хочешь обязательно что-нибудь делать, то брось своих богов и займись изготовлением подтяжек, только пунцовых и голубых.

Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Эрколе. Выяснилось, что три события наиболее потрясли Бамбучи — как он утащил косточку святой Плаксиды, как его из-за художницы били карабинеры и как он устраивал революцию. Косточку он стащил совсем маленькую, меньше мизинца, помолившись предварительно, и отдал ее толстой Розалии, «такой, такой богомольной, вроде святой Плаксиды», которая косточку завернула в шелковый платок и положила рядом с пальмовой веткой, освященной папой. Он, Эрколе, за это получил большой кусок жареной свинины и фляжку вина. С художницей было хуже. Она вздумала рисовать Эрколе, «англичанка какая-то... ослица», и нарисовала скучно, скучно — все, как на самом деле, даже вывеску повивальной бабки. Эрколе потребовал, чтобы она: во-первых, нарисовала бы его в цилиндре, о котором он давно мечтал, во-вторых, рядом с домом приделала бы пальму и птицу, в-третьих, пеленки на веревке заменила бы красивыми флагами. Англичанка отказалась и вместо этого предложила Эрколе лиру. Эрколе лиру взял, но подошел к картине и, вежливо отстранив художницу, сам принялся за дело. Англичанка стала визжать, как будто Эрколе ее душит, и не успел он покрыть грязного серого дома прекрасной лазурной краской, как пришли два карабинера и начали его всячески больно бить. Революцию же делать было совсем небольно и очень весело. За границей, кажется в Испании, кого-то застрелили, и вот устроили революцию. Для этого повалили скамейки, омнибусы, фонари, зажгли фонтаны газа и пели, и кричали, и стреляли до самой ночи. Это лучше праздника, жаль только, что редко и скоро кончается...

Как-то мы катались втроем — Учитель, Эрколе и я — по Риму. Эрколе попросил извозчика поехать в Транстэверэ. На виа Паску-

дини он слез, снял куртку и цилиндр, отдав их на попечение мне, а сам в полосатых кальсонах лег на прежнее место и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хоть на час.

— Они удивляются,— сказал мне Учитель,— почему я вожу с собой этого босяка. Но что же любить мне, если не динамит? Эрколе не Айша, он все видел и все делал. В этих руках перебывали все аксессуары мира: скипетр и крест, лира и резец, свод законов и палитра. Он строил дворцы и арки, храмы с полногрудыми богинями Эллады, с тощими Христами готики, с порхающими святыми барокко. Посмотри на него — его жесты будет копировать примадонна Мюнхена, а его красноречию позавидует лучший адвокат Петербурга. Он с детства все знает и все может, но, между прочим, предпочитает плеваться, потому что ненавидит крепко и страстно всякий смысл и всякую организацию. Он все делает наоборот. Скажешь, клоунада? Может быть. Но не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Получив цилиндр, он его вежливо отдает тебе. В этом жесте грядущее возрождение мира. На великой фабрике цилиндров, не забудь об этом, Эрколе будет с нами, как хаотическая любовь к свободе, как баночка с взрывчатым веществом в саквояже рядом с брильянтином и с духами Коти!

Эрколе одним ухом слушал нашу беседу и, хитро подмигнув, сказал:

— Я знаю — вы хотите устроить революцию вроде той из-за испанца!.. Что же, я не прочь — это ведь так весело!.. Но вообще я — ваш гид, синьор, и десять сольди на папиросы!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Различные суждения Учителя об искусстве

Учитель не любил беседовать пространно об искусстве. Относясь одобрительно к разговорам деловым, как-то: о достоинстве красок, о корнях слова, о различных строительных материалах, он не выносил ламентаций об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемерам, подрядчикам и художественным критикам. Организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, тем более что среди двадцати трех ремесл, изученных Хуренито в течение жизни, были поэзия и архитектура. Я разыскиваю теперь рукопись его поэмы, «Трепфэрт № 1717», написанной в дни юности. По отрывкам, которые мне на память читал Учитель, я могу судить

о достоинствах этой единственной эпической поэмы современности, посвященной культу акций, рекламе грузовиков системы «Норт» и грандиозной борьбе рас и классов. Если рукопись не погибла, я издам ее как в оригинале (она написана по-испански), так и в переводах на другие языки. В области архитектуры я видел два проекта, сделанные Учителем. Первый — огромные грузоподъемники из стали, со стеклянными корзинами, вращающиеся и переносящие по воздуху тысячи людей с одного конца Нью-Йорка на другой. Они возвышаются над городом, как гигантские железные цветы с блистающими чашками. Другой проект представляет собой различные радикальные системы подземных писсуаров, рассчитанных на тысячи посетителей. Увы! папка с работами погибла в день трагической смерти Учителя.

Я указал на труды Хуренито, дабы всем было ясно, что в его лице мы имеем дело не с дилетантом, но с человеком знания и опыта. Большинство из суждений Учителя стало за последние годы достоянием общества. Различные, барахтающиеся в лапах старого «новаторы» ходили по пятам за Учителем, подхватывая его замечания. По своему природному тупоумию, обкорнав мысли Хуренито, они выдавали их за свои. Так, редактор одного «ужасно передового» парижского Revue, который объявляет себя поэтом, но на самом деле в кухне стыдливо пиликает на скрипке и бесстыдно пишет статьи о живописи, существовал исключительно тем, что на вернисажах поджидал у входа Учителя с записной книжкой и не отставал от него ни на шаг. Хуренито, не зная, что такое тщеславие, заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями. Он и мне завещал никогда никого в плагиате не обвинять и не писать никаких писем в редакцию с «необходимыми опровержениями». Я не буду здесь восстанавливать различные суждения Хуренито об искусстве, которые известны хотя бы в искаженном виде, но укажу лишь на некоторые практические выступления, им предпринятые.

Для того, чтобы эти выступления стали понятными, надо напомнить о пренебрежении Учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого Пуи расчувствовался и заявил Хуренито, что он больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту и искусство, Учитель чистосердечно признался:

— А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком.

Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно, как и всяческие другие рычаги культуры, способствует организации людей. Так было во все эпохи истории человечества. Искусство спаивало отдельных индивидуумов в тесные соты: национальные, религиозные, социальные — для совместной любви или не-

нависти, для труда или для борьбы — словом, для жизни. Не только пирамида или готический собор, но заунывная песня, но богоматерь какого-нибудь тречентиста, все это — цемент грандиозного сооружения, топливо для поддержания бытия.

— Какой же неостроумной шуткой, каким жалким харакири является гордый разрыв искусства с жизнью. Искусство торжественно меняет свое назначение: одна лошадь выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками замедлить ее неизбежный ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь, наоборот, оно якобы стремится человека из жизни увести. Но так как выше положенного, будь ты гений, все равно не подпрыгнешь, то все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни, являясь лишь ее посильной дезорганизацией. Так началась, так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств и обходится, став лишь суровее и труднее. А искусство? Искусство обращается в бирюльки, в спорт немногих, в различные фазы душевного заболевания, в послеобеденную прихоть мистера Куля, менее необходимую, нежели рюмка кордиаль-медока или мягкая подушка. Искусство, трижды презренное, издыхает, по профессиональному навыку, изображая победителя жизни, издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает вот в этом отдельном кабинете, где напоследок хозяин для более просвещенных Кулей повесил «Танцоров» Матисса, пригласил актеров, завывающих стихи Дюамэля, и музыкантов, играющих Стравинского. А так как я верен древней мудрости, гласящей, что «живая собака лучше дохлого льва», то я не плачу, а честно восхваляю свиные котлеты с горошком или даже без оного.

В 1913 году «Mercure de France» устроил большую литературную анкету о достижениях и возможностях современной поэзии. Хулио Хуренито, получив опросный лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я ее воспроизвожу.

«Я находился, получив ваши вопросы, в сильном затруднении, не зная точно, что называется теперь словом «поэзия». Правда, мне попадаются в журналах среди статей, а порой даже целыми книгами напечатанные по особой типографской манере рассуждения о политике, о любви, о святости Троицы и о кофейном сервизе, с созвучными окончаниями или без таковых. Если вы называете именно эти странные изъяснения поэзией, то я ответить на ваш вопрос не могу. Я также не имею никакого суждения о ряде других занятий, как-то: о раскладывании пасьянсов или о чесании спины с помощью китайских ручек. Впрочем, я охотно допускаю, что такое времяпрепровождение нравится отдельным индивидуумам, и не вижу в этом ничего предосудительного. Я

полагаю, что в подобных случаях надо проявлять полную терпимость, руководясь изречением, вырезанным на ошейнике собаки Диогена, попавшей в собачий рай: «Здесь каждый развлекается, как может». В иные эпохи под словом «поэзия» подразумевались занятия, не похожие на вышеуказанные. Слово являлось действием, и поэтому поэзия как известное мудрое сочетание слов способствовала тем или иным жизненным актам. Мне известна высокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов добиться того, что бодливая корова давала себя доить в сознательном спокойствии. Слово некогда могло убить или излечить, заставить полюбить или возненавидеть. Поэтому заговоры или заклинания были поэзией. Поэты являлись ремесленниками. Кузнец ковал доспехи, а поэт слагал героические песни, которые вели к победе. Плотник тесал колыбель или гроб, а поэт слагал колыбельную песнь или страшные причитания. Женщины пряли и за пряжей пели песни, делавшие их руки быстрыми и уверенными, работу — легкой. Я читал как-то стихи, которые вы печатаете в вашем уважаемом журнале, и спрашивал: кого они могут пробудить или повести на бой, чьей работе они могут помочь? Единственное их назначение, не вытекающее, впрочем, из задания авторов, убаюкать человека, подготовленного уже к этому предыдущей статьей о количестве гласных и согласных в трагедиях Расина. Итак, повторяю, вспомнив былое прекрасное ремесло и сравнив его с непонятным мне занятием, я не знал, как вам ответить на ваш с виду простой вопрос. Но мой юный друг Э., русский, с которым я поделился этими мыслями, сообщил мне о факте исключительном и в известной степени уничтожающем мои сомнения. Оказывается, что в России живет поэт (фамилию его я, к сожалению, не запомнил), который написал следующее стихотворение:

Хочу быть дерзким! Хочу быть смелым!
Хочу одежды с тебя сорвать!
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу из грудей венки свивать!

Э. утверждает, что, когда в городе Царицыне какой-то военный писарь продекламировал это четверостишие горничной, бывшей к роману с ним отнюдь не подготовленной, оно возымело столь решающее действие, что горничная сама начала поспешно расстегивать платье. Это важное сообщение показывает мне, что для поэзии в современности есть возможные дороги, и посему я могу ответить вам не только панихидными вздохами, но и словами надежды».

На банкете в честь очередного «принца поэтов», состоявшемся в Париже в январе 1914 года, Хулио Хуренито выступил со следующей речью:

— Я пью за здоровье одного из мучеников современной цивилизации. Положение поэта в нашем обществе напоминает мне бессмысленного пса, честную дворняжку, которую поместили в «Jardin des plantes» с торжественной надписью не «Барбос», не «Жучка», но «Canis vulgaris». Посетители после львов и гиен, подготовленные к зрелищу диких обитателей тропических стран, читают непонятную латынь и вместо того, чтобы дружески потрепать пса по морде, как тысячи других «Canis vulgaris», блуждающих по улицам, они раскрывают рты, с опаской тычут в него кончиками зонтиков, принимают его веселый лай за грозный рык, а жалобное тявканье — за боевой сигнал хищника. Бедный пес! Бедный поэт! Ты мог бы честно делать свое дело, мирно писать стихи! Но от тебя ждут всего, кроме работы. Во-первых, ты «пророк», во-вторых, «безумец», в-третьих, «непонятный вождь». «Canis vulgaris». Когда хирург режет живот, когда портной кроит жилет, когда математик изучает законы — они работают. Когда же ты потеешь над листком бумаги, в сотый раз перечеркивая слова,— ты «творишь!» И кретины вокруг клетки изучают твои внутренности: куда именно ангел вставил «пылающий угль», какая «муза» вчера спала с тобой, и сошло ли на тебя по сему случаю «вдохновение». Единственное, что тебе остается — принять игру всерьез, раскрыть пасть и старательно подражать льву. «Падите ниц перед пророком! на меня нисходит вдохновение! тсс!..» И бедный, грустный, обиженный пес, работая под тигра, сквозь прутья решетки хватает зубами нос зазевавшегося парикмахера. Браво! За ваше здоровье, бенгальский тигр!

К ужасу мистера Куля, Учитель любил проводить вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорил, что человек, столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить две-три старинных безделушки и это веселое племя, бурно доживающее своей век на площадях городов.

— Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив, все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство восторга присужденного к казни перед эшафотом. Бедные кустари, они бредят машиной, они тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не думая о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращения живой плоти в колеса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ — во имя единой механизации жизни. Радуйтесь, мистер Куль. Эти великие обормоты умрут вместе с любовью, с бунтом и со многим другим. Впрочем, как вам известно из вашей любимой книжки (нет, не той, не в синей обложке,— в сафь-

яновом переплете), умирающее снова воскресает. Но никогда уж эти цыгане не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой, им суждено, расплывшись, возродиться в далекие дни обесцеленного и освобожденного человечества.

Как-то Хуренито обратился с нижеследующим письмом к министру просвещения и изящных искусств Италии:

«Господин министр! На днях я посетил трогательную и убогую выставку моих друзей футуристов. Я ознакомился также с современной поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых итальянских художников перед сломанной мотоциклеткой из Америки, дурной немецкой зубной пастой и прошлогодними парижскими модами. Хотя область гигиены находится вне пределов вашего ведомства, я осмелюсь напомнить вам, г. министр, о необходимости в известном возрасте отлучать младенца от груди в интересах не только матери, но и ребенка. Отдельные наблюдавшиеся случаи кормления трех- и даже пятилетних детей грудью заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично я мог убедиться в этом на примере моего котенка, который, будучи вдвое больше своей матери, продолжал ее сосать и, оставшись неприспособленным к другому способу пропитания, когда кошка наконец освободилась от него, начал худеть и вскоре издох. Я полагаю, что бессилие и худосочие современного искусства являются виной тех, кто не только не отлучил его вовремя от материнской груди, но, наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. В итоге мы получили обширные, с виду откормленные стада импотентов, в тысячный раз копирующих художников Возрождения или Дантовы терцины, а рядом с ними — отдельных исхудалых, одичавших «новаторов», о которых я уже упомянул выше. Будучи иностранцем, но искренне любя вашу прекрасную страну, я осмелюсь предложить вам, г. министр, необходимые, на мой взгляд, меры для того, чтобы спасти от гибели следующие поколения. Надо решительно отучить детей от соски, а для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания — на старые города, на музеи и на издания так называемых «классиков». Хотя применяемый вами по отношению к ним метод искусственного продления жизни крайне негигиеничен, ибо никакие бальзамирования не предохраняют от разложения, а следовательно, и от заражения, хотя ваши муниципалитеты все чаще склоняются к замене тлетворных кладбищ практичными крематориями,— я не решаюсь предложить вам радикальный способ сожжения всех образцов мертвого искусства, тем более, считаясь с чувством привязанности многих к привычным с детства вещам, а также и с соображениями бюджетного порядка. Но я хочу обратить ваше внимание, г. министр,

на ряд вполне осуществимых мер, хотя паллиативных, однако действительных.

1. Объявляется ко всеобщему сведению, что существуют Микель Анджело, Рафаэль, Тициан (если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени), Данте, Торквато Тассо, Леопарди, соборы св. Петра и Миланский и прочее — по усмотрению. Этим дается полное удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости.

2. Посещение музеев, старых церквей и чтение так называемых классиков разрешается исключительно лицам, к искусству никакого отношения не имеющим ни как созидающие, ни как воспринимающие элементы, а именно: скотопромышленникам, историкам искусства и туристам англосаксонской расы.

3. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской Кампанье и поездки поэтов в венецианских гондолах.

Я убежден, г. министр, что эти разумные меры вызовут подлинный расцвет итальянского искусства. Примите...» и пр.

Отправив письмо, Учитель ожидал приглашения от министра для выяснения различных деталей, но этого не последовало. Впоследствии Учитель поделился со мной опасением — не пропало ли письмо, хоть и отправленное заказным, вследствие преданности итальянской почты священным традициям.

Таковы некоторые суждения Учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в годы российской революции.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Monsieur Дэле, или Новое воплощение Будды

Вернувшись в Париж, мы испытывали некоторые финансовые затруднения, вызванные сложными опытами Учителя, отъездом мистера Куля в Чикаго и необузданными тратами Алексея Спиридоновича, в этот период особенно пессимистически настроенного. Желая выйти с достоинством из затруднительного положения, Учитель направился в знакомую контору по приисканию капиталов и вернулся оттуда вполне удовлетворенный с адресом некоего рантьера m-r Гастона Дэле, проживающего под Парижем

в Масси-Верьер и желающего вложить в солидное дело сорокатысячный капитал.

— Я предложу ему устроить фешенебельный кабак или родильный приют,— сказал Хулио Хуренито, отправляясь к m-r Дэле.

На следующий вечер Учитель в отдельном кабинете «Кафе де-ля-Бурс» познакомил меня с низким жирненьким господином. У него имелись тощие, тщательно закрученные усики на розовом опрятном лице, а в петлице неизбежная ленточка. Сначала мы решили выпить аперитив, и m-r Дэле, хлопнув себя по коленям, закричал:

— Гарсон, пикон-ситрон! — И пояснил нам: — Это удивительно хорошо для пищеварения.

Потом он молчал, говорил Учитель, который несколько смутил меня, так как, не упоминая ни о кабаке, ни о родильном приюте, обстоятельно, с карандашом в руке, доказывал небывалые выгоды какого-то акционерного общества «Универсальный Некрополь». Сердце m-r Дэле сочувственно откликалось на эти речи, но нули цифр его смущали.

— Почему так кругло триста тысяч, может быть, больше или меньше.

И Хуренито пояснял:

— Вы правы: триста тысяч сто четырнадцать франков восемьдесят сантимов чистой прибыли.

Не смысля ничего в коммерческих предприятиях, я скучал. Зато я был вознагражден не только прекрасным обедом, но и совершенно изумительным рассказом m-r Дэле. Неожиданно он объявил, что, так как мы оба теперь являемся его компаньонами, то он должен нас познакомить со своей особой и со своими идеями, ибо «дело — не любовная интрижка, и, пожалуйста, все карты на стол!»

Это была необычайная автобиография, прерываемая восхвалениями блюд и выбором напитков. Я попытаюсь здесь восстановить ее, увы, с моей ослабевшей памятью и притупленным годами пером.

— Гарсон, вы можете подавать!

...Мой друг, я рекомендую вам тон. Самая нежная рыба и притом исключительно легко переваривается. Вы удивляетесь, что я весел? Да, я всегда весел, находчив, остроумен! Что вы хотите? Галльский ум! Вы, иностранцы, должны быть счастливы, что вы находитесь в такой стране. Страна разума и свободы! Я сам никогда не поехал бы за границу — зачем? Хочу моря — Бретань! хочу гор — Савойя! хочу солнца — Ницца! хочу лес — Фонтенебло! хочу удовольствий — хи-хи! — Париж! Вы, конечно, другое дело. У вас... Впрочем, не будем говорить о печальных вещах.

...Я часто скорблю — столько еще мрачного на свете. Вы русский, ведь да?.. У вас холодно. Но зато большая страна, и потом вы наши союзники. И еще у вас писатель... о, как они трудны, эти славянские имена!.. Вспомнил! «Тольстой» — вроде нашего Дюма. Прекрасный салат! Скажите, мой друг, а не выгоднее ли вместо этих акций купить русскую ренту? Вы уверены? С рентой както спокойней. Чик — и готово. Я вам не советую ростбифа — вечером так утомлять свой желудок. Вы, русские — мистики. А вы мексиканец? Это ведь в Америке? да? Да, дядя Сам! Ну, я спокоен, вы — люди дела. Итак — о себе. Я уже ребенком был гениален. Покойный отец, основатель нашего бюро похоронных процессий, говорил всем: «Смотрите на Гастона, он будет депутатом!» Но я не люблю политики. Это мешает наслаждаться жизнью.

— Гарсон, бутылочку... нюи, только смотрите, слегка нагрейте!..

...Я говорю вам, что я был гениален. Из наук я признавал лишь арифметику. Я не выношу всяких выдумок. Дайте мне светлое, ясное! В пять лет я уже знал, что Поля, сына прачки, можно вздуть, а Виктора, сына мэра,— нельзя. Хи-хи, наука жизни! И я умел уже бить так, чтобы не было синяков. Не знаете? «Passage au tabac» [1]. Дальше! Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец дал мне луи и сказал: «Будь, Гастон, во всем умерен». Великие слова! Бедный отец! Они здесь удивительно приготовляют кончики спаржи! Увы, я был молод. Хи-хи! Я забыл слова отца. Я потерял чувство меры. О, вы не знаете, что такое чувство меры! Это разумная политика, это красота, это полный кошелек, необремененный желудок, приятная дрожь при виде хорошенькой женщины! Это все! Друг мой (это — Учителю), вы еще молоды, вы мне нравитесь, скажу больше,— вы похожи на француза, вы почти француз. Помните — мера! мера! Я был жестоко наказан. У меня сделался катар. С тех пор я должен быть осторожен, очень осторожен, и принимать пилюли «Пинк» — отличное средство! Я повторяю — я был молод, кровь шумит. Святой Антоний! Хи-хи! И вот — к двадцати пяти годам я ослабел. Иду по бульварам, солнце греет, столько хорошеньких курочек, а я спокоен. Мне нужна диета. У меня была миленькая метресса Минэт. У вас такой никогда не было. А что она знала! Хи-хи! Она говорила мне: «Бедный Гастон, ты помнишь слова Дантона: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» (Это на памятнике, возле метро «Одеон».) Я купил на выставке картину за шестьдесят франков — охотник спасает утопающую в ручье девушку. Повесил ее в спальне Минэт. Она давала мне бодрость. Что?.. Порыв! Хи-хи!

---

[1] Здесь: как в полицейском участке *(фр.)*.

— Гарсон, камембер хороший? а течет ли?

...Но вы не думайте, что я только насчет любви. Я занялся делами. Я взял похоронное бюро, я вознес его, расширил, сделал величайшим делом всего квартала Монруж. Что такое смерть? Конец! Ни поцелуев, ни вина, ничего! Дырка. Понюхайте камембер — изумительно пахнет. Я в эти глупости не верю. Я свободный человек, без предрассудков. Обо мне говорили даже в палате депутатов, то есть не обо мне, но это все равно,— я там был. Я поехал к дяде в Перпиньян. Там мэр — философ, настоящий Вольтер. Он приказал вынести из собора плиты со всякими епископами, святыми, одним словом,— клерикалами, и вымостить ими общественную уборную. Я присутствовал на торжественном вернисаже. Довольно они нас морочили! А клерикал Берэсс — запрос в палату. Я готов был пострадать за идею, но ничего... Теперь не времена инквизиции! Итак, смерть — крышка, и все тут! Ждать нечего! Но надо, чтобы похороны были приличными, как вся жизнь. Я внес в бюро похоронных процессий глубочайшую философию. До меня было пятнадцать классов, я прибавил еще два — один высший, «вне классов», ну да, для сумасшедших, для дураков, которые кидают деньги в окошко. Грех не подымать. Но похороны прекрасные, художественные. Дамам раздают надушенные кружевные платочки. Потом для бедняков — шестнадцатый класс. Я человек добрый, и потом, я люблю справедливость. Надо, чтобы все имели право быть похороненными. Зачем озлоблять бедных? Это только нá руку преступникам, социалистам. Конечно, нужно, чтоб они знали свое место — просто, честно, на три года. Потом — полежал, довольно — пусти другого. Начиная с шестого класса — в вечную собственность. Люди солидные — заслужили спокойствие. Это, друзья мои, целая система, лестница мира, глубина! Я хотел бы, чтобы меня похоронили по третьему или по четвертому разряду — это мило, прилично; не кричу: «Я, такой-то, вне классов» — нет, вежливо говорю: «Я, Дэле, честно жил, заработал честно, умер и вот — покой, отдых, сон!» Правда? Ну, довольно о смерти. В сорок один год я женился. Выбрал молоденькую, свеженькую m-lle Бое — не слыхали? Дочь фабриканта приборов для канализации. Еще двадцать тысяч. Хи-хи! Ничего не скажу! Что дальше? Догадайтесь!.. Я был счастлив. Утром кофе, вечером газета, а рядышком Мари ждет. Увы! Судьба решила иначе. Несчастные роды. Сын жив. Мари умерла. Бедная Мари!

— Гарсон, кофе и кальвадос, а вы? Это нектар! Три кальвадоса!

...Сын — глядите карточку. Молодец! Гений! Четыре года, а как считает! Я отвез его к сестре. И вот — один. Живу тихонько. После всего пережитого я продал бюро. Достаточно! Я купил себе

хорошенькую виллу. Сажаю бобы и душистый горошек. Как прекрасна природа! У меня экономочка! Хи-хи! Зизи! Бутончик! Вот он ее видел! Что! Хочется?.. Я еще бодр, свеж, живу. Теперь решил поместить мои капиталы. Хотел русскую ренту, а он убедил по моей же части — «Некрополь». Что же хоронить так хоронить. Я отдохнул за три года. Могу и поработать... Главное — заранее точно высчитать. А будут доходы — будут и «кальвадос», и Зизи, и горошек. Только в меру, и тогда жизнь прекрасна!..

M-r Дэле как-то сразу устал. Прежде чем проглотить «кальвадос», он пополоскал им рот, потом откинулся на спинку дивана, расстегнул нижнюю пуговицу жилета и застыл.

Тогда Учитель сказал мне:

— M-r Дэле будет моим шестым учеником.

На минуту m-r Дэле как бы очнулся и пробормотал:

— Учеником? Нет! мы будем двумя равными компаньонами... он расцветет — наш «Универсальный Некрополь»...— но сейчас же вновь погрузился в безразличие.

— Он поспел, он готов, он течет, как этот прекрасный камембер. Дитя, если в душу твою закрадутся сомнения, взгляни на m-r Дэле, и ты поймешь, что близок конец. Может быть, во всем мире сейчас нет человека, столь далеко зашедшего вперед по дороге к грядущему, как он, ибо утро рождается из поздней ночи.

Потом Учитель встал и мне приказал встать:

— Гляди еще! гляди на него!

M-r Дэле сидел, уставив вдаль неморгающие, совершенные в своей бессмысленности глаза, с погасшим окурком, прилипшим к нижней губе, одной рукой давя букетик фиалок, другой чуть играя на животе брелоками «Вера—Надежда—Любовь».

—Гляди, это уже не m-r Дэле, это Будда, наводящий последний покой! К нирване есть два пути — через полный отказ, предельное отрицание,— путь аскета или мятежника, и через эту сладость бытия, через последнее наслаждение. Гляди, m-r Дэле уже не на пути к концу. Он сам — конец, предел, ничто!

И, говоря это, Учитель, а за ним и я, мы благоговейно преклонились перед m-r Дэле. Едва скосив на нас глаза, m-r Дэле в истоме прошептал:

— Да, да, я знаю! Это варварские обычаи ваших стран! Но теперь вы во Франции, вы свободные люди. Дайте лучше мне стакан воды, я должен принять пилюли. Не то — желудок, желудок, мой бедный желудок!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Германия.— Штраф в шесть марок и организационные способности Шмидта

В начале тысяча девятьсот четырнадцатого года в характере и в образе жизни Учителя произошла резкая перемена. Ни успехи мистера Куля, после возвращения из Америки обратившего на путь истины одного Ротшильда (настоящего), двух радикальных журналистов, захворавших подагрой, и более двадцати папуасов, привезенных на международную выставку животноводства, ни драмы Алексея Спиридоновича, который вздумал ввиду отсутствия бога и легкомысленного поведения своей новой невесты покончить с собой, для чего ежедневно принимал на глазах у этой, впрочем далеко не пугливой, особы английскую соль, выдавая ее за цианистый калий и требуя клятв в верности, ни новый бог Айши Флик-Флик, созданный по подобию полицейского, стоявшего напротив нашего дома и особенно поразившего моего черного брата, гордый, жестокий, указующий судьбы миров державной палочкой,— ничто уже не занимало Учителя. Он стал серьезен, почти мрачен. Часто он уходил от нас, и я встречал его в обществе самых различных людей, как-то: сербских студентов, германских коммивояжеров и французских финансистов. Как-то я застал его даже с русским монахом, любимцем аристократок, кутивших в Париже, который кричал: «Плюю, лягушка, в мурло твое! Рассыпься, Антихрист, бисером свиньим!» А потом шептал: «Накиньте, батюшка, сто катенек — проведу без заминки!» Учитель не объяснял нам, зачем ему нужны эти люди. Ночи напролет он сидел над скучными изысканиями, над статистикой германского или английского экспорта, над производством различных угольных районов и прочим. На стенах, поверх картин Пикассо и Леже висели карты африканских колоний и сложные диаграммы.

В марте месяце Учитель объявил, что ему необходимо на несколько недель съездить в Германию, и предложил нам сопровождать его, так как поездка эта будет весьма назидательной. М-r Дэле вначале упорствовал, говоря, что ему противно ехать за границу, а тем паче к пруссакам. Но Учитель легко и быстро убедил его. Меня всегда поражала находчивость Хуренито и разнообразие его приемов приручения несхожих меж собой представителей человеческой породы. Действительно, как мог он заставить скупого и расчетливого рантье отдать ему накопленные на всех мертвецах деньги? Как мог он убедить этого толстяка до сорока пяти лет просидевшего у себя в бюро или в кафе на углу своей улички, бросить горошек и Зизи, чтобы следовать за каким-то

проходимцем на край света? О, конечно, Учитель соблазнял m-r Дэле не грядущим человечеством,— нет, с безукоризненной точностью доказывал он французу, что только «Универсальный Некрополь» ведет к богатству и к счастью. Жизнь как будто опровергала эти доводы, ибо сорок тысяч исчезли, а доходов не предвиделось, но зато безукоризненность исчислений оставалась, и, когда m-r Дэле слабел духовно, неизменно появлялся Учитель с карандашиком в руке, вышучивающий мелкие затруднения и прозревающий за ними кущи рая. Так было и на сей раз. Учитель доказал m-r Дэле, что немцы более других заинтересованы в «Универсальном Некрополе» и что, презрев все предрассудки, они наконец поставят дело на ноги.

— Ничего не поделаешь — дела, дела!..— сказал m-r Дэле, садясь в вагон и давая последние наставления m-lle Зизи, как поливать грядку с любимой каротелью.

Итак, мы попали в Германию и, надо признаться, чувствовали себя там не слишком хорошо. Больше всех страдал Эрколе. Страданья его становились уязвимым местом нашего бюджета. Не по злой воле, а исключительно вследствие детской своей непосредственности он делал все наоборот, и нам приходилось до пяти раз в день выплачивать различные штрафы. Он запаливал любимый «собачий хвост» в купе для некурящих, кидал корки бананов под ноги шуцмана, ходил именно по тем аллеям, по которым ходить запрещалось, садился, чтобы отдохнуть, на спины мраморных баб, которые, как на зло, оказывались аллегориями, окружающими памятник Бисмарку, и совершал тому подобные проступки. Особенно дорого обошлась ему невинная страсть плеваться: арестованный полицейским во Франкфурте и приведенный для допроса, он в кабинете разок плюнул, как он утверждает, очень ловко — поверх папок с бумагами между головой чиновника и бюстом кайзера, за что и попал в тюрьму, откуда Хуренито освободил его, уплатив солидную сумму и представив медицинское свидетельство о нервном заболевании.

M-r Дэле сильно грустил, потерял свою бодрость и «порыв». Он говорил, что если бы у всех женщин были такие толстые икры и во всех ресторанах мира давали бы вареную картошку, то жить явно не стоило бы.

— Понятно, почему немцев интересует «Некрополь». Что же делать в этой стране, если не умирать?

Алексей Спиридонович изловил магистра философии из Галле и решил отвести с ним душу, высказав все свои сомнения по части существования логики вообще и иллюстрируя это в иксов раз историей своей жизни. Но магистр проявил непонятное равнодушие. В начале беседы он снабдил Алексея Спиридоновича обсто-

ятельной библиографией по интересовавшему его вопросу, однако вскоре список книг вежливо отобрал и вместо него дал адрес водолечебницы с усовершенствованными душами. Алексей Спиридонович, с горя, ту же историю жизни вечером изложил кельнерше Клерхен, белокурой и пухлой, которая, искренне прослезившись, предложила ему немедленно свои услуги, «как любящая сестра», и за все попросила только десять марок, ибо копила приданое, чтобы выйти замуж за герра Отто, приказчика сигарного магазина.

Айша просто и тихо мерз, кутаясь в клетчатый плед Учителя.

Я тосковал по парижским кабачкам и тщетно пытался заменить «Ротонду» кондитерскими с клетчатыми скатертями и с девицами в гофрированных чепчиках.

Только мистер Куль не проявлял никаких признаков неудовольствия,— он любил путешествовать и считал Хуренито способным гидом. В любом городе он немедленно осведомлялся, каков курс доллара, сколько церквей и школ, а также — много ли учреждений, где можно поставить автоматы.

Учитель, уходя по утрам на какие-то деловые свидания, после обеда осматривал с нами города, которые мы проезжали. Все останавливало его внимание и все явно приводило его в хорошее настроение. В особенности любил он показывать нам университеты, казармы и пивные; это были, по его словам, «личинки нового общества». Изрубленные вроде котлеток во время периодических дуэлей бурши, как послушные дети, положив кончики пальцев на пюпитр, постигали великолепное строение вселенной в пафосе Канта или в остроте Гегеля, они готовились к честной карьере дрессировщиков крестьянских детей или чиновников государственного акциза. На военных занятиях Учитель восторгался равномерно выпяченными грудями, подобранными животами, потерявшими индивидуальные приметы лицами и этим «направо!», «налево!», мгновенно передвигавшим великолепную игрушку. Когда унтер ударял по щеке какого-нибудь Фрица, скосившего свою еще недисциплинированную голову, все, в том числе и Фриц, выявляли полное удовлетворение, ибо суть дела была не в выбитом зубе Фрица, а в исправлении дивного механизма. Далее, мы шли в одну из пятиэтажных пивных, где регулярно две тысячи посетителей пропускали через свои желудки от десяти до пятнадцати тысяч литров пива. За длинными столами сидели мужчины, женщины, дети. Кельнерши, подбегая к вделанным в стены кранам, ежеминутно наполняли сотни монументальных глиняных кружек. Потом партия посетителей подымалась и переходила в соседнее помещение для того, чтобы, облегчив себя, снова возобновить прерванную работу. Впрочем, это называлось развлечением: оркестр играл военные марши, некоторые папаши читали юмористические журналы и гулко хохотали, другие тупо смотрели на стены,

где красовались пословицы и мудрые изречения: «Пей спокойно, бог бережет этот дом!» — и тому подобные.

— Смотрите,— говорил после таких прогулок Учитель,— везде люди просто живут для тихого благополучия, для невинной радости, живут, любят, болеют и потом умирают. Здесь же они, стиснув зубы, с утра до ночи, одержимые единой волей и в школах, и на военных плацах, и в этих «биргалле», куют великие цепи, цепи, а может быть, нежнейшие пеленки из железа для крепко любимых детей!

Когда во время одной из таких прогулок по Штуттгарту мы проходили мимо прекрасных цветников общественного сада, случилось нечто, для Германии необыкновенное и приведшее в экстатическое состояние нашего Эрколе. По пустынной дорожке навстречу нам шли бедная женщина с грудным младенцем и молоденький студентик в клеенчатом картузе, вида кроткого и мечтательного. Студент вежливо поздоровался с женщиной и, поговорив с ней минуты две, задумчиво отошел в сторону. Далее последовало невообразимое. Студент совершенно спокойно переступил через решетку клумбы и начал усердчо топтать первые мартовские гиацинты.

— Вот это жест! — закричал в упоении Эрколе.— Сейчас его схватят, как меня тогда!..

Но кругом никого не было. Постояв немного, студент пошел к воротам и, отыскав полицейского, начал с ним объясняться. В любопытстве мы последовали за ним. Вот что он заявил шуцману:

— Меня зовут Карл Шмидт. Я студент техникума. Только что в парке я вытоптал цветы клумбы из протеста против плохой организации государства!

Полицейский равнодушно выслушал его и вынул квитанционную книжку.

— Вам придется уплатить штраф: шесть марок!

— У меня всего две марки восемнадцать пфеннигов.

— Тогда будьте любезны следовать за мной!

Мы отправились с ними и зашли в городскую полицию, оставив на улице лишь Эрколе и Айшу, чтобы не вводить ни их, ни чинов полиции в излишние соблазны.

— Объясните ваш поступок,— сказал Шмидту дежурный чин.

— Я протестовал против дикой системы общественного хозяйства. В саду я встретил фрау Мюллер, вдову рабочего-каменотеса. В прошлом году она стирала мне белье по дешевому тарифу. Она спросила меня — не знаю ли я для нее работы, так как после смерти мужа ей приходится очень плохо. У фрау Мюллер грудной ребенок, и она не может найти себе места. Она сказала мне также, что ей пришлось заложить одеяло и что у нее вследствие недостаточного питания пропадает молоко. После этого я поглядел на

цветники общественного сада. На их содержание уходят большие суммы, а сын фрау Мюллер, член общества, будущий избиратель рейхстага, может умереть от отсутствия молока. Мне отнюдь не жаль фрау Мюллер, хотя она и вполне порядочная женщина. Я готов одобрить уничтожение тысячи младенцев для блага общества, но я не могу вынести бессмысленности. Я вытоптал цветы, которые к тому же я вообще ненавижу как вещь явно бесцельную, для того, чтобы обратить внимание общества, прессы и правительства на эти позорные противоречия!

Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания, а засим осведомился о шести марках.

— Штраф может быть заменен арестом.

Тут в дело вмешался Учитель. Дружески предложил он Шмидту недостающие три марки восемьдесят два пфеннига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в арестном доме.

Захватив Айшу и Эрколе, мы отправились к Шмидту. Жил он на чердаке, столь тесном, что мы принуждены были все время стоять не двигаясь, как на площадке трамвая. На стене висели портреты различных особ, а именно: кайзера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, герра Ашингера, владельца двухсот семидесяти ресторанов в Берлине, организаторским талантом которого Шмидт немало восхищался, и большая разграфленная «Система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта». Все время, с семи утра, когда Шмидт просыпался, и до одиннадцати вечера, когда он (кроме субботы) засыпал, было строго разделено на различные занятия. Так, с десяти до одиннадцати часов вечера по субботам Шмидт предавался любви. Он объяснил нам, что любовь его мало интересует и что он собирался даже остаться девственником, но это требовало бы напряжения воли, необходимой для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом медиком, он остановился на решении пожертвовать одним часом в неделю и подыскал скромное, но гигиеническое заведение фрау Хазэ.

Придя домой, Шмидт из экономии (проживал он всего шестьдесят марок в месяц) снял костюм, положил его бережно в сундук, так как другой мебели в комнате не было, и остался в нижнем белье. Из бесед с ним мы узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку и системе. Оказалось, что, кроме расписания занятий, существует еще другое, посвященное шестидесяти маркам и объемлющее все расходы от стирки носков до суббот фрау Хазэ. Пять месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительные три марки «на развлеченья». Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая воли матери. Ему хотелось купить новую готовальню, но она сто-

ила четыре марки. Он решил было в день рождения тетки Берты устроить праздник, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со взбитыми сливками, но это обошлось бы всего в шестьдесят пфеннигов, и остающуюся сумму было бы еще труднее истратить. Три марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, чтя глубоко свою мать, отдать их Хуренито.

Засим разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами. Существование Айши его смущало: как может огромная Африка продолжать пребывать в первобытном состоянии хаоса? Но он оптимист, он верит в лучшее будущее. Главное — организовать весь мир, как свою жизнь, ибо он, Шмидт, убежден, что в своей конуре на шестьдесят марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, поклонником кайзера, и социалистом. Ведь по существу это одно и то же. И Вильгельм и любой социалист понимают, что мир неорганизован. Организовать его надо силой. Наш враг — анархизм, все равно будь то герр Бамбучи, революционер с бомбой или герр Дэле, который станет завтра министром, но останется рантьером, признающим лишь удовольствие. (Служа за переводчика, я перевел эту фразу m-r Дэле, и он очень обиделся главным образом сравнением с Эрколе, общество которого его стесняло.) Он, Шмидт, занимается и механикой, и химией, и политической экономией. У него есть множество планов. К сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от коренного вопроса увеличения народонаселения. Он настаивает на осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. Он убежден в успехе. А в таком случае им разработан закон об обязательном деторождении. Далее, не менее важный вопрос — замена первобытного питания химическим: устранение голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить наконец к практической работе? Вильгельм увлекается пацифизмом, а социалисты с каждым годом домифицируются. Откуда придет спасение?

Все эти рассуждения, мною переведенные, вызвали взрыв возмущения. М-r Дэле старался быть спокойным, и даже, считаясь с местом, логичным.

— Хорошо! Пусть все эти басни могут стать действительностью. И что же?.. Вместо эскалопа а-ля-жардиньер — пилюли (мало мне «Пинка»!), вместо Зизи... О, какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита — расписание! Но спросите, спросите его — зачем же тогда жить?

Эрколе просто сказал, что, будь это не в проклятой Германии, где за все, абсолютно за все берут штраф, а у себя дома, на виа Паскудини, он бы немедленно прирезал этого мерзавца. Какой негодяй! А он еще думал тогда в саду, что это порядочный человек!

Алексей Спиридонович ничего не мог вымолвить. Прижатый мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался:

— Чур-чура! Господи! Господи! Господи, помилуй!

Я же испытывал перед Шмидтом страх, как на фабрике перед непонятной машиной в ходу, готовой оторвать голову зазевавшемуся рабочему.

Несмотря на протесты и слезы, Учитель, протиснувшись к Шмидту, сказал:

— Я сразу оценил вас. Вы будете моим седьмым и последним учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете, и — верьте — я помогу вам в этом. А вы все смотрите — вот один из тех, которым суждено ныне и надолго стать у руля человечества!

Шмидт стоял добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав Учителя, он кратко ему ответил:

— Хорошо, герр Хуренито!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пророчество Учителя о судьбах иудейского племени

В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской Учителя, на седьмом этаже одного из новых домов квартала Грэнэль. Долго стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми сумерками. С нами был и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц, готических церквей, свинцового отсвета медленной Сены, каштанов в цвету, первых огней и трогательной песни охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музеев он с детских лет не выносит, но есть нечто чарующее и его, а именно — Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера.

Так, мирно беседуя, поджидали мы Учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав в маленький сейф кучу документов, весело сказал нам:

— Сегодня я хорошо потрудился. Дело идет на лад. Теперь можно немного отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию «Унион».

Пять минут спустя он показал нам следующее:

В недалеком будущем
состоятся торжественные сеансы

УНИЧТОЖЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ
В БУДАПЕШТЕ, КИЕВЕ, ЯФФЕ, АЛЖИРЕ

и во многих иных местах.
В программу войдут, кроме излюбленных
уважаемой публикой традиционных

ПОГРОМОВ,

также реставрирование в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы, как-то: «эвакуация», «очистка от подозрительных элементов» и пр., пр.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки без различия звания, а также все желающие.

О месте и времени будет объявлено особо.

Вход бесплатный.

— Учитель! — воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович,— это немыслимо! Двадцатый век — и такая гнусность! Как я могу отнести это в «Унион» — я, читавший Мережковского?

— Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. Очень скоро, может быть, через два года, может быть, через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным, безо всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского — самыми страстными посетителями этих сеансов! Видишь ли, болезни человечества не детская корь, а старые, закоренелые приступы подагры. У него имеются некоторые привычки по части лечения... Где уж на старости лет отвыкать!

...Когда Нил бастовал и начиналась засуха, египетские муд-

рецы вспоминали о существовании евреев, приглашали оных, с молитвами резали и землю кропили свеженькой еврейской кровью. «Да минует нас глад!» Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, невредно, но землю окроплять их кровью не следует, ибо кровь эта ядовитая и дает вместо хлеба белену.

...В Испании, когда начинались болезни: чума или насморк — святые отцы торжественно прощали «врагов Христа и человечества» и, обливаясь слезами, впрочем не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали несколько тысяч евреев. «Да минует нас мор!» Гуманисты, опасаясь высокой температуры огня и пепла, который ветер разносит всюду, осторожно, на ушко, чтобы какой-нибудь заблудившийся инквизитор не услышал, шептали: «Лучше бы просто уморить!..»

...В Италии, при землетрясениях сначала убегали на север, потом осторожно гуськом шли назад поглядеть — трясется ли еще землица. Евреи тоже убегали, даже раньше всех, и тоже возвращались домой позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому, что иудеи захотели этого, или потому, что земля не захотела иудеев. В обоих случаях отдельных представителей этого племени надлежало закопать живьем. Что говорили люди передовые?.. Ах да, они очень боялись, что закопанные окончательно растрясут землю.

...Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так как человечеству предстоит и глад, и мор, и приличное трясение земли, я только проявляю естественную предусмотрительность, заранее заказывая эти приглашения.

— Учитель,— возразил Алексей Спиридонович,— разве евреи не такие же люди, как и мы?

(Пока Хуренито делал свой «экскурс», он протяжно вздыхал, вытирал платком глаза, но на всякий случай отсел от меня подальше.)

— Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Могут ли быть братьями дерево и топор? Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, их дело не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе это вразумительнее. Вечер тих, нежарко, за стаканом легкого вуврэ я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно, «да» или «нет», остальное упразднив,— какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль?

— Конечно, «да», в нем утверждение и основа. Я не люблю

«нет», оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня принять его снова, я никогда не говорю ожесточающего сердце «нет», но: «Друг мой, обожди немного, на том свете ты будешь вознагражден за муки». Когда я показываю доллары, все говорят мне — «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое «да», и я берусь оздоровить человечество.

— По-моему, и «да» и «нет» — крайности,— сказал m-r Дэле,— а я люблю во всем меру. Но что же, если надо выбирать, то я говорю «да»! «Да» — это радость, порыв, что еще?.. Все! Madame, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу — не правда ли? Да! Гарсон, дюбоннэ! Да! Зизи, ты готова? Да, да!

Алексей Спиридонович, еще потрясенный предыдущим, не мог собраться с мыслями, он мычал, вскакивал, садился и, наконец, завопил:

— Да! Верую, господи! Причастье! «Да»! Священное «да» чистой тургеневской девушки! О, Лиза! Гряди, голубица!..

Кратко и деловито, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как-то: «творчество», «святыня», «ангел» и прочие. «Нет» и «да» необходимо оставить как слова серьезные, но все же, если бы ему пришлось выбирать, он предпочел бы «да», подобное хорошим скрепам.

— Да! — ответил Эрколе.— Во всех приятных случаях жизни говорят «да», и только, когда гонят в шею, кричат «нет»!

Айша тоже предпочитал «да». Когда он просит Крупто (нового бога) быть добрым, Крупто говорит «да». Когда он просит у Учителя дать два су на шоколад, Учитель говорит «да» и дает.

— Что же ты молчишь? — спросил меня Учитель.

Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей.

— Учитель, я не солгу вам — я оставил бы «нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я очень люблю мистера Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. Или если бы клиенты m-r Дэле перепутали бы классы. Встал бы из гроба тот, что по шестнадцатому классу на три года, и закричал бы: «Вынимай надушенные платки — хочу вне классов!» Когда чистейшая девушка, которая, подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, попадает в загородной роще на решительного бродягу,— тоже неплохо. И когда гарсон, поскользнувшись, роняет бутылку дюбоннэ — очень прекрасно! Конечно, как сказал мой прапрапрадедушка, умник Соломон: «Время собирать камни и время их бросать». Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два! Собирать кому-нибудь

придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальничанья, но по чистой совести должен сказать: «Уничтожь «да», уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно «нет»!

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

— Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все «черты оседлости», срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас он него. Мы все Робинзоны или, если хотите, каторжники. Дальше — дело характера. Один приручает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку — шишка, снова бух,— снова шишка, и так далее. Что крепче — голова или стена? Пришли греки, осмотрелись — может быть, квартиры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без муки — например, Олимп. Но ничего не поделаешь, надо устраиваться в этой. А чтобы сберечь хорошее настроение, лучше всего объявить все неудобства — включая смерть (все равно ничего не изменишь) — величайшими благами. Иудеи пришли и сразу бух в стенку. «Почему так устроено? Вот два человека, быть бы им равными. Так нет: Иаков в фаворе, а Исав на задворках». Начинаются подкопы земли и неба, Иеговы и царей, Вавилона и Рима. Оборванцы, ночующие на ступеньках храма — эбиониты,— трудятся: как в котлах взрывчатое вещество, замешивают они новую религию справедливости и нищеты. Теперь-то полетит несокрушимый Рим! И против благолепия, против мудрости античного мира выходят нищие невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим. Иудей Павел победил Марка Аврелия. Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик, начинают обживать новую веру, устраиваться в этом голом шалаше по-хорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, нет, это новая крепость. Страшная, голая разрушающая справедливость подменена человеческим удобным гуттаперчевым милосердием. Рим-мир устоял. Но, увидав это, иудейское племя отреклось от своего детеныша. Оно начало снова вести подкопы. Где-нибудь в Мельбурне сидит сейчас один и тихотихо подкапывается. И снова что-то месят в котлах, и снова готовят новую веру. Так сады Версаля пробирают первые приступы лихорадки, точь-в-точь как сады Адриана. И чванится Рим мудростью, пишут книги Сенеки, готовы храбрые когорты. Он снова дрожит, «несокрушимый Рим»!

...Израиль выносил нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, он готов

умереть. Героический жест — «нет больше народов, нет больше меня, но все мы!» О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут, и будет он совсем как Шмидт. Снова скажут — «справедливость», но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать «доколе?».

...Отвечу — до дней безумия вашего и нашего, до дней младенчества, до далеких дней. А пока будет это племя обливаться кровью роженицы на площадях Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст.

...Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется иудейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!..

И, подойдя ко мне, Учитель крепко поцеловал меня в лоб.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Таинственные разъезды Учителя и легкомысленное поведение учеников

Стояли дни исключительно яркие, как бы заливая седые улицы голубой эмалью и жидким золотом. Я видал немало весен, южных и северных, нежных и жестоких, но это было не время года, не очередной миф, а нечто буйное и праздничное, в то же время расточавшее все сладости осеннего предсмертья, напоминавшее в начале о конце, единственное... Весна поздняя и незаметно, без грома, без слез перешедшая в смутное душное лето.

Впервые после памятного вечера в «Ротонде» я почувствовал себя одиноким, слабым, потерянным. Учитель беспрерывно уезжал то в Германию, то в Вену, то в Лондон. Он категорически отказался рассказать что-либо об этих поездках. Я так и не узнал, зачем он спешил на свиданье с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что делал в течение двух недель в милой, веселой Вене. В своем дорожном широком пальто, с неизменным портфелем, перекочевывающий из одного международного экспресса в другой, он казался мне то охотником, который рыщет по столицам Европы, выгоняя зверя из укромной норы, то моей тетушкой Марьей Борисовной, суетившейся на именинах и перебегавшей, что ни минута, из кухни в залу для танцев.

«Что делает Учитель?» — думал я, сидя в «Ротонде», которую

еще более оценил как место моего обращения. Создает ли он новую религию? Или хочет взорвать дворец какого-нибудь великолепного раджи? Я рисовал себе картины дикие и великолепные: экспедиции в центральную Африку, проповеди нового Савонароллы на Плас д'Опера, экстаза, охватившего палату лордов, которые в невинном порыве срывают свои облачения и предаются трогательной чехарде. Но все эти образы исчезали, как только вспоминал я страшные диаграммы, висевшие в мастерской Учителя и напоминавшие мне почему-то Шмидта, который большими порыжевшими башмаками долго и основательно приминал розовые завитки распускавшихся гиацинтов.

Я начал много пить и, по доброму совету моего друга, молодого скульптора, время от времени, в жажде осмыслить события, глотал два-три зернышка гашиша. Но, увы, реальное все более и более исчезало. В «Ротонде» я чувствовал себя то ихтиозавром и топтал в доисторическом гневе шляпки натурщиц, то раджой, дворец которого хочет взорвать Учитель, писал письма в страховые общества, требовал от хозяина кафе ритуальных преклонений и плакал горькими слезами. Впрочем, это никого не удивляло — волна безумья в ту весну залила и маленькое кафе Монпарнасса. Я все время находился в обществе полосатой зебры, умолявшей перекрасить ее кожу в квадратики, толстяка-художника, утверждавшего, что он на седьмом месяце, родить же должен пророка-обезьяну в шляпе со страусовыми перьями, но что перья эти немилосердно его щекочут, и мулатки, сбежавшей из музик-холла, которая клялась, что философ Бергсон поручил ей завоевать Полинезию, а пока почему-то хлестала меня по щекам украденными со стойки ломтиками ростбифа. Я красил чернилами зебру, давал дружеские советы художнику, а избитый мулаткой плакал, отчего она такая злая. Отчего мой дворец не застрахован? Отчего был потоп? Отчего я один, покинутый Учителем, должен страдать здесь? Да полно, подлинно я ли это? И я щупал под рубашкой потную волосатую грудь, а убедившись, что это именно я — Илья Эренбург, Илюша, поэт «Эрайнбур»,— еще горше роптал и томился.

В один из своих кратких наездов в Париж Учитель нашел меня под скамейкой в «Ротонде», чудесные зернышки отобрал, накормил яичницей и повел к нашим друзьям. Уехав в тот же день в Англию, он дал нам наставление не разлучаться и, буде если мы обязательно захотим сходить с ума, проделывать это совместно. Я увидел, что с моими друзьями также происходит нечто неладное, правда, без гашиша и зебры. Все были явно смущены и подавлены отсутствием Учителя. М-r Дэле жаловался на то, что «Универсальный Некрополь» чахнет, мистер Куль скучал, Шмидт не мог работать вследствие дезорганизующего характера парижской весны, об ос-

тальных и говорить нечего. Я предложил ввиду общего томления и отсутствия Учителя заняться делами неподобными, так как сердце мое чует, что нельзя пропускать оказий этой неповторимой весны. M-r Дэле начал говорить что-то об умеренности и о своем возрасте, но не очень энергично, ибо любил смотреть, как развлекаются другие, и даже, несмотря на скупость, иногда оплачивал ужин своего конторщика Лебэна за право оставаться все время в отдельном кабинете ресторана.

Итак, мистер Куль оторвал еще один листок из своей книжки (вспомнив при этом жест «претворившего воду в вино»), и мы начали кутить. Постепенно к нам прирастали различные посторонние люди. С иными из них мы проводили целые недели, не зная ни их имени, ни даже национальности. Но двоих я хорошо запомнил. Первого, польского поэта Озаревского, приволок к нам Эрколе непосредственно из комиссариата, где оба провели ночь: итальянец за то, что, испытывая сильную жару, полез купаться в один из фонтанов Тюльери, поэт же — по требованию некоей старой добродетельной консьержки, к которой он, выпив предварительно бутылку мадеры, пристал, требуя, чтобы она немедленно превратилась в вакханку и вместе с ним кричала бы в подъезде: «Эвоэ!» Озаревский был весьма горд, носил черные кудри до плеч, идя из кабака в кабак, земли почти не касался из пренебрежения к ней, то есть, несмотря на свои сорок лет, подпрыгивал на цыпочках и вообще все грубое, материальное презирал. Производил он себя то от испанских грандов, то непосредственно от Озириса, изъяснялся напыщенно, требовал, чтобы все ему поклонялись, почему и оскорблялся на счета в ресторанах («поэт пьет влагу златопенную, дарит за это песни звонкострунные») и при всех неподходящих обстоятельствах писал стихи. Кроме того, говоря языком грубым и материальным, был он большой руки бабником и не мог пропустить ни единой юбки, пренебрегая даже возрастом ее обладательницы, без того чтобы не испробовать счастья. Везло ему главным образом с очень наивными девушками-польками, приезжавшими учиться в Сорбонну, знавшими наизусть его стихи о «любви небоподобной» и считавшими за особенную милость провидения быть отмеченными этим «чернокудрым гением». За свою «небоподобную любовь» Озаревский был уже неоднократно бит, как-то раз даже до потери сознания — мокрыми калошами, но в уныние не впадал. Он очень развлекал нас, ибо храбро подсаживался к старым американкам, к девочкам, играющим в Люксембургском саду, к певичкам, занятым уже другими кавалерами, повторяя всем примерно одно и то же, то есть: «огонь — бог — Озирис — приходите сегодня вечером». Как-то, когда мы заканчивали трехдневную попойку в Версале, он увидал аппетитную молочницу и, вернувшись в Париж, тотчас же послал

ей телеграмму: «Вы — лотос. Жду 11 вечера «Отель Шеваль Блан», комната 16 Великий трубадур».

Второй — обанкротившийся банкир из Венецуэлы, сеньор Мадурос, был давнишним приятелем Учителя. Где бы и с кем бы он ни был — на стуле, на коленях, на уличной скамье, немедленно появлялась карточная колода. Играл он в любые игры и на любые суммы. Рассказывали, что настоящая его фамилия — Капандэз, Мадуросом же он стал после того как в Монте-Карло, сговорившись с крупье и с двумя служащими казино, совершил до начала сеанса маленькую операцию над рулеткой, а именно: отогнул задерживающие перегородки, после чего, выиграв сто восемьдесят тысяч франков, сбежал не только от полиции, но и от своих компаньонов по работе, а выигранные деньги в течение трех дней благополучно проиграл в Сан-Себастьяно. Был он весьма элегантным брюнетом, но брился нечисто, присыпая черную щетину пудрой, благодаря чему казался голубым (он считал это особенным шиком). Пока мы пьянствовали, Мадурос играл со всеми: с новыми посетителями, с музыкантами, с лакеями, однажды даже с полицейским, и, когда никого кругом не оставалось, резался в дурачки с Айшей на апельсин или на папиросу. Он проиграл на наших глазах тысяч триста, дом в Венецуэле, виллу в Остэнде и жену (надо сказать, что Мадурос был нищ и гол, выпрашивая на обед два франка у мистера Куля, а также и холост), выиграл же, если не считать фантастических цифр, которые цифрами и остались, около пятидесяти франков, чью-то любовницу и большого охотничьего пса: последний с тех пор не покидал нас, настойчиво требуя от нашей общей матери-кормилицы, дорогого мистера Куля, костей на обед.

Когда зажигались на бульварах бледные огни, мы собирались в небольшом кафе на рю Фобур-Монмартр и вскоре шли дальше шумным табуном. Огромные зеленые и алые пауки скользили по стенам электрическими лапами, требуя, чтобы мы пили «куантро». Стройные отроки и библейские старцы в красных цилиндрах кричали нам: «Опомнитесь, если вы хотите счастья — идите в «Рояль»!» И безумный автомобиль, рыча и сверкая желтыми глазищами, как конь архангела, кидался к нам, заклиная курить папиросы «Нэви».

Мы шли покорно в «Рояль», пили «куантро», курили «Нэви». Сотни лакеев, важных, лысых и мудрых, как римские стоики, неслись, обгоняя друг друга, жонглируя бутылками, на лету выхлестывая что-то в рюмки и звеня монетами. О, эти пирамиды бутылок, длинных, как кегли, круглых, как шары, с таинственными печатями или с севильскими красотками, желтых, зеленых, красных, белых, всех мыслимых мастей! За стойкой алхимики в белых фартуках готовили различные смеси, сменив на английский латынь.

И на столиках росли победные столпы блюдечек, сотни Вандомских колонн. Румыны, цыгане, негры выли в трубы, в ожесточении рвали струны, хрипели и рычали. Потом выбегали женщины — таинственное племя без лиц, с опущенными на глаза челками, с ярко намалеванной мишенью для поцелуев, с открытыми грудями, с откормленными бедрами, сверкающими блестками стекляруса, отливами шелка, каменьями, лентами. Они налетали, как саранча, вереща, прыгая по столам, танцуя меж бутылками, падая на колени гостей, судорожно извиваясь, снова взлетая наверх и замирая где-то в углах. И мужчины вскакивали с залитыми вином манишками, с продавленными цилиндрами, кружились, шуршали билетами бумажников, убегали, схватив двух, трех, десять,— не считая.

Мы шли по улицам, и они обгоняли нас — эти страстные скопища, завитые то кадрильными парами, то густой спиралью. Мы заходили в маленькие бары, и те же бутылки поспешно наклонялись, брякали су, красногубые девицы носком туфли ударяли цинковый прилавок, прижимались, тащили к себе. Ухмылялись отели, как бы выволакивая на улицу огромные грязные продавленные кровати. Париж пах пудрою, спиртом, потом.

Мы уходили на рынок и глядели до тошноты на громадные туши, горы яиц и сыров, глыбы масла, чудовищных раков и на цветы, сдавленные в огромные пудовые тюки.

Потом выбегала на улицу дневная смена. Полчища автомобилей оглушали воем и гулом, дышали бензином, жаром, пылью. Вокруг магазинов, громадных, как города, в кипах ярких материй, в залежах шелков, в свалках лент и кружев рылись ожесточенные толпы женщин, потных, жадных и опьяненных шелестом, шорохом, шуршаньем, нежным треском материй. В полдень все застилал чад тысяч кухонь, дух сала, рыбы, лука. На террасах ресторанов люди с багровыми затылками равномерно, упорно жевали, щелкали зубами, чавкали и отрыгивали. Потом мы шли спать и, просыпаясь вечером, видели то же безумие.

Это были мерзость избытка, отчаяние изобилия, тяжелый сон полнокровья. Слишком много и тряпок, и поэтов, и женщин, и цветов, и бутылок, и людей! Слишком много всего! А солнце, немилостивое, четкое, почти враждебное, на тела, на смятые цветы, на живность, на лысые головы выливало ушатами разлагающий зной. Казалось, еще день, и не апокалиптический гром, нет, апоплектический удар хватит объевшийся, опившийся, заспавшийся на своем пуховике город.

В один из таких июльских вечеров Учитель, вернувшись наконец в Париж, пошел с нами в ночной кабак. По дороге, рассказывая ему несвязно обо всем — о рекламах, о подвигах Озаревского и о моем ужасе перед Парижем, я осмелился спросить его,

что он делает, не забыл ли он обо мне, о всех нас?.. Он не рассердился, но кратко ответил:

— Дело клеится, а ты мне лучше расскажи еще про этого поэта!..

Учитель очень изменился за три месяца, осунулся, сгорбился, на висках его ясно обозначалась седина. Он не шутил с Эрколе, не дразнил мистера Куля, он даже не поцеловал Айшу. В кабачке, спрашивая себе каждые четверть часа стакан виски, он то угрюмо молчал, то требовал от нас каких-то странных поступков. Он заставил m-r Дэле и Шмидта выпить на брудершафт и при этом неестественно смеялся. Айша, кроткий, нежный Айша, должен был показать, как бы он зарезал столовым ножиком Алексея Спиридоновича. Потом он предложил нам застрелить бродячую кошку, но тут все мы решительно отказались, и мистер Куль торжественно заявил, что «никто из нас крови, даже скотской, проливать не станет!» Это почему-то страшно развеселило Учителя, он кричал «браво», бил в ладоши и велел Алексею Спиридоновичу записать на карточке вин слова мистера Куля. Всем этим Учитель окончательно смутил и встревожил меня.

На следующее утро вдвоем с Учителем шли мы по тихой уличке нашего квартала. Навстречу нам женщина везла в коляске ребенка. Младенец весело и бессмысленно улыбался, а поравнявшись с нами, протянул свои ручки к Учителю, прельщенный блестящим набалдашником его палки. Учитель отступил к стене и беспомощно, будто он сам был ребенком, забормотал:

— Этого я не могу!.. Взрослые... но дети, почему дети?.. Может, не нужно?.. бросить!.. бежать!.. пулю в лоб!..

Никогда, ни до этого, ни после, я не видал нашего непреклонного, сурового Учителя в таком состоянии. Испугавшись, я закричал:

— Скажите, скажите мне, что с вами?..

Но Хуренито, быстро оправившись, вытер лоб платком и уже вполне спокойно сказал мне:

— Просто слабость. Не обращай внимания. Я переутомился, и потом эта жара!..

А вечером, когда мы сидели под платанами, на веранде беспечного кафе, пробежал мальчик, дико завывая: «Ля Пресс»! Мистер Куль подозвал его, желая узнать результаты бегов, но через минуту, протянув мне листок, терпко пахнувший краской, пробасил:

— Австрийского эрцгерцога убили! Каково!

Учитель спокойно попросил газету. Он долго сидел молча. Мы уже забыли о, по существу, совершенно безразличной для нас сенсации, и мистер Куль восторгался победой кобылы Ириды, когда Учитель голосом равнодушным объявил:

— Итак, будет война!

Это показалось нам столь смешным и нелепым, что все мы сразу запротестовали. Лучше всех общие чувства выразил m-r Дэле:

— Война может быть где-нибудь у дикарей, например на Балканах или в Мексике, но не у нас! Вы забыли, друг мой, что это Европа!

Мистер Куль доказывал, что человечество все же слишком нравственно для войны и что притом война — невыгодное предприятие. Эрколе уверял, что раз его не могли заставить встать с мостовой, то какой же черт заставит его воевать? Алексей Спиридонович говорил, как всегда — туманно, о «духе». Мне слова Учителя показались продолжением его утреннего бреда, и я спросил — хорошо ли он себя чувствует? Только Шмидт и Айша не спорили. Шмидт пробурчал:

— Что-то не очень верится мне, опять вмешаются дипломаты, а впрочем, посмотрим!..

Айша же объявил, что ему дома, т. е. в Сенегале, о войне много говорили и что это совсем неплохая вещь. Учитель не возражал, но, пробыв еще немного с нами, сказал, что чувствует усталость, и один пошел домой.

Мы же, забывши о войне, просидели вместе далеко за полночь в беседах о вещах весьма мирных, как-то: о совместной поездке на Корсику, о достоинствах различных сыров и о последнем увлечении Эрколе некоей венгеркой из цирка, подымающей двадцатипудовые гири. Напомнил нам о словах Учителя Айша, которому, видимо, понравилась придуманная Хуренито забава; смеясь, крича и прыгая, он снова начал показывать, как может он хорошо зарезать Алексея Спиридоновича или застенчивого тихого Шмидта.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Бурное расставанье.— Я всячески переживаю войну

Скоро мы поняли, что Учитель не шутит. Я не стану описывать дней ожидания, они слишком памятны всем. То, что чувствовали мы от одного выпуска телеграмм до другого, от надежды во что бы то ни стало до тупого отчаяния,— переживали в те дни сотни миллионов разноязычных людей. Наконец настало роковое тридцатое июля. Сомненья исчезли, все поняли непоправимое и, больше ни о чем не думая, кинулись в водоворот.

Вечером, не сговорившись, движимые одним и тем же чувством, сошлись мы у Хуренито, чтобы расстаться надолго, быть может навек. Я испугался, увидев m-r Дэле: он был совершенно невменяем,

кричал, что убьет Шмидта, если тот посмеет показаться, пел «Марсельезу» и требовал, чтобы Хуренито немедленно отправился сражаться за цивилизацию. Шмидт пришел абсолютно спокойный, даже пробормотал что-то о жаре (двадцать восемь градусов в тени). М-r Дэле не убил его. Зато началось нечто невообразимое, и мастерская Хуренито преобразилась не то в австрийский рейхсрат, не то в наш базар, где у бабки стащили с лотка пирожок. Все кричали, ругались, пели и наперебой друг друга обвиняли. Эрколе вопил, что война прекрасна и что он будет стрелять из самой большой пушки. В кого? Это он посмотрит, но стрелять будет обязательно. «Эввива!»

Под влиянием криков Айша обезумел, схватил нож для разрезывания книг и потребовал, чтобы ему тотчас же сказали, кого именно он должен резать — мистера Куля или меня. М-r Дэле внушительно объяснил ему, что он — Айша — французский и резать поэтому должен Шмидта. Увлеченный этой перспективой, Айша решил приступить к делу немедленно и настолько серьезно, что был предусмотрительно Учителем заперт в маленький чуланчик.

Охватив голову руками, Алексей Спиридонович голосил:

— Ныне пришлось светлое искупление! Русь! Мессия! На святой Софии крест! Братья славяне!..

Он кинулся к Шмидту и хныча обнял немца:

— Враг мой! Брат! Я люблю тебя, и оттого, что так люблю, должен убить тебя! Понимаешь? Не убью, но убивая жертвенно умру! Мы победим Германию! Христос воскресе!

Он облобызал Шмидта, но тот, вежливо отстранившись, вытер лицо платком и маленькой расческой оправил волосы.

Мистер Куль, растроганный всем этим зрелищем, дружески сказал:

— Я нейтрален! Но я тоже начинаю понимать, что война не так невыгодна, как мы думали раньше.

Я сидел, подавленный совершившимся. Я вдруг понял, что все страшные призраки, преследовавшие меня в течение долгих лет,— будничная петитная хроника по сравнению с этой реальностью. Сознав это, я перестал вообще думать, чувствовать, жить отдельной жизнью и надолго потерял себя.

Когда все, утомленные, несколько затихли, Шмидт заговорил:

— Дорогие друзья, ни к кому из вас я не чувствую никакой ненависти, хотя вы и мои враги. Но дело обстоит весьма просто. Нам необходимо вас организовать.

Он подошел к висевшей на стене карте Европы и как бы отрезал пальцем четверть Франции, восьмушку России, по дороге прихватив еще кое-что из мелких стран.

— Пока лишь это мы непосредственно присоединим, а на осталь-

ное будем оказывать систематическое воздействие. Это, конечно, не слишком галантная операция, но ничего не поделаешь, по доброй воле вы никогда не сорганизуетесь. Засим до свидания. Надеюсь встретиться с вами в одной из новых провинций Германской империи.

Сказав это, он пожал руку Учителю, поклонился и вышел.

Снова начался дикий гам. M-r Дэле освободил Айшу и требовал, чтобы тот, защищая цивилизацию, нагнал бы Шмидта и зарезал его, но Айша, в уединении окончательно успокоившись, предпочел на диване Хуренито разбивать мексиканским идолом грецкие орехи.

Порядок внес Учитель, ласково сказавший, что все это ему вполне понятно и он рад быть в такие минуты с друзьями, но, к сожалению, через час отходит его поезд. Скоро он должен будет проститься с нами, возможно — надолго.

— Случилось неизбежное и необходимое. Не думайте, что это на неделю, а потом снова «Рояль». Нет, этот знойный день — грань. Оглянитесь, пока не поздно, еще раз!.. Проститесь со всем, что знали. Вам странны мои слова, но разве вчера вы могли поверить в сегодня? Что же сказать вам о завтрашнем дне? Кричат знакомые заветные уютные слова: «родина», «честь», «победа», «во имя»... Что вам имя!.. Работают на безликого, бездухого, нерожденного, но в утробе — жесточайшего. Работайте и вы! Ступайте, куда поведет вас необходимость! Грозитесь, стреляйте, пейте вино, плачьте, делайте все, что делать должны! Я ухожу, но мы еще встретимся. Когда? Не знаю. Прощайте, друзья!

Взяв небольшой дорожный чемоданчик, наполненный, главным образом, бумагами, Учитель вышел, попросив на вокзал его не сопровождать. За ним все разошлись. Я остался вдвоем с Айшей в этих комнатах, еще как бы таивших дыхание Учителя. Всю ночь я смотрел на его страшные карты, на каменных божков, на забытую им короткую прожженную трубку с оттиском крепких зубов. Айша, свернувшись у моих ног клубочком, все грыз и грыз неистощимые орехи, время от времени испуская протяжный вздох: «Ай! Господин ушел на войну! Ай, Айша!..» А под окном до утра не смолкали песни, крики газетчиков, барабанный бой, топот проходивших к вокзалам солдат и чей-то пронзительный плач: «Жан! Жан! Жан!..»

Настало утро. Увы, дневной свет не помог понять, осмыслить, начать хоть как-нибудь жить. Открылось долгое существование, подобное неделям тифозного на койке лазарета. Кругом я видел те же горячечные глаза и слушал тот же бред, под конец ставший уже повседневной речью. Когда теперь, обходя свое прошлое, я добираюсь до этих месяцев, передо мной яма, и я стою и дивлюсь, как мог я выкарабкаться оттуда...

Все мои друзья разъехались. Мистер Куль, увлеченный какими-

то грандиозными заказами, отбыл в Нью-Йорк, обещав, впрочем, скоро вернуться. M-r Дэле призвали и послали куда-то на юг сторожить железнодорожные мосты. Он написал мне, что его перевели в Авиньон заведовать военным кладбищем и что, кроме того, горя энтузиазмом, но не имея возможности, по своему возрасту, сражаться, он занялся журналистикой и помещает статьи в «Заре Авиньона», а также устраивает различные патриотические предприятия. Эрколе, оставшись без средств, пробовал лечь на парижскую мостовую, но был быстро отправлен к себе на родину. Айшу мобилизовали и, поучив немного в южном городишке обращенью с оружием, иным, нежели столовый нож, отправили на фронт.

Пришел черед Алексея Спиридоновича и мой. В Россию вернуться мы не могли и в зимнее утро отправились вместе записываться добровольцами во французскую армию. Он бежал в восторге, твердя о мученическом подвиге, о мече не то Христа, не то Мережковского, о Царьграде, еще о чем-то. По дороге он забегал в бары, выпивал рюмку и пытался целовать кабатчиков: «Союзники! Братья!» — Я шел молча, скорее — понуро, ничего не чувствуя, кроме нестерпимой жары и самоуничтожения, шел, потому что это было легчайшим исходом. Подставить живот под чей-нибудь штык или штыком проткнуть чужой живот казалось мне в то время значительно более простым, нежели утром, проснувшись, купить честно за су «Матэн», о распоротых животах прочитать и заказать себе чашку кофе с бриошами.

На площади толпились тысячи людей с флагами различных стран. Они пели свои гимны, и от солнца, от пестрых лоскутьев, от дикой разноголосицы кружилась голова. Мы отыскали русских — они уже воевали между собой, размахивая всякими флагами — трехцветными, красными просто, красными с надписями, красноту объясняющими, французскими и, наконец, вовсе непонятными. Они тоже, по примеру других, пытались петь, но только что начинали, как песня тонула в гуле протестов. Потом они перестали спорить и начали исполнять одновременно: «Боже царя храни», «Марсельезу», «Интернационал», «Из страны, страны далекой» и даже «Не жури меня»... Впечатление было сильное, напоминавшее несколько негритянскую музыку и как нельзя лучше гармонирующее со смутой, жаром, разором разноплеменной толпы.

Впрочем, вскоре эта жуть сменилась мирной картиной бани. Придерживая кальсоны, я направился пытать свою судьбу к некоему столу, где мерили, щупали и выстукивали различные героические тела. Приставив трубку к моим ребрам, врач быстро гаркнул: «Не годится! следующий!» — и я остался со своим героизмом, вольный в углу надеть рубашку, идти читать «Матэн» и кушать сдобные булочки. Трогательно простился я с Алексеем Спиридоно-

вичем, который на следующее утро был отправлен со «Святой Софией» и с компанией подозрительных испанцев в Турень для обучения. На вокзале он неожиданно объявил мне, что Хуренито — изменник, ибо «душой нейтрален, а нейтральные — это скрытые германофилы», и попросил меня вернуть ему старый устав «Общества изыскания Человека» а также меню «Рояля», на котором он записал памятный афоризм мистера Куля.

Но, увы! Хулио Хуренито бесследно исчез. Уезжая, он не оставил никому адреса и никто писем от него не получал. Его мастерская стояла пустая, неприбранная, со смятыми газетами и раскрытым сундуком. Первое время я часто заходил туда, чтобы предаться сладостным воспоминаниям о стольких вечерах, проведенных в этом унылом сарае. Но мне пришлось прекратить эти посещения вследствие всяческих неприятностей. В то время в Париже свирепствовала эпидемия шпиономании. Германских агентов находили в кафе, в канцеляриях, в детских садах, даже у себя дома, в гардеробе жены. Неожиданно оказывались предателями: профессора-гинекологи, кормилицы, кладбищенские сторожа, двоюродные братья и многие другие. Когда, наконец, у старика учителя географии нашли исчерченную карандашом карту двух полушарий, а у старьевщика на Маршэ-де-Пюс подержанный компас немецкого происхождения, подозрительность достигла высшего предела. Консьержка, недолюбливавшая Хуренито, то есть главным образом не его, а Эрколе, относившегося с недостаточным уважением к ее лестнице, донесла, что Учитель вел образ жизни подозрительный, бывали у него странные люди, явно без положения, и говорили часто между собой на языке иностранном, вероятно по-немецки. Явилась полиция, и мне пришлось расстаться с милой опустевшей храминой.

Осенью и зимой я страстно ждал Учителя, озирался, блуждая по улице, слушал в комнате шаги по лестнице, караулил приход почтальона. Где он? Быть может, на фронте, командует какой-нибудь дивизией? Арестован? Сидит в тюрьме? Утонул при переезде в Мексику? Расстрелян? Убит в бою? Но зачем же тогда он оставил нас? Зачем я тогда живу? Я роптал, я требовал, я ждал, но ответа не было...

Передо мной встают теперь эти бурные ночи, когда все ветра трепали слабую ладью без руля. Стреляли, кричали, что немцы возьмут Париж, убегали с бархатными портьерами, с канарейками, с ночными горшками. По ночам мне казалось, что в мою комнату входит Шмидт и начинает меня организовывать: «Герр Эренбург Эльяс! Встаньте! Подберите живот! Направо! Две питательных пилюли! Три литра пива! Развлекайтесь! Налево! Фрау Хазе, ложитесь!»

Потом я стал реально, физически ощущать убийство. Кругом

исключительно занимались этим, раньше запретным делом. Я читал: «три, пятьсот, десять тысяч убитых», «мы перекололи», «разорван», «заколот», «удушен», «засыпан», «потоплен», «убит, убит, убит!». Визжали мальчики на бульварах: «Все переколоты!», отвечал лакей: «Семьдесят пять метров — меткая стрельба», басила лавочница: «Окружили, разбили, перебили!» Напротив меня жил тихий старичок, целый день он читал газеты, а вечером звал меня в гости и начинал колоть старой поломанной кочергой специально для этого повешенную открытку с изображением какого-то усатого немца. Другой сосед, m-r Ини, настройщик роялей, требовал, чтобы я показал ему, как казаки работают пиками. Я не мог, я не знал, я не хотел, но он говорил, говорил: «Режут, колют, протыкают», и раз ночью я вбежал к нему в белье, с маленькой тросточкой, крича «ура!», и начал сверлить его мягкий растекающийся живот.

Потом я начал сомневаться — не немец ли я? Разгромили молочные «Магги», а я там несколько раз покупал творог. Я выкинул мою бритву с подозрительной надписью. Я оборвал все пуговицы моих брюк, явно вражеские. Я готов был порвать даже брюки, но m-r Ини отговорил меня. Еще кто-то смел играть в соседнем доме Баха. Что это? Я бежал, узнавал, мне показывали статью в газете: Бах — не немец. Бах — француз. В отчаянии я не хотел верить. Произошло самое ужасное — я усомнился в себе. Это началось после того как барышня на «poste restante» [1], где я получал письма, дружески мне посоветовала: «У вас нехорошая фамилия, перемените окончание». Я не знал, как это делается, и почему-то послал прошение в Москву мировому судье Хамовнического участка. Но что фамилия! — было нечто посерьезнее. Случайно увидал я провинциальную газету «Пти Нисуа»; там, в передовой статье, определенно говорилось о том, что немцев можно узнать по особому, исключительно им присущему запаху, по какому — точно не объяснялось: ясно, всякий почувствует. Прочитав это, я стал нюхать себя, но свой собственный запах трудно распознать. Я слышал лишь дух табака да скверного одеколона, так как в то утро брился. Тогда я разбудил консьержку и очень вежливо попросил: «Понюхайте меня» — но и это не удалось. Мне пришлось переменить комнату, а запах мой продолжал для меня самого оставаться тайной.

Так в томлении и в неизвестности дожил я до весны. Не имея денег, я стойко голодал, продал все, оставшись в одних подозрительных брюках и в высокой широкополой шляпе, и подрядился на ночную работу — подвозить вагонетки с ящиками. На ящиках была надпись: «Осторожно!», и товарищи говорили, что это фарфор, я же был убежден, что в них снаряды. Приходя утром домой и слад-

---

[1] «Почтовое отделение» *(фр.)*.

ко потягиваясь, я кричал: «Недолет! перелет! бум! трах! шестьдесят три разорвано». Работа была трудная, тем более что вид мой, особенно шляпа, смешил товарищей, и они по душевной доброте поили меня вскладчину дешевым ромом. Выбиваясь из сил, я уже не руками, а животом толкал тележку. От спирта рельсы прыгали, ящики вываливались, и огромные чугунные гады разрывались. Я падал.

В предместье Парижа, куда я перебрался, привезли раненых с обмотанными марлей лицами, слепых или прыгавших на костылях. Еще прилетал кто-то и кидал бомбы — не те, что я возил, другие, немецкие. Я видел девочку в голубеньком платьице с оторванными выше колен ногами. А хриплые мальчики все кричали: «Убиты! погибли! взорваны!» Я задыхался от запаха крови, иодоформа, типографской краски. Я больше ничего не ждал. Я забыл о том, что был человек, которого я звал Учителем.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миссия Лабардана.— 155 т орудия

В майское утро, когда, вернувшись с работы, я беспокойно спал в грязной каморке пригородного отеля, меня разбудила встревоженная хозяйка:

— Вас спрашивает господин — он приехал в автомобиле!

Я не успел опомниться, как в комнату вошел элегантный господин, с лицом невыносимо знакомым:

— Не узнал? Я вчера приехал в Париж и едва разыскал тебя.

Да! Да! Это был Учитель! Он поправился, сильно загорел и отпустил небольшие усики. Я молча глядел на него, глядел жадно и восторженно, ибо с каждой минутой исцелялся от безумия. Мне даже казалось, что ничего не произошло и Хуренито зашел, чтобы пойти со мной во флорентийскую церковь или в таверну Амстердама.

— Учитель, где вы пропадали так долго? На фронте?

— Нет, я главным образом удил рыбу, а также ел виноград и фиги на Балеарских островах. Тридцатого июля я уехал прямо из Парижа в Майорку. Мне нечего было делать в Европе. Все делалось само собой. Я не мог быть полководцем. Я не хотел быть пацифистом. И потом... потом там удивительный виноград, крупный, душистый, вроде изабеллы, но лучше. А в речке — форели. Закинешь удочку... Я девять месяцев не читал газет. Теперь — другое дело, теперь хаос принимает формы, сумасшествие становится бытом.

Сидеть у речки я больше не могу. Одевайся-ка, милый, мы сразу приступим к работе. Видишь ли, я теперь полномочный представитель Лабарданской республики, а ты мой секретарь.

Учитель вынул из портфеля какие-то огромные листы с красными печатями, оказавшиеся дипломатическими паспортами и напугавшие меня так, что я залез под одеяло. Но спорить все же я не посмел, я только показал на мои брюки.

— Это не страшно, мы сейчас заедем к портному и в магазины. Гораздо хуже то, что ты любишь говорить о своих переживаниях. Если ты не можешь вообще перестать переживать, то, во всяком случае, молчи. Говорить буду я, а если тебя просят — отвечай что-нибудь невинное, например «мерси».

На следующий день мы подъехали ко дворцу, где помещалось министерство. В книге между мистером Уйльдом, американцем-пароходовладельцем и представителями португальской прессы значилось: «Миссия Лабардана». С трепетом оглядел я лакеев в малиновых фраках и одному, особенно важному, безо всякой нужды, исключительно из стеснения сказал «мерси». Министр оказался очень любезным. Учитель торжественно объявил ему, что Лабардан хочет присоединиться к союзникам и просит поэтому точно формулировать преследуемые ими цели.

— Они известны всему миру,— ответил министр.— Мы боремся за право всех, даже малых народов, самим определить свою судьбу, за демократию, за свободу.

Учитель был, видимо, взволнован этим заявлением и не скрыл своего восторга. Я же раньше читал об этом в газетах и объяснил себе волнение Учителя тем, что он газет на острове не читал. Я скромно сказал «мерси», и мы откланялись.

Вечером Учитель составил соответствующую декларацию и велел мне разослать ее во все крупные газеты мира. Вот текст:

«Правительство республики Лабардана не может оставаться нейтральным в великой борьбе между варварством и цивилизацией. Из переговоров с представителями союзных держав лабарданское правительство окончательно выяснило себе высокие цели защитников права. Всем народам, даже самым малым, будет предоставлена свобода распоряжаться своей судьбой. Поляки, эльзасцы, грузины, финны, ирландцы, египтяне, индусы и десятки других народов освободятся от ига. Кончится угнетение иных рас, больше не будет колоний. Наконец в деспотической России, при победе союзников, будет введена свобода. Правительство и народ Лабардана не могут долее колебаться, они гордо вступают в ряды борцов за истинное право!»

Однако ни одна французская газета декларации нашей не напечатала; все ограничились краткими заметками о разрыве диплома-

тических сношений между Лабарданом и Германией. Посланные в заграничные органы телеграммы были возвращены с пометкой: «Не пропущено военной цензурой». Наконец в отель «Люкс», где мы поселились, явились различные чины префектуры явно не только с намерением выявить добрые чувства к представителям дружественной державы. Я спросил Учителя, почему разумное толкование слов министра ведет к столь неприятным результатам, он он посоветовал мне рассуждениями абстрактными себя не утруждать, а лучше принести ему утренние газеты. Час спустя на его столе лежали отчеркнутые красным карандашом различные статьи и заметки, как-то: «Константинополь — России», «Германские колонии и японцы», «Рейн — французская река», «Исторические права Италии на Далмацию». Учитель сказал мне:

— Я сам виноват. Я проявил непростительную вульгарность, как простак, толкуя буквально возвышенные образы господина министра. Когда-то в Америке я проштудировал «Краткое руководство для начинающих дипломатов», но одновременно я изучал электротехнику, персидский язык и стенографию, так что был, очевидно, рассеян и не затвердил даже основ этого ремесла. Ничего не поделаешь, надо исправлять поскорее ошибку, едем в министерство!

На этот раз нас принял не министр, а чиновник и, судя по его чрезмерной важности, не из крупных. Хуренито любезно, но вместе с тем непреклонно изложил условия, на которых Лабардан может примкнуть к союзникам:

«1. В городе Нюрнберге, как это точно исследовано историками, проживал в семнадцатом столетии часовщик, гражданин Лабардана. Поэтому Нюрнберг со всеми прилегающими к нему землями, включая Мюнхен, должен перейти к Лабардану.

2. Жизненные интересы Лабардана требуют колоний. Наиболее подходящим для колонизации является Гамбург.

3. Хотя Лабардан не имеет общей границы с Германией, опасность новой войны угрожает ему, если не будут произведены некоторые стратегические изменения карты Европы. Уступка Смирны, парка Пратера в Вене и Баден-Бадена обеспечат спокойствие Лабардана».

Чиновник внимательно выслушал это, предложил нам пока отправиться на фронт вместе с другими почетными гостями, подарил дюжину открытых писем с видами разрушенных немцами местностей и обещал проект довести до сведения министра.

На следующий день мы поехали с каким-то фабрикантом из Барселоны, с журналистом-перуанцем и с весьма вежливым лейтенантом на фронт. Лейтенант долго выбирал то место фронта, где ничего войну напоминающего не было бы. Но даже туда мы не

доехали. Как только перуанец услыхал далекие отзвуки канонады, он начал жаловаться на сильные рези в желудке, говорил, что поездкой вполне удовлетворен и теперь спешит назад, чтоб отправить телеграмму в свою газету. У нас было два автомобиля, и в одном из них перуанец поехал назад. Фабрикант был, наоборот, очень храбр и все время доказывал лейтенанту, что, будь на месте французов испанцы, Берлин был бы давно взят. Отъехав немного дальше, мы позавтракали у очень милого генерала. Потом у другого генерала пили чай. У третьего обедали. Всюду были тосты, среди них «За нового друга — Лабардан!» На следующий день мы еще немного продвинулись по направлению к фронту и наконец увидели батарею. Узнав, что сюда долетают тяжелые снаряды, фабрикант немедленно переменился, потребовал каску, сообщил мне адрес своей семьи и наотрез отказался ехать дальше. Он даже не вышел из автомобиля, и лейтенант напрасно пытался развлечь его беседой о превосходстве французской стрельбы над немецкой. «Но ведь все-таки немцы тоже стреляют»,— стонал испанец и требовал лист бумаги, чтобы успеть написать жене последнее письмо.

Мы отошли в сторону. Было тихо и весьма мирно. Учитель разговорился с офицером, командовавшим батареей, и тот предложил, чтобы ознакомить нас с ходом артиллерийской дуэли, открыть стрельбу. Обыкновенно она начиналась на два часа позже. Выстроенные в ряд, стояли огромные длинношеие чудовища. Крохотные гномы суетились вокруг них, подкатывали снаряды, дергали веревку, отбегали. Чудовища наклонялись, выплевывали что-то черное, на одно мгновение зримое, изнеможенные, откидывались назад. В ответ несся грохот экспресса, влетающего в стеклянные своды вокзала. Это — немецкий снаряд.

Учитель долго, почтительно глядел на разъяренное, горячее, полное воли и огня чудовище.

— Можешь смеяться над Господом и над поэзией, над родиной и над свободой,— сказал он мне,— но пред орудиями благоговейно преклонись. Из их глотки вылетает не только смерть сотни-другой людей, но черное неизбежное будущее.

Он сказал еще:

— Кстати, о свободе. Ты заметил — о ней забыли все, кроме, разве, профессиональных журналистов. Как эти люди подчинили свои чувства, думы, дни разумным машинам, так вся Европа предана сейчас железному единому закону. О свободе, самой простой, не той торжественной, что в конституциях «слова, совести, передвижения» и прочая, прочая — нет, о свободе жить, думать, ездить на лодке, бить полотенцем мух, писать стихи, вешаться от любви на галстуке, о свободе человеческой забыли все, она стала анахронизмом. Великолепное начало! Ее и не было, этой свободы, был подлог,

кукла, игрушка. Ее и не могло быть, пока была подделка. Конечно, война убила сотни тысяч людей, но она уничтожила также одним железным дуновением, одним вот таким плевком мерзостную восковую красотку в витрине универсального магазина, свободу в корсете и в игривом декольте.

В это время раздался душераздирающий крик испанца, прошедшего все муки ожидания. Делать было нечего, мы повернули к Парижу.

Дома нас ждали неприятные новости. Оказывается, и телеграммы с декларацией и гордые пожелания об аннексии различных территорий вместо министерства иностранных дел попали в префектуру полиции. Кроме того, выдающийся географ, член Академии, проделав различные изыскания, пришел к выводу, крайне изумившему и его и нас, а именно, что государства Лабардан вовсе не существует, есть остров Лабрадор и есть еще Лапландия. Сообщение его было напечатано в воскресном номере «Фигаро» и также, очевидно, по известной всем любви французов к географии, попало в префектуру.

К Хуренито явился полицейский и начал с ним беседу, судя по определенности и недопустимости двойного толкования, отнюдь не дипломатическую. Мне он также сказал нечто неприятное, но я, вспомнив лист с красной печатью и наставления Учителя, в последний раз промолвил свое «мерси» дипломата. Все, однако, благодаря находчивости и такту Учителя закончилось несколькими неприятными минутами и визитной карточкой одного симпатичного депутата.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Чемпион цивилизации и ожерелье Айши

Вследствие горячих симпатий к делу союзников, красноречия и организаторских способностей Хулио Хуренито вскоре завоевал себе общее уваженье. Он был лучшим устроителем различных патриотических «матинэ», базаров, концертов. Прекрасная виконтесса де Буран, получив за гвоздику сто франков «на разумные развлечения для наших бедных пуалю», долго возбуждала ревность и зависть своих подруг рассказами об удивительном мексиканце. Он помог открыть невиданный по размерам «тир-а-пижон», где полные священного порыва дамы, а также молодые люди из хорошего общества с неизлечимыми пороками сердец, отнюдь не порочных, могли стрелять если не в кровожадных «бошей», то в раскормленных, отучившихся летать голубей. Плата за вход шла

в пользу раненых воинов. Он не забыл также о несчастных беженцах: для них в особняке маркизы де Жибье он устроил интимный бал-маскарад. Зал, стараниями модного художника Гапаранды, был преобразован в поле битвы, гости одеты солдатами, широкоштанными зуавами, индусами в тюрбанах, матросами, тюркосами и сестрами милосердия. Сенегальцы сервировали в бокалах, имевших форму гранат, простой солдатский ром. Шампанское было заморожено в ведерках, напоминавших снаряды. Различные уютные уголки ограждены были проволокой. В саду пускали беспрерывно ракеты. Чистый сбор в пользу беженцев достиг восьмидесяти франков. Верный помощник не выносящих светского безделия дам, Хуренито способствовал устроению многих полезных учреждений: в одном — «Возвращенный очаг» — жительницам разоренных войной мест за какие-нибудь десять часов неумелой работы давали чистую койку и питательный обед, состоящий из супа и вареной чечевицы, в другом — «Кусочек сахара» — всем младенцам, отцы которых были не менее трех раз ранены, выдавали совершенно бесплатно раз в неделю кусок сахара.

Но более всего Хуренито любил организовывать депутации к различным памятникам. Это были великолепные паломничества ко всем конным и пешим статуям парижских площадей. Неудовлетворенный Парижем, он выезжал на гастроли в провинцию. Так были им отмечены: четырнадцать «Республик», девять «Свобод», четыре Гамбетты, одиннадцать Жанн д'Арк, маршал Ней, аббаты, открывшие хинин, неизвестная голая женщина (по всей вероятности — также «Свобода»), Альфред Мюссе и бронзовый солдат из Пуатье. В это время внешний облик Учителя стал известен всему цивилизованному миру, ибо ежедневно в тысячах кинематографов, после бебе, примиряющего неверных супругов, и похитителя сапфиров Индостана, обнаруженного сыщиком, появлялся на экране высокий патетический господин, возлагавший под бравурные звуки «Марсельезы» к ногам очередного героя большой венок с лентами.

Особенно удачно прошла последняя манифестация. Это было в начале октября. Учитель в унынии рыскал по городу, ища хоть одну неиспользованную им статую, но все было тщетно. Две тысячи восемьсот шесть паломничеств истощили Столицу Мира. Он начал уже подумывать о заграничных поездках — там была девственная целина: полки британских адмиралов с невнятными именами, Витторио Эмануилы, Скобелевы, все что угодно и в любом количестве. Но совсем неожиданно, проходя по узкой уличке Мутон-Дювернэ, недалеко от кладбища Монпарнасс, Учитель вздрогнул и замер: перед ним в грязном дворе, рядом с мастерской цинковых ванн, стояла статуя, пусть поврежденная, в пыли, без пьедестала, но настоящая неизвестная статуя. Это был некто мужского пола,

в одной руке державший книгу, в другой, поднятой к небу,— остатки весов.

Началось серьезное научное расследование. Сотрудник «Ля Круа» аббат-археолог, заявил, что это архангел Михаил, измеряющий грехи Франции и возвещающий ее спасение. Относительно костюма архангела (статуя была в сюртуке) он прочел специальную лекцию: «Религиозные предчувствия и ясновидения наших гениев средневековья». Археолог просто утверждал, что это — древний галл, в руках его не книга и не весы, а лук и шкура дикого медведя происхождения крайне раннего, сюртук же приделан при реставрации, в середине прошлого столетия.

Совершенно особого мнения придерживалась консьержка, во дворе которой была обнаружена статуя. В ее наивном и вульгарном представлении статую эту лет десять тому назад заказала мастеру надгробных памятников m-r Бэку вдова m-r Краба, владельца большого колониального магазина на рю Фруадево. По настоянию вдовы, мастер изобразил покойного лавочника с любимыми весами и приходо-расходной книгой. Но когда статуя была готова, легкомысленная вдова внезапно вышла замуж за содержателя бродячего цирка и заказа не взяла. M-r Бэк четыре года тому назад бросил мастерскую (ту самую, где теперь делают ванны), оставив консьержке вместо денег изображение m-r Краба и старого лысого кота. Кот издох, а статуя осталась. Такова была версия консьержки, достойная быть отмеченной по своему младенческому невежеству.

Но Учитель не удовлетворился и соображениями двух археологов. Он выставил свою, победившую всех гипотезу. Статуя — это Чемпион Цивилизации, он держит «декларацию прав человека и гражданина», а также символ вечного правосудия — весы. Установив личность неизвестного, Хулио Хуренито объявил, что двадцать восьмого октября состоится торжественное паломничество к статуе Чемпиона Цивилизации. Приглашались различные научные и спортивные общества, а также академические делегации союзных и нейтральных стран.

Был прекрасный солнечный день. Весь двор пристыженной, наконец, консьержки заполнили важные и сосредоточенные депутации. Академия наук, «Кружок молодых пловцов через Сену», военные атташе Черногории, «Общество патриотов непризывного возраста», артистки театра «Сан-Прекюдис» и другие с приветственными речами возложили венки. Неожиданным и трогательным было выступление консьержки:

— Простите меня, господин Краб, то есть Чемпион Цивилизации! Я вас видела каждый день за прилавком и у себя во дворе. Но я не знала, что ваши весы — символ правосудия, и я никогда не заглядывала в вашу книжку на конторке. Теперь, когда к вам

пришло столько почтенных господ, я поняла все! Примите же и этот скромный дар! — и она бросила к ногам статуи свою метлу.

Последним выступил Хуренито. Я удивился, увидав его впервые при подобных обстоятельствах без венка. Как могло это случиться? Говорил он выразительно и с глубоким чувством:

— Дорогой Чемпион Цивилизации! Я не буду после стольких прекрасных речей напоминать о твоих былых подвигах. В переживаемые нами трагические дни твой образ светит миру. Здесь, на этом скромном дворе, зажжен неугасающий маяк. Ты создал божественную декларацию и, чтобы написанное не осталось мертвой буквой, ты взял бесстрастно весы, каждому отвесив по заслугам. Но вот дикие варвары, готы, современные Аттилы, каннибалы, деспоты посягнули на цивилизацию, на священные права человека и гражданина. Ты не уступил. Сгрудив вокруг себя другие, младшие народы, ты поднял знамя борьбы за человечество, за гуманность, за любовь к слабым. Я не принес тебе венка. Какие цветы достойны лежать у твоих ног? Не эти, мирных садов и теплиц, но выросшие там — на поле брани. И я верю, что один из миллионов героев принесет тебе высший дар — победные трофеи, взятые у поверженного варвара!..

Учитель не закончил своей проникновенной речи. Растолкав толпу, повалив даже какого-то уже чрезмерно маститого академика, к нему подбежал негр в солдатской форме с болтавшимся рукавом шинели вместо правой руки. Мне трудно передать мои изумление и радость, когда я разглядел его,— это был наш дорогой Айша. Он целовал руки и жилет Учителя. Наконец, отдышавшись и завершив целованье, он заговорил:

— Господин! добрый господин, Айша нашел тебя! Ты хорошо говорил, и бог твой — хороший бог! Если бы у Айши была рука, Айша бы сделал тоже такого бога, но у Айши нет руки. Айша был на войне! Страшно! Сначала Айша глупый был! Не хотел идти! Господин капрал, добрый господин хотел убить Айша. Очень боялся Айша. Пушки у-у-у! Потом Айша выскочил, бросил винтовку, вынул ножик, кричал, бежал. Помнишь, господин, ты спросил Айша, как он ножиком режет? Айша прибежал, немец, два, пять, десять, много немцев, всем головы отрезал. Потом француз поймал пять немцев, не знал, что с ними делать. Глупый француз, говорит Айша: веди их к генералу. Айша не дурак. Добрый капрал учил Айша — немец враг, немца надо убить. Айша зарезал все пять. Потом пушки снова бум-бум! Айша понял — злой бог, хитрый бог, надо себя спасать, надо взять на сердце «гри-гри». Айша вырвал зубы у всех убитых немцев, сделал «гри-гри», положил на сердце. Потом пуля из пушки

упала прямо на Айша, злая пуля. На сердце был «гри-гри», Айша не умер, только руку резали Айша. Очень больно, господин! Айша носит всегда свой «гри-гри». Айша любит «гри-гри». Но господин говорит, что это хороший бог. Господин не знает, что подарить своему богу. Айша любит господина! Айша дает свой «гри-гри»!

Айша вынул из-за пазухи большое ожерелье из пожелтевших человеческих зубов, искусно просверленных и нанизанных на голубенький шнурочек. Повернувшись к статуе, Учитель торжественно сказал:

— Великий Чемпион, я даю тебе героическое приношение твоего брата — скромного безвестного борца за святое дело мировой цивилизации. Я кладу этот наивный и прекрасный дар на чашу колеблющихся ныне весов истории, да ляжет он всей тяжестью любви, жертвы и гуманности!

И действительно, на остов весов Учитель повесил ожерелье Айши.

Это была незабываемая минута. Многие, даже мужчины, даже военный атташе Черногории, растроганные, плакали навзрыд.

На следующий день подробное описание церемонии было напечатано во всех приличных газетах, а неделю спустя Айша, который снова поселился в квартире Учителя, получил телеграмму с извещением о том, что университет Лиссабона, восхищенный его беззаветным героизмом в деле защиты цивилизации, поставил присудить ему, Айше, звание доктора «honoris causa» [1]. Но Айша отнюдь не возгордился всеми этими почестями. По-прежнему, скаля зубы, он тихонько просил у Учителя мелкую монету, чтобы купить шоколад с помадкой. Его очень смушал не заполененный ничем рукав. Тогда Хуренито купил ему механическую руку американской фирмы «Ультима». Рукой своей Айша чрезвычайно гордился и даже говорил, что, не будь это так больно, он бы отрезал другую, обыкновенную руку, чтобы получить «Ультиму». Единственное, чего он не мог делать с «Ультимой» — это заниматься изготовлением своих богов. Учитель посоветовал ему вместо этого, беря с него пример, ходить в гости к чужим богам, то есть к различным парижским статуям, что Айша и проделывал с величайшим рвением. Богов он толковал по-своему, достаточно неожиданно. «Республика» была, по его мнению, богиней плодородия: «В животе дитя есть, молоко тоже есть»; «Свобода» — богиней танцев: «Веселая, сейчас полетит чик-чик»; Дантон «хороший бог, голову срезал, доволен очень»; «Мыслитель» же Родена — «плохой бог, сидит, живот болит». Впрочем, всех их без различия он часто навещал и

---

[1] «Ради почета» *(лат.)*, т. е. присвоение ученой степени без защиты диссертации в силу общепризнанных заслуг. *(Ред.)*

носил им пуговицы, старые перья, даже серебряную бумагу от шоколада, которую сам страстно любил.

Иногда по вечерам, в эти годы величайшей катастрофы, сидя в уютной столовой за круглым столом с Учителем и Айшей, я забывал обо всем испытанном и чувствовал себя в тесной неразлучной семье.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хозяйство мистера Куля

Неудовлетворенный деятельностью идеологической и филантропической, Учитель решил приступить к практической работе. Прежде всего он вернулся к своим химическим изысканиям. С исключительным терпением и настойчивостью стремился он найти различные, доселе не использованные способы умерщвления людей. Удушающие газы и насосы с пылающей жидкостью, о которых он писал в 1913 году, казались ему детской забавой. Он возлагал все свои надежды на известные эффекты лучей, волн электричества и на радий. Были забыты виконтессы и маркизы. По целым дням он не выходил из своего кабинета. Он жаловался мне на недостаток средств — ему не хватало каких-нибудь трехсот тысяч долларов, чтобы купить необходимый для опытов металл. Еще большие затруднения вызывало отсутствие материала для проверки, так как ни кролики, ни собаки заменить человека в данном случае не могли. Хуренито обратился к властям с просьбой предоставить ему для важных опытов партию пленных, но из-за предрассудков ему было в этом отказано.

Однажды Учитель вышел ко мне веселый и оживленный: несмотря на все затруднения, он нашел средство, которое значительно облегчит и ускорит дело уничтожения человечества. Он объяснил мне основы сделанного открытия, но, по моей прирожденной тупости к физике и математике, я ничего не усвоил, кроме того, что с помощью каких-то световых волн можно в течение часа на стоверстном фронте убить не менее пятидесяти тысяч человек.

— Если бы здесь был мистер Куль, он помог бы мне осуществить это изобретение! — горестно воскликнул Учитель, понимая, что ни я, ни Айша не можем ссудить его нужными средствами. Обратиться же непосредственно к правительству после полученного отказа он не хотел.

Мы пробовали разыскивать мистера Куля в церквах, в публичных домах, в клубах, справлялись о нем в библейском обществе,

в банках, но никто не знал его адреса. Как-то, отчаявшись после бесплодных розысков, сидели мы в маленьком баре у Северного вокзала и пили дрянное винцо, когда подсел к нам солдатик, только что приехавший с фронта. Был он на участке смежном с англичанами и рассказывал о них много забавного:

— Какие они чистые и глупенькие! Во-первых, моются каждый день! Да не лицо, а все тело! Ну, что вы скажете? Потом ходят в церковь и там все поют, да так весело, как будто это эстаминэт [1]. Потом есть такие, что ходят не в штанах, а в юбках. Я раньше думал, что у них снизу все-таки штаны. Даже поспорил с кухаркой английского генерала. Так та на лестнице подсмотрела. Ничего! Каково? Потом, как приезжают, сейчас — где французское вино? Одному дали уксус, он выпил, не сморгнул. «Иес!» А как уезжают к себе — в парфюмерный магазин — женам подарки. В Амьене каждый день хвост! И чего им только не подсовывают! Вместо духов — клопиную жидкость, вместо маникюра — приборы для выпиливания. Чудаки! Или еще — авиаторы английские сбрасывают стрелы, а на стрелах надписи, гимн, что ли! Вот посмотрите, я одну везу в подарок сыночку!

Солдат показал нам стрелу; на ней по-английски значилось: «Брат, войди в царство небесное!» Увидав это, Учитель в величайшем волнении, закричал: «Это мистер Куль!» — и побежал в английское консульство визировать наши паспорта.

В течение нескольких недель мы искали следов мистера Куля в военном министерстве и в различных департаментах снабжения. Нельзя сказать, чтоб это занятие пришлось нам по вкусу. В нас заподозрили немецких шпионов, арестовали, тщательно допрашивали, интересуясь, чем занимался в 1898 году двоюродный дядя Хуренито, живший в Мексике, и есть ли у моей двоюродной сестры в Новгород-Северске недвижимая собственность. Потом заставили нас широко раскрывать рты, ища в них чего-то, кроме зубов и языка, мыли какой-то вонючей жидкостью, от которой должны были выступить на теле предполагаемые записи, и наконец, после энергичного вмешательства мексиканского посла — выпустили. Зато мы узнали адрес завода в штате Миссури, отливающего стрелы для аэропланов.

Мы послали немедленно каблограмму по указанному адресу, причем Учитель был настолько уверен в том, что стрелы эти изготовляются при участии нашего друга, что депешу адресовал непосредственно на его имя. Ответа не последовало, и мы решили ехать в Америку. За два часа до отхода нашего парохода Учитель получил телеграмму из Кале: «Жду. Отель «Британик». Куль».

---

[1] Здесь: трактир *(фр.)*.

Мы застали мистера Куля в разгаре работы. Приветствовал нас энергичным движением ноги, лежавшей на письменном столе, и попросил разрешения закончить неотложные дела. Мы слушали его беседы с различными людьми, но я никак не мог уяснить себе, чем именно занимается предприимчивый американец. Зато я узнал, что в Австралии бараны хворают какой-то заразительной болезнью, что в автомобилях «Бэрмон» сто восемь составных частей, что испанские девицы чрезвычайно выносливы, что слезоточивые газы вещь недорогая, и много других столь же полезных сведений.

Отпустив последнего посетителя, который зачем-то принес с собой огромный круглый сыр, мистер Куль предался дружеской беседе с нами. Прежде всего, указав рукой на восток, он мирно, даже как-то патриархально сказал:

— Большое хозяйство теперь у меня, едва управляюсь. О, друзья мои, какое великое дело война — это оздоровление Европы!

Потом он посвятил нас в различные отрасли своего изумительного хозяйства. Он поставлял все, что способны создать пять частей света. Ежедневно в Кале, в Булони, в Диеппе разгружались десятки пароходов. Из Австралии привозили замороженные туши баранов, из Америки — снаряды и автомобили, из Бразилии — кофе, из Китая — рис, из Северной Африки — низкорослых ослов. Кроме казенных подрядов, он проявлял частную инициативу раньше всего по своей излюбленной части: тыловые города он покрыл сетью публичных домов. Так как туземных сил не хватало, он выписывал женщин из Ирландии, из Испании, с юга Франции. Потом он открыл фабрику дешевых бисерных венков с национальными значками. Наконец, не забывая о своей основной, глубоко нравственной цели, он устроил ряд передвижных бараков-церквей, приспособленых также для кинематографических сеансов и для угощения солдат чаем; он печатал и раздавал в огромном количестве поучительные комментарии к библии и даже на казенных стрелах ухитрился, благодаря рассеянности принимавшего их офицера, поместить свою обнадеживающую надпись.

Закончил свой рассказ мистер Куль словами глубокой надежды:

— Война исправляет человечество. Никогда доллар и слово божье не были так тесно слиты в одно, как ныне. В этом залог спасения!

На следующий день мистер Куль решил показать нам свое «хозяйство». Мы получили надлежащие пропуска и отправились на автомобиле по направлению к Сан-Полю. По длинному прямому шоссе ползла цепь грузовиков с дарами мистера Куля, со снарядами, тушами мяса, пулеметами, сгущенным молоком, марлей, аппаратами для ядовитых газов, а также с теми, для кого все это

предназначалось,— с прибывшими из Англии солдатами. Навстречу ехали пустые грузовики, только на некоторых лежали люди, отработавшие свое, обмотанные марлей и неподвижные. На перекрестках стояли солдаты-полицейские, совсем как на Пикадилли, и флажком регулировали движение автомобилей. Все было мудро и гениально в своей простоте. Туши варились. Солдаты ели суп. Снаряды подкатывались к орудиям. Потом, по минутной стрелке, орудия стреляли, солдаты выходили из окопов и занимали пространство в сто шагов. Одних после этого закапывали, других перевязывали и клали на грузовики, третьим давали снова есть. Отправляли донесение в штаб. В штабе составляли сводку и посылали снова предписание. Подвозили новых солдат, снаряды, туши баранов — и так далее. Это продолжалось изо дня в день, месяцы, годы, и мистер Куль, чуя свой вклад в общее дело, имел все основания быть гордым.

Возвращаясь в Руан, мы увидали другие заслуги нашего друга. На огромных кладбищах с тесными, выстроенными в шеренги могилами мы могли оценить практичность и красоту его венков. В маленьком городке, где стояли английские, французские и бельгийские войска, мы восхищались изумительным публичным домом с гигантской пропускной возможностью, с разделением по дням для различных национальностей и с образцовым порядком. Наши сердца глубоко умилили религиозные проповеди соратников мистера Куля, обращенные к солдатам, мирно вытиравшим после законченной работы свои штыки о траву. Они говорили: «Братья! Сказано — не убий! Убивать нельзя, и за это сажают в тюрьму, но защищать свое отечество и слушаться своих начальников — долг каждого христианина. Братья! Будьте патриотами, истребите нечестивых врагов Христа — тевтонов. И еще — не злоупотребляйте спиртными напитками!» Все вместе это было глубоко трогательно и напомнило мне далекие видения бедного Франциска, беседующего с поселянами Умбрии.

Поблагодарив мистера Куля за доставленное нам удовольствие, Хуренито поделился с ним своим изобретением и своими надеждами. К моему удивлению, мистер Куль не только не обрадовался гениальному открытию Учителя, но даже пришел в состояние угнетенное.

— Я прошу вас, дорогой друг,— сказал он Хуренито,— до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить. Ведь если так просто и легко убивать людей — война через две недели закончится и все мое сложное хозяйство погибнет. А моя родина только еще собирается воевать. Оставим это на крайний случай. Я вам дам возможность сделать ваши аппараты, если вы обещаете мне пока не употреблять их!

Подумав немного, Учитель согласился. Он сказал, что действи-

тельно все, что он видел в последние дни, достойно развития и поощрения. Мне известно, что аппараты свои он изготовил вскоре после этого и оставил на сохранение мистеру Кулю. Когда, год спустя, он захотел наконец их использовать, мистер Куль начал всячески оттягивать дело, уверяя, что отвез аппараты в Америку, а поручить привезти их никому нельзя, и прочее. Я полагал, что мистер Куль руководится при этом соображениями финансового характера, но как-то он признался, что немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуренито лучше оставить впрок для японцев. Впоследствии обстоятельства сложились так, что Учитель не вспоминал никогда об этом изобретении, но во всяком случае — я знаю это доподлинно — аппараты и объяснительные записки находятся сейчас в руках мистера Куля.

Получив от Хуренито соответствующее обещание, мистер Куль снова пришел в хорошее настроение, внимательно выслушал различные усовершенствования, придуманные Учителем в области военной — как-то: новые газы и быстроходные танки. Он предложил Хуренито работать впредь с ним, расширяя и модернизируя дело. Учитель высказал свое полное согласие. Тогда встал вопрос обо мне и об Айше. Оба мы ничего не понимали в военной технике и не обладали никакими организаторскими способностями. Было решено, что Айша займется продажей бисерных венков,— мистер Куль находил, что его искусственная рука, военная медаль, черная кожа и громкий титул доктора «honoris causa» Лиссабонского университета будут как нельзя более способствовать удачной торговле этими патриотическими изделиями. Мне же было предложено занять место кассира в одном из публичных домов Амьена, устроенном мистером Кулем.

Три дня спустя я уже сидел в передней небольшого особняка за столиком, выдавая каждому посетителю билет в зависимости от платы — часовой или на всю ночь и назидательную листовку: «Бог есть любовь!». Я сидел вечером, ночью, глядел на нетерпеливые жесты входящих, на зевки уходящих, слушал долетавшие из зала звуки военных маршей, смех, порой ругань и стоны. Иногда раздавались пронзительные женские крики. Раз солдат, подвыпив, выстрелил в портрет голландской королевы, висевший почему-то в одной из комнат. Но в общем было тихо. Мимо меня проходили ежедневно сотни посетителей. Иногда я встречался с женщинами, они утомлялись работой, но условиями были довольны. Многие заболевали, их увозили, привозили других. Я просыпался часов в шесть вечера, обедал, просматривал газеты и шел на службу. Там, тупо глядя на проходящих мимо солдат, я отрывал билетики, а в промежутках писал свою книгу «Стихи о Канунах», о которой потом благожелательно отзывались многие маститые критики, в том

числе и В. Я. Брюсов. Но через месяц я уже писать не мог и ко всему проявлял абсолютное безразличие. Как-то зашел навестить меня Учитель. Я весь встрепенулся, ожил и начал жаловаться на скуку, на мерзкий запах, на тапера, на пьяную икоту гостей.

— Я не могу больше так жить! Зачем все это? — кричал я.

— Мой друг, не ты ли в мирной «Ротонде» среди ряженых натурщиц мечтал о бомбе, о крохотной бомбочке, которая уничтожит все? Теперь ты служишь на огромном заводе, который делает ежедневно тысячи бомб и уничтожает миллионы людей!

Я не возразил, но только жалостливо всхлипнул и оторвал билетик очередному посетителю.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Благословенный Сенегал.— Различные толкования французского слова «poire»

Мне кажется теперь, что я впал бы в тихое умалишение, если бы в начале шестнадцатого года Учитель, приехав в Амьен, не спас бы меня. Когда он пришел ко мне в учреждение, я выявлял уже такое безразличие, что, взглянув на него, протянул ему билетик. В ответ Учитель повелительно сказал:

— Одевайся, кассу сдай управляющему, мы едем в Париж.

В автомобиле я нашел мистера Куля и Айшу. Выяснилось, что все страшно устали от напряженной работы и чувствуют потребность в достаточно длительном отдыхе. Куда? В Сан-Ремо? в Биарриц? в Севилью?.. Выступил Айша:

— Ко мне — в Сенегал!

Это не только развеселило, но и понравилось. А мистер Куль там времени зря не потеряет: вопросы экспорта сырья человеческого и другого. Решено! Брест. Пароход «Провиданс». Солнце. Айша прыгает. Айша рад: он едет к себе, он сможет похвастаться всем — рукой «Ультима», мистером Кулем, дипломом с печатью и шоколадными поросятами, которых он везет в подарок.

Трудно передать всю сладость полного и глубокого отдыха, блаженной дремоты в тени убогого шалаша, приятного холодка реки, как бы смывающей с меня пыль, чад, мразь родной Европы. Я был когда-то молод, игрив, влюблен, ходил с букетиками на свиданье, писал стихи, краснел от восторга, когда какой-нибудь провинциальный журналистик поощрял: «Ничего себе... поэт милостью божьей»,— словом, испытывал что-то приятное. Но только пять

недель в жизни я был просто и цельно счастлив, пять недель там, далеко, на берегах широкого Сенегала!..

Я забыл все — войну, искусство, родных и друзей, оставшихся на севере. Я убежден, что, если бы в негрских деревушках были бы городовые и один из них подошел бы осведомиться о моей личности — я бы промычал что-либо, или хлопнул бы его дружески по животу вместо ответа, или убежал бы под скирды сухого тростника, ибо я не помнил больше своего имени. Я не разлучался с Айшей, вместе с ним купался, пил овечье молоко, ел свежие финики и жирные полусырые лепешки, а когда он в банге, то есть в зверинце для богов, близ хижины, начинал молиться — я тоже ползал на брюхе перед очаровательными уродцами, сделанными из дерева, птичьих перьев, раковин, рыбьей чешуи, и рычал «у-гу-гу». Айша быстро изменил европейскому костюму, он оставил на себе лишь белый пикейный жилет и был очень своеобразен в нем с блестящей искусственной рукой. Правда, иногда он перебрасывался несколькими словами со своими сородичами, чего я делать не мог. Но я не завидовал и не грустил; без слов я понимал здесь больше, нежели при самых откровенных, задушевных беседах с белыми.

Я спрашивал Учителя — не лучше ли и нам, по примеру Айши, скинув штаны, остаться навсегда в той обетованной стране? Но Учитель отвечал мне:

— Недостойно человеку глядеть назад. Детство — блаженное время, но что ты скажешь о зрелом муже, вырывающем из рук ребенка погремушку? Никогда о непрошедших еще через все скверны не говори «счастливые», но пожалей их. Айша снова наденет свои брюки! Не гром пройдет по этой стране, но трескотня мотоциклеток, пулеметов и пишущих машин. На месте милых бангов прозревшие наивцы выстроят публичные дома мистера Куля и иерархические кладбища m-r Дэле. И мы, отдыхающие теперь в этом доисторическом Трувиле, должны будем им помогать. Ну, что ж, еще один потерянный рай, ведь только начало трудно.

Некоторые заботы причинял нам мистер Куль. Вначале, в поселках береговой полосы, он чувствовал себя великолепно. Но чем выше подымались мы по реке, направляясь к родине Айши, тем более и более высказывал он недоумения, а часто и негодования перед местными обычаями. Он говорил, что Африка еще хуже Европы. Его доллары не производили на негров никакого впечатления, а о библии никто из них ничего не слыхал. Мистер Куль, обиженный, потребовал наконец, чтобы мы немедленно повернули назад. Но Айше очень хотелось побывать в родных местах, и он несколько успокоил мистера Куля, объяснив ему, что вместо бумажек с портретами американских президентов здесь существуют

особые ракушки, а вместо библии — амулеты марабутов. Все же мистер Куль попадал каждый день впросак. Учитель получил от одного вождя лук с резьбой по слоновой кости, при всей грубости работы оцененный мистером Кулем в три доллара, но никаких ракушек в обмен не дал. Также совершенно бесплатно Айша уходил за пальмы с черными женщинами, которые вместе с тем не являлись его законными женами.

— Величайший беспорядок! — восклицал мистер Куль.— Только теперь я вижу, насколько благоустроена Европа! Нужна гигантская энергия, чтобы хоть немного просветить эту страну!

А так как энергии у мистера Куля был всегда переизбыток, он приступил немедленно к делу и, созвав барабанным боем жителей ближайшей деревни Шанго, объяснил им с помощью Айши, что главным предметом поклонения должны являться доллары, то есть золото, то есть ракушки. Но неутомимого проповедника ожидало страшное испытание. Негры оказались последователями религии Бори, поучающей, что в людей вселяются злые духи, которых нужно всячески изгонять, и, на горе мистера Куля, не менее рьяными в исполнении своих нравственных обязанностей, нежели он сам. Услыхав поучения и поглядев на американца, важно подтверждающего кивками головы слова Айши, они решили, что в бедного гостя вселился злой дух Алладьену, и, окружив его тесным кольцом, стали духа изгонять. Для этого они два дня и две ночи, сменяя одни других, в страшных масках, пели, плясали, кричали, били в медные гонги, ударяли в набитые на шесты шкуры, стучали по деревянным пластинкам с привешенными к ним сухими тыквами, дергали зубцы огромных металлических гребней и струны, натянутые на скорлупы кокосовых орехов,— словом, всячески пугали Алладьену. Мистер Куль пробовал вырываться, играющих бил, кричал что есть мочи, но это лишь подбодряло негров, полагавших, что дух начинает буйствовать, отходя от человека, и они еще громче пели и играли. На третье утро мистер Куль затих. По-моему, он начинал сходить с ума, ибо, сидя на земле, бессмысленно, блаженно улыбался. Тогда, убедившись, что Алладьену покинул человека, негры бросили инструменты и напоили мистера Куля пальмовым вином.

Мы двинулись дальше и наконец достигли долины, где была деревня Аларум — родина Айши. Но вместо хижин увидали мы лишь следы недавнего пожарища. Людей не было. В окрестных полях мы нашли маленького негритенка лет пяти, который сосал вымя пасущейся мирно козы. Мальчик, увидя нас, бросился прочь, а настигнутый, ничего объяснить не смог или не захотел. Айша плакал, ложась на живот, рыл землю и целовал ее комья.

Но как ни велико было его горе — мы решили повернуть домой.

Вскоре в небольшом поселке напали мы на стоянку солдат «иностранного легиона», которые и рассказали нам, что во время последней охоты на рекрутов негры Аларума взбунтовались и убили двух солдат. Эта вспышка, вызванная, вероятно, коварными происками немцев, была быстро подавлена, преступники примерно наказаны, а деревня сожжена.

В большой хижине помещался летучий лазарет, там лежали два солдата, один — раненный во время усмирения восстания, другой — больной местной лихорадкой. Мы собирались уходить, когда с циновки раздался по-русски отчетливый крик:

— Негритенок! бедный, черный!.. С высоты моего божественного «я» утверждаю человеческое достоинство... пить, пить!..

Я подбежал, сдернул одеяло: передо мной лежал Алексей Спиридонович. Он глядел на меня, ничего не видя, и продолжал бессвязно бредить.

Мы остались в деревне, ожидая выздоровления больного. Через шесть дней жар сразу спал, Алексей Спиридонович пришел в себя и по-детски бурно обрадовался, увидав нас, сидящих вокруг него. Только Айши он почему-то сначала испугался, но тот проявил к нему величайшую нежность, поцеловал кончики его волос и подарил ему большой кокосовый орех. Подкрепившись, Алексей Спиридонович сразу захотел рассказать нам всю свою жизнь и начал с первых, младенческих впечатлений. Но Учитель напомнил ему, что все это мы знаем почти столь же обстоятельно, как и он сам, так что лучше ограничиться последними годами.

Рассказ Алексея Спиридоновича, как всегда, был пространен, насыщен философскими отступлениями, но весьма печален. Его вместе с другими русскими, мечтавшими о жертве, святой Софии и свободе, зачислили в иностранный легион. Сержанты и капралы всячески попрекали и унижали их: «Помните, что вы пришли сюда есть наш, французский хлеб!» Никакие доводы Алексея Спиридоновича, пробовавшего доказывать, что фронт не вполне удобная столовая, на них не действовали. Вместе с русскими пребывали другие легионеры: француз Крик, преобразившийся в бельгийца, который занимался в течение двенадцати лет в Марселе мирной торговлей женщинами и, потревоженный полицией, вырабатывал себе чистенький документ. Немец из Дрездена — Хун, убивший свою тетку, бежавший во Францию и попавший в легион. Хун клялся всем, что он не то поляк, не то эльзасец, не то голштинец, но немцев, во всяком случае, будет колоть не хуже других. Испанец Хопрас, презиравший все существующие на свете ремесла, кроме войны и боя быков. Для последнего он оказался непригодным вследствие природной тучности и неповоротливости, а посему, ограбив какого-то саламанкского ювелира, остановился в выборе

дальнейших занятий на легионе. Эти и им подобные воины русских звали «poire», что по словарю Макарова означает кроме «груши» «простофилю», и проделывали над ними различные эксперименты, пользуясь своей старой штатской практикой. Побывав в боях и просидев год в окопах, русские тихонечко попросили начальство перевести их в самые обыкновенные французские полки. Эта просьба показалась более чем подозрительной, и решено было, для оздоровления от причуд, десяток расстрелять. Когда же перед смертью преступники стали кричать: «Вив ля Франс!» — то всем стало ясно, что это дерзкий мятеж, и нерасстрелянных спешно отослали в Африку. Среди них был и Алексей Спиридонович. В Африке он исправлял дороги, чистил чьи-то сапоги, ловил негров, усмирял арабов, а проделывая все это, томился над загадкой — где же жертвенность, Христос и святая София?

Недели три тому назад его послали с другими усмирять негров. Один черный, молоденький, совсем как Айша, кинулся на него с копьем. Он выстрелил. Кажется, убил. Потом лихорадка — больше он ничего не помнит.

Услыхав об убитом негре, Айша начал визжать, прыгать и плакать.

— Это Аглах, брат Айши!

Алексей Спиридонович тоже расплакался, ища у Хуренито помощи.

— Скажи мне, как это?.. Я хотел спасти Россию, человечество, отдать себя на муки, защитить Христа и вместо этого убил какого-то негра! За что? Я человек! Во мне божественное начало! Как же я пал так глубоко?

Но Учитель не хотел верить ни в жертвы, ни в Христа, ни в божественное начало. Он мрачно сказал:

— Ты жалкий раб мистера Куля, а мистер Куль раб своей синей книжки. Книжка же знает, зачем надо было убить непослушного негра. Пора тебе метафизику заменить начальной арифметикой! Проще и вернее!

Айшу он успокоил, нежно гладя его по курчавой голове:

— Алексей Спиридонович не виноват. У него тоже был добрый капрал. Капрал сказал: «Стреляй в Аглах!» У тебя рука «Ультима» и диплом, а у него ничего нет, и он плачет.

После этих слов Айша куда-то исчез и вернулся с большой трубкой, выдолбленной из плода калабаша. Он дал ее Алексею Спиридоновичу:

— Айша хотел тебе дать руку, но у тебя есть две, тебе некуда ее повесить. Это очень хорошая трубка. Айша сделал. Айша тебя любит.

Алексей Спиридонович поправлялся медленно. Лихорадка ос-

ложнилась заболеванием печени, и Хуренито начал хлопотать об его полном увольнении. Через две недели, благодаря его стараниям, на одном пароходе с нами Алексей Спиридонович был отправлен в госпиталь Тулона и там признан для дальнейшей службы не годным.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Папа благословляет GBD.— Фра Джузеппо

Большие разочарования ожидали мистера Куля при возвращении нашем в Европу. Его хозяйство без любящего ока хозяина пришло в непоправимое запустение. Почти все военные заказы перешли к конкурентам. Четыре парохода с ценными грузами были потоплены германскими субмаринами. Какой-то француз выдумал веночки с лентами вместо кокард — более дешевые и эффектные. Наконец рьяные миссионеры мистера Куля, прибегнув к помощи властей, закрыли одиннадцать публичных домов, принадлежавших ему же.

— Идиоты,— с негодованием рассказывал он нам об этом,— они не поняли, что мои дома — это очаги нравственности, что оба предприятия не могут жить одно без другого!

Все эти несчастья произвели такое впечатление на мистера Куля, что из неистового патриота он сразу превратился в энергичного сторонника мира.

— Война портит нравы и разрушает народное хозяйство,— заявил он нам. Мы охотно с ним согласились. Алексей Спиридонович, после своих сенегальских подвигов, не мог выносить слова «победа», он приобрел книжки Толстого и собирался стать вегетарианцем. Осиротевшему Айше тоже перестали нравиться «добрые капралы». Я же, по слабости моего характера, всегда предпочитал платоническое разрушение в стихах или в пламенных «ротондских» беседах образцовому хозяйству мистера Куля. Итак, все четверо мы были за мир, о чем немедленно сообщили Учителю.

Хуренито прежде всего очень весело и чистосердечно рассмеялся.

— Наивные ребята, вы думаете, что так легко прикончить войну? Этого никто не может, даже те, кто ее начали: дипломаты, вожди, фабриканты, императоры, проходимцы, народы — никто! Мне тоже война не слишком нравится. Вначале было другое — безумие, звериная ярость, прыжки, рев, неожиданная фамильяр-

ность смерти, крах всех земных благ — словом, прекрасный переполох. Теперь обжились. Ничего, что «смертники» — пока сдобная булочка! Быт! Верьте мне — легче опрокинуть германскую империю, легче отправить на тот свет пятнадцать миллионов людей, легче перекроить все школьные карты, нежели проветрить эту насиженную, загаженную, облюбованную человечеством конуру. Не люди приспособились к войне — война к людям. Из урагана она превратилась в неприятный сквозняк. Простуживаются, но все же кое-как живут. Зато уничтожить эту приспособившуюся войну нельзя. Она — медленный, осторожный микроб, но дело свое она знает. Война эта на десятки, а может быть, и на сотни лет. Не смейтесь,— в промежутках будут мирные договоры, и вообще всяческая буколика. Война будет менять свои формы, как ручей, порой скрываться под землей и напоминать до отвратительности трогательный мир. Больной отправится в садик поливать резеду, пока не скрутит его новый приступ возвратного тифа. Война не будет войной, она умело рассосется по сердцам. Ограда города, забор дома, порог комнаты станут тогда фронтами. Начатая в припадке апоплексии от избытка неразумных сил, несправедливого, хищного, лживого богатства, она кончится лишь тогда, когда разрушит то, во имя чего началась: лицемерную культуру и левиафана — государство!

— При всех ваших практических способностях,— возразил Хуренито мистер Куль,— вы всегда грешили наклонностью к утопизму. Зачем говорить о том, что будет явно после нашей смерти? Давайте подумаем вместо этого, как добиться хоть какого-нибудь маленького мира. Если начавшие войну не могут ее закончить, то есть же иные силы.

— Какие?

— Раньше всего — религиозные организации, хотя бы, несмотря на все его недостатки, Рим! Потом убежденные пацифисты, устраивавшие съезды и конференции. Наконец, эти... (мистер Куль запнулся и долго не мог выговорить страшного слова) социалисты! Хотя они люди безнравственные и покушаются на все святое, но в данном случае могут весьма пригодиться.

— Ваши надежды неосновательны, мистер Куль! Как вам известно, христиане, к которым, если память мне не изменяет, принадлежите и вы, продолжают работать над различными хозяйствами, подобными вашему, увы, столь жестоко разрушенному. Пацифисты действительно о мире говорят очень задушевно и трогательно, не хуже Алексея Спиридоновича, но, между прочим, когда ими командуют «добрые капралы», они пропарывают животы других пацифистов со всем рвением нашего миролюбивого Айши. Что касается социалистов, то их роль во время войны мне сильно

напоминает недавнее, кстати сказать — очень почтенное занятие дорогого Эренбурга, который отрывал билетики в вашем учреждении и под звуки польки плакал о своей доисторической девственности.

Мистер Куль, а за ним и Алексей Спиридонович пробовали спорить. Как это ни странно, оба они, до недавнего времени видевшие вокруг себя лишь патриотический пыл и жажду победы, после своих личных невзгод сразу заметили нечто вовсе обратное и уверили Хуренито, что народы требуют мира. Недостает лишь объединяющего центра! Мы должны его найти!

Тогда Учитель сказал, что он не верит в целесообразность этих розысков, но так как он всегда рад способствовать нашему просвещению, то предлагает для проверки совершить ряд экскурсий в Рим, Женеву и Гаагу, тем более что и ему эти поездки будут полезны для изучения дальнейших фаз заболевания человечества.

Решение принято — мы едем в Рим. Мистер Куль не очень одобряет католиков: вместо нравственности — фантастические истории, зато он верит в силу Церкви. «И все-таки они христиане». Он берет с собой новый пулемет системы GBD, особенно смертоносный, изготовленный по чертежам Учителя: пусть папа поглядит на это орудие ада и ужаснется. (Кроме того, откровенно говоря, хорошо бы предложить эту систему итальянскому военному министру.) Алексей Спиридонович готовит речь, для чего немилосердно черкает сочинения Соловьева, Достоевского и еще чьи-то. Айша интересуется самым существом вопроса. «Что это — папа?» — «Наместник Христа».— «А что это наместник?.. Хорошо. Айша понял. А Христос что любит — войну или мир?.. Тогда и наместник любит мир!» И утомленный столь сложными исследованиями, Айша больше ни о чем не думает. Он прыгает по купе и кричит: «Будет мир, мир, мир!» Хорошо, что нет посторонних. За это слово, теперь самое непристойное и преступное из всех человеческих слов, легко поплатиться. А Учитель не готовит речей, не спорит, не слушает, он снова занимается своими скучными цифрами,— экономическое состояние, падение производства, неизбежный кризис,— и, на минуту отрываясь от первых столбцов газеты или от исписанного листка бумаги, чуть заметно, но с удовлетворением улыбается.

Рим нашли мы после трех лет разлуки внешне мало изменившимся. Еще откровенней нищета Транстэверэ, еще нелепее крикливые флаги на встревоженных развалинах — разница лишь количественная. Не теряя зря времени, мы сразу начали добиваться аудиенции у Святого Отца, но это оказалось делом чрезвычайно сложным. Учитель уже хотел прибегнуть к испытанным аршинным паспортам с красными печатями, но я запротестовал, вспомнив потерю дара слова и глубоко невыразительное «мерси».

— Вы сможете лицезреть Святого Отца на Пасху,— презрительно ответило нам важное и духовное лицо.

— Но я занят! — воскликнул мистер Куль,— я не могу ждать, у меня три орудийных завода!

— О, в таком случае вы увидите Святого Отца завтра же. Я не знал, с кем имею честь говорить.

На следующее утро вошли мы в залу для приемов. По приказанию мистера Куля и несмотря на протесты духовных швейцаров, Айша храбро вкатил вслед за нами в залу пулемет. Некто гаркнул: «Синьор Куль, владелец орудийных заводов, и его компаньоны!» Мы увидали на высоком кресле очень милого морщинистого старичка, который проникновенным голосом любящего дедушки сказал:

— Мы благословляем ваш полезный труд. Мы желаем вам заслуженного вашим рвением успеха и просим не забывать о Святой Церкви, а также о сиротах.

Сказав это, старичок ткнул туфлей по очереди в лицо каждого из нас (причем мы все туфлю, догадавшись в чем дело, поцеловали), а потом, очевидно по рассеянности, и в задранный кверху нос пулемета GBD. Закончив сей обряд, мы хотели приступить к беседе, но были очень быстро и ловко, с помощью тех же духовных швейцаров, переведены в соседний зал, где увидали уже не папу, а кардинала, объяснившего нам:

— Со Святым Отцом нельзя говорить. Святой Отец не говорит, но изрекает. Я же смогу ответить на все интересующие вас вопросы.

Мы заинтересовались главным образом деятельностью святого престола в годы войны. Она оказалась крайне обширной. В канцелярии работали сотни переводчиков. Для экономии времени различные пожелания, благословения и молитвы переводились и рассылались одновременно во все воюющие государства. Представителям церкви давались инструкции, как, например, служить благодарственные молебны после побед, причем на одних листках вписывалось: «Расходясь, толпа восклицает «Vive Dieu! Vive Joffre! [1]», а на других: «Hoch Gott! Hoch Hindenburg!» [2] и т. п. На случай окончательной победы или поражения рекомендовалось объяснять первое — благословением господа и молитвами «единой апостольской», второе — божьей карой за недостаточное к «единой апостольской» рвение и прочее. Всюду католики должны были поддерживать войну до победного конца. Работа очень сложная, но благодарная: дни испытания, религиозное возрождение.

— Война прекрасная вещь, надо только уметь ее понимать!

---

[1] «Да здравствует Бог! Да здравствует Жоффр!» *(фр.)*

[2] «Да здравствует Бог! Да здравствует Гинденбург!» *(нем.)*

— Но ведь сказано — «не убий»! — застонал Алексей Спиридонович.

— Конечно, сын мой, и эта заповедь никем не может быть упразднена. Но писание — священная книга, ее надо уметь понимать. Сердобольная церковь избавила от непосильного дела вас и других пасомых, взяв весь труд понимания и толкования божественной истины на свои подвижнические плечи.

— Но разве можно по-разному понимать «не убий»? — Алексей Спиридонович не хотел уняться, я же, памятуя опыт лабарданской миссии и зная, к каким неприятным последствиям приводит страсть к толкованию вещей возвышенных, дергал его за рукав и наконец оттащил в сторону.

Мистер Куль оказался лучшим дипломатом, а именно: воздав всяческие хвалы деятельности святого престола и самого кардинала, он скромно спросил его, что можем мы делать — один истинный католик, один протестант, один православный, один идолопоклонник и один иудей (но очень приличный, так что это почти не чувствуется) для водворения в Европе мира, всем человечеством чаемого?

— Я также жажду мира,— ответил кардинал,— и я молюсь о нем утром, днем, вечером и даже ночью. Пока что я посоветовал бы вам, если ваши дела на родине идут плохо, а об этом я сужу по тому, что вы так хотите мира, подарить эту милую вещицу, то есть это адское орудие, моему другу, епископу Вены, который известен своей страстью, впрочем, вполне невинной, к коллекционированию еще неизвестных моделей подобных безделушек. Конечно, этот подарок даст вам возможность недурно устроиться и в спокойствии молиться о водворении общего мира!

Но мистер Куль был, как видно из предыдущих глав, человеком идеи и поэтому вежливо, однако категорически отклонил заманчивое предложение. Тогда кардинал предложил нам стать коммивояжерами святого престола, поставляя в союзные страны различные полезные изделия. Хотя это не приближало мира, но мистер Куль, любя сие дело с детства, не отказался, и кардинал, благословив, отослал нас к какому-то монаху-доминиканцу, брату Джузеппо, который заведовал сбытом указанных изделий.

Пройдя ряд комнат и коридоров, мы вошли в большую залу, напоминавшую универсальный магазин. Кроме книг, брошюр, гравюр и открытых писем мы увидали много занятных вещей. В одном углу висели различные крестики, ладанки, медали, предохраняющие солдат от смерти или ранений. Об этом свидетельствовали многочисленные благодарственные отзывы испытавших на себе спасительные свойства изделий, собранные в довольно пухлую брошюру. В другом было все необходимое для военных священников: обору-

дованные по последнему слову техники передвижные часовни, портативные алтари и даже пояснительные рисунки для совершения различных церемоний, как-то: окропления святой водой батарей, благословения авиаторов, направляющихся скидывать бомбы, и тому подобные. В третьем находились ex-voto, то есть различные подарки, преподносимые святой Марии, а также некоторым наиболее чтимым святителям после удачной атаки. Для оставшихся невредимыми — игрушечные солдаты в разных формах, для раненых, но выздоровевших — восковые руки и ноги на ниточке, для спасшихся от мин пассажиров — очаровательные модели судов, наконец для выигравших войну правительств — прекрасные рельефные карты Европы с различными, предусмотрительно заготовленными границами.

С любопытством разглядывали мы все эти приспособления, явно опровергающие злостные рассуждения нечестивцев, утверждающих, что церковь окаменела. Мы не заметили даже, как в зал вошел тот, кого мы ждали, фра Джузеппо, и вздрогнули от страшного крика: «Синьор! дорогой синьор!» Мы испуганно оглянулись, и древние стены Ватикана вновь увидели столь им подобающие сцены нежных бесхитростных братских лобызаний. Фра Джузеппо был не кто иной как наш веселый Эрколе. Он был в рясе, повязан веревкой, держал кипарисовые четки, а на его голове блистала безупречная тонзура.

— Друг мой, ты презрел греховную жизнь и занялся спасеньем своей души? — торжественно спросил его мистер Куль.

— Как бы не так! — и, невзирая на древность и святость мраморных плит, Эрколе, вспомнив виа Паскудини, презрительно сплюнул.— Ничего не поделаешь,— война!

Так как нам было доподлинно известно, что нигде еще не объявлена мобилизация для пополнения монастырей, мы не могли постигнуть связи между войной с Австрией и неожиданным костюмом нашего приятеля. Но для него эта связь была, очевидно, очевидностью, ибо он даже не пытался разъяснить ее нам. Вместо этого он стал энергично упрашивать Учителя взять его снова в качестве чичероне и увезти в какую-нибудь страну, так как от окружающей святости он стал мрачен, зол и сух, как «английские ослы», которые больше, увы! в Рим не ездят.

Учитель решительно попросил его раньше всего удовлетворить наше законное любопытство и объяснить все, т. е. главным образом тонзуру. Эрколе сделал пальцем таинственный жест, оглянулся по сторонам, нет ли кого-нибудь, и провел нас в соседнюю комнатку, невероятно грязную. Мы сели на кровать, имевшую цвет и форму дорогой сердцу Бамбучи мостовой виа Паскудини, и начали пить принесенное Эрколе вино с вполне подобающим названием «лакри-

ми-кристи»[1]. Пока мы пили, Эрколе рассказывал, то есть предпочтительно восклицал, ругался и клялся, что он не врет. Сначала, когда он приехал, было очень весело. Все хотели войны, ходили по улицам с флагами, пели и кричали: «Эвивва!» Разбили даже магазин негодяя-австрийца, и Бамбучи тоже получил два подсвечника и бронзовую ящерицу. Потом войну объявили, и Бамбучи призвали. Это тоже не было плохо. Одна красивая дама дала ему букет цветов и десять сольди. И еще он заходил во все траттории и пил вино. А потом?.. Потом! Какое безобразие! Его надули! Сто тысяч чертей! Какая же это война! Это бойня! Не то чтобы он стрелял, а в него стреляли, и еще как! Эрколе не такой идиот, чтобы сидеть и ждать, пока его убьют! Он видел раненых! Да! И убитых! Своими глазами видел!

От воспоминания таких ужасов Эрколе ослабел, замолк, выпил два стакана вина и только тогда стал продолжать свою трагическую эпопею. Он решил бежать, то есть нет, вовсе не бежать, а просто уйти домой на виа Паскудини. Его схватили, как будто он кого-нибудь убил, продержали три месяца в тюрьме и потом снова послали на то же место. Эрколе понял — надо схитрить, но как? Советовался с товарищами. Болваны! Ослы! Они предлагали ему черт знает что,— например, прострелить свою собственную руку. Вы слышите — не австрийца, не генерала, а свою! Как будто у него сто рук! Остолопы! Нет, он придумал лучше. Он стал на склоне невысокого холмика, когда раздался первый выстрел, съехал на своем собственном вниз, лег и начал что есть духу вопить: «Умираю! Священника!» Его подняли, отнесли в лазарет. Доктор: «Что с вами?» — «Меня задела пуля, и я скатился в бездну».— «Никаких следов нет!» — «Еще бы, вы хотели бы, чтобы следы были, чтобы я умер! Говорю вам — пуля, она меня задела и повалила вниз, а сама улетела дальше. Подняли меня, а я не могу ходить — хромаю».

— Я даже пробовал захромать на обе ноги, но ничего не вышло. Доктор, хотя вообще кровопийца — он хотел моей смерти, не придирался, он заявил, что у меня контузия. Честное слово! И мне дали отпуск — три месяца. Ну, я не такой дурак, чтобы второй раз лезть в эту крысоловку.

Приехал в Рим, и что же! Во-первых, всюду душегубы спрашивают документы, во-вторых, ни одного «английского осла», и можно безо всякой пули благополучно сдохнуть с голоду. Надо устраиваться. Он мог стать, конечно, редактором газеты. Это ему сказал один почтенный господин, когда он рассказывал в остерии, какая война хорошая вещь, каким он был героем и как все должны

---

[1] Христовы слезы *(итал.)*.

идти добровольцами на фронт. Потому что Эрколе не изменник, не австрийское отродье, нет, он честный патриот! И теперь тоже! Эввива Италия! Но редактором — нужно уметь писать и вообще знать всякие фокусы. Не подходит!

Тогда возле Рима встретился он с монахом, который, влюбившись в какую-то ужасно богатую синьорину, решил бежать с ней. Дело сделано. Монах — солдат Бамбучи в законном отпуску, Эрколе — фра Джузеппо, странствующий монах доминиканского ордена. Великолепно, но кушать даже в рясе надо. Он попробовал собирать на украшение храмов в святой земле. Но безбожники, скупцы, чтоб их дьяволы кипятили в тухлом масле! Он за день не мог набрать на литр вина! И эти цены!..

Тогда он снял с себя образок и продал его одному солдатику за две лиры как спасающий от пуль. На лиру купил еще три образка, и дело пошло. Он становился у вокзала и кричал: «Внимание! Дорогие защитники отечества! Знаете ли вы, что такое пуля? Она ревет, свистит, гремит, потом впивается в тело, разрывает внутренности, пробивает сердце, печень и пуп человека! Но есть верное средство — образок с изображением святой Екатерины Сиенской! Наденьте его на грудь, и никакая пуля не тронет вас! Ударившись об образ, она полетит назад к проклятым австрийцам! Глядите, вот образок со следом не повредившей ему пули. Триста благодарственных писем лежат у меня в келье! Спешите! Это последние образки, освященные самим епископом! Простые же не стоят ни одного сольди! Скорей! Лира! Одна лира!» И покупали.

На Эрколе обратил благосклонное внимание проезжавший както мимо настоятель Сан-Джиованни и послал его к епископу, а тот, в свою очередь,— к кардиналу. Его таланты оценили и поручили ему заведовать этой лавочкой в Ватикане. Вот и все. Да, он забыл самое важное — тонзуру. Это было страшно трудно. К цирюльнику зайти он боялся и, купив за десять сольди на базаре старую бритву, должен был сам скрести макушку. Отвратительное занятие! И вообще он недоволен. Как только кто-нибудь приходит в магазин, он должен перебирать четки и что-то бормотать под нос, как будто повторяет молитву. Лежать нельзя, плеваться тоже можно лишь в исключительных случаях. Не жизнь, а схима какая-то. К черту!

— Скажите, господин, а вы теперь не собираетесь устроить какую-нибудь маленькую революцию? Все-таки это гораздо веселее, чем воевать или перебирать паскудные шарики!

— Наоборот,— ответил ему Учитель,— мы до крайности мирно настроены и даже приехали сюда искать мира.

— Ну, это все равно,— закричал Эрколе,— если не революция, то, по крайней мере, мир, и снова виа Паскудини! Я с вами!

Он скинул рясу, и мы глубоко удивились, увидав воочию, сколь

сильны традиции в этом народе. Он сохранил наслоения различных эпох, то есть первичные тряпки, заменявшие ему в счастливые дни рубашку, полосатые кальсоны, подаренные Учителем, и военную куртку форменного покроя.

Мы доставили несколько минут радости засыпающим от скуки часовым, которых уже перестали смешить свои собственные мундиры, когда выходили из вековых ворот Ватикана,— без мира, но с обретенным вновь Эрколе в его эклектическом костюме и с сохраненным пулеметом, выволакиваемым Айшей.

В тот же вечер мы выехали в Париж.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1713 правил гуманного убоя.— Мы тонем.— Необыкновенное устроение социалистической гостиницы «Патрия»

Поездка в Рим и патетическое описание войны, сделанное Эрколе, еще более укрепили нас в наших миролюбивых намерениях. Особенно остро выявлялась жажда мира у Алексея Спиридоновича. Прочитав в десятый раз «Преступление и наказание» и вспомнив своего негритенка, он твердо решил пострадать, чтобы искупить вину. Пример Раскольникова указывал путь. Выйдя на площадь Опера, Алексей Спиридонович упал на тротуар, возле входа в подземную железную дорогу, и завопил:

— Вяжите меня! Судите меня! Я убил человека!

Быстро подбежавший полицейский спросил, где совершено преступление. Но когда Алексей Спиридонович объяснил ему, что он убил негра во время восстания, полицейский стал сразу приветлив, поднял его, хлопнул дружески по плечу и сказал:

— Вы молодец и храбрый солдат, только не следует с утра много пить!

Так неудачно кончилась попытка нашего друга идти по стопам героев русской литературы.

На церковь надежд мы больше не возлагали и решили направиться в Гаагу в комитет «Международного общества друзей и поклонников мира».

Попавши в нейтральную страну, мы сразу почувствовали резкую перемену. Все, включая разноплеменных дезертиров, говорили о мире с большой нежностью, гордясь тем, что они не участвуют в варварской бойне, но, между прочим, очень боялись того, что война может скоро кончиться, ибо поставляли различные вещи, часто весьма непацифистские, воюющим державам. Несмотря на недос-

таточное знание голландского языка, мы легко их понимали, так как подобное миролюбие вдохновляло и мистера Куля до поездки в Сенегал.

Освоившись несколько с нейтральной психологией, отправились мы во «Дворец Мира». К величайшему нашему удивлению, мы застали там очень интеллигентных людей, разглядывавших штыки различных образцов. Я настолько испугался, что подумал, не попали ли мы, по незнанию языка, вместо «Дворца Мира» в военное министерство. Но интеллигентные господа, прекрасно изъяснявшиеся на всяких языках, успокоили нас, объяснив, что они исследуют штыки всех армий, нет ли среди них противных точным правилам, выработанным, если я не ошибаюсь, в 1886 году. Засим узнали мы много занимательного: война была совсем не тем диким убийством, которым она казалась нам, но чем-то сердечным и облагороженным 1713 параграфами правил о гуманных способах убоя людей.

— Поймите, я убил человека! — рычал Алексей Спиридонович.

— Чем?

— То есть как это — чем? Выстрелил и убил!

— Пуля какая?

— Обыкновенная!

— Если пуля не дум-дум, то вы поступили, не нарушая правил гуманности!

Мы решили, что это простые члены общества, и прошли на заседание комитета. В уютных креслах сидели шесть старичков и сосали сигары.

— Мы все очень, очень любим мир,— сказал нам самый старенький,— но что делать, нас шестеро в комитете и еще семеро в обществе... Все мы граждане нейтральных стран и внепризывного возраста. А другие почему-то очень, очень любят войну. Плохой мир лучше хорошей войны, а хорошая война лучше плохой войны. Поэтому мы отсюда и следим, чтобы все друг друга убивали честно, по-хорошему.

Мы все же спросили у старичков, не могут ли они нам посоветовать предпринять что-либо для замирения Европы?

— Вы можете стать действительными членами «Общества друзей и поклонников мира», тогда у нас будет девятнадцать членов. Мы вам дадим интересную и важную работу. Как вам известно, теперь употребляются на войне газы, не предусмотренные ни одним из 1713 параграфов. Отрицать их вообще — значит проявить излишний педантизм и реакционность. Вы должны будете их исследовать и классифицировать. Тогда на будущей конференции после окончания войны можно будет вынести постановление, ограничивающее применение наиболее неприятных для задыхающегося человека газов.

Мы обещали записаться в члены общества, от обследования же газов отказались, мотивируя это нашими стремлениями активно добиваться водворения мира.

— Видите ли,— сказал другой старичок,— я тоже могу предложить вам работу, но позвольте раньше осведомиться, какого именно мира вы хотите?

— Как какого?

— Простите, но просто мира я не знаю. У нас есть газета, проповедующая мир английский, а другая, отстаивающая мир германский. Вы можете выбрать любую, так как обе хорошо платят, и в местной валюте!

Мы стали прощаться. Все старички, кроме бодрствовавшего председателя, успели задремать и со сна шептали:

— Долой войну! Берта Зутнер! Ну, как же так можно?.. Спокойной ночи!

У ворот дворца, видя наши разочарованные лица, к нам подошел очень симпатичный скандинав и сказал:

— Не унывайте! старайтесь, молодые люди! Пишите романы против войны и, может быть, вы получите в 1930 году премию Нобеля, или займитесь пока контрабандным сбытом сыра в Германию.

Среди всеобщего озверения эти нейтральные сердца сохраняли истинное человеколюбие!

Мы уехали из Голландии с бутылочкой отменного «Адвоката», с трогательными воспоминаниями, но все же без мира, и наша тоска была столь остра, что, казалось, судьба имела кое-какие филантропические намерения, дабы ее пресечь! При переезде из Флиссингена в Гуль небольшой пароходик «Аннибал» был потоплен субмариной, и в течение суток мы валандались по открытому морю в маленькой шлюпке. В эти торжественные часы все были убеждены в близкой смерти, и каждый это по-своему выражал. Только Учитель был до крайности спокоен, скажу,— даже будничен. Он заботился о нас, шутил с Айшей и рассказывал о том, как ребенком он вздумал переплыть в пивной бочке Атлантический океан, но был, увы, выкинут через несколько минут волнами на берег. Я спросил его — неужели он совсем не воспринимает неизбежной, по-видимому, смерти? Учитель пожал плечами:

— Привычка! Я и на земле не чувствую себя уверенным. Мой «Аннибал» ведь давно потоплен.

Мистер Куль, вырвав из чековой книжки листок, с помощью пера «Ваттерман», прикрепленного к карману, написал завещание. Он оставлял все свои капиталы «Обществу миссионеров». Потом, вспомнив папу, он приписал: «Выдать по одному доллару всем сиротам солдат, погибших от стрел, изготовленных фирмой «Куль и К°». Кончив писать, он положил записку в бутылку из-под «Адво-

ката», случайно уцелевшую в кармане Айши (конечно, ликер мы предварительно выпили), и кинул в воду. Засим, просветленный и верный установившимся среди американских миллиардеров традициям, он, страшно фальшивя, стал петь псалом: «Ближе к тебе, господи!..» Айша, вначале испугавшись, плакал, но Учитель успокоил и даже развеселил его. Шаля, он незаметно уснул, положив голову на колени Хуренито.

Легко понять, что делал Алексей Спиридонович: он рассказывал свою жизнь, требуя, чтобы все его особенно внимательно слушали, ибо это не повесть, а предсмертная исповедь. Рассказав все наиболее интересные места, даже повторив их два раза, он приветствовал смерть: «О дочь легчайшая эфира!» А потом, хныча, начал отчаянно глядеть в пустынное море — не покажется ли откуда-нибудь спасительное суденышко.

Эрколе ругал Учителя, нас, Мадонну, немцев, англичан, войну, мир и море всеми известными ему ругательствами. Как? Проклятье! Он мог бы теперь бормотать свои «ave» или пить лакрима, и вместо этого — смерть! Стоило падать с диких высот! Предатели!

Мерная зыбь укачивала меня, и я клевал носом. Я видел самые разнообразные вещи. Мне восемь лет, я избиваю живым котом, накрутив его хвост на руку, сестер. С трудом меня обезоруживают и запирают в сарай. Там — уголь; я раздеваюсь, катаюсь в черной пыли и, когда дверь наконец открывают, выскакиваю, пугаю нянюшку Платоновну, которая, присев на корточки, в ужасе крестится, вбегаю в столовую и бросаю на пол горящую лампу. Потушили. Жаль!

Мне пятнадцать лет. Я — революционер. Митинг на фабрике красок Фарбэ в Замоскворечьи. Полиция. Я бегу. Перелезаю через забор с колючками и оставляю на оном штаны. Бух — упал в бочку с остатками красок! Городовые не хватают меня, а как Платоновна: «Тьфу, черт, как есть черт!..»

Пять лет спустя. Богомольным стал. Писатель Жамм свел с монахами. Лурд, Клодель и т. д. Отец Иннокентий. Завтра обряд крещения. Потом пострижение. Я выбрал имя — «брат Ипполит». Ничего себе! Последнее наставление. А у меня какая-то пружинка внутри, не в мозгу, где-то под ложечкой лопнула. Святой отец! хи-хи! Позвольте, я вам на гитаре сыграю! «Цветы, цветочки вы мои!..» Очень вы мне, постники, опротивели! А как насчет дочери, то есть филии Виргинии, коя в огороде сеет порей, сельдерей и прочие премудрые овощи?.. Недурственно бы, а, отец? Потом — бух на пол и ползаю: господи, господи, господи, помилуй! Ну, начинай же — гад протухший! Но отец, как нянечка, задрал со страха рясу, лопочет: «Изыде! ай! спасите!» Я еду в Париж. Третий класс. Тесно. Матросы. Шестой, кажется, литр. Качаются, негодяи! Стойте же на месте!

Все эти картины проходили у меня перед глазами. Я искал смысла, точки опоры, но ее не было. Потом образы исчезли, и пошли одни лишь глаголы: сосал, пищал, бил, учился, молился, целовался, шлялся, пил, скулил, писал, жевал и еще, еще! От них качало сильнее. Тогда вдруг я понял, что весь смысл в этой качке, в бесцельном движении, кружении, смене. Я встал, завопил: «Благословляю жизнь!» — и начал блевать.

Вечером английская рыбачья шхуна заметила нас, и два дня спустя мы уже обедали в парижском ресторане. Отдохнувши от пережитого, мы снова взялись за различные склонения слова «мир». После аббатов и пацифистов мы решили прибегнуть к содействию людей темных и подозрительных, а именно социалистов. Для этого и направились мы в Женеву.

Я видал на своем веку немало различных способов расселения людей и архитектурных причуд: небоскребы, подвалы Реймса в дни войны, датские паромы-салоны, парижские писсуары, проект памятника Татлина Третьему Интернационалу, но все это бледнеет перед своеобразным остроумием отеля «Патрия», специально оборудованного для социалистических делегаций. Мы шли туда с большим волнением. Мистер Куль, зачинщик нашей поездки, не мог скрыть страха. Он оделся как можно проще, а под рабочую блузу нацепил металлический панцирь от пуль. «Ведь как никак, а это все же злоумышленники»,— оправдывался он. Кроме того, Айша, по его приказанию, должен был нести огромный красный флаг. Так вошли мы в обширный двор «Патрии» (были два подъезда, но в них нас не пустили, требуя рекомендательных писем от каких-то министров), причем мистер Куль пел «Интернационал». Его голос, однако, терялся среди десятков других, справа певших: «Deutschland, Deutschland über alles» [1] и слева отвечавших: «Rule, Britannia» [2].

Устроение двора было изумительно. Два больших корпуса, один украшенный флагами союзных держав, другой — германскими. Между ними были устроены рвы, насыпи и проволочные заграждения, более сложные, нежели те, что я видел на фронте. В середине возвышался открытый павильон, где сидел какой-то древний демократ, обложенный протестами и резолюциями. Видя наше беспомощное положение, он нас приветливо подозвал к себе.

— Скажите, а много ли здесь этих злоумышленников, то есть, простите, революционеров? — прежде всего заинтересовался мистер Куль.

— В настоящее время в «Патрии» четыре министра, одиннад-

---

[1] «Германия, Германия превыше всего» — начальная строка гимна Германской империи.

[2] «Правь, Британия» — начальная строка гимна Великобритании.

цать товарищей министров, девять заведующих отделами государственной пропаганды...

Мистер Куль прервал его, испуганно закричав Айше:

— Разорви флаг, да скорее!

Далее старичок объяснил нам хитроумное устройство «Патрии». В двух корпусах помещаются делегации двух коалиций. Чтобы не скомпрометировать себя, они не только не встречаются, но и не переписываются между собой, ибо все они честные патриоты. Но так как, кроме того, они социалисты и члены Интернационала, то они и стремятся обеспечить после окончания войны возобновление товарищеских взаимоотношений. Для этого в окнах корпусов выставляются плакаты с резолюциями, протестами и опровержениями. Против этого никто ничего возразить не может, так как каждый волен в своей квартире делать, что он хочет. В павильоне же помещаются представители нейтральных стран, которые и переговариваются с враждующими окнами.

Все это было несколько сложно, но воистину гениально. Мы решили приступить к делу, и мистер Куль закричал:

— Преступники, то есть министры, то есть товарищи, являетесь ли вы противниками войны?

Немедленно появились два плаката. Один гласил: «Да, и мы боремся против империализма союзников и их сообщников лжесоциалистов, начавших преступную войну!» Второй: «Конечно! Долой германский империализм и его прислужников псевдосоциалистов, виновников позорной бойни!» Эти слишком сходные меж собой ответы вызвали во мне подозрение — уж не сносятся ли противники меж собой с помощью подземных ходов? Но нейтральный демократ успокоил меня, объяснив близость врагов духовным родством и товарищеской солидарностью.

Тогда Алексей Спиридонович спросил:

— Собираетесь ли вы протестовать против войны?

Плакаты ответили, что запросят по этому поводу соответствующие правительства, и через час мы прочли: «Позор поджигателям Реймского собора! Мы протестуем перед всем цивилизованным миром против германских приемов ведения войны!», «Ужасы казаков и негров вопиют к небу! Долой поругателей культуры — союзников!»

— Что нам делать для приближения мира? — спросили мы.

«Установите республику в России, в Италии, в Ирландии!» — ответили немцы.

«Установите республику в Германии, в Австрии, в Турции. Докажите нейтральным рабочим необходимость присоединиться к нам»,— советовали союзники.

Но Эрколе завопил:

— Жулики! мы за мир! — и пустил для эффекта шутиху.

Раздались испуганные возгласы: «Это бомба!» — и тотчас же показались, умилительно согласные, два плаката: «Не забывайте что мы социалисты! Займитесь отделкой зала хорошего отеля, где мы соберемся все после войны. Украсьте стены красными знаменами. Пожалуйста, не кидайте в нас бомб! Да здравствует Интер... Вы поняли?»

Вскоре пришли полицейские и попросили нас не тревожить почтенных революционеров.

Оставив во дворе обрывки флага, так и не отыскавши мира, мы, с горя, пошли в пивную.

— Удивительно приятные люди эти социалисты, и воспитанные! — воскликнул мистер Куль, скидывая панцирь, мешавший ему развалиться как следует в кресле.

— Итак, неизлечимость признана всеми вами, и валериановые капли больше никого не прельщают,— сказал Учитель.— Мы можем вернуться домой и заняться нашим добрым, честным хозяйством.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Награждение m-r Дэле орденом.— Учитель о войне.— Мы схвачены немцами

В Париже ждали нас различные неприятности. Прежде всего хозяйка отеля, предварительно добродушно спросив нас, уже не немцы ли мы, рассказала, что нами до крайности интересуется некий monsieur, тщательно выясняющий: куда мы ездим столь часто, что едим на завтрак и какого образа мыслей придерживаемся. Хотя наши поездки носили исключительно идиллический характер, нам не слишком понравилась любознательность monsieur, тем более когда выяснилось, что он «совсем почтенный» и с ленточкой в петлице. Впрочем, эти переживания длились недолго, ибо на следующее утро после нашего приезда мы были вежливо приглашены явиться кое-куда. Там нас ждали со всяческими любезностями, а также с полученным доносом. На большом листе бумаги было выведено: «Докладная записка о последних предприятиях пяти германских шпионов, по донесениям сотрудника «Лиги для обследования сомнительных поступков». Все было отмечено и достаточно живописно размещено: указанные шпионы занимаются сбытом пулеметов в Германию через Голландию. Сносились с папой по поводу предложений сепаратного мира. Потопили пароход, на котором сами ехали, но остались, разумеется, невредимы. Подкуплен-

ные германскими социалистами, лакеями Вильгельма, бросили бомбу во французских социалистов, сильно испугав одного из них, товарища министра военного снабжения. Перечислив главные обвинения, некто любезно пояснил, что подобный образ жизни кончается предпочтительно расстрелом. Засим все пошло обыкновенно. Эрколе выл, мистер Куль пел псалмы, и так далее.

— Вот идет председатель «Лиги»,— сказал некто,— он даст последние данные о вашем поведении, а после этого — суд и некоторые другие формальности, но, уверяю вас, все будет закончено в двадцать четыре часа!

Итак — всего сутки: вой, Эрколе, пойте, мистер Куль! Вот он идет, страшный Азраил, непостижимый вестник смерти. Но почему же так беспечен Учитель, почему он улыбается, кивает головой и вместо «Аве, Цезарь», кричит: «Бонжур, мосье!» Я ничего не понимаю. Я боюсь оглянуться. Оглядываюсь...

— Monsieur Дэле, друг дорогой! Вы живы! а Зизи? а каротелька? Нам суждено увидать вас перед смертью!..

— Глупости! Ведь этого негодяя-боша нет с вами? Ну, конечно! Это мои сотрудники постарались, но вы не беспокойтесь. Господин комендант, это явное недоразумение. Мои товарищи по торговому делу. Да, да, ручаюсь! Вы свободны, друзья мои. Теперь в «Шатле» — уж час аперитива!

Так жалко закончилась еще одна попытка судьбы подменить мир общий, которого мы жаждали, нашим пятидушным.

Кто знает радость встречи после долгой разлуки, очарование неизменившихся привычек, сладость мелких напоминаний, прелесть забытой близости, тот легко поймет наше состояние за стаканчиками хереса. Дорогой m-r Дэле! он был все тот же: пилюли в кармане, ясность взора и легкость ума. Правда, вместо Зизи, изменившей ему с четырьмя (ну, если б еще с одним!) арабами, в маленьком домике жила Люси; правда, больше не цвел под окнами душистый горошек, во имя защиты отечества замененный горошком просто, но все это лишь мелкие детали. Зато на розовых щечках m-r Дэле теперь минутами ясно горели отсветы вселенских пожаров, и его «порыв», милый, буйный, выпирающий пробку из бутылки, обратился весь на священное дело защиты отечества и цивилизации.

— Какая прекрасная «Лига»! Еще вчера было отмечено, что некто Крю гуляет — когда бы вы думали? — с 12 до 2 часов ночи, ест на рассвете, ничем не занимается, носит бороду, бреет усы. И что же,— у него находят немецко-французский словарь, медную солдатскую пуговицу и, наконец (какая наглость!), пачку фотографий различных укреплений, причем негодяй уверяет, что это снимки с картин какого-то Пикассо, тоже, вероятно, шпиона... Ясно?..

Кроме «Лиги», бактериологическая лаборатория. Что паспорт?

бумажонка! M-r Дэле близ Бастилии услышал на улице явно немецкий разговор; пусть его уверяют, что это еврейский жаргон — он не дурак. А почему на вывеске лавки фамилия Зильберштейн? Не немецкая? Конечно, он человек без предрассудков и в клерикальные басни не верит. Никакого Христа не было, это уже сто раз доказано, так что Христа евреи никак не могли продать. Но ведь Франция — существует, m-r Дэле — факт, их-то продать они великолепно могут. Оставьте ваш паспорт! Маленький укол мизинца, капля крови и — под микроскоп. Там сразу видно, какая она — честная или прусская. Его ученые нашли способ. Он всех разоблачит. На днях генерал подвернулся — и что же?.. Анализ — 0,6 германских микробов! Хорошо бы ночью забраться в спальню министра Мальви и уколоть его тихонько — наверное, немец!..

Третье занятие m-r Дэле — «Национальный союз борьбы с укрывающимися от военной повинности». Удостоверения? Бросьте! Грыжа? Покажите, пожалуйста! На войне потеряли глаз? Выньте искусственный! M-r Дэле не упускает из виду всех подозрительных женщин, которые стригут волосы или говорят баском. Юбка тоже не гарантия. Надо выяснить существо...

А в свободное время m-r Дэле не отдыхает — нет, он продолжает свое дело и пишет статьи: «Долой шептунов! Мы взяли домик паромщика на Изере. Португальцы с нами! Сирия тоже неплохо пахнет». Он пишет в десяти газетах: «Утро Понтуаз», «Барабанщик Клермон-Феррана», «Возрождение Байоны» и в других. Он верит в нас. Мы хотим мира? Но мир будет — сейчас же, через год, через месяц, возможно даже через неделю, надо только добить этих преступников и проехаться в Берлин. Мы должны помочь сему. А для этого лучше всего стать журналистами. Святое дело! Перо — оружие! А потом мы победим, и снова все придет в порядок: садик, Люси. О, как прекрасно французское небо! Еще по одному стакану, и все за работу!

Предложение m-r Дэле показалось нам заманчивым. Хозяйство мистера Куля, как я уже сказал, находилось в плачевном состоянии. Учитель верил в великую разрушительную мощь газетных листков. Алексей Спиридонович, давно не удовлетворяясь нами и случайными встречами в вагонах, жаждал излить свою душу как-нибудь пошире. Я тоже по своей профессиональной привычке предпочитал нагонять строчки, нежели катать тележки или отрывать пресловутые билетики. Словом, мы, не кривляясь, сразу согласились.

Америку поделили между собой Учитель и мистер Куль. Первый обслуживал газеты двадцати двух республик Южной и Центральной Америки, второй — ассоциацию прессы Соединенных Штатов, объединяющую восемьсот семнадцать различных органов. Айша от

исполнения обязанностей был освобожден ввиду отсутствия в Сенегале периодической печати. Что касается Эрколе — дело обстояло сложнее. К сожалению, он был безграмотен. Но все мы нашли, что у него удивительно газетный стиль, должный размах и титанический пафос. Решено было, что записывать телеграммы для «Джорнале дель Ареццо» станет Хуренито под диктовку Эрколе. Алексей Спиридонович от телеграммы отказался, ибо краткость презирал. Как может он в ста словах выразить всю муку, сладость жертвы, ужас греха и веру в третье царствие святого духа? Он предпочел писать длиннейшие письма «За последним рубежом» в газету, хотя древнюю, но сохранившую свою девственность, а именно — в «Русские ведомости». Я же, как это известно некоторым читателям, стал исправным корреспондентом не слишком взыскательных «Биржевых ведомостей», или — в просторечье — «Биржевки».

Все мы, включая m-r Дэле и при его содействии, выехали на фронт. Сначала мы решили писать только о том, что действительно видим:

«Дождь. Один солдат стоит на посту, промок, обругал нас: «Что вы, жабьи внуки, здесь зря шляетесь!» Слышно, как стреляют. Два других солдата играют в карты. Давеча на станции баба продала нам за 10 франков пяток тухлых яиц и спросила, скоро ли будет мир? Настроение у нас приподнятое. Председатель 33 патриотических обществ m-r Дэле в интервью, любезно данном нам за аперитивом, сказал, что Германия будет разбита». Но в ответ мы получили от редакций телеграммы с предложением — денег на подобные пустяки не тратить и ежедневно описывать дуэли гидроавионов с танками, кровопролитные бои под землей, интервью с командующими войсками, а также три раза в неделю ездить на аэропланах в Египет или на подводных лодках в Дарданеллы. Мы поняли и честно занялись всем вышеизложенным. Пребывание на фронте становилось бесполезным, даже вредным, ибо оно чистоту и цельность нашей фантазии засоряло повседневностью. Но все же Учитель настоял на том, чтобы мы продолжили нашу поездку до передовых позиций. Для прогноза болезни он хотел еще раз подвергнуть анализу кровь, гной и мочу человечества.

Преодолев десятки различных штабов, добрались мы до окрестностей Вердена. Там разыгралась довольно любопытная сцена, впрочем не подходящая ни под одну из указанных редакциями категорий, и потому не получившая огласки. Возле форта Марр на наблюдательном пункте обрели мы трех солдат. Они были одеты весьма причудливо: поверх каски вязаные чепцы, на плечах стеганые одеяла, ноги погружены в большие пузыри, не пропускающие воду, а чепчики, одеяла и пузыри, в свою очередь, покрыты чешуйчатой корой рыжей глины, подобной шкуре слона. К месту, где они

стояли, пришлось ползти на брюхе по развороченному снарядами окопу, погружаясь в жидкую землю, и человеческие испражнения, и в залежи дохлых крыс. M-r Дэле, вытерев лицо и руки носовым платком, обратился к солдатам со следующим приветствием:

— Дорогие пуалю! Европа, Америка, страна Восходящего Солнца и оба полюса смотрят сейчас на вас, на беззаветных героев, ограждающих свободу и право! Сегодня, когда я полз по этим историческим местам, я сам приобщился к вашим мукам и могу теперь, как равный, хоть и в котелке, приветствовать вас. Мы простоим, то есть вы простоите здесь, а мы там, у прилавков, у бюро министерств, у стоек баров до того часа, когда изможденный людоед падет. Позвольте преподнести вам скромный дар — мою патриотическую статью в последнем номере «Победоносная Гасконь», где я говорю — смелость, смелость и еще раз смелость (это слова моей последней метрессы, то есть еще раньше это сказал по другому поводу Дантон). Будем же тверды до конца!

Право, эта речь была ничуть не хуже многих других, которые приходилось мне слышать на банкетах журналистов, даже выгодно выделяясь своей сжатостью и насыщенностью, и только случайностью можно объяснить себе все последовавшее. Один солдат, самый пожилой и смирный, тихо выругавшись, сказал:

— Вы бы лучше сказали, что насчет мира слышно, господин патриот!

M-r Дэле промолчал обиженный, зато обрадовался Алексей Спиридонович.

— Брат мой, вы тоже за мир, за любовь! Убийство — грех, и эта винтовка оскверняет руки!..

— Как бы не так,— запротестовал солдат,— винтовка хорошая вещица (он даже погладил приклад), только надо уметь с ней обращаться. Вот хорошо бы прекратить всех генералов, депутатов, военных, штатских, попов, социалистов, да и вообще всю эту семейку!..

— Но кто же тогда останется? — спросил деловито мистер Куль. На это солдат уже вовсе бессмысленно сказал: «Наплевать» — и действительно сочно плюнул.

Другой солдатик, значительно более темпераментный, с виду южанин, счел приличным ответить m-r Дэле целой речью. Приводя точный ее перевод, я прошу простить ему и мне некоторую чрезмерную экспрессивность образов.

— Дорогой писака, спасибо за бумагу, защитники права в ней весьма нуждаются. Кроме того, ты можешь, захватив с собой Восходящее Солнце и этих пять каналий, отправиться немедленно в коровий желудок. Очень приятно, что ты немного выпачкал свою гнусную харю моим творчеством, ибо я тоже творю два раза в день,

как ты в твоей редакции. Желаю тебе провести всю жизнь в верблюжьем помете! Сто тысяч лысых тыкв! Пуп папесы! Садись в теплые тетушкины штаны, пей липовый чай и чихай кошке под хвост!

Не успел m-r Дэле опомниться от этого странного приглашения, как третий солдат, молоденький и безусый, с возгласом: «Подарок за подарок» — вытащил из лужи дохлую крысу за хвост и вдел ее в петлицу m-r Дэле, где обычно помещалось нечто совсем другое. Мы, хотя речей не говорили и никаких подношений не удостоились, увидав энергию солдат, быстро упали на землю и с возможной скоростью поползли восвояси.

Достигнув мест, во всех отношениях более защищенных, мы начали обсуждать злоключение m-r Дэле. Эрколе все крайне понравилось, и по поводу награждения m-r Дэле своеобразным орденом он с пафосом воскликнул:

— Это жест, достойный римлянина!

Алексей Спиридонович хотел «постичь душу» солдат:

— Они грубы, озлоблены, но я чувствую, что они преданы миру, как я. Друзья, мы негаданно встретились с тремя последователями нашего великого Толстого!

— Твоя наивность,— ответил ему Учитель,— принимает форму святого анекдота. Если в России много дядей, похожих на тебя, то я удивляюсь, как ее не разобрали до последнего камешка все, кто постигать души на каждом шагу не жаждет, а обманывать стремящегося быть обманутым за грех не почитает. Эти солдаты отнюдь не пацифисты. Декорацию, выданную m-r Дэле, они с удовольствием присудили бы и римскому папе, и гаагским гуманистам, и Ромэну Роллану, и всем миролюбцам-угодникам. Два года тому назад они очень хотели убивать, и за это время у них не совесть проснулась, а только отсырел зад. Дай им волю — возможно, они будут убивать не совсем тех, кого убивать им сейчас приказано. Возможно даже, что они устроят великолепные каникулы с кроткими женами под боком и с мирными барашками на лугах. Но придет срок, и они снова начнут постреливать, ибо окопы совсем не школа человеколюбия и не питомник толстовцев. Взять винтовку довольно легко, обучение несложное, сам знаешь — учили, но выпустить ее из рук невозможно. Можно только так, поставить на часок-другой в угол. Страшный век лишь начинается. В четырнадцатом году, когда они кричали: «Да здравствует война!» — эта война (которая ничего еще — здравствует) была чем-то вне их, историческим актом, государственным делом. Теперь они бурчат: «Долой войну» — но она уже проросла корнями в их мирные тела, стала их бытом, и этой профессии они никогда не разлюбят. Ты должен был научиться различным толкованиям слов «священная война», теперь поста-

райся воспринять новый урок. «Мир» — означает послеобеденный сон антропофагов, дележ добычи громилами на травке, перенесение военных действий в места более привлекательные, например, с этих кочек на Унтер-ден-Линден или с Минских болот на Невский проспект, словом, все что угодно, кроме мира!

Так дошли мы до мест недавних боев меж фортами Дуомон и Во. Кругом была подлинная пустыня. Ни один камень не уцелел, ни одна былинка не укрылась, все обратилось в серую жижу, покрытую как бы гнойниками — ямами, вырытыми снарядами, с желтой водицей. Впрочем, кое-где торчали человеческие ноги распухших, гниющих, из-под земли выползающих трупов.

— Помните,— сказал нам Учитель,— что война дала нам не только хозяйство мистера Куля, но и этот великий апофеоз!

— Будет мир,— возразил мистер Куль,— мы учредим еще одно акционерное общество и за год, за два разведем здесь такое хозяйство, что никто не поверит бредням уцелевших солдат, видевших эту пустыню.

— Конечно,— сказал Хуренито,— это отнюдь не завершение и не очищение земли. Пока мистер, пока мистеры Кули живы — будут города, притоны, пушки, доллары, святые книжицы, словом, все, что нужно порядочному человеку, чтобы не в год, а в двадцать четыре часа загадить любой кусок так называемой «божьей земли». Построят, посеют, мертвых зароют глубже, даже бобы будут лучше расти. Но глядите! На минуту как бы прорывается пред вами пелена далеких времен. Это — предчувствие — прообраз последней огненной купели!

На следующий день, несмотря на протесты m-r Дэле, ставшего необычайно осторожным, мы направились снова на позиции, а именно к вышке 384. Когда мы дошли до передовых окопов, германская артиллерия открыла неожиданно ураганный огонь по всей линии. Пробраться в тыл не было никакой возможности. Мы забрались в прекрасно оборудованную землянку и, слушая грохот разрывов, с особенной страстностью начали заниматься излюбленным занятием, то есть всячески проклинать войну. M-r Дэле как будто наших воззрений не разделял, но корректно молчал. После того как Эрколе одобрил поведение невоспитанных пуалю, он предпочитал вообще не высказываться, дружески приговаривая: «Главное, друзья мои, терпимость и широта взглядов!»

Но Учитель решительно выступил против нас и начал защищать войну:

— Выйдя в дорогу, надо идти. Если очень скверно — ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, а ветер в трубе выл по-диккенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками. Трусы! Вы не дети своего железного века, но кринолинщики,

романтики, подавившиеся слюною умиления, мусорщики вчерашнего благополучия! Вы спрашиваете, что хорошего дала война? Хорошо ударила по башке. Это прежде всего. Потом во все, по-вашему — ключи вдохновения, а по-моему — грязевые ванны, подсыпала изрядную дозу стрихнина. Прошлое стало невозможным, и как ни будут стараться люди по воспоминаниям, по выцветшим фотографиями или по шамканью стариков реставрировать свои Парфеноны, они выйдут похожими не то на Ноев ковчег, не то на уборную двадцать первого века. Вам не нравится двадцать первый век? Что же — согласен, не слишком привлекателен, но, во всяком случае, он лучше девятнадцатого, ибо груб, деловит, не ханжит и между двумя очередными свинствами не декламирует Шелли или Верлэна. И потом, он впереди — тридцатый, или пятидесятый, или сотый, но век блаженства, и все, что приближает нас хоть на шаг к нему,— благословенно!

...Вы клянете войну, а она даже не шаг, но прыжок в грядущее. Она убила все, во имя чего началась, и родила все, что должна была убить. «Война во имя свободы», и оказывается, что народы созрели для великого откровенного ярма, ибо больше не могут выносить фикции свободы, ее призрачных благ.

...«Война возвысит дух, покончит с гнилым материализмом»,— истошно вопили философы и просто добрые люди, по полноте тела склонные к мечтательности. Но война велась с помощью вещи, она открыла всем ее мощь. Разрушая тысячи вещей, материей уничтожая материю, люди научились уважать вещь, они полюбили ее так, как не умели любить в счастливейшие дни мира.

...Надеясь на то, что пришел их сезон, священные особы всех культов выползли, вытащили давно забытый товар — загробные блага. Но война жестоко надула их. Чем ближе стали люди к уничтожению реальной повседневной жизни, своей и чужой, тем больше она их к себе притягивает.

...Война — это ненависть народа к народу, а между прочим, никакие проповедники братства, никакие книжки писателей, никакие путешествия, что́ путешествия — переселения народов, не могли их так сблизить, спаять, срыть рубежи, как эти годы в окопах. Опять шутки войны, все вышло шиворот-навыворот. Оказалось, что ненавидят, восторгаются, трусят, колют, терпят в траншеях, хрипят, помирая, гниют в земле все: и французы, и немцы, и русские, и англичане — до удивительности одинаково. Посидели рядышком — заметили. Пока один на мандолине поигрывал, а другой на медведя с рогатиной ходил, казалось что-то разное. Может быть, и правда, медведь ближе, роднее, нежели тренькающий мандолинщик. А послали делать одно дело — сразу ясно стало, даже не близнецы — двойники, разве что у одного бородавка под лопаткой, а другой часто икает.

...Дальше: уж кто-кто на войну надеялся — это защитники старой иерархии, божественного разнообразия, возвышающей борьбы, неограниченной личности во всех вариантах: император — не поденщик, Ротшильд — не нищий, поэт — не фабрикант туалетной бумаги, философ — не пастух, и прочее. Опять разочарование: все,— если снять горностаевые мантии, фраки и воротники, посадить в этакие землянки, где ни стихов о Мадонне, ни туалетной бумаги, ни прагматизма не высосешь,— крайне тождественны, спутать можно. Конечно, есть погоны, штабы, грациозный тыл и прочее. Но здесь важна пока что не суть, а демонстрация. Чего стоят одни торчащие из земли неопознанные трупы. М-r Дэле, ваши шестнадцать классов мертвецов могут смешаться, и что тогда будет?..

...Все это я вижу, и, когда вы клянете войну, я благословляю ее как первый день тифозной горячки, от которой человек либо переродится, либо умрет, очистив землю для нового собачества или для победных легионов крыс, муравьев, инфузорий!

Это поучение Хулио Хуренито я запомнил четко и точно. Мы слушали его с напряженным вниманием, не думая об опасности, грозящей нам. Орудийный грохот, трескотня пулеметов, человеческий рев как будто подтверждали неумолимые слова Учителя, и мне кажется, что, если бы в эти минуты пришла к нам смерть в виде приличного осколка тяжелого снаряда, все мы, даже m-r Дэле и Эрколе, наиболее к жизни привязанные, встретили бы ее с должным спокойствием.

Когда Учитель кончил говорить, все кругом зловеще смолкло. Раздавались только несвязные ружейные выстрелы. Мы решили вылезти и попытаться пробраться назад. Но наверху ждало нас нечто более страшное, нежели все снаряды. Увидев свет, мы замерли: перед нами стояли немецкие солдаты с ручными бомбами.

— Кидай! — закричал один, но другой возразил:

— Это, должно быть, очень важные, сведем их в штаб для допроса, а пристрелить успеем!

Убедившись, что у нас нет оружия, солдаты погнали нас по разным коридорам и громадным воронкам, подталкивая для убедительности прикладами. Особенно раздражал их бедный Айша. Они все время приговаривали, что с удовольствием приколют нас штыками, так как мы не солдаты, а шпионы. Надеяться было не на что, и мы, несмотря на удары, замедляли шаг, понимая, что этот путь — последний.

Мы шли уже мимо германских окопов второй линии. Все, что мы видели, напоминало нам старые, привычные картины: принесли в котлах суп, кто-то писал домой открытку, кучка солдат играла в карты. Я вспомнил слова Учителя о новой близости. Но вот — близкие, они сейчас убьют нас. И такой прекрасной показалась мне

жизнь! Я с завистью поглядел на усатого рыжего солдата, который сидел у костра и, сняв рубашку, искал вшей. Жить, как он, сидя на корточках, выпить бурду из жестяной кружки, потом в грязи уснуть... Как это много и как невозможно!..

Я не знаю, что делали эти полчаса Учитель и друзья, как пережили они путь к смерти. Я опомнился лишь возле маленького крестьянского домика. Немец грубо втолкнул меня в темную узкую комнату. На столе стояла свеча. Я увидел генеральские погоны и спокойные, совершенно бесстрастные глаза. Я понял — спасения нет, и, пользуясь тем, что Учитель еще с нами, тихо поцеловал его плечо, прощаясь с самым жестоким и любимым из всего, что было в моей короткой и сумбурной жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О трудах Шмидта, о некоем Крюгере и о чайной колбасе

Кто склонен верить в некий тайный, человеку не постижимый смысл житейской кутерьмы, счастливых нелепостей и отчаянных случайностей, тот, без сомнения, задумается над моей книгой. Мы почти ежемесячно испытывали смертельную опасность, но всегда какое-нибудь «но» выручало нас,— будь то рыбачья лодка, карточка депутата или добродушный смех m-r Дэле. Процент наших избавлений значительно превышает лурдские исцеления, и таким образом я легко мог бы спекулировать здесь на провидении, особенно когда вместо расстрела и пары генеральских глаз оказалась тоже пара, но шмидтовских, и бутылка коньяку, хоть и эрзаца. Но мне несвойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск аэроплана или когда колеблюсь — надеть ли мне резиновое. В остальное время я гляжу под под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Возможно, что этими особенностями моего — увы! — теперь уже окостеневшего позвоночника объясняется мое пристрастие к вещам грубым и низменным. Словом, немцев что-то около пятидесяти пяти миллионов. Если можно выиграть в рулетку — 1:36 шансов, то 1:55 000 000 различие лишь количественное, и отсюда до мистики далеко.

Шмидт узнал нас тотчас же. Он же в остроконечной каске, возмужавший и загоревший, едва напоминал бедненького штуттгартского студентика. Я так и не определил ни его чина, ни точного характера службы. По его словам можно было понять, что он в первые

месяцы войны выдвинулся, преуспел и теперь играет видную роль как в тылу, так и на фронте.

Успокоив нас касательно нашей судьбы, Шмидт сказал, что в его распоряжении имеется восемнадцать минут, которые он охотно посвятит беседе с нами. Учитель заинтересовался его очередными занятиями.

— Они очень сложны,— ответил Шмидт.— Война приняла несколько иной характер, нежели я предполагал раньше. Совершенно ясно, что завоевать всю Европу и привести ее в порядок нам сразу не удастся. Тогда переходные задачи: колонизовать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию, чтобы потом легче было бы их организовать. Это общее соображение, теперь — частности. Нам придется вскоре, по соображениям стратегическим, очистить довольно изрядный кусок Пикардии. Возможно, что туда мы не вернемся, и очевидно, что мы ее не присоединим. Поэтому я подготовляю правильное уничтожение этой страны. Очень кропотливое занятие. Надо изучить все промыслы: в Аме мыльный завод — взорвать. Шони славится грушами — срубить все деревья. Возле Сен-Кантэна прекрасные молочные хозяйства — скот перевести к нам, и так далее. Мы оставим голую землю. Если бы это можно было проделать вплоть до Марселя и Пиренеев, я был бы счастлив: самый безболезненный и гуманный переход к торжеству Германии, следовательно,— к организации единого хозяйства империи и к счастью всего человечества.

— Это варварство! — закричал Алексей Спиридонович.— Я убил одного негра, и я с тех пор самый несчастный человек на свете. А вы хотите убить миллионы невинных людей. Вы говорите о счастьи человечества и топите детей на «Лузитании», разрушаете древние соборы, сжигаете города. Мы не дадим вам колонизировать Россию, мы выйдем против адских машин с иконами и с молитвами. И вы падете!

— Вы думаете, что мне, что всем нам, немцам, приятно убивать? Уверяю вас, что пить пиво или этот коньяк, ходить на концерт или даже к моей старой знакомой фрау Хазэ гораздо приятнее. Убивать — это неприятная необходимость. Очень грязное занятие, без восторженных криков и без костров. Я не думаю, чтобы хирургу было бы очень весело залезать пальцами в живот, надутый газами и непереваренной пищей. Но выбора нет. Я, моя семья, мой город, родина, человечество — это ступеньки. Убить для блага человечества одного умалишенного старика или десять миллионов — различие лишь арифметическое. А убить необходимо, не то все будут продолжать глупую, бессмысленную жизнь. Вместо убитых вырастут другие. Детей я сам люблю не меньше вашего и напомню вам, что я даже вытоптал цветы в штуттгартском парке, протес-

туя против порядка, обрекающего младенца на голод. Именно поэтому, если сейчас потребуется для выигрыша кампании, то есть для блага Германии — завтра, и человечества — послезавтра, потопить все «Лузитании» и перебить сотни тысяч людей, я не стану ни одной минуты колебаться. Стоит ли после этого говорить о городах, о церквах и о прочем. Жалко, разумеется. В частности, расскажу вам, что одной из батарей, громивших Реймс, командовал профессор Шнейдер, автор замечательных изысканий по истории готического зодчества. Взглянув в бинокль на собор, который он давно мечтал увидеть, герр Шнейдер прослезился, а потом отдал распоряжение о прицеле. Я же, как вам известно, вообще старого не терплю. Выстроят завод или казарму, лучше будет. Довольно хныкать над бабушкиным сундуком и ходить в драном платьи!

...Что касается России, то я уже слыхал о вашем странном обычае выходить против пулеметов с иконами. Я отношу его к плохому развитию сети школ и железных дорог в вашей стране. Ничего, мы поправим дело! Я вас очень люблю, герр Тишин, но, когда мы придем в Россию, вам придется оставить ваши вздохи и заняться серьезным делом — агрономией или птицеводством. А иконы мы перенесем в музеи, молитвы издадим для интересующихся фольклором. Полагаю, что это будет скоро. Пока что вы должны будете погостить в концентрационном лагере. Там вы увидите германскую организацию и германскую культуру!..

Оставалось еще две минуты, и Алексей Спиридонович, сорвавший от волнения свой галстук, а также m-r Дэле хотели возразить на слова Шмидта. Но в это время в комнату вошли часовые и привели молоденького солдата. Выяснилось, что некто Крюгер, рядовой, узнав из письма, что его жена при смерти, и не надеясь получить отпуска, пытался бежать, но сразу был пойман.

— Я вполне понимаю ваши чувства,— сказал ему Шмидт,— и с удовольствием отправил бы вас немедленно к вашей жене, но это будет способствовать усилению дезертирства и понижению боеспособности армии. Поэтому для ваших детей, а если у вас их нет, для детей Германии вам придется через десять минут умереть. Вы можете передать ваши вещи, а также письмо супруге дежурному обер-офицеру!

Сказав это, подписав бумагу и быстро простившись с нами, Шмидт уехал на поджидавшем его автомобиле.

Нас выпустили в садик, и там мы должны были ждать прибытия партии захваченных во время боев пленных, чтобы вместе с ними направиться на восток. Через несколько минут из домика вывели Крюгера. Он шел спокойно и обыкновенно, как будто это учение или парад. Стали созывать дежурных солдат. Они ели хлеб с чай-

ной колбасой и пили кофе. Вытерев рукой губы, унтер скомандовал: «Стройся!» Крюгера приставили к стене амбара. К нему подбежала дворовая собака, но, поджав хвост, ушла прочь. На уличке денщик скреб щеткой расседланную лошадь. Все было тихо, просто, будничо. Я взглянул на Крюгера; он глядел то под ноги, то на небо, то на улицу, как будто ожидая совершенно невозможного спасения. Унтер крикнул. Первый залп был неудачен, и Крюгер, визжа, раненный в пах, подскочил. Еще один. Унтер подошел заботливо к трупу и ногой потрогал голову. Потом два солдата оттащили труп в сторону, и все сели к столу, за недоеденные бутерброды. Слышно было, как в комнате кто-то диктовал: «... номер четыре тысячи восемьсот двенадцать... Крюгер Ганс... четыре часа пятнадцать минут пополудни...»

— Учитель,— шептал я,— что это? Можно ли это забыть? Он очень складно говорил, герр Шмидт, но ведь дело не в одной арифметике. Пусть признано «что», остается еще «как». Разве не лучше для глупого счастья своего личного, своей любовницы в безумии, в гневе, в ярости убить всех людей на свете, чем ради спасения человечества, в четыре пополудни, у сарайчика деловито уничтожить одного, может быть никому не нужного, Крюгера?

— Запомни, все запомни,— сказал Хуренито,— эти брызги мозга на стенке и аккуратные ломтики колбасы. Пусть они встанут перед твоими глазами, если, усталый, ты протянешь руку, благословляющую срам и гнусь земли.

Ночью, когда, запертые в тесный товарный вагон, ехали мы куда-то, сами не зная — куда, я вдруг отчетливо увидел пред глазами всю сцену убийства дезертира. Но сознаюсь и говорю откровенно — не ненависть испытал я тогда, а приятное мерзкое удовлетворение, что у стенки стоял не я, а кто-то другой, что я жив, чувствую теплоту надышанного, нагретого людьми воздуха, могу закурить трубку или, прижавшись к толстенькому мистеру Кулю, задремать. Я не признался в этом Учителю, но я знал, что эта нудная слепая тяга к жизни, все равно к какой, хоть в свином хлеву, мешает мне претворить в жизнь его высокое учение. Думая об этом, я всю ночь томился, пока под утро не понял, что слабость еще не смерть, что весьма непохвальная ночь Петра у костра не помешала его достойной кончине, и, сладко пришептывая: «Отрекаюсь, но только временно»,— я уснул.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Порядок и культура великой империи.— Революционный Петроград нас приветствует

Нас привезли в лагерь Оберланштейн, близ маленькой речки Лан. В первый же день к нам пришел немолодой уже лейтенант. Он объявил нам, что Германия сражается за культуру, право, свободу, за дело всех малых народов мира. Это было настолько похоже на то, что мы слышали каждый день в союзных странах, что я усомнился, не собирается ли немец, повторяя вычитанные им из «Матэн» лозунги, выдать себя за сторонника союзников и вызвать нас на излишние откровенности. Но Учитель объяснил нам, что «культура», «свобода» и прочее здесь тоже очень в моде и что офицер вычитал о них, по всей вероятности, не в «Матэн», а в «Дейтче Цейтунг». Засим лейтенант спросил, нет ли среди нас русских — нерусских (украинцев), англичан — неангличан (ирландцев) и французов — нефранцузов (социалистов крайнего толка). Таковых не оказалось, но немец, скрыв разочарование, обещал нам все же, что мы оценим в лагере культуру и порядок великой империи.

Вслед за лейтенантом пришел унтер и приказал нам выстроиться. Живот мистера Куля, руки Эрколе, мой горб и, наконец, весь m-r Дэле выпадали из ряда. Унтер остался очень недоволен этим и ткнул со всей силой мистера Куля в живот, но, узнав, что это американец, пробормотал нечто вроде извинения и дал вслед за этим по уху Алексею Спиридоновичу, живот и зад которого были безупречны. Я никак не мог понять этого, вошедшего в привычку приема: как только наши хранители сердились на Учителя, мистера Куля или m-r Дэле, они наказывали Алексея Спиридоновича, Айшу или меня. После этих упражнений нам дали по миске нехорошего цвета помоев.

Засим началось изо дня в день постепенное посвящение нас в тайны культуры и порядка империи. Мистер Куль мог немедленно убедиться в том, что его доллары не потеряли своей магической силы. Он и m-r Дэле получали за оные прекрасный стол, и вскоре в лагере числились лишь фиктивно, так как переехали к жене старшего фельдфебеля, фрау Кнабэ, державшей нечто вроде семейного пансиона для пленных из приличного общества. M-r Дэле жаловался лишь на тяжеловесность блюд, удваивающих порцию «Пинка», а также на немочку Энхен, которая неповоротлива, как статуя «Германия», и не знает ни одного, даже самого примитивного фокуса Люси. Зато мы, получая все ту же водицу, через месяц так ослабели, что не могли ходить, и лишь для переклички вставали с земли.

Впрочем, мы могли утешиться, узнав, что подобный порядок

существует и вне лагеря. Один солдатик рассказал мне, что его жена так голодала в месяцы беременности, что ребенок родился без волос и без ногтей; а герр Левэн, в том же Бибрихе — интендант — пожирал ежедневно целую индюшку. Я не знаю, был ли осведомлен об этом Шмидт; судя по тому, что он уничтожал лишь французские сады, а чувство долга Левэн и повсеместную организацию очень хвалил, полагаю, что история этого ребенка не дошла до него.

С культурой дело обстояло столь же грустно. Как-то Айша по своей бесконечной наивности рассказал солдату-немцу, что он выдирал у убитых врагов зубы, ибо «гри-гри» предохраняет от злого духа — пушки, причем посоветовал и немцу делать то же самое. Но Айшу нещадно избили, сломав его гордость и радость — руку «Ультима», потом хотели расстрелять и не расстреляли лишь потому, что начали фотографировать и показывать различным голландцам или шведам как образец варварства. Его вежливо выводили на двор, что-то объясняли господам в цилиндрах, измеряли голову, а потом, когда знатные посетители уходили, с руганью и пинками кидали в темный сарай. Мой бедный, нежный Айша, ты не знал, что в эти часы своим варварством ты должен был оттенять культуру и гуманность своих обидчиков! Ты даже не знал, что такое это странное слово «культура». Когда на тебя глядели, ты застенчиво улыбался, а когда били — громко, по-детски плакал.

Эрколе, сильно отощав, стащил в кухне несколько картошек, за что был приговорен к тюремному заключению и также избит. Алексей Спиридонович все время хворал, его болезнь печени, начавшаяся в Африке, осложнилась. Он был до крайности подавлен и колебался между тремя исходами — повеситься, стать окончательно «толстовцем», то есть простить все палачам и даже предложить унтеру избить его до смерти, или преобразоваться в Тишенко, чтобы перейти в лагерь украинцев, где условия жизни были значительно лучше. Ни на чем остановиться он не мог и слег с горя. Я совместно с ним скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: «Россия — Мессия, бес — воскрес, Русь — молюсь, смердящий — слаще», и написанное читал Алексею Спиридоновичу. Он хватался за голову, вопил: «Да, да! Она грядет!» — а потом, зарывшись в подушку, плакал ночь напролет. Я же, плакать не умея, либо писал еще, либо садился напротив француза, получавшего часто посылки из дому, и глядел ему со всем своим пророческим неистовством в рот до тех пор, пока он в отчаяньи не отрезал мне крохотного ломтика сала.

Учитель никак на культуру и порядок не реагировал. Он мог бы как гражданин Мексики освободиться, или, по крайней мере, пере-

ехать из лагеря к фрау Кнабэ, но он не хотел оставить нас. Он изучал гимнастику, языки Гауса и Гереро, постановку свекловичных хозяйств на Украине и различные опыты государственных монополий на Западе. Я немало поражался приспособляемости Хуренито к самым несовместимым условиям жизни. Он был тончайшим гастрономом, почетным членом парижского «Клуба последователей Гаргантюа», знатоком всех бургундских и бордосских, экспертом на аукционах старых погребов — и, несмотря на все это, хлебал лагерную бурду с аппетитом, пребывая бодрым, здоровым и веселым. Также не затрагивали его оскорбления, он даже относился к ним с нескрываемым интересом путешественника, изучающего нравы страны, или, вернее, Брэма у клетки зверинца. В общем он, несомненно, был занят какими-то планами, в которые он нас не посвящал. Со мной он, правда, много беседовал, но больше о пустяках и, как признался сам, для практики русского языка.

В начале февраля начались новые муки: всех нас, в том числе мистера Куля и m-r Дэле, неожиданно отправили из лагеря на восточный фронт в окрестности Ковно и там заставили исправлять дороги. Это было до крайности тяжело, и я убежден, что, не случись многого, совершенно нами не предвиденного, через месяц-другой мы бы все, за исключением Учителя, нашли успокоение, на этот раз отнюдь не романтическое.

Недели через три после нашего приезда германцы, украсив штаб флагами, радостно поздравили нас: «В России революция. Царь отрекся!» Как передать переживания этого дня, слезы и объятия Алексея Спиридоновича, мое истошное пение, опасения m-r Дэле и спокойное, радостное удовлетворение Учителя...

На следующий день, когда мы кончили трамбовать безнадежную дорогу, Хуренито собрал нас и сказал:

— Друзья мои, я предлагаю вам подготовиться к нежному расставанию с прелестями великой культуры и к небольшому переселению на восток. Уверяю вас, что та же картофельная кожура будет сервирована там гораздо остроумней и занимательней. Болезнь начинает вступать во вторую фазу. Расплеснутая с тесных фронтов война, прорывая все плотины, тщится размыть гранит мира. Верьте мне, сейчас в диком Петрограде разрушают и строят Пантеоны, Квисисаны, Акрополи и Би-ба-бо вселенной.

Мы не уловили точного смысла слов Учителя, но, во всяком случае, начали усиленно готовиться к побегу. Осуществить задуманное удалось нам лишь через месяц, и седьмого апреля, переодетые в германскую форму (Айша же с забинтованной головой), мы пробирались к передовым линиям.

То, что мы увидали, совсем не напоминало войну. Никто не стрелял, а со стороны русских окопов раздавались звуки «Интернацио-

нала» и виднелись красные плакаты: «Братья, идите к нам! Да здравствует мир!». Мы совершенно свободно прошли пространство, разделявшее русские и немецкие окопы, и увидали необыкновенное зрелище. Маршировавшая в полном порядке рота германцев по команде офицеров: «Направо, целуйте русских!» — обнимала скуластых бородатых пермяков и вятичей, которые кряхтели от восторга, крестились и плакали. В это время другие немцы тщательно осматривали позиции и щелкали карманными аппаратами — «на память». После отработанных честно объятий немцы устроили на месте небольшой, но приличный базар, меняя картонные портсигары, незажигающиеся фонарики, отвратительную сивуху (впрочем, гордо именуемую «коньяком») на мыло, чай, сало, сахар и прочие продукты дикой страны. Все вместе это называлось «братанием».

Мы были этим чрезвычайно удивлены, особенно когда опознали среди «братающихся» нашего друга Карла Шмидта в простой солдатской шинели. Он же, увидав нас, на минуту смутился, но потом оправился и заявил, что со службой своей он якобы прикончил, мечтает о братстве народов и, прельщенный миролюбием новой России, направляется в Петроград, чтобы там тоже «брататься». Не скрою, что в искренности Шмидта я усомнился и своими соображениями поделился с Алексеем Спиридоновичем. Но тот воскликнул:

— У тебя черствое сердце! В эти дни первой весны мира лучи братства растопили даже льды империи. Ты не понимаешь — Шмидт прозрел. Шмидт кается. Он — мой брат, и я бесконечно рад, что он едет с нами!

Что же — брат так брат. Я больше не возражаю. Всемером мы едем в глубь России. После десяти лет разлуки я вижу вновь эти серые дымчатые поля, маленькие полустанки, где гуляют чистые русские девушки, мечтая о Москве, о Художественном театре, о любви какого-нибудь идейного помощника присяжного поверенного, и узловые станции с пожарскими котлетами, украшенными розанами, с пьяненьким штабс-капитаном, который пьет из чайника «белоголовку», с грудой солдат, баб, ребят, лежащих в свалку на захарканном перроне, дымящих козьими ножками, нудно вычесывающих вшей и матерно ругающихся. Россия — ты!

Из Пскова Учитель посылает телеграмму министру иностранных дел Временного правительства:

«Едут Петербург мексиканский делегат, три союзника, два политических эмигранта, один немец против аннексий и контрибуций, один освобожденный негр. Примите меры». Копия — в редакции всех газет.

Хотя в те месяцы приезд иностранной делегации был явлением

будничным, нас встретили весьма трогательно, даже торжественно. На вокзале собрались представители самых разнообразных организаций, как-то: охтенского районного совета солдатских депутатов «Лиги последнего спасения России», «Союза генералов-социалистов», «Объединения начальных школ» и других. «Лига» преподнесла m-r Дэле альбом с портретами деятелей Великой французской революции: Пуанкаре, Альбера Тома и Чхеидзе. Гимназистки же требовали автографов у окончательно растерявшегося Айши. M-r Дэле фотографиями остался доволен. Чхеидзе даже похвалил: «Красивый мужчина!» — но, когда оркестр заиграл «Интернационал», испугался и начал шептать мистеру Кулю:

— Слышите! C'est la lutte [1]... Надо спасаться! О! даже у бошей было спокойнее!

Впрочем, кончив «Интернационал», музыканты принялись за «Марсельезу», и это несколько успокоило m-r Дэле.

Больше всех был обрадован встречей Эрколе. Он рычал «эввива», вырвав у кроткого студента флейту, он начал со всей силы дуть в нее, причем публика, полагая, что это некий иностранный гимн, благоговейно обнажила головы, он требовал бенгальского огня и, наконец утомленный, развалившись на бухарском ковре в так называемых «царских» залах вокзала, он стал плеваться. Когда его начали фотографировать, он закричал нам:

— Это изумительная страна! Наконец-то я нашел нечто достойное моей виа Паскудини, но мягче и удобней!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Эрколе кувыркается.— Мы ликуем и мы беспокоимся

Приступив к настоящей главе, читатель, быть может, смутится легкомыслием и сбивчивостью моего рассказа. В свое оправдание скажу лишь, что все первые месяцы революции я был совершенно поглощен одним занятием, а именно: я ликовал. Мое ликование выливалось в различные формы: то я ходил с другими ликующими по улицам и пытался что-то петь, то становился на пьедесталы памятников, на скамейки или просто на тумбы, откуда произносил многочасовые речи, то дома, перед портретами любимых вождей, начинал кричать: «Ура!.. долой!..» — чем немало пугал кухарку Дуняшу. При таком образе жизни трудно, разумеется, было наблюдать и запоминать не только события, но даже дела Учителя. Они

[1] «Это есть наш последний...». *(фр.)*

остались в моей памяти яркие, отрывистые, но связанные в своей живописной случайности.

На следующий день после нашего приезда мы были приглашены на митинг в полночь в цирк Чинизелли. Время и место несколько смутили меня, но знакомый эсер объяснил мне, что даже в молодом государственном организме имеются свои традиции, и я не стал выискивать их происхождения. Это был удивительный митинг. Не только я, но и все присутствовавшие, а было их никак не меньше тысячи, явно и не смущаясь того ликовали.

Первым выступает m-r Дэле.

— Граждане, позвольте приветствовать вас от страны — матери всех революций! («Ура!») Не думайте, что это что-нибудь новое. У нас все было. Ничего — обошлось! Теперь республика («Ура!»), и какая! Всюду написано: «Свобода — равенство — братство», даже на тюрьмах. (С галерки: «Долой! Требовать от Франции амнистии!» Председатель: «Порядок! Все имеют право высказаться!») Но ведь в тюрьмах сидят только злоумышленники, враги порядка. У нас, граждане, порядок. И верьте мне, жизнь прекрасна, как майская роза. У меня домик с садиком, в садике вьются розы («Буржуй!») и маленькая Люси... (Председатель: «Мне подана записка: «Прошу оратора держаться ближе к теме митинга — «Революция и вселенная».) Граждане, я буду краток. Вы сами понимаете, чего мы ждем от вас. Идите на фронт! Умрите скорее за вашу свободу! («Умрем!») И за символ вечной свободы — за Францию!

Речь m-r Дэле покрыта громом аплодисментов и криками: «Да здравствует Франция!»

Вслед за этим выходит Шмидт и без помощи переводчика довольно грамотно начинает говорить:

— Граждане и товарищи! Мы все устали. («Правильно!») Мы все хотим мира. Я знаю наверное, что Германия протягивает дружескую руку революционной России. Английские империалисты хотят, чтобы вы защищались. («Позор!») Итак, долой войну!

Снова буря аплодисментов.

Алексей Спиридонович:

— Братья! Пророчества исполнились! На Мессию, на жертвенного агнца обращены взоры всего мира. Если бы дожил до этого часа яснополянский мудрец! Встаньте, братья! (Все встают, сзади: «Сядьте! Мешаете слушать!») Владимир Соловьев писал — после царствий отца и сына придет царствие святого духа. Готовьтесь к последнему подвижничеству! Братья, на следующем митинге я расскажу вам всю мою жизнь, и вы увидите, как я прозрел от революции. Теперь, к сожалению, в моем распоряжении только две минуты. Но что время? Мы преодолеем его! Долой время! («Долой! К

матери!..») Есть вечность и революция духа! («Браво! Продлить время! Еще! Довольно! Ура!»)

Выходит мастеровой.

— То есть я, товарищи, полагаю, вот как этот товарищ говорил о духе — сперва-наперво отпустить всех запасных по домам, а потом, чтобы огородников унять, то есть креста на них нет, пять рублев лупят за картошку. («Заявить правительству!» «Товарищ, говорите о вселенной!» «Дайте же высказаться представителю пролетариата!»)

Потом толстенький артист поет: «Торреадор, смелее в бой!» Курсистка по книжке с чувством читает: «Муза народного гнева». Сзади кричат: «Надули! Давайте мексиканца!»

Учитель:

— Если б я видел лишь до завтрашнего дня и не умел бы приподнимать листки отрывного календаря, я бы сказал нам: вы — величайшие реакционеры. Свобода, о которой вы все говорите, слава богу («Долой попов!») и войне отправлена в архив. Но вы здесь не живете, а бредите, и в бреду не о том вспоминаете, чего у вас не было, а прозреваете далекое будущее. Я приветствую ваше безумие, шалые крики, бессмысленные резолюции и эту арену цирка, на которой вы богомольно и вполне серьезно кувыркаетесь перед ошарашенной Европой!

Недоумение. Молчание. Настроение как будто портится. Вылезает уж вовсе неподобная бабка, в платочке с горошком,— зуб торчит,— шамкает:

— Так-то я видела, батюшка, во сне, будто таракан огромадный обожрался вареньем, цельную банку слопал и ползет под зад отца Михаила и как скинет его усищами! Да разве это дело?.. Не иначе как кто-нибудь на престол лезет!..

Крики. Наверху уже дерутся. Эрколе, прельщенный зрелищем, хочет и себя показать. Он быстро скатывается вниз на песочек и кувыркается через голову. Отнюдь не аллегория, просто прекрасный жест, достойный «римлянина Бамбучи». Шум. Негодование. «Провокатор!..» «Кто провокатор?..» «Смерть провокаторам!..» Задние ярусы напирают. Эрколе в опасности. Но оказывается, что провокатор не он, а какой-то господин в фетровой шляпе. Впрочем, господин тоже товарищ министра и вообще товарищ, а провокатор, повидимому, убежал. Успокоение. Голосуется резолюция. Но на грех, Эрколе не удовлетворен и пускает купленные им предусмотрительно шутихи. «Стреляют!..» Паника. Еле спасаемся. Кричат: «До чего вы несознательны, товарищ, прямо наступили ребенку на голову!..»

Я был раздосадован окончанием нашего митинга, но тот же эсер опять сослался на традиции. Учитель, напротив, остался совершенно удовлетворен бурной ночью и решил специализироваться

на митингах; он устраивал их десятками под различными названиями и для лиц любой категории.

Особенно запомнилось мне три митинга: воров, проституток и министров. Митинг воров прошел очень оживленно. Представитель одного из министерств, эсер (кстати сказать, весьма денежный господин, оптовик, торговец кофе), доказывал ворам, что, во-первых, конечно, собственность, как сказал еще Прудон, кража, но, во-вторых, красть не следует, а необходимо честно работать на оборону. Воры возражали, ссылаясь на тяжесть и ответственность своего ремесла, они приняли устав профессионального союза и постановили выразить протест против двойных замков на входных дверях, нарушающих свободу граждан. Кончился вечер скандалом. Эсер, обнаружив исчезновение бумажника с английскими фунтами, дико вопил: «Мошенники, воры, всех в тюрьму!..» — и звал милиционеров. Но пришедший к утру милиционер заявил, что должен предварительно запросить свой комитет, и эсер, впервые трогательно вспомнив городового, ушел на очередное собрание.

На митинге проституток вдоволь наговорился Алексей Спиридонович. Он вспоминал Сонечку Мармеладову и Марию Египетскую, просил прощения, прощал всех, рассказывал свою жизнь и, наконец, предложил собравшимся «омыться» в водах революционного Иордана, а также заняться шитьем кальсон «для доблестных защитников родины и свободы». Многие плакали. Затем различные гражданки требовали повышения тарифов. Алексей Спиридонович снова пытался говорить, от умиления расплакался и был уведен некоей сердобольной Марией Египетской, шептавшей: «Товарищ кавалер, вы ужасный душка!»

Особенным многолюдством отличался митинг министров. На него приглашались бывшие, настоящие и грядущие министры. Так как эта служба была краткой и каждый мог рассчитывать не сегодня завтра ее заполучить, в цирк пришло не менее двух тысяч человек. Заседание правительства по этому случаю было отменено. Все министры, даже грядущие, каялись и обещали, будучи министрами, министрами не быть. Говорили они очень поэтично — о море, закате, ржавых цепях, ключах сердец и прочем. Вообще я министров боюсь, но эти были совсем не страшные, и я чувствовал себя в обществе начинающих поэтов. Я даже решился выступить со следующей речью:

—Граждане, за десять лет моих скитаний на чужбине я познал много нехороших занятий. Мне пришлось брить пуделей, таскать вагонетки с подозрительной посудой, быть кассиром в публичном доме моего друга мистера Куля. Но, честное слово, я никогда не был министром и не буду им. Я вообще люблю людей, и вы, в частности, мне очень симпатичны. Я вам советую тоже заняться чем-

нибудь другим. Вы все проявляете склонность к поэзии и безусловно можете писать рекламы для папирос Шапшала или описывать сельские красоты в «Русском богатстве». Да здравствует чистая поэзия!

Мне много аплодировали.

После митингов и статей в газетах заслуги Учителя были оценены всеми. Он был назначен верховным комиссаром, чего — в точности он так и не узнал, ибо подписавший приказ, спеша на митинг, его не закончил, утешив, что где-нибудь дело разберут.

В середине лета я почему-то перестал ликовать и занялся другим делом, а именно я начал беспокоиться. На это уходило также много времени. Я беспокоился утром, стоя в хвосте за хлебом, читая газеты, днем на заседаниях и вечером на митингах. Ночью я ходил по людному проспекту. Гуляли офицеры, матросы, проститутки, спекулянты, эсеры, обыкновенные обыватели, и все тоже беспокоились. Каждый вечер кто-нибудь пытался взять власть, но потом раздумывал, откладывал на после, и дело кончалось небольшим боем. С вокзалов неслись тысячи бородатых солдат, опрокидывая падавших, впрочем, и без того в обморок при виде их дам, и очаровательных «земгусаров», уговаривавших бородачей идти на фронт «за землю и волю». В хороших ресторанах, куда иногда приглашал нас мистер Куль, по-прежнему сгибались в пояс половые, бренчали союзники-румыны («Эй, румфронт, зажарь-ка еще про девчоночку!»), в кувшинах пенился крюшон Ирруа, и обедавшие, поковыряв в бумажнике, широким жестом бросали трешницу на георгиевских кавалеров («Авось, генералу помогут убрать эту сволочь!..»).

Друзья мои тоже беспокоились: m-r Дэле оттого, что русские не наступают, Шмидт оттого, что они все-таки собираются наступать, мистер Куль не мог вынести финансовой паники, Эрколе израсходовал все хлопушки Петрограда, а новых не привозили. Айшу же избили где-то на островах пьяненькие полотеры, приняв его не то за черта, не то за черносотенца. Больше всех волновался Алексей Спиридонович: он записался было в «батальон смерти» «спасать родину», но почему-то в последнюю минуту раздумал. Надо было войти в какую-нибудь партию или, по крайней мере, голосовать при выборах в городскую думу за какой-нибудь список. Но правые эсеры были для него слишком левыми, левые же энесы слишком правыми. Он томился, вздыхал и, выпив крюшона, плакался мистеру Кулю:

— Двенадцатый час грядет! Россия гибнет, а я здесь пью крюшон — хорош гражданин, сын отечества! Дайте мне искупление! Дайте мне муку крестную! О-о!..

Потом начали наступать немцы. Шмидт на радостях угостил Алексея Спиридоновича, уже не плачущего, но рыдающего, риж-

ским кюммелем. M-r Дэле грозил: «Вот возьму, сложу чемоданы и уеду. Посмотрим, что Россия будет делать без меня!» На Невском пели, ругались, стреляли. Наконец было объявлено торжественное празднество в честь свободной Либерии, причем Айшу принудили вместо Сенегала родиться в этой республике. Впрочем, он не жалел об этом. Его посадили на почетное место и всячески за ним ухаживали. Какая-то дама говорила о Бичер-Стоу и советовала русским, «этим жалким взбунтовавшимся рабам», взять пример, с кого — точно она не указала, не то с Бичер-Стоу, не то с негров. Профессор, левый кадет, очень рекомендовал Айше применить в Либерии систему пропорционального представительства и предлагал даже свое содействие. В конце концов вышел длинноволосый юноша и завопил:

— Главное — раскрепощение духа, футуризм жизни! Если ты, либериец,— прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя! Мы вымажем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив. Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями!..

Когда мы вышли из аудитории, где происходило это празднество, я предложил немедленно отправиться на футуристическую лекцию, но Учитель сказал:

— Надоело. Вообще, друзья мои, сегодня вечером я исчезаю, конечно, на время — скоро мы увидимся.

...Глядите на эти испуганные, встревоженные, отчаявшиеся улицы. Каждый камешек, каждый сопляк вопиет: «Уберите свободу, она тяжелее всякого ярма!» Разве мыслима свобода вне полной гармонии? Она быстро превращается в скрытое рабство. Я становлюсь свободным, угнетая другого. Очень быстро можно научиться не давать себя теснить, но нужны железные века нового, неслыханного искуса, чтобы потерять охоту теснить другого. Не верьте прекрасным басням и вздохам об Элладе. История наложила свой преображающий флер на мудрого философа, отхожее место которого выгребал самый обыкновенный раб. Смейтесь, когда вам говорят о божественной иерархии Индии или о свободе независимых бриттов. Все это лишь поэтические оформления единой сущности. Свободы нет и никогда не было. Заранее даны законы, и какую поэтическую галиматью ни несет Эренбург, он ходит на двух ногах, любит пообедать, к юбкам небезразличен и прочее. Тысячи различных религий, догм, философских систем, законов только констатируют существующее.

...Теперь человечество идет отнюдь не к парадизу, а к самому суровому, черному потогонному чистилищу. Наступают сумерки свободы. Ассирия и Египет будут превзойдены новым, неслыханным рабством. Но каторжные галеры явятся приготовительным клас-

сом, залогом свободы — не статуи на площади, не захватанной выдумки писаки, а свободы творимой, непогрешимого равновесия, предельной гармонии. Вы спросите — зачем это отступление назад или в сторону, эти бесцельные сумасбродные месяцы? Хороший предметный урок! Сейчас это — ложь, сейчас это — дяди на вокзалах и земгусары, хвосты и крюшон Ирруа, Пикассо у Щукина и вшивое тупое «чаво». Но придет день, когда это будет правдой. Так невозможно, так нужно! Свобода, не вскормленная кровью, а подобранная даром, полученная на чаек, издыхает. Но помните,— это я говорю вам теперь, когда тысячи рук тянутся к палке и миллионы сладострастно готовят свои спины,— будет день, и палка станет никому не нужной. Далекий день! А пока до свидания!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Все вверх дном.—M-r Дэле душевно заболевает

Мы остались одни в этом вымышленном, и по совершенно точным показаниям всех русских писателей, не существующем на самом деле городе.

По ночам я бродил плоскими прямыми улицами. В одинаковых низких домах жили явно подозрительные чиновники, меж двумя «исходящими», без мук, только с запятнанными чернилами пальцами рожающие самого Антихриста; портные-чухонцы, а может быть, и немцы, изумительно аккуратные, с накрахмаленными женами, которые, выпивая в праздник тминную, меряли аршином небо над Исаакием и пытали невидимого, выше Исаакия обитающего, не жмет ли у него под мышкой; церковные старосты, отставные швейцары, гробовщики, кропившие герань и фуксии какой-то дрянью, а потом приподымавшие половицы в поисках — не то дохлой крысы, не то припрятанной трешницы, не то пупа земли, словом, всем известная петербургская, то есть санкт-петербургская ерунда. Неожиданно из грязной ваты тумана вставало огромное квадратное здание с глухими стенами, с навеки замерзшим между пятым и шестым этажами лифтом и с пишущей машинкой, выстукивающей до зубной боли: «Спасите, спасите Россию!»

Смутные и осовелые толпы простаивали дни у белых экранов редакций. Было ясно, что дело пахнет Навуходоносором, но вместо «текел» и прочих нормальных слов появлялся бред: «Новый кабинет в Испании.— Чернов — селянский министр.— Курите папиросы «Кри-кри».

Я пробовал тротуар Невского, он не подавался. Адмиралтейская игла, без которой, как известно, не могут жить русские поэты, тоже стояла на месте.

Я шел в «Вену» и кричал: «Закуску и понимаете!.. Еще, спасайте!» И лысые половые пришептывали: «Спасайте!» И поужинавший сытно репортер икал: «Необходимо спасать» — и рюмки дребезжали: «Спасай, спасай!»

В октябре стало совсем невтерпеж. Как-то, проснувшись, я вспомнил, что есть Москва, обрадовался и побежал разыскивать наших. Вечером мы уже осаждали поезд на Николаевском вокзале. Убедившись, что, кроме Петербурга, есть земля, желтые листья, а кое-где на околице деревень веселые поросята, я успокоился и заснул.

Когда мы приехали в Москву, было сыро по-петербургски и трещали пулеметы. В буфете какой-то чиновник и солдат нудно старались перекричать друг друга. Один вопил: «Спасайте Россию!» — другой: «Спасайте революцию!» Потом для двойного спасения они подрались. Вскоре заговорили совсем близко пушки, и мы поспешили разойтись кто куда, по разным адресам.

Как известно, неделю длился суровый бой. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух: или надо было посадить мне другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками — нет, руками делают историю. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Кажется, чего лучше — беги через ступеньки вниз и делай, делай ее скорей, пока под пальцами глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца! Но я сижу в чулане, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза — косые, слепые или дальнозоркие, во всяком случае, нехорошие! Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пустую, куцую, но свою, кровную, крепкую?

Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют вседержителя. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит милая девушка Леля. «Слава тебе, господи,— умиляется прислуга Лелина Матреша,— большаки верх берут!» Я даже на это неспособен. Если бы был здесь Учитель, он снял бы с меня непосильную свободу, он сказал бы — «иди», и я пошел бы. Но его нет, и я жую котлету. Запомните господа из так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург!

Потом все стихло. Леля, милая девушка (чистая, светлая, русская), брат ее Сережа, хороший, с длинными волосами, честный, идейный, тот, что с Лавровым и Михайловским, словом, все кругом

начали плакать. Я сам плакать не умею (очевидно какие-то железы не работают), но слезливых очень люблю. Пошла повсеместная панихида. Причем многие оплакивали то, чего раньше вовсе не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (с Михайловским) — церковь, гимназист Федя (младший брат) — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и, за отстутствием другого, я занялся оплакиванием.

Я вынимал будто луковицу — воспоминания давних лет: детскую веру, быт столовых с фикусами и закуской, миссию России по «Дневнику писателя», купола псковских церковушек, кафе «Бома» на Тверской, со сдобными булочками и с веселыми рассказами толстяка-писателя о псаломщике, вмещавшем в рот биллиардные шары,— слезы не текли, но я скулил честно и длительно, как пес в непогоду.

Я родился в 1891 году, воспитывался в первой московской гимназии, будучи еще в четвертом классе записал в календаре «Товарищ»: «Ваш любимый писатель?» — «Достоевский».— «Ваш любимый герой?» — «Протопоп Аввакум». Как мог я не скулить и не горевать? У меня сложились свои привычки: даже за обедом я презирал низкую материю. Во мне жив был самый подлинный шовинизм; так ничего — бродил по заграницам, а иногда находило: «У нас, мол, все особенное, и бог особенный, и животы мы порем по-особенному». Предпочитал как будто, когда животов вообще не порют, но вот порой что-то подступало, где-нибудь в уютном кафе Копенгагена я начинал себя чувствовать скифом и презирал мещанскую Европу.

Все эти скучные автобиографические сведения я сообщаю для того, чтобы объяснить мое состояние осенью семнадцатого года. Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных «кафе поэтов» со средним успехом.

Так прошло два месяца. Учитель не давал о себе знать. Зато в одно морозное декабрьское утро вбежал ко мне m-r Дэле, упал в кресло и закричал: «Умираю!» Зная, что французы отличаются телосложением деликатным и при двух-трех градусах мороза в Париже умирают целыми партиями от особенного, только им присущего «congestion» [1], я взволновался и начал щупать его пульс. M-r Дэле руку свою вырвал и объявил, что он действительно нездоров, страдая небывалым в его жизни запором желудка, но не в этом суть дела, а в дворнике Кузьме и вообще в России.

Надо сказать, что, будучи занят оплакиванием, я ни разу не удосужился навестить кого-либо из моих друзей и только раз в «кафе поэтов» встретил Алексея Спиридоновича, который, выслушав

---

[1] Букв.: кровоизлияние (фр.).

мои стихи, тоже начал плакать, но не литературно, а с носовым платком. О жизни m-r Дэле я ничего не знал, и поэтому Кузьма был для меня личностью таинственной. Я попросил у m-r Дэле необходимых разъяснений, и он, негодуя, плача, визжа, рассказал мне о своих злоключениях.

Сначала, когда «эти апаши» захватывают власть, m-r Дэле решает из протеста не выходить на улицу. Ужасно для пищеварения, но культура выше всего! Он ждет, что к нему явится какая-нибудь делегация — переговоры, уступки. Никого! Наконец — несварение, бессонница. Ко всему m-r Дэле успел приютить в сейфе «Лионского кредита» особо любимую пачку. Необходимо выйти. Что же? Сейфа нет! Банка нет! Ничего нет! Слышите? Только люди и скандал! На Кузнецком встречает знакомого генерала,— что-то не то Pirikin, не то Ripikin,— кидается к нему: «Что делать, mon general?» А тот — мелкой дрожью: «Не мон женераль, мол, а тсс... и все. Этого нет больше». Слышите? Лучше пренебречь желудком своим, лучше добровольно убить себя, чем ходить по этому аду, где ничего не существует!

Но ему не хотят даже позволить тихо умереть. Являются какие-то разбойники, которых бы в Париже и в тюрьму не впустили, и объявляют, что отныне будут помещаться в квартире m-r Дэле, ибо они не просто шесть бродяг, а вот что... M-r Дэле читает: «Подотдел оханы материнства и младенчества». Все это гениально, но позвольте осведомиться, где же ему, самому m-r Дэле жить? «Это ужасно, это зверство!» M-r Дэле визжит и прыгает по моей комнате: «Они мне предлагают тесную конуру».— «Как?» — «Здесь вполне достаточное количество кубических аршин воздуха!» Вместо столовой, гостиной, зала, кабинета, спальни — кубические аршины. M-r Дэле француз, он любит свободу, простор, воздух даже на картинах, чтобы был «плэнер», он задохнется в этих аршинах. Никакого впечатления!

Тогда m-r Дэле решается на отчаянный жест, на героический подвиг — он сам идет в гнездо этих преступников, в «Районный совет». И что же? Там он видит среди других мошенников — дворника, его же собственного дворника Кузьму. Это ль не безумие? M-r Дэле все же крепится — он француз, иммунитет, поняли? «Нас это не интересует, мы даже трех консулов за некоторые штучки преспокойно сцапали. Ваше классовое положение?» Проблеск надежды! Знакомые слова! Незабвенные шестнадцать классов! Он гордо отвечает: «Конечно, не как вы, на три года в общей яме, шестнадцатого по моему снисхождению, я — четвертого, третьего, собственность могилы навеки, я могу быть и вне классов, вот что!»

— О, дорогой Эренбург, с вашей страной произошло самое ужасное, она перевернулась вверх дном. Все окончательно перепуталось.

Я оказался внизу. Они прогнали меня, а Кузьма усмехался даже: «Вот вам, товарищ,— о! о! о! Он так и сказал! «товарища Дэле»,— ваше вне классов!..» Друг, спасите меня! Где компаньон Хуренито? Где все наши? Я могу сейчас здесь умереть! Я изнемогаю! В первый раз в жизни я потерял аппетит, потерял порыв, потерял все! Даже пилюли «Пинк» мне больше не помогают. Покажите мне дюжину настоящих маррэнских устриц, бутылочку шабли, Люси — я не двинусь с места. Вы в Петербурге все время хотели кого-то спасать,— теперь спасайте Дэле!

Выслушав эти, тронувшие меня жалобы, я сообщил по телефону в редакцию, в кафе «Трилистник» и еще одной очаровательной актрисе, что сегодня оплакивать я не могу, и решил пойти вместе с m-r Дэле по записанным адресам разыскивать наших приятелей. Быть может, кто-нибудь сможет помочь умирающему другу.

Раньше всего направились мы к мистеру Кулю, но по дороге m-r Дэле закатил еще две или три истерики. Прямо из подъезда он понесся к стене, на которую каждое утро наклеивали декреты, и потребовал, чтобы я их ему перевел. Он любил это занятие, находя в нем какую-то мучительную сладость. Спокойно выслушал он декреты о мобилизации агрономов и об учете швейных машин — ни то, ни другое его никак не затрагивало, но после третьей бумажки он громко завыл. Это была поэма молодого футуриста, озаглавленная «Декрет»; в ней языком сложным, изобилующим словообразованиями, предлагалось людям жизнь свою преобразовать и украсить, картины вытащить из квартир, а на площадях бить в барабаны. Поэма кончалась грозным предостережением о том, что неисполнившие этого жалкие пассеисты все равно бесславно умрут.

— О, проклятие! значит, меня завтра расстреляют! Да, да, завтра, я знаю — у них все в двадцать четыре часа! Завтра в половине одиннадцатого! Но что делать? Я с удовольствием вынес бы на Зубовскую площадь мою картину «Девушка мечтает в плодовом саду», но они ее забрали у меня — эти прохвосты из «Материнства». Я не умею играть на барабане! Значит — конец, смерть, и даже без бюро!

Я еле-еле успокоил его, объяснив, что это лишь стихи.

— Как? Вы называете этим прекрасным именем бред бешеной собаки? Я сам люблю стихи! Я всегда с Зизи читал: «до» — Гюго или Ростана для порыва, а «после», отдыхая, Мюссэ или контэсс де-Ноай. Но это ужас, это преступление, а не стихи!..

На улицах по случаю какого-то праздника (с тех пор как меня выгнали из гимназии, я потерял интерес ко всяким святцам, в том числе и революционным) висели плакаты футуристические, кубические, супрематические, экспрессионистические и некоторые другие. Выбрав один, наиболее ему внятный, изображавший изум-

рудную бабу с ногами, растущими из грудей, и с четырьмя задами в различных положениях, освещении и трактовке, m-r Дэле принялся рыдать.

— Искусство! О, мой милый охотник, который давал мне порыв! О, красота! женщина! любовь! Все поругано!..

Так пришли мы к Театральной площади, где застали любопытную сцену. Некто по фамилии Хрящ, а по профессии чемпион французской борьбы и «футурист жизни», дававший советы молодым девушкам, как приобщиться к солнцу, водружал сам себе в скверике памятник. В натуре он был рослый, с позолоченными бронзовым порошком завитками жестких волос, с голыми ногами, невыразительным лицом и прекрасными бицепсами, в гипсе же вовсе гол, более осмыслен, с задранной вверх ногой. Толпа опасливо молчала, полагая, что это какой-нибудь «большой большевик». M-r Дэле всхлипывал. Потом пришел красноармеец, сплюнул, статую повалил на землю и разбил.

Публика разошлась, и мы направились в гостиницу, указанную мистером Кулем. Увы, там мы узнали, что американец как «закоренелый эксплуататор» отправлен в концентрационный лагерь близ Симонова монастыря. «Это второй потоп!» — закричал M-r Дэле. Мы решили немедленно отправиться навестить бедного мистера Куля. Мы застали его в состоянии предельной угнетенности. Он исхудал и даже отпустил бороду. Со скуки он записывал в свою чековую книжку, потерявшую всю прелесть кладезя таинственных увеселений, несложные события тюремных дней: «24 выдали по два фунта сушеной воблы. 27 на обед — пшено. 29 фабриканту Смитсу переслали фунт сахару, и он дал взаймы три кусочка». Желая утешить мистера Куля, я принес ему в подарок библию — большой том с иллюстрациями — и начал читать ее: «Последние будут первыми». Но, очевидно, от плохой пищи мистер Куль заболел аберрацией памяти, ибо, не узнавая своих любимых текстов, он выхватил из моих рук толстую книгу и в ярости ею ударил меня по голове. После этого он начал вопить, что m-r Дэле тоже «закоренелый» и его необходимо посадить в лагерь. Мы поспешили уйти.

От мистера Куля отправились мы к Алексею Спиридоновичу. Уже на лестнице мы услыхали причитания и стоны: это наш друг читал газету.

— Срублен «Вишневый сад»,— закричал он, даже не здороваясь с нами,— умерла Россия! Что сказал бы Толстой, если б он дожил до этих дней?..

Потом он кинулся на грудь m-r Дэле. Я не хранитель фотографий, но много дал бы, чтобы увидеть сейчас запечатленной на карточке эту сцену. Алексей Спиридонович объяснил m-r Дэле, что ко всему происходящему Россия никакого отношения не

имеет, ибо это дело двух-трех подкупленных немцами инородцев. Но скоро наступит освобождение,— и он, Алексей Спиридонович, клянется m-r Дэле, что все, все долги до последнего сантима будут оплачены. Пока же он ничем помочь не может, ибо болен нервным расстройством, саботирует и ждет светлого дня открытия Учредительного собрания.

Не более утешительными оказались наши дальнейшие визиты. К Шмидту, занимавшему какой-то важный пост, нас так и не пустили. Получив после многодневного стояния в очередях семь различных пропусков, мы были под конец задержаны неким человеком, которому не понравились ни печати на пропусках, ни наши лица. Зато на улице мы встретили Эрколе. Увидев нас, он сразу принял героическую позу, одну руку выпятив вперед, другую прижав к сердцу.

— Вы не знаете — я теперь памятник, да, да, монумент, и это такое же занятие, как и всякое другое, ничем не хуже, чем перебирать четки!

Эрколе рассказал нам, что его вздумали потянуть на какие-то трудовые работы, кажется, сгребать снег, пренебрегая тем, что он, римлянин Бамбучи, никогда не работал и работать не будет. Тогда он разыскал итальянца, торговавшего кораллами, и начался совет — что делать? Эрколе хотел вернуться к своему ватиканскому прошлому и объявить себя снова доминиканцем. «Избави тебя Мадонна,— закричал торговец кораллами,— это сейчас совсем не в почете, а даже наоборот!» — «Тогда я скажу, что я убил тысячу австрийцев, что я почти генерал, под-генерал».— «Еще хуже, могут пристрелить по этому случаю».— «Но что же они, черти, любят?» — «Искусство, это теперь вроде монахов». Обрадованный Эрколе, вспомнив родной Рим, статуи богинь, чертей на порталах церквей и рисовавшую его англичанку, сначала решил объявить себя художником. «Но тебя могут заставить восемь часов в день рисовать картины». Раздумье. Плевок. Решение найдено — он будет не художником, а картиной, то есть не картиной, а статуей.

На следующий день, прорвавши все заграждения, он ворвался на заседание некоей археологической комиссии и начал изображать богов, полководцев и тритонов каменного Рима. Домой ушел он с вожделенным удостоверением, гласившим, что «товарищ Эрколе Бамбучи состоит под защитой Отдела охраны памятников искусства и старины РСФСР».

Сообщив все это и добавив, что он получает довольно скверный паек, но может подарить m-r Дэле фунт крупы и четверть фунта так называемых «кондитерских изделий», Эрколе показал фонтан Нептуна, на основании сего особенно значительно плюнул и ушел.

Все эти встречи и беседы ужасно отражались на m-r Дэле. За

неделю, проведенную с ним, я мог убедиться в серьезности его состояния. Оставалась последняя надежда: Эрколе сказал нам, как найти Айшу, добавив, что он живет очень хорошо. M-r Дэле немного воспрянул духом, высказав предположение, что Айша, наверное, служит грумом у какого-нибудь «крупного бандита», т. е. большевика, и сможет вернуть m-r Дэле банк, сейф, книжку, а также помочь ему выбраться из этой варварской страны.

Мы пошли по указанному адресу, а именно в Комиссариат иностранных дел. В просторных залах для приема посетителей было пусто, так как в то время Россия ни в каких сношениях ни с каким государством не состояла. Только одна старая гувернантка устраивала бурную сцену самому комиссару по поводу незаконно у нее — швейцарской гражданки — реквизированных ночных рубашек и других вещей, кои она, будучи не большевичкой, но честной кальвинисткой, назвать не может. M-r Дэле, не желая пропустить случая, тоже стал волноваться, говоря сразу о сейфе, о Кузьме и о пилюлях «Пинк». Но комиссару это не понравилось; дипломатически улыбнувшись, он вышел.

Мы прошли в задние деловые комнаты. Там было людно и кипела работа. Мы спросили Айшу, и нас провели в «Секцию народов Африки».

Хотя за время войны и революции я потерял божественное чувство удивления, рассказ Айши меня взволновал. В общем Эрколе был недурным памятником, а мистеру Кулю с его жаждой духовной жизни шла тюремная решетка. Но Айша, милый Айша, с которым я шалил на берегах блаженного Сенегала,— в роли заведующего пропагандой среди негров. Это было необычайно, изумительно, гениально в своей простоте! «Белые нас убивали, нехорошие были. Теперь мы не пустим к себе добрых капралов!» Словом, Айша чувствовал себя великолепно в этой новой роли. Зато я боялся глядеть на m-r Дэле; он хрипел и норовил почему-то припечатать лежавшим на письменном столе сургучом волосы Айши. Кротко улыбаясь, Айша проявил хорошую память и добродушие:

— Помнишь, ты Айша сказал: Айша мой, французский, иди, Айша, работай на войне. Теперь Айша говорит: ты мой, сенегальский, Айша тебя очень любит! Иди работать, будешь младший делопроизводитель моей канцелярии.

Тогда произошло нечто безумное. Вскочив на стол, m-r Дэле, тоненько, по-петушиному завопил:

— Я вне классов! Жабы! Падаль из шестнадцатого! Вы хотите ущипнуть меня за икры! Я вам покажу! Как они воняют! Чернь! Мертвецы! Дайте мне триста надушенных платков! Припечатываю ваш Сенегал и хороню по третьему классу! Верните сейф! Vive l'àl-

liance franco-russe! [1] Бригадир, вяжите Кузьму и к m-r Деблеру! Чик-чирик! А потом без бюро, в яму!..

Увы! Сомнений не оставалось — бедный m-r Дэле сошел с ума. Его связали и отвезли в больницу на Канатчикову дачу. На следующий день я принялся за свои прерванные занятия и, оплакивая все, искренне плакал над судьбой дорогого m-r Дэле, во имя химерического «Универсального Некрополя» променявшего горошек и Люси на унылые палаты дома для умалишенных. Его чувство порядка и гармонии, его стройная, как готические соборы, иерархия мира, его легкая радость жизни, беспечальная, улыбчивая мудрость не могли выдержать этого дикого хаоса или, по предсказанию Учителя, «уютненького приготовительного класса».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Хуренито пишет декреты.— Спор о свободе в ВЧК

Ранней весной, когда даже правительство, убедившись в иллюзорности Петербурга, переехало в Москву, неожиданно появился Учитель. Он пришел ко мне, осведомился о моем образе жизни, не одобрил его, предложил мне оплакивание немедленно прекратить и ехать с ним в Кинешму в качестве личного его секретаря. На вопрос мой, что, собственно, он делал в течение шести месяцев, ответил кратко:

— Крепкий быт, черт его побери! Выкорчевывал, мозоли натер!..

Через три дня сидели мы на продавленной кровати кинешемской гостиницы, и Учитель, глядя в окошко, где местные охальники щупали мимоходом сонных волоокких баб, развивал свою программу:

— Хуже всего, если вместо слома и стройки пойдет ремонт. Что может быть пошлее, пересадив галерку в партер, тянуть ту же идейную драму? Я попытаюсь воплотить в жизнь новые основы равенства, организации, осмысленности бытия.

Засим в соседней комнате затрещали задорно машинки,— это Хуренито писал декреты. Начал он с равенства. Все комиссары, советские спецы и артисты местного «Кабаре имени Карла Маркса» переселялись в рабочие каморки и подвалы. Далее для заведующих складами одежды или стоящих во главе «Комиссии по сбору излишков у буржуазии» устанавливалась единообразная форма: косоворотка, полушубок (простой), картуз, солдатские

[1] «Да здравствует франко-русский союз!» (*фр.*)

сапоги. Наконец меню высших и низших служащих Продовольственного Отдела ограничивалось одной пшенной кашей, в просторечьи именуемой «пшой». Но эти сами по себе разумные меры привели к величайшему беспорядку. Деятельность различных крайне важных учреждений (в том числе «Комиссии по сбору излишков» и «Кабаре имени Маркса») приостановилась. В центр были посланы многочисленные жалобы.

Хуренито, не отчаиваясь, приступил к подготовке всемирной организации и к истреблению растлевающего, по его словам, призрака личной свободы. Он издал в один и тот же день — двенадцатого апреля — три небольших декрета, относящихся к различным областям. Вот их точный текст:

I. «Ввиду недостатка кожевенного сырья и готовой обуви, а также ввиду плохого состояния тротуаров г. Кинешмы запрещается с 15 с. м. всем гражданам ходить по улицам в рабочие часы с 10 до 4 часов вечера, кроме направляющихся по делам службы и снабженных соответствующими удостоверениями».

II. «До выработки центральными советскими органами единого плана рождений на 1919 г. запрещается с 15 с. м. гражданам г. Кинешмы и уезда производить зачатья».

III. «Условия настоящего момента требуют от всех честных граждан максимального напряжения сил для воссоздания промышленности и транспорта. Посему в целях экономии мозгов совработников из общественной библиотеки временно прекращается выдача книг философских и теологических».

Эти декреты вызвали подлинную бурю. Кинешемская коммунистическая организация решила, что Хуренито не марксист, и обратилась в Центральный Комитет партии.

— О, лицемеры! — негодовал Учитель.— Они призваны разрушать, но среди развалин с ломом в руке пытаются разыгрывать археологов или, по меньшей мере, антикваров. Чем эта шикарная лестница пайков, от восьмушки хлеба до бутербродов с икрой, лучше шестнадцати классов нашего несчастного друга? Они любят свободу не меньше Гладстона, Гамбетты и всех членов «Общества защиты интересов мелкой торговли в южных департаментах Франции». И как джентльмены «Ольд Энгланд» [1], они пекутся о святости домашнего очага. Как будто заставить рожать или оное запретить труднее, чем приказать убивать или молиться, чем запретить думать не по указанному или спать с неокупленными и неприпечатанными объектами? Ханжи, драпировщики на кратере Везувия, великосветский бомонд, ряженный апашами, портняжки, кладущие последнюю трагическую, вырезанную из самого неподходящего мес-

[1] «Старая Англия» *(англ.)*

та заплату на изношенные до последней нитки штанишки Адама!

Но враги Хуренито думали иначе. В корреспонденции, посланной в петербургскую «Красную газету», Учитель был определен как «невежественный самодур», «один из примазавшихся», позорящий своими поступками святое пролетарское дело.

Решительный бой разыгрался вскоре из-за отношения Хуренито к эстетическим проблемам. Учитель полагал, что искусство — так, как оно понималось доселе, то есть размножение совершенно бесцельных вещей — является для нового общества ненужным и должно быть как можно скорее уничтожено. В одной из дальнейших глав я изложу подробно соображения, коими руководствовался Учитель в своем неоиконоборстве, пока же настаиваю на выводах, а именно — на его твердом намерении поступить с девятью музами так, как поступили с «закоренелым» мистером Кулем. Кинешемские большевики держались взглядов противоположных и искусство любили до сумасбродства. В городе открылось восемнадцать театров, причем играли все: члены исполкома, чекисты, заведующие статическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные «контрреволюционеры», даже артисты. В «Театре имени Либкнехта» коммунистический союз молодежи ежедневно ставил пьесу: «Теща в дом, все вверх дном», причем теща отнюдь не являлась мировой революцией, а просто честной тещей «доброго старого времени». Все это, конечно, отличалось лишь количественно от прежнего кинешемского театра, который содержал купец Кутехин.

В области живописи также было сделано немало. Благодаря несознательному отношению крестьян к произведениям искусств из усадьб были вывезены различные шедевры, и в Кинешме открыт торжественно музей. Гордостью музея были три картины: на первой была изображена дохлая рыба, раскрывшая рот, пустая бутылка и кочан капусты, с подписью: «Голландская школа», на второй, «приписываемой Андреа дель-Сарто», большегрудая дородная баба кокетливо улыбалась какому-то почтальону в костюме ангела и с глазами барана, третья же была испещрена различными фиолетовыми и просто грязными, как бы чернильными пятнами, долженствовавшими передавать, по мнению некоего ученика Врубеля, нечеловеческую страсть демона.

Учитель, не колеблясь, приказал музей и все театры немедленно закрыть, помещения предоставить для профессионально-технических школ, художников мобилизовать для выработки солидной и удобной формы мужских ботинок или кресел советских канцелярий, а актеров, снабдив всяческими директивами, отправить в уезд уговаривать крестьян сажать побольше картофеля.

«Рабис», то есть союз работников искусства, послал в Москву

отчаянную телеграмму, и вскоре был получен ответ: «Убрать вандала». Председатель коммунистической организации торжествовал: «Я говорил, что он не марксист, но буржуй, то есть вандал!» Мы же с Хуренито отправились в Москву.

Тотчас по приезде пошли мы на большой коммунистический митинг в аудиторию Политехнического музея. По речам первых ораторов мы могли убедиться в том, что точка зрения кинешемских актеров разделяется великими дерзателями и рулевыми. Вот что говорили они: «В пролетарском государстве воскресает красота античного мира», «Мы поборники вольной мысли», «Ныне наступило истинное царство свободы». Учитель не мог вытерпеть этой древней жвачки, линялых незабудочек и ста тысяч продавленных тюфяков. Он закричал:

— Как вам не стыдно возиться с протухшей красотой или с трухлявенькой свободой? Вы настоящие контрреволюционеры!..

Произошло некоторое смятение, а когда мы вышли из музея и сделали шагов сто, два изящных молодых человека очень любезно предложили нам продолжить путь в автомобиле и со всеми удобствами отвезли нас в ВЧК.

Допрос Учителя был краток.

— Вы отрицаете наличность красоты и свободы в коммунистическом государстве?

— Безусловно!

— Вы считаете выступавших на митинге контрреволюционерами?

— Разумеется!

Я же на допросе стыдливо мычал, жаловался на боли в желудке, но в конце концов подписался под показаниями Учителя. Вечером нам пришли объявить, что мы приговорены к высшей мере наказания.

— Что это? — спросил я.

— Так как приговорить нас к бессмертию не в их власти, то, очевидно, это самый банальный смертный приговор,— ответил мне Хуренито.

Снова пережил я угрюмые и скучные часы предсмертья. Мне очень не хотелось умирать, во-первых, потому, что я откровенно и нагло люблю жизнь, всякую, даже в камере чрезвычайки, во-вторых, из-за любопытства: чем кончится этот великолепный переполох? Я не умел тогда еще осмыслить, опознать происходящего; слепо подчиняясь словам Учителя, я не понимал его намерений и часто в душе роптал. Иногда мне мучительно хотелось простой, будничной жизни без «масштаба вселенной», без «перспективы тысячелетий», когда не надо подымать многопудовых камней раздумий, сомнений и прочего, жизни со слоеными пирожками и со сти-

хами Бальмонта. Тогда я бежал к Алексею Спиридоновичу, у которого была большая карта России и который всегда точно знал, где находятся чехословаки, донцы, немцы или французы, словом, близок ли «светлый день воскресения».

Иногда, когда я попадал в общество подрядчиков или присяжных поверенных, равно чахнущих без «Русского слова» за утренним кофе с душевными фельетонами попа-расстриги Григория Петрова, без завтраков в «Праге», без биржи, без клуба, без «свободы слова, печати, совести, передвижений»,— я вдруг приходил в веселое состояние и горю их радовался. Я испытывал в такие минуты глубокое нравственное удовлетворение перед торжеством справедливости, достойным хорошего английского романа, а также истинный экстаз от мирового скандальчика, знакомый всем поклонникам выдающегося актера кинематографа Чарли Чаплина, который идеально громит посудные лавки и сбивает с ног почтенных дам.

Но бывали минуты, когда и чехословаки с булочками, и разбитые вазочки меня не удовлетворяли. Я старался постичь слово Учителя о новом железном искусе. Я хотел взглянуть на самого себя пыльными глазами Иловайского. Тогда я видел вещи чудесные и ужасные — небо застилалось циклопическими спиралями и кубами. По гулким светлым и холодным площадям маршировали осмысленные табуны грядущих поколений. Природа юлила, ползала в ногах и выкидывала из-под своего форменного «таинственного покрывала» белый флажок. А в конце мерещилось нечто вроде последней железнодорожной катастрофы с участием комет и других посторонних вещей, а может, без оного, осколки стекла, ржавь, освобождение.

Ожидая смерти в камере ВЧК, я залпом, судорожно думал обо всем и чувствовал, как глупо умереть, не досидев даже до конца первого акта. Ночь прошла скверно, а утром нас вызвали и повели по скользким пропахшим капустой и кошками лестницам, по коридорчикам и глухим внутренним дворам. Учитель вел меня под руку, и это давало мне силы. Он улыбался и шутил с солдатами, протестуя против того, что ему не выдали утром пайка, который он успел бы еще съесть. У меня гудело в ушах, и бессмысленно мелькали перед глазами клочья неубранной с неба синевы. Потом нас почему-то повели снова по лестницам и проходам и, вместо того чтобы просто, честно пристрелить, впустили в комнату с грязными, замусоленными обоями, где на диване какой-то интеллигент пил чай вприкуску.

Посмотрев на нас близорукими, весьма добрыми глазами, он сказал, что по случаю приезда в Москву депутации сиамских коммунистов объявлена амнистия, и нас в частности расстреливать не будут. Учитель выслушал это молча, я же промолвил вежливо,

как меня учили в детстве: «Мерси». Но интеллигент, явно не удостаивая меня вниманием, обратился к Хуренито с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, неужели вы столь злостны и слепы в своей ненависти к рабоче-крестьянской власти, что не видите очевидного всем, то есть не хотите признать простенькой истины, а именно, что РСФСР — подлинное царство свободы?

Учитель улыбнулся:

— Товарищ, увы, я не слеп, не злобствую, говорю «увы», ибо злоба и слепота являются залогом борьбы, движения, а следовательно — жизни. К сожалению, у меня зоркие глаза, трезвый ум и уравновешенный темперамент. Но это так, между прочим. Еще менее могу я ненавидеть власть, ибо жизнь меня научила уважению ко всем ремеслам, которыми промышляет человек. Революция же мне вполне по сердцу, и я полагаю, что в течение тридцати одного года своей жизни я предпочтительно занимался именно уничтожением, подрывами, подкопами и всяческими очистительными операциями. Что касается свободы, то это — абстракция, в наши дни крайне вредная. Вы уничтожаете свободу, поэтому я приветствую вас. Вы величайшие освободители человечества, ибо несете ему прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное. Будет день, когда для гимназистов выпускного класса свобода явится революционным кличем, и от него полетят, как перья общипанной курицы, тысячи облачений ныне строящегося мира. Но сегодня «свобода» — понятие контрреволюционное, подушка рантьера, леденец в кулаке антропофага, канонизация всех помойных ям мира. Я приветствую вас, ибо вы за год основательно вышибли из голов лежебоков, грезеров и слюнтяев понятие свободы. Но мне очень обидно видеть, что вы не являетесь капитаном корабля и что в этом безумном повороте повинны не руль, а черные волны. Короче — вы сами не сознаете, что делаете. Это, конечно, бывает часто, но все же невесело. Если вы меня не расстреляете, я буду по мере своих сил работать с вами, то есть уничтожать красоту, свободу мыслей, чувствований и поступков во имя закономерной единой точной организации человечества!

Интеллигент, который оказался революционным следователем, пришел в негодование. Отставив чашку, он даже слез с дивана, пробежался по комнате и, желая убедить Учителя, раскрыл «Коммунистическую азбуку». Прочитав страницы три о прибавочной стоимости, он воскрикнул:

— Теперь, надеюсь, вы поняли — из царства необходимости мы вступили в царство свободы!

— Дорогой товарищ, я ничуть не сомневаюсь, что царство свободы когда-нибудь настанет (возможно, тогда, когда будут истреблены последние люди на нашей планете). Пока что мы имен-

но вступаем в царство откровенной необходимости, где насилие не покрывается пошлой сладенькой маской английского лорда. Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками! Велика и сложна ваша миссия — приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Для этого вовсе не надо подходить осторожно, крадучись, пряча колодки за спину. Нет, нужно создать новый пафос для нового рабства. Мало соблазнять приготовишку дипломами, надо научить его радоваться восьми годам — векам, а может быть — тысячелетиям. Вы, кажется, несмотря на свою интеллигентность и пристрастие к цитатам, человек дельный и энергичный. Оставьте же свободу сифилитикам из монмартрских кабаков и делайте без нее все, что вы, собственно говоря, и так делаете!

— Вы неисправимы,— сухо ответил следователь.— Я не вполне точно выяснил благодаря вашей странной терминологии, являетесь ли вы монархистом или анархистом. Во всяком случае, вы контрреволюционер, и ваши симпатии к Советской власти носят явно провокационный характер. Мы не враги, но ревнители свободы. Смертная казнь по отношению к вам и к гражданину Эренбургу заменяется принудительными работами и содержанием в концентрационном лагере вплоть до окончания гражданской войны. Надеюсь, там вы осознаете свою ошибку!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мистер Куль в коммунистическом семействе.— Слезы продкома.— Святой Грааль

Мы попали в лагерь, где содержался мистер Куль, и таким образом наше заключение не лишено было приятности. Неутомимый миссионер успел за время своей неволи несколько освоиться с происшедшими переменами и даже примириться с ними. Конечно, он не сделался коммунистом, даже не объявил себя «сочувствующим», но все же смягчился и восстановил былое уважение к своим двум книжкам — синенькой и сафьяновой. «Я ошибался, думая, что все погибло: доллар и нравственность продолжают царить над людьми. Чем больше преследуют доллар, тем быстрее он растет, и осмеянная нравственность вновь правит ее поносителями. Верьте практической жилке мистера Куля — не так страшен коммунист, как его малюют».

Учитель вел с мистером Кулем длинные беседы на темы абстрактные, как-то: «Понятие собственности у евангелистов»,

«Святой Павел и Ленин» и тому подобные. Я же убивал время, играя с американцем в «шестьдесят шесть» на четверку табаку за шестьдесят шесть выигранных партий. Хотя нас отправили на принудительные работы, мы, кроме упомянутых занятий, ничего не делали и делать не могли. Комендант лагеря на наши жалобы отвечал, что специальная комиссия займется вскоре изысканием наиболее производительных работ для нас. Учитель к комиссиям всегда относился с нескрываемым скептицизмом и поэтому, томясь принудительным бездельем, стал искать и вскоре нашел другой выход.

Оказалось, что мы можем быть освобождены на поруки двух членов коммунистической партии. Первым мог быть, конечно, Айша. Насчет второго мы колебались. До нас дошли слухи, будто Шмидт окончательно переменился, послал к черту свою империю и стал деятельным «спартаковцем», но это были лишь слухи. Новая «белая кость» никакими внешними признаками не отличалась — все приметы, данные нам, оказались ложными; портреты Маркса и красные звездочки в петлице употреблялись и беспартийными хотя бы для более удачного проезда в служебном трамвае.

Мы совсем было потеряли надежду найти второго коммуниста, когда несчастный случай спас нас. В нашем лагере содержался некто Брюхалов, бывший владелец трактира с садиком на Шаболовке. Времени он даром не терял, все время корпя над какими-то книжками, и часто ночью я слышал, как он тупо с упорством повторял: «Стокгольмский съезд. Лондонский съезд. Пресвятая богородица, спаси и помилуй!» Вот этот-то Брюхалов однажды взял полученный мною табачный паек — пятнадцать папирос — и засунул себе в карман. Я очень возмутился и начал даже кашлять от гнева. Но Брюхалов вместо всего прочего дружески объяснил мне, что он вообще в лагере не числится, а живет по доброй воле до получения ордера из жилищно-земельного отдела, так как вчера сдал экзамен по партийной грамоте и зачислен в ячейку кандидатом. Я сразу кашлять перестал, то есть начал вежливо покашливать. Брюхалов оказался человеком добрым и незаносчивым. После недолгого, но серьезного разговора с мистером Кулем он дал свою подпись.

Мы были освобождены, и немедленно все трое поступили на службу: Учитель — к Айше, в подотдел Южной Америки, мистер Куль — в «Междуведомственную комиссию по борьбе с проституцией», я же — в детский театр Дурова, где помогал дорогому Владимиру Леонидовичу просвещать кроликов и морских свинок по части стрельбы из пушек, вздергивания флагов и прочего героизма.

Поселились мы все вместе в двух комнатах, реквизированных

у некоего спекулянта Гросмана. Там же рядом помещалась коммунистическая чета Назимовых. Мистер Куль чувствовал себя великолепно. Совместно с Гросманом он осуществлял в американском масштабе своеобразное продолжение «Мертвых душ». Скупая национализированные фабрики, аннулированные акции и реквизированные ценности, Гросман ежедневно рыскал по сомнительным адресам, принося с собою потертые облигации. В упоении излагал он мистеру Кулю свой символ веры:

— Выше всего биржа! Гоните нас — мы уйдем в катакомбы и там, в темноте, задыхаясь, будем жить шепотом цифр, шелестом бумажек. Я согласен за это умереть! Даже перед смертью я крикну: трехпроцентный растет! Бедные Мальцевские! Незыблем фунт! Биржа — пульс мира. Я прихожу в жалкую конуру, где ютится биржевик Чибищев, у которого «они» отняли все. Жена, дети, печка, суп, нищета, дым, небытие! И тогда наступает сказочное, таинственное. Чибищев шепчет мне: «Доллар растет, в Париже он поднялся на два пункта!» И я вижу торжество Нового Света, статую Свободы в гавани Нью-Йорка. «Лиры падают!» Бедная Италия! Там «они» начинают работать. По жилам мира струится кровь, и я, Гросман, отрезанный от священных бирж Лондона, Парижа, Берлина, слышу здесь, в большевистской Москве, ее жар и бег.

Мистер Куль, просветленный и растроганный, жал руки Гросмана.

Но как это ни покажется странным, он подружился и с Назимовыми. Это были очень милые честные люди, старые партийные работники. Мистеру Кулю нравилась их глубокая нравственность. Как-то раз, когда ко мне пришла одна почитательница моего поэтического таланта и вовремя не ушла, товарищ Назимова поделилась с мистером Кулем своими соображениями: «Эренбург — прекрасный образец вырождающейся буржуазной культуры. Я, конечно, против церковного брака, но ведь мы установили брак гражданский. А главное, я бы не придиралась к нему за то, что он не объявил в подотделе записи гражданских актов о своих намерениях касательно этого товарища-женщины, если бы чувствовала, что у них настоящая идейная близость, но ведь этого нет!.. Я с моим мужем, товарищем Андреем, связана тринадцатилетней партийной работой. Только этим можно все объяснить. Представьте себе, если бы он был меньшевиком, как я могла бы?..» В комнате Назимовых висели открытые письма: портрет Карла Маркса, «Какой простор» Репина и Венера Милосская, ибо Назимовы свято чтили красоту и искусство. Когда Назимов ходил на «субботник», а именно — таскать дрова на Рязанский вокзал, он по дороге все время вспоминал любимые стихи Бальмонта: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих бурь!» Назимова очень любила посещать Художест-

венный театр, и когда там гудел ветер, трещали сверчки, звенели бубенчики или что-то переливалось в желудке «лишних людей», она умилялась: «Это сон, мечта!»

Жили Назимовы скромно, тихо; утром на службе, днем в комиссиях, вечером на заседаниях. Иногда после волнующих бесед с Гросманом мистер Куль любил зайти в комнату Назимовых. Там уютно горела лампа, и товарищ Ольга читала товарищу Андрею последние «тезисы о профсоюзах», он же прерывал ее вставками: «Это синдикализм», «Где же Маркс?», «Опасная демагогия мартовцев». Мистер Куль садился и тоже слушал, не столько, собственно говоря, слушал, сколько наслаждался безупречным миром и тишиной этого семейства. «Вы не революционеры,— говорил он,— вы самые достойные квакеры. Я совсем не боюсь вас»,— и он храбро касался руки товарища Андрея, который не слушал его, потрясенный «мелкобуржуазным уклоном рабочей оппозиции».

Мистер Куль привлек товарища Назимову к работе в «Комиссию по борьбе с проституцией». Как ряд других кустарных промыслов, это ремесло сильно процветало в Москве, утратив прежний узкокастовый характер. Все, конечно, понимали его глубокие социальные корни, но, не довольствуясь диагнозом, прибегали к паллиативам. Мистер Куль предлагал натурпремирование перешедших на производительный труд, товарищ Назимова (которая вообще, как и большинство встреченных мною коммунистов, отличалась крайним идеализмом) стояла за нравственную работу, в частности за лекции, посвященные великим коммунисткам мира.

Большую роль в комиссии играл еще товарищ Раделов, комиссар Продкома. Он приходил иногда к мистеру Кулю, и мы с ним познакомились. Человек всецело преданный своей идее, он говорил исключительно о вагонах, грузах, пудах хлеба, сушеной рыбе. Ходил он в перелицованной дамской жакетке, неизвестно как к нему попавшей и совершенно изодранной, питался фунтом хлеба и мерзкой жижей, именуемой «супом из овощей для столовых категории Б», худел, болел, но ничего, кроме ползущих по каким-то линиям таинственных вагонов, не замечал. Была, однако, у Раделова одна слабость — порой находила на него дикая страсть к женщине, не к какой-либо, ибо он, обремененный вагонами, людей не замечал, но к женщине вообще. Был же он уродлив до какой-то музейной исключительности, с пурпуровым лицом, глубоко изрытым оспой, с бельмом на левом глазу и с огромным кадыком, трепещущим под высоким бумажным воротничком. Никакая женщина к нему никогда ничего, кроме брезгливости, смешанной с жалостью, не испытывала. Пойти к проститутке Раделов не мог никак решиться, так как это в корне противоречило его принципам, но в периоды возбуждения занимался довольно наивным самообманом. Он отыскивал

какую-нибудь горничную или белошвейку, приносил ей подарки, говорил с полчаса о своих идеях, а потом, окончательно теряя сознание, говорить переставал и действовал.

Как раз такую вспышку давно не удовлетворенных вожделений испытывал Раделов, когда я с ним познакомился. Минутами казалось, что вот-вот произойдет необычайное крушение его мистических поездов, и все цифры полетят в угрюмый водоворот алчбы.

Как-то вечером Раделов пригласил меня и Хуренито пойти с ним вместе к некоей милой телефонистке, которую он просвещает, готовясь стать ее «крестным отцом» в торжественный день вхождения в «ячейку». Мы согласились, и Раделов захватил с собой два фунта сахару и фунт льняного масла — весь свой месячный паек. Как я сказал уж, сам он ел хлеб всухомятку, чай же (морковный) пил без сахара.

Телефонистка — товарищ Маруся — оказалась очень кротким и еще более худым существом. Я видел в Москве худых людей,— собственно говоря, только худых там я и видел,— но худоба Маруси была поразительной: скелет с плохо натянутой дряблой кожей. Увидев сахар и масло, она богомольно уставилась глазами на них и оторваться больше не могла. А Раделов принялся с особенным жаром говорить о вагонах и грузах, сколько пудов чего едет в Москву.

— По карточке А выдадим еще сельдей и керосина. Сколько величия в этом уравнительном потреблении! Тринадцать тысяч сто два вагона! Единый хозяйственный план. Впервые трудовые элементы, освободившись от паразитических, обеспечены всем необходимым!

Маруся же все продолжала глядеть неподвижно, экстатически на бутылочку с мутной желтой жидкостью.

Вдруг Раделова всего передернуло. Не докончив гимна в честь новой карточной системы, он подсел поближе к Марусе и пробормотал, задыхаясь:

— Вы, товарищ!.. сознательная и прекрасная!..

Мы отошли в сторону и начали внимательно разглядывать висевшую на стенке картинку: «Остров мертвых» Беклина.

Но неожиданно Раделов вскочил с криком:

— У вас кости, слышите, кости торчат! Что же это?.. Как же так?..

Маруся, растерянно поправляя блузку, шептала:

— Так что паек уменьшили, за прошлый месяц вовсе не выдали, жиров нет, простите, товарищ!..

Раделов громко плакал, не плакал даже, а выл. Среди рыданий пробивались отдельные слова: «Паек!.. я не могу!.. жиры!.. как же

это?.. бедная!..» Он стал еще уродливее. Распухший, красный, сидя на корточках, он все плакал и плакал.

Мы вышли. На лестнице было скользко — ступеньки обмерзли — и темно, а из квартиры доносился безумный, ни на что не похожий вой. Учитель сказал мне:

— Люди смеются над каждым, кто не умеет рассчитать шага, кто, ступая, не замечает ступеньки и падает. Бедные люди — как они панихидно торжественны перед своей масляничной чепухой, как беззаботны и тупы перед обреченностью, перед невозможностью! От тринадцати тысяч ста двух вагонов до ребрышек Маруси — один шаг и бесконечность. Слезы Раделова великие, незабвенные слезы. Если б я возился с обрядами, я собрал бы их в чашу — новый святой Грааль. И когда человечество засыпало бы, прихрюкивая от удовлетворения, сочинив стишок и придумав вполне осуществимую реформу, я кропил бы этими слезами отчаянья и стыда творцов «гармонии», поборников прогресса, тучную землю, унавоженную ничтожеством мертвых и обжорством живых!..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Великий Инквизитор вне легенды

В скудные томительные дни, изрядно голодая, замерзая, обмотанный вязаным шарфом поверх головы, начал я не думать, но раздумывать, то есть стараться обойти мир и самого себя со всех сторон. Ничего не выходило, ибо фас зачеркивал профиль, ансамбль же оставался неуловимым. Ни святой Грааль Продкома, ни идиллия Назимовых никак не объясняли смысла происходящего. Столь же неплодотворны были мои работы в театре Дурова.

Я день и ночь раздумывал — просто и в стихах (причем стихи даже озаглавил «Московские раздумья»). Я боялся быть андерсеновским дураком и заметить, что король гол, ибо одни набожные взгляды миллионов давно соткали бы пышные облачения, ежели их даже по природе не полагалось бы. Но и обратная крайность меня мало удовлетворяла. Так уж я устроен. Поет рослый детина о небесном воинстве, а я стою и думаю: «Какой у него нос угреватый, потный, сейчас, верно, соображает: «Кончу петь, буду есть окрошку и кота Ваську с точки щелкать по носу». Что лучше — апостола Павла посадить в каталажку, как громилу, или стоять, разинув рот перед всяким, морды богов и людей сворачивающим, ожидая — вот-вот он разрешится новым евангелием?..»

Так я раздумывал, перебирая хронику «Известий», речи Ленина и полфунта воблы, выданной по купону 87 одним из помощников Раделова. Обо всех сомнениях я рассказал Хуренито. Учитель ответил:

— Я сам хочу несколько очистить свои впечатления от различной воблы. Для этого мы посетим капитанский мостик и побеседуем с некиим, на оном стоящим. Там ты сможешь, как медик-первокурсник во время обхода палаты, предметно опознать различные симптомы этой новой патетической лихорадки. Итак, завтра в два часа пополуночи.

Зная Учителя, я не стал грешить любопытством и допрашивать его, к кому именно мы пойдем, почему в столь поздний час и, наконец, как он надеется получить пропуск.

Когда мы уже шли по пустынному завьюженному Кремлю к «капитану», я почувствовал, что боюсь. Не то чтоб я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком-потрошителем и апокалиптической саранчой. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка-городового, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы, увидав ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников — в роли министров, комиссаров и прочих «могущих», я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее: шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. Кто его знает, что он, собственно, захочет, во всяком случае (это уж безусловно), захотев — сможет. Словом, я заявил Учителю, что к важному коммунисту я не пойду, потому что сильно боюсь его, а лучше похожу у ворот, подожду, он же мне после все расскажет. Это уж было в подъезде, и Учитель вместо ответа отечески вскинул меня на лестницу.

Войдя в кабинет, я только успел заметить чьи-то глаза, насмешливые и умные, понял, что надо бежать, но вместо этого кинулся за стоявшую в углу тумбу с бюстом Энгельса и, ею прикрытый, сидя на корточках, зяб и томился: «Сейчас меня найдут. Какой позор! Как опишет это грядущий биограф Ильи Эренбурга — поэта?» Я не боялся ни пушек, ни пулеметов, ни Шмидта, ни сородичей Айши и вдруг испугался добродушного дяди, который пять лет тому назад был в Париже моим соседом и пил «боки» в излюбленном мною кафе... И все же я не мог преодолеть страха. Все время, пока они беседовали, я просидел в углу, раз от попавшей в нос пылинки чихнув и вызвав недоуменный взгляд «самого» и пренебрежительное: «Это со мной товарищ один, не обращайте внимания» — Учителя.

В европейской прессе появилось немалое количество самых разнообразных интервью с вождями коммунизма. Особенной яркостью отличались два — беседа английского писателя Уэллса с Лениным о прогулках в грядущих городах, сопровождаемая веселым щелканьем развивавшего максимальную энергию фотографа, и рассказ собственного корреспондента мадридской газеты «Буэнас-Диэс» о том, как Троцкий с особенной жадностью пожирает небольшие котлетки из мяса буржуазных младенчиков. Все же, мне кажется, ночная беседа Учителя с коммунистом представляет интерес исключительный благодаря остроте затронутых тем. Несмотря на свое печальное состояние, я действительно чувствовал, как небольшая комната с высокими окнами, выходящими на заснеженные пустыри, преображается в капитанскую вышку, а мертвый Кремль и вся ледяная угрюмая Россия — в дикий корабль.

Сначала коммунист пытался, впрочем, говорить совсем о другом, не отвечать, но предпочтительно спрашивать — близка ли в Мексике социальная революция, применялась ли там в широком масштабе электрификация и прочее. Но Учитель быстро перевел беседу на другие рельсы. Для этого он применил верный способ нападения.

— Что вы думаете,— начал Хуренито,— о бездеятельности, разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Советской республике? У нас на очереди посевная кампания, Донбасс, продагит, наконец, электрификация. А на что идут силы? Поэты пишут стихи о мюридах и о черепахах Эпира, художники рисуют бороды и полоскательницы, филологи ковыряют свои корни, математики от них в этом не отстают. В театре — мистерии Клоделя. Почему не закрыты все театры, не упразднены поэзия, философия и прочее лодырничество?..

— Обо всем этом,— ответил миролюбиво коммунист,— поговорите лучше с Анатолием Васильевичем. Искусство — его слабость, я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами совершенно не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я не гляжу на картины, мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не ходил в театр, вот только в прошлом году пришлось «по долгу службы» с «гостями республики», и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном — на экономике. Засеянная десятина, построенный паровоз, партия мануфактуры — вот путь к нему, а следовательно, и цель на-

шей жизни. Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, достаньте один фунт хлеба!

— Я вас понимаю,— сказал Хуренито,— вы высокий образец здорового однодумья. Со многими мыслями жизнь кончают на корточках, за тумбой (это было уже после моего чиханья), а начинают ее, напротив, с неумолимыми шорами, концентрирующими всю энергию на едином помысле. Однодумье — дело, движенье, жизнь. Раздумье — прекрасное и блистательное увеселение, десерт предсмертного ужина.

...Позвольте теперь задать вам второй вопрос. Как можете вы терпеть левых эсеров, выступающих на митингах, идеалистов, продолжающих, пусть тихо, в семейном кругу поносить исторический материализм, наконец просто миллионы людей, которые до сих пор верят не в торжество коммунизма, а хотя бы в целительные способности святителя Пантелеймона?

— Это опять не по моей части. За разъяснениями обратитесь к товарищу... (от острого приступа страха я прослушал имя). Мне кажется, что людей безвредных, даже если они заблуждаются, обижать не следует. Конечно, правы мы. Конечно, они ошибаются, одни из них глупцы, другие предатели. Первых мы просветим, научим, вторых — устраним.

— Вы, безусловно, правы,— подтвердил Учитель,— лицемеры назовут вас фанатиком. Но разве можно делать что-либо, не будучи слепым, не веря в свою абсолютную правоту? Если я, может быть, и прав, но прав и враг мой, один, другой, третий, и у всех нас лишь осколки единой истины, как уверяют импотенты сызмальства, то остается признать факты, а засим сесть на подушку и чесать до смертного часа зад. Действие начинается там, где кончаются высокомудрые «но». Я вполне оценил всю мощь вашего «конечно». Это значит, что у вас не девяносто девять сотых, а вся истина, ибо если у какого-нибудь меньшевика хоть одна сотая ее, то его вместо Бутырок надо позвать в совет, начать советоваться, обсуждать, раздумывать, колебаться и перестать действовать. Ваша повязка на глазах — великолепный панцирь от беса мудрости, всеприятия и прочей индопослеобеденной чепухи. Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных...

Коммунист прервал Учителя возгласом:

— Это ужасно! Но что делать — приходится!

Я не видал его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего.

Он продолжал:

— Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам. Прячась за кусты, они стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал.

Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжкого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали бы всю сладость грядущей коммуны!..

Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

— Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете — легко? Вам легко — глядеть! Им легко — повиноваться! Здесь — тяжесть, здесь — мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, встать во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели, рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезывали вымя. Море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю силу гнева, всю жажду новой жизни направить на одно,— четкое, ясное: стой, трус, с винтовкой, защищай Советы! Работай, лодырь, строй паровоз! Сейте! Чините дороги! Точите винты! Над генералами, над помещиками, подожженными в усадьбах, над прапорщиками в Мойке глумились, а потом ползали на брюхе под иконами, каясь и трепеща. Пришли?.. Кто? — Я, десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из изб, из казарм сюда, в эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..

Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб. Очумев от неожиданности и ужаса, я бросился бежать. Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.

— Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?

— Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Марк Аврелий и главки.— «Шаксэ-Ваксей»

После ночного визита положение Хуренито упрочилось, и он получил в Коминтерне высокое назначение. Я же продолжал с Дуровым революционизировать кроликов, получая за это половину академического пайка. Так шли месяцы. Я ел пшенную кашу, ночью мечтал о жирных бифштексах, о парижских кафе, шумных и светлых, о жизни легкой, невозвратимой. Иногда становилось невмоготу, тогда я искал поддержки у Хуренито, неизменно бодрого, хотя тоже сильно похудевшего и захворавшего ревматизмом.

Мы любили ходить поздно вечером по совершенно пустым улицам с задымленными грязными домами. Москва казалась сестрой Брюгге или Равенны, громадным мавзолеем, и только неожиданные отчаянные гудки автомобиля да лихорадочные огни в окнах штабов или комиссариатов напоминали, что это не развалины, но дикие чащи, что мы не засыпаемые снегом плакальщики, но сумасшедшие разведчики, ушедшие слишком далеко в необследованную ночь.

Во время одной из таких прогулок на Красной площади встретили мы Алексея Спиридоновича, окончательно затравленного и отчаявшегося. Он рассказал нам, что, увы, дух духом, а помимо сего низменное брюхо; словом, ему пришлось «сдаться в неравной борьбе» и поступить на службу. Он долго колебался, до последней минуты помышлял о самоубийстве и о бегстве на Дон, потом написал письмо потомству с оправданием своего поступка и выбрал место, где паек был немного лучше других (два фунта масла). Учреждение называлось «Гувузом», и должен был он курсантам, обучавшимся ведению военного хозяйства, читать лекции о российской литературе.

Но представьте себе, какой ужас! Варвары! Можно ли это пережить? И Европа все еще молчит! Я начал читать им про Чехова, про нежных, задушевных земцев, мечтавших о царствии божьем на земле, но явился какой-то комиссар и заявил мне, что все это никому не нужно, пора бросить буржуазное нытье и начать писать полезные рассказы о героях трудового фронта, превысивших на 100 процентов задание главка. Стихов Лермонтова об ангеле он также не одобрил и указал на какого-то Демьяна Бедного, который уговаривает крестьян менять картофель на гвозди. Что делать? Сказано — простится все, кроме хулы на духа святого!..

Учитель остался спокойным:

— Этот комиссар, видимо, хороший парень, не лишенный остроумия. Пожалуйста, познакомь меня с ним. Я решительно пред-

почитаю коммуниста, влюбленного в гвозди, нежели коммуниста в роли Лоренцо Великолепного, который хмыкает от умиления пред «вечностью Лермонтова». Что делать, любезный, не ты выбирал эпоху для рождения. Несомненно, ты попал не в сезон. Мне тебя очень жаль, но ругаться и поминать историю нечего. Ей подобные коленца выкидывать не впервые. Придет денек, и главки, гвозди, вся прочая дрянь претворятся в изумительную мифологию, в необычайные эпопеи. Я даже смею думать, что эпирский пастух прежде согревал свою похлебку на костре, нежели его поэтический внук произвел на свет Прометея. Теперь время зачина, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых жестов, коими (в отличие от обычного) очарована не перепуганная мамаша, но сам достаточно влюбленный в себя младенец. Прости, еще немного гинекологии: чтобы младенец жил, надо пуповину отрезать. Потом его поднесут к материнским сосцам, и пойдет махровый Ренессанс. Лермонтова твоего откопают в уцелевшей чудом библиотеке и будут вздыхать: «Как прекрасно! И этого они не понимали!»

Алексей Спиридонович не мог согласиться.

— Они варвары, но у них нет высоты духа, превосходства этики! Бога у них нет! Они не первые христиане, но просто вандалы! Я сам ждал нового откровения, я сам томился от материализма Европы, я сам готов был вот на этой Театральной площади пасть ниц перед суровым пророком. Но при чем тут святые гвозди и непогрешимые главки?

— О-чень просто! Ты ждал пророка, похожего на себя в идеальном аспекте, то есть изучающего Соловьева и Достоевского, но не бегающего в промежутках к девочкам. А получилось нечто вовсе неожиданное. Но вспомни — разве первые христиане показались римлянам носителями «великого откровения», а не жалкими рабами с невежеством, суевериями и примитивной моралью? Вместо высокого римского права — коммунистический лепет недорезанных иудеев, вместо Гомера — убогий декалог какого-то побежденного племени. Разве Нерон презирал христиан? Он их просто боялся, а презирали другие — более умные конфрэры [1] твоего Мережковского — Марк Аврелий или Плиний. Главки — новый завет!

...Гляди (мы проходили в это время мимо Большого театра), на почти развалившемся доме мигают лампочки. Что это! Рекламы новых папирос? Нет, скрижали Синая: «Да здравствует электрификация!» В стране, сносившей последние портки, корчащейся от голода и сыпняка, замерзающей в дырявых избах, так как нет гвоздей, слышишь,— гвоздей, а не святителей, сумасшедший возглас: «Электрификация!» Собираются люди, слушают доклады, чертят

[1] Здесь: собратья, коллеги *(фр.)*.

схемы, и для них светят грошовые огоньки, озаряя далекий электрифицированный рай с танцующими молотилками, беззаботными мельницами, рощами бездымных фабрик. Ради этого пусть падет наземь последний лоскут рубахи, пусть вши съедят вспухший от жмыха живот, пусть в тюрьмах, во дворах «чеки» умрут сотни тысяч. «Верую в огонечек!» — кричит он. Чем не современный пророк?

От слов Учителя мне стало невыразимо страшно. Взяв под руку стонущего Алексея Спиридоновича, я повел его к себе. Мы погрызли корочку хлеба и начали друг друга утешать — может, все это не так, а наоборот. Коммунисты будут свергнуты новой революцией духа или же сделаются другими — добрыми, душевными, позволят мне печатать стихи о богородице, а Алексею Спиридоновичу читать курсантам: «Мисюсь, где ты?..» Закрывшись моим полушубком, двумя старыми жилетами и ковриком, мы наконец уснули.

Ближайшие недели доставили мне некоторые развлечения. Учитель, командированный на Кавказ для участия в «Съезде народов Востока», взял меня и Айшу с собой.

Ехали мы изумительно, ибо Учитель, желая изучить нравы и обычаи туземного населения, отказался от купе в спальном вагоне. С трудом влезли мы в теплушку благодаря применению Учителем приемов французской борьбы и воинственному реву Айши. Там мы оказались в обществе веселом и разнообразном. К сожалению, две недели мы должны были простоять, ибо даже легкое движение рукой вызывало ропот и негодование всего вагона. Впрочем, на третий день мы освоились и научились спать стоя. Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали все здание; досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Проезжая лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья, завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком чугунное чудовище.

Кроме этих мирных занятий, долгие дни пути оживлялись военными действиями. Четыре раза нападали на нас различные люди (кто точно, мы так и не узнали, комиссар мрачно отвечал: «Банды»), стреляли близ Харькова даже из пулемета. Мы тоже стреляли и кое-как улепетывали. Ехавшие на крышах вагонов мешочники являлись нашими сторожевыми постами. За всю дорогу мы потеряли четырех пассажиров убитыми, да еще один старик просто умер, я думаю — от старости.

В промежутках между сражениями наши попутчики, предпочтительно крестьяне, делились с нами своими взглядами на религию, крышу, культуру и на многое другое. Им нельзя было отказать в своеобразии. Господа бога, по их словам, не имелось, и выдуман

он попами для треб, но церкви оставить нужно — какое же это село без храма божьего? Еще лучше перерезать жидов. Которые против большевиков — князья и баре, их мало еще резали, снова придется. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное же — сжечь все города, потому что от них муть и свалка. Но перед этим следует все добро оттуда вывезти — пригодится: крыши например — листы невредные, пиджаки, еще пианино. Это — программа. Что касается тактики, то главное — иметь в деревне пушку и дюжину пулеметов, посторонних к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров.

Все это Айше весьма понравилось. Учитель также одобрял подобные проекты, советуя лишь вместо пианино брать граммофоны — легче и занятнее. Мне же, как человеку городскому и к тому же в ранней юности не лишенному идейности, такие разговоры претили. Я упрекнул Хуренито в непоследовательности, напомнив ему московские беседы.

— Неужели эти внучата Пугача являются апостолами организации человечества?

Учитель ответил мне:

— Миленький мальчик (скажу кстати, что я был моложе его всего на три года), ты очарователен в своей честности и наивности. Неужели ты только сейчас заметил, что я — негодяй, предатель, провокатор, ренегат и прочее, прочее? В тебе чувствуется, что ты печатал свои стихи в «Русском богатстве» и любишь (не отпирайся! знаю!) прекраснодушных эсеров. Ты еще, может быть, вспомнив передовую либеральной газеты, заявишь мне: «Кто сказал А, должен сказать Б!» А я еще раз скажу «А» или возьму и прямо упраздненную ижицу вытащу за уши. Мне что! Это относительно последовательности. А об апостолах организации тоже отвечу. Все интеллигенты вашей страны, и проклинающие революцию и жаждущие ее принять, хотят обязательно поженить овдовевшего Стеньку Разина вместо персидской княжны на мудреной коммунии. Глупцы! Был один момент, живописный, правда, но краткий, когда пути стихии и пути жаждущих стихию эту по-своему использовать совпали — осень семнадцатого года. С тех пор прошло больше двух лет, и «разиновщина», то есть вздыбленная Россия, раззор, раздор, жажда еще немного порезать — для коммунистов теперь то же, что для паровоза дрова. Поленья не дают направления машине, они ее кормят, правда, порой отсыревшие, они замедляют ход или, наоборот, развивают такой жар, что лопаются котлы и машинист летит вверх ногами. Коммунстическая революция «не революционна», она жаждет порядка. Ее знаменем с первой же минуты был не вольный бунт, а твердая система. Эти же буйствуют, томятся, хотят

не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу.

Наконец кончились бои, лекции крестьян, примечания Учителя, и мы приехали. Настали вновь блаженные дни, и порой, сидя в духане с Айшей, я вспоминал далекий Сенегал. Кругом все, включая декреты и непрестанные выстрелы, носило характер беспечный, сонный, отдохновенный после монастырской Москвы. Признаться, я совершенно перестал думать о судьбах мира. Я ходил в баню, где меня облепляли вонючей грязью, после чего моя животная растительность исчезала и в бассейне отражался почти Нарцисс, изучал в духанах дивные вина, различные «напареули» и «тальяни», которые пил из большого рога, слушал унылые сазандари и буйные, оглушающие дудуки — словом, проводил дни, как английский турист.

На съезд я отправился всего один раз. В большой зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с чалмами, в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких ермолках, персы в фесках и многие иные. У всех на груди имелись портреты Карла Маркса с его патриархальной бородой. В середине восседал товарищ просто в пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Один перс, сидевший в заднем ряду, дослушав доклад о последствиях экономического кризиса, любезно сказал по-русски молодому индусу: «Очень приятно англичан резать»,— на что тот, приложив руку к губам, шепнул: «Очень».

Вдруг за окном раздалась дикая, неподобная музыка — медные тарелки и трубы. Перс, тот самый, что приятно мечтал в кресле, быстро вскочил и, не доголосовав двенадцатого пункта резолюции — «принимая во внимание...», выбежал на улицу. Заинтересовавшись этим, я решил последовать за ним, тем более что даже этот достаточно живописный съезд мне казался невмоготу скучным.

Я был вполне вознагражден, ибо увидал зрелище хоть и неоднократно описанное, но все же неописуемое. На носилках, украшенных яркими коврами и блистающими миниатюрами, сидели завернутые в черные шелка персиянки. Вокруг бежали юноши; всадники в доспехах стегали их нагайками. За ними двигались целые стада полуголых персов, которые хлестали свои спины, густо-синие от ударов железными цепями. Но самое изумительное предстало в конце. Мужчины — юноши, степенные отцы, немощные старцы, в белых как снег халатах — шли рядом и, раскачиваясь в такт, восклицая: «Шаксэ-Ваксей!» — ударяли себя саблями по лицу. Чем дальше шли они, тем всё более и более исступлялись, крики ста-

новились пронзительнее, удары тяжелее, и светлая быстрая кровь широкими потоками текла по лицам, по халатам, по сухой рыжей земле. Иные падали, но никто не обращал на это внимания. Мой перс вбежал в домик и минуту спустя в халате, так и не доголосовав резолюции, но полный высшего экстаза, кричал: «Шаксэ-Ваксей!» — и своей кровью заверял преданность чему-то, мне не известному и чужому.

Учитель также видел это фантастическое шествие и ночью, когда мы делились с ним впечатлениями, сказал:

— Вот еще дрова. Ох, не взорвут ли они всю машину! Конечно, люди Востока падки на дары культуры, они отдают свои прекрасные кувшины за эмалированные чайники и меняют ковры на пакостную набойку, но сохранили они нечто свое. Какой европеец, трижды верующий, все равно во что — в туфлю папы, в мировой прогресс или в симпатичные «совьеты» — оцарапает себя булавочкой во имя идеи? А эти с удовольствием устроят хорошенький мировой «Шаксэ-Ваксей», разумеется, не только по своим лбам, но и по многим другим, сначала по английским, а потом... Конечно, паровоз вещь мудреная, и этому персу его не построить, но сломать его он может, даже не без удовольствия.

...Спокойной ночи, Эренбург! Спи хорошо! Сегодня мы видели чудесных зверей: по соображениям высокой стратегии их выпустили на волю. Назад путь сложнее. Может быть, отсюда придет основательная баня для сорганизовавшегося человечества. Приятных снов!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Жизнеспособность обыкновенной палки.— Схема Шмидта

Обратно поехали мы в спальном вагоне и с охраной. Зато ожидало нас неприятное, хоть и ставшее в достаточной мере тривиальным испытание: мы были, не доезжая Москвы, арестованы сотрудниками одной из разновидностей «чеки», а именно — «орточекой», то есть чекой, промышляющей на железной дороге.

Ни тогда, ни после не узнали мы причин ареста. Я думаю, что подозрение вызвал Айша, который нацепил себе на костюм ниже груди три красных звезды, молот и серп, орден Красного Знамени и шесть медальонов с портретами Маркса, Энгельса, Либкнехта, Ленина, Троцкого и Зиновьева. Так или иначе, нас повезли дальше в вагоне далеко не спальном и поместили в Бутырки, где

я сидел, когда мне было шестнадцать лет, за прокламацию к гимназистам с призывом к забастовке.

Я мог констатировать, что в годы великих потрясений и перемен тюрьма проявила наибольшую устойчивость. Так же сторожа торчали у «волчков» и гнусно шарили по телу, так же мерзко пахли параши и от них не отстающая баланда в позеленевших мисках. Даже общество до странного напоминало прежнее; какой-то меньшевик защищал марксизм от ярого максималиста. Вызывали на допросы, выводили на свиданье через две решетки, иногда судили, иногда расстреливали, иногда кричали: «С вещами!» — и отпускали.

Я очень удивился этому постоянству. Учитель, наоборот, находил его чрезвычайно естественным.

— Палка в любых руках — палка,— утешал он меня,— сделаться мандолиной или японским веером ей весьма трудно. Правительство без тюрьмы — понятие извращенное и неприятное, что-то вроде кота с остриженными когтями.

...Жили себе в Бутырском районе два человечка, товарищ Иван и товарищ Петр. Первый был большевиком и работал в «Московском комитете РСДРП», второй, меньшевик, состоял в «Московской организации РСДРП». Жили они мирно, то есть вместе ходили на «явки», прятались у сочувствующих адвокатов, вместе сиживали здесь, в Бутырках, ссорились до полной потери голоса, ибо Иван был за «отрезки», а Петр за муниципализацию земли, но так как земля была не у Ивана и не у Петра, а у помещика, то скоро мирились, объединялись, раскалывались, словом — буколическое супружество, не Иван и Петр, а «Поль и Виргиния». Потом коечто на свете изменилось. Иван засел в Кремль и стал сочинять не резолюции для пяти сознательных наборщиков, а декреты, обязательные для ста пятидесяти миллионов россиян. Петр прочел декреты и не одобрил. Хотел пойти поспорить по старой привычке, но у «ворот святых Кремля» его остановил часовой: «Без пропуска нельзя!» С горя собрал он пять сознательных наборщиков и предложил им протестовать. Иван узнал, рассердился, и так как у Ивана была уж эта прекрасная тысячелетняя палка, он не спорил, не исключал, но позвал «кой-кого» и, слов зря не кидая, кратко распорядился. А засим пошло как по маслу: Петр прятался, ночевал у адвокатов, его ловили, словили и привезли на старую квартиру.

...Ты взволнован, ты негодуешь? Друг мой, напрасно! Неужели ты думаешь, что Петр поступил бы иначе? Будь даже он не Петром, а Валентином или Максимилианом, он без «кой-кого» не обошелся бы. Править без него — это все равно что сесть на табурет о трех ножках. Конечно, оригинально, но больше минуты не высидишь.

А все остальное быстро приходит. Сделай Эрколе итальянским королем — он не успеет даже штанов надеть, а уж начнет покрикивать: «Эй, вы, которые прочие!..» Пройдут не годы, но эпохи, времена, много раз будут выстраивать человечество для последнего парада, и столько же раз неожиданные персы будут парады преобразовывать в веселые «Шаксэ-Ваксей», пока людские остатки не поймут, что дело совсем не в том, кто именно палку сегодня держит, а в самой палке, перестанут менять и начнут ломать. Пока что давай хлебать баланду, не то она совсем простынет.

Вероятно, мы бы просидели весьма долго, ибо нами никто не интересовался, если бы на смену очередного несчастного случая не пришел бы тоже случай и тоже очередной, но счастливый. Обследовать тюрьмы прибыла специальная комиссия Московского совета. На нее мы никаких надежд не возлагали, ибо уже раньше посещали нас различные инспекции и делегации. Но когда в камеру вошел Шмидт, я даже запищал от восторга. Второй раз судьба посылала его нашим спасителем. Засим все пошло просто: звонок по телефону, несколько дружеских слов, и час спустя нас со всяческими извинениями выпустили за старенькие, но все еще добрые тюремные ворота.

Доходившие до нас слухи об эволюции Шмидта оказались точными. Путь от генерала германской имперской армии до угрюмого спартаковца в заплатанном пиджаке может удивить своей длиной, но надо вспомнить, что, еще будучи студентом, Шмидт говорил, что может сделаться и ярым немецким патриотом и крайним социалистом, ибо и те и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества. Приехав в Россию убежденным германским националистом, он первые месяцы всячески способствовал победе Германии. Но после Октябрьского переворота новые горизонты, более широкие и увлекательные, раскрылись перед ним. Он решил, что Коммунистический Интернационал вернее сможет подчинить Европу единому плану, нежели нерешительная и уже поколебленная в своей мощи империя. К новому делу он примкнул честно, без задней мысли, со всем упорством и прямотой, ему присущими. Во время боев с белыми он был дважды ранен. Жил он убого, работал восемнадцать часов в сутки, от казенного автомобиля, несмотря на простреленную ногу, отказался, ковыляя из одного комиссариата в другой, словом, был во всех отношениях честным и последовательным коммунистом.

На следующий день после нашего освобождения мы отправились к нему в его рабочий кабинет. На стенах висели схемы, сложные и диковинные. Шмидт был облеплен планами, сметами, чертежами. С жаром принялся он рассказывать нам о своих трудах. До сих пор люди непроизвольно тратили свои силы: все было слу-

чайным и нелепым. В Японии или Голландии задыхались от скученности, а Сибирь или Испания пустовали. В черноземной России топили в пруду хлеб, не желая продавать его за несколько грошей, тщась поднять цены, а кули в Пекине умирали с голоду. В Англии выделывали столько материи, что некуда было ее деть, начинался кризис, и рабочие нищенствовали у остановившихся станков, а калужский дядя все еще мечтал о паре портков. Поэты бегали по редакциям, вымаливая напечатать стишок хоть бы по пятачку за строчку, но не хватало агрономов. Адвокатов было больше, чем уголовных преступников, но трудно было порой найти электротехника. Хаос бессмысленный, дикий, хозяйство сумасшедших фургонщиков или надевших сюртуки обезьян. Теперь все будет по-иному. Вот на этой карте обозначено, сколько где людей должно жить, точно, по квадратным метрам. Другая схема показывает распределение трудящихся по ремеслам. Нужно столько-то инженеров, столько-то слесарей, столько-то поэтов. Никаких отступлений. Тула знает, что по разверстке на 1930 год она должна выпустить 80 докторов, 7 художников, 600 металлистов, 350 горшечников и так далее. Ребенка с раннего возраста приучают любить предназначенное ему ремесло. Вводится для обучения производственная азбука, где все буквы обозначаются орудиями труда данной отрасли. Общее число рождений также подлежит точному учету и должно соответствовать заданиям центра. Семью следует уничтожить, нельзя оставлять детей под случайным и пагубным влиянием родителей, то есть лиц безответственных. Детские дома, школы, трудовые колонии подготовляют работников. Засим — общежития, общественное питание, однородность распределения. Закончив работу, каждый имеет право пойти в распределитель развлечений того района, к которому он прикрепил свою карточку. Там определенная доза эмоций эстетических: музыка, многоголосая декламация, празднества по точному сценарию. Наконец ограничиваются и половые излишества, над чем работает специальная комиссия врачей при Наркомздраве. Вот жизнь человека!

Шмидт показал нам на самую таинственную схему — она была похожа на корни исполинского растения. Жизнь человека!

Я вспомнил наивные лубочные картинки: мальчик играет, влюбленный юноша с цветком, отец семейства, ласкающий младенца, зрелый муж почему-то с гусиным пером в руке и дряхлый старик, ковыляющий к раскрытому гробу. Здесь белые квадраты расходились в зеленые пирамиды, эти передавали токи красным кругам, круги преображались в ромбы, и не было видно отдохновенного гроба, но лишь черные треугольники поселений для трудовых инвалидов.

А Шмидт, показывая нам эти пути и переходы, выбрасывая

сотни цифр и наименований организующих центров, с пафосом говорил:

— Вот жизнь! Не тайна, не сказка, не бред, но трудовой процесс, в этой жалкой комнате разложенный на части и воссоединенный мощью разума!

Мне вспомнилась тоже каморка на чердаке в Штуттгарте, расписание на стенке, шестьдесят марок и фрау Хазэ. Но стучащие машинки, секретарь, беспрестанно приносящий бумаги на подпись, очередь посетителей в приемной — говорили о том, что это не детское сумасбродство, а гигантская мастерская, где строится новый мир.

Я готов был от ужаса расплакаться, но неожиданно, неприлично даже рассмеялся, услышав доносившуюся с улицы популярную частушку:

Наживу себе беду,
В сортир без пропуска пойду.
Я бы пропуск рада взять,
Только некому давать.

Потом Шмидт переговорил с Учителем касательно его работы и предложил ему заняться организацией наиболее хаотической и трудной области, именно — искусства. Учитель предложению обрадовался, и все было в несколько минут слажено.

Когда мы вышли, я начал высказывать Хуренито свои соображения по поводу Шмидта и его схем.

— Все это, может быть, и гениально, но при чем тут жизнь человека? Это просто вращение крохотного винтика.

Учитель возразил:

— Нет, это новые люди, столь же отличные от тебя, как обитатели какого-нибудь Камеруна. Ты совсем не заметил, как из недр быта взошло новое племя. У них своя психология, свои нравы, свой религиозный пафос. Люди прежние падали ниц перед непостижимым, таинственным, случайным. Каждое отступление от обычного, от постигнутого путем эмпирическим — обожествлялось. Пафос новых людей в законности явлений, их трезвенный экстаз в ощущении безошибочности трудов, помыслов, событий. Ты хорошо понимаешь первобытный восторг огнепоклонника, сидя в своей морозной каморке на корточках перед пылающими языками, вылетающими из печи. Теперь пойми другой восторг — механика, впервые осмыслившего ход сложной машины!

Мы шли по моим любимым переулочкам меж Пречистенкой и Арбатом. Крохотные дома с палисадниками, сирень, луковки беленькой церковушки Успенья-на-Могильцах — все это поддерживало меня в моем протесте.

— Учитель, эти новые люди, о которых вы говорите, уродливы, а посему невозможны. В их жизни нет случайного, а следовательно, самого прекрасного, нет неожиданности, противоречий, романтизма, ничего нет. Это миллионы Шмидтов, даже без малюсенького Наполеона. Скука-то какая!..

— Ну что же, ты поскучаешь, ты человек старой породы. Подрастут другие по схеме, эти будут работать и скучать не будут. Старое вообще отдает гнилью и нафталином, но этот запашок высоко котируется под названием «романтического». Расстались с аббатами, с мадоннами, с высочествами — ничего, обошлось!.. Расстанутся и с прелестью сумасбродств американского миллиардера, с живописностью лохмотьев, с лоском роскоши, с кинематографически увлекательной борьбой за корку хлеба или за гору золота. Все, о чем ты хлопочешь,— каприз, прихоть, кончает гнить и скоро перестанет даже бить в нос. Ты можешь, разумеется, сняв отдельную комнату без соседей, плакать об этом до конца твоей жизни, но вряд ли это что-либо изменит.

...Ты видал картины современных художников-кубистов? После всяких «божественных капризов» импрессионистов — точные, обдуманные конструкции форм, вполне родственные схемам Шмидта.

...Ты был на войне? Что ты там видел? Наполеонов, Давидов, жест, подвиг, героического знаменосца или образцовое хозяйство мистера Куля?

...Ты, несмотря на свою безалаберность, любишь играть в шахматы. Гляди — как комбинационная игра уступает место позиционной. Вместо неожиданных комбинаций, благородной жертвенности гамбитов — точный, скупой, тщательно выслеженный план. Я дивлюсь, до чего ты слеп: валандаешься всюду и не замечаешь самых основных, самых неоспоримых черт современности!

— Если все это так,— возмутился я,— для чего же, собственно, жить? В частности, для чего переписывать декреты Шмидта вместо того, чтоб как-нибудь уничтожить его?..

— Если на заре ты начнешь стрелять из тысячи батарей в солнце, оно все равно взойдет. Я, может быть, не меньше тебя ненавижу этот встающий день, но для того, чтобы пришло завтра, нужно стойко встречать жестокое светило, нужно помогать людям пройти через его лучи, а не цепляться за купол церковушки, на котором вчера теплился, угасая, закат!..

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

«Свобода творчества», или Козни контрреволюционеров

На заседании комиссии, которой было поручено искусство организовать, пришли, кроме Учителя, жены крупных коммунистов, коммунисты мелкие, но честные, любящие чистую работу, актеры, больше из бывших «солистов его императорского», художники, всю жизнь изображавшие маркиз в кринолинчиках. Председателем этой высокой комиссии был некто очень революционный и напугавший как-то стареньких профессоров до того, что они хотели было рассыпаться и не рассыпались, лишь желая спасти незабвенную «alma mater», а на самом деле добродушный толстяк, отменный семьянин, с золотой цепочкой на брюшке и с благородной страстью к искусству. Любил он до чрезвычайности «Литургию Красоты» Бальмонта и заказывал художникам, отнюдь не футуристам, но тем самым, что рисовали недавно жен московских мукомолов и любовниц великих князей, портреты: свой — одинокий (борец за идею), с женой (тоже борец), жены с младенцем (материнство), жены борца и себя в семейном кругу (отдых борца). Все портреты были с выражениями и в бронзовых рамах.

Комиссия должна была обсуждать вопрос — как приспособить искусство для агитации, не уничтожая творчества? Председатель долго говорил о высоком достоянии культуры, о вершинах человеческого духа и предложил решение компромиссное: творцам, которые будут творить агитационные произведения, выдавать паек, равный по калориям двум академическим. Всем прочим, не посягая на свободу вдохновения, тоже выдавать простой паек по трудовой карточке категории Б.

После него выступил Хуренито, который сразу внес радикальное предложение: искусство упразднить. Вот что он сказал в защиту предлагаемой меры:

— То, что вы предлагаете, лишь новая вывеска над старой пакостью, это впрыскивание камфары уже похолодевшему трупику. Зачем вы отстранили религию, если вам необходимо, чтобы кто-нибудь освящал нимбами вашу державную дубину? Или отъевшаяся на калориях каста привилегированных жрецов официального искусства лучше крестобрюхих иереев? Что вы получите? Десяток Державиных, которые изготовят... пардон — сотворят оды о боге, о ласточке и прочем, в план государственного строительства не входящем. Стихи, трагедии, картины, симфонии, сделанные по предписанию, будут слабее прежних, и граждане немудрствующие, сравнивая их с Пушкиным, Шекспиром или Греко, решат, что виноват коммунизм. Этого нельзя допустить, уничтожая искусство, надо всем показать, что оно и только оно виновато. Оно хотело пережить

само себя — и заслужило пули в зад, вместо честной кончины на семейном ложе.

...«Вершины человеческого духа», о которых здесь говорилось, были, безусловно, государственными преступниками, ибо подрывали все основы разумного, трезвого быта. Конечно, подрывать английскую императрицу, немецких князьков или Николая Первого, с нашей точки зрения, не преступно, но похвально. Увы, товарищи, вы ошибаетесь в одном: вы думаете, им важно, что именно они подрывают? Ничуть! Была бы Мессина вотчиной древнего деспота или коммунистической колонией, деятельность Этны от этого не изменилась бы. Завтра вчерашние «вершины», которым вы ставите монументы, и сегодняшние, на которых вы не жалеете ни кондитерских изделий, ни жировых веществ, начнут подрывать наше общество. Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики.

...Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума. Это тем легче сделать, что одряхлевшее искусство порывается закончить свою бесславную старость самоубийством. Искусство тщится раствориться в жизни, и это является для нас лучшим способом ликвидировать опасную эпидемию. Действительно, иные газы, сконцентрированные в одном месте, угрожают ежеминутно взрывом, удушают, загораются, но, растекшись по надземной атмосфере, становятся безвредными.

...Взгляните на современную живопись,— она пренебрегает образом, преследует задания исключительно конструктивные, она преображается в лабораторию форм, вполне осуществимых в повседневной жизни. Преступление Греко, Джотто, Рембрандта в том, что их образы неосуществимы, единственны, а посему бесполезны. Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для самых различных целей: чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок. Надо лишь суметь направить эту тягу, запретить заниматься живописью, как таковой, чтобы рама картины не соблазнила живописца вновь на сумасбродство образа, прикрепить художников к различным отраслям производства. Пластические искусства перестанут угрожать обществу, они создадут коммунистический быт, дома, тарелки, брюки. Вместо скрипок Пикассо — хороший конструктивный стул.

...То же самое относится и к другим видам искусств. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров, сбрасывает рубашку за рубашкой — рифмы, размеры, образы, пафос, условность, наконец ритм, остается голой, ничем не примечательной, и нужен большой профессиональный опыт, чтобы понять, почему иные современные стихи — стихи, а не статья передовика или реклама

«Спермина». Таким образом, здесь дело обстоит очень просто, надо лишь запретить печатать книги с неэкономным распределением строк по традиции былых поэм и вычеркнуть из словаря слово «поэт», способное ввести в искушение.

...Театр ломает свой панцирь — рампу, переезжает в зал или на площадь, зрителей тащит на сцену, уничтожает авторов и актеров. В двадцать четыре часа он может быть окончательно распылен через промежуточные стадии всяческих празднеств, процессий и прочего. Потом даже эти организованные выявления станут будничными, растворятся в жестах, позах и шутках.

...Я уже пытался в Кинешме провести ликвидацию искусства, но мне помешал мещанский эстетизм многих революционеров. Я верю, что теперь вы примете мое предложение, и сегодняшний день будет днем смерти одного из величайших безумств человечества, мешавшего ему как следует устроиться на земле!

Протесты посыпались:

— Мы — не варвары,— кряхтел председатель.

— Мы любим все прекрасное,— ворковали жены.

— Кто за?

— Только один голос самого Хуренито. Предложение отклонено.

Решили предоставить искусству жить и, оперируя гаммой пайков, стараться направить творчество в коммунистическое русло. Учитель усмехнулся:

— Еще постановите использовать циклон для вращения ветряных мельниц!

Мне же он признался:

— То, что я предлагал, весьма логично и правильно, но существует одно «но» — это Эрколе в чемодане Шмидта. Мы с тобой над этим плакать не будем, однако великим и малым городовым грядущего мира он доставит немало хлопот. Они решили использовать удары молний вместо дорогих шведских спичек для закуривания папирос. Я же предлагал заняться лучше изготовлением спичек, а молнию для успокоения коммунистических детей вовсе упразднить. Конечно, это не помешает ей в хороший летний полдень неожиданно упасть на лысину человека, уверенного в том, что грозы навсегда уничтожены декретом. Пока что посмотрим на результаты их деятельности!

В ближайшие недели Москва была потрясена рядом странных и печальных происшествий, которые блестяще подтвердили грозные предостережения Учителя. Композитор Крыс, музыка которого до последнего времени была не известна даже профессионалам, написал симфонию «Титан потягивается». Она была исполнена перед тысячами слушателей. Но вместо воспитательного действия эта му-

зыка пробудила самые недопустимые чувства. На следующий день советские учреждения пустовали, ибо никто из слышавших симфонию на службу не явился. Более того — многие отказались сгребать с улиц снег, визжа, плача и нечленораздельно изъясняясь. Один же совсем обезумел и, крича, что он больше не может сидеть в канцелярии и регистрировать ордера на калоши, вскочил на крышу, кинул ключ в милиционера, контузив его, и под конец был убит «при попытке к побегу». «Известия» писали: «Снова саботаж. Господа меньшевики работают на капиталистов». Главного же виновника, Крыса, никто не тронул, он даже получил за концерт сто тысяч рублей и двадцать пять рассыпных папирос.

Только перестали писать о саботаже, как разразилась новая пакость. Молодой поэт Ершов ухитрился, перекупив у кооператора Хайлова наряд в типографию, отпечатать книгу стихов, озаглавленную «Рыжему жеребцу молитесь, куп-куп!». Это был косноязычный бред последнего мечтателя, жующего пшено в подвязанном к морде мешке, возомнившего себя жеребенком и начавшего ржать. Успех книги был необычайный, издание разошлось в несколько дней.

Вскоре образовалась секта последователей, предпочтительно женщин, которые «жеребствовали». В одно дождливое утро они вместо того, чтобы шить по трудовой повинности кальсоны для красноармейцев, вышли со ржаньем на Тверскую. Спрошенные подоспевшими милиционерами, куда именно они направляются, они начали лягаться. Об этом появилась заметка в газете: «Новая поповская демонстрация».

Наконец красноармеец Кривенко, бывший семинарист, пытался взорвать старой ручной гранатой Спасские казармы, повредив себе при этом мизинец. Арестованный, он объяснил сбивчиво, но с подкупающей искренностью, что на днях его водили с товарищами в музей, и он видел там необычайные картины: летящие во все стороны дома, рассеченных на кусочки фиолетовых женщин, семь чашек на одном блюдце и страшные оранжевые квадраты. Там он что-то понял, что именно — объяснить он не умел. Но вернувшись в казарму, услышав запах портянок, увидев нары, сундучки и миски с супом, он сразу решил, что эти два мира несовместимы и один из них должен погибнуть. Его объявили эсером, но, не зная, левый он или правый, для опознания отправили в соответствующее место. Там попытались связать все три факта и арестовали тысячи две сомнительных граждан, среди них попался и Ершов, но был немедленно освобожден как поэт.

Казалось единственно разумным после всех этих мрачных инцидентов вспомнить совет Учителя и заняться уничтожением искусства. Но вместо этого напустились на очень кротких и никому не интересных людей, которые когда-то, до социализма и до революции,

были социалистами-революционерами, а теперь тихо переживали тоску об учредилке и городовом, тягучую и нудную, как зубная боль.

На Хуренито тоже стали поглядывать косо, и он нашел нелишним переменить климат. Посоветовавшись, мы решили ехать на юг, для подкрепления престижа взять с собой Айшу, а по соображениям человеколюбия — Алексея Спиридоновича и m-r Дэле. Наш мученик, слава богу, поправился и был выпущен из сумасшедшего дома, зато Алексей Спиридонович, удрученный несовместимостью свободы духа с пайком, готовился занять его место. Оба нуждались в отдыхе.

В последнюю минуту к нам присоединился мистер Куль, который хотел пробраться на Украину, чтобы купить еще несколько мертвых душ, а именно — национализированные сахарные заводы.

Так как о курортах нечего было помышлять, мы погадали по карте, заставив Айшу ткнуть куда-либо пальцем. Вышел Елизаветград. Раздобыв пять хороших командировок, мы сели в делегатский вагон и не спеша поехали в эту неведомую санаторию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Одиннадцать правительств. Учитель — претендент на Российский престол

Кое-как доехав до Елизаветграда, мы хорошо выспались и утром решили осмотреть достопримечательности города, в который судьба привела нас, как в землю обетованную. Но только что вышли мы из дому, как нас задержал патруль, потребовав документы. Хуренито гордо протянул солдату солидный лист, на коем значилось, что мы командируемся в город Елизаветград для обследования находящихся там музыкальных инструментов. Прочитав внимательно бумагу, солдат показал ее своему товарищу, и оба почему-то возымели твердое желание расстрелять нас. Заверения Учителя о том, что на мандате подпись «управдела», их в этом непонятном желании лишь укрепили.

Нас повели в какой-то штаб, и мы, убежденные, что там недоразумение выяснится, шли весело, любуясь солнцем, растекающимся в грязи уличек, вывесками «Мужской портной», блаженными мальчишками, кидающими осколки бутылки в паршивую лысую суку, словом, всеми невинными радостями маленького, но милого города.

Вдруг, подходя к штабу, я вскрикнул:

— Они с погонами!

— Что это значит? — беззаботно спросил m-r Дэле.

— Это значит, что нас на самом деле пристрелят.

Увидав, что перед нами не большевики, мистер Куль оживился:

— Не беспокойтесь, друзья мои! С порядочными людьми я сумею объясниться.

Действительно, он стал беседовать с поручиком, заверяя, что он владелец многочисленных предприятий и бежал из проклятой Совдепии, спасая душу и доллары. М-r Дэле и Хуренито — его компаньоны, Алексей Спиридонович и я — приказчики, а Айша — лакей. Подкрепленное американским паспортом, это являлось весьма убедительным, но поручик все же был склонен нас расстрелять. Мистер Куль решил тогда прибегнуть к двум героическим средствам. Он вынул библию и важно прочел офицеру: «Не убий!» Поручик сказал, что он не безбожник, в господа бога верит (при этом перекрестился), но все это относится к честным людям, а не к большевикам или к жидам, коих надо убивать при всякой возможности, как бешеных собак. Гораздо действительнее оказалась пачка долларов, приобретенных мистером Кулем в Москве при содействии Гросмана. Нас отпустили.

Курортный режим Елизаветграда оказался очень своеобразным, и мы не сразу к нему привыкли. Дело в том, что противники большевиков выгодно отличались своим разнообразием; среди них были сторонники «единой, неделимой», украинцы-просто, украинцы-социалисты, социалисты-просто, анархисты, поляки и не менее трех дюжин крупных «атаманов», не считая мелких промышлявших кустарничеством, то есть ограблением поездов и вырезыванием местечковых евреев. Все они дрались не только с большевиками, но и друг с другом, поочередно на короткое время захватывая нашу резиденцию. За три месяца мы пережили одиннадцать различных правительств. Надо было быть Учителем с его мексиканским стажем для того, чтобы хоть немного разбираться в этой белиберде. Выходя утром на улицу и не зная, в чьих руках город, мы на всякий случай во всех карманах пиджаков, жилетов, брюк держали самые разнообразные удостоверения на многих языках и наречиях с орлами в короне и без оной, с серпами, с трезубцами и даже с вилами, которые являлись гербом батьки Шило.

Впрочем, нужно сказать, что это разнообразие выявлялось исключительно во флагах и в гербах, на городской жизни оно никак не отражалось. Освобождаемые еженедельно от ига обыватели не замечали этого, ибо действия «тиранов» и «освободителей» были до удивительного сходны меж собой, притом все они были одинаково одеты, донашивая серые шинели царской армии. Кроме того, традиции мест оказывались сильнее людских переворотов: в меблированных комнатах, где помещалась «чека», разместилась «контрразведка» и все десять последующих учреждений однородного ха-

рактера. Тюрьма оставалась тюрьмой, хотя в нее беспрерывно приводили вчерашних тюремщиков,— ни консерваторией, ни детским садом она от этого не стала. Даже расстреливали на том же традиционном пустыре, позади острога. Все, приходя, издавали законы о свободе и неприкосновенности личности, вводили осадное положение, а также смертную казнь за малейшее выражение оной свободой недовольства. Засим в течение краткой, мотыльковой жизни спешили «наладить нормальную жизнь», то есть ограбить как можно больше еврейских часовщиков и успеть расстрелять всех лиц с не симпатичными физиономиями или с неблагозвучными фамилиями.

Как-то, сидя в маленькой грязной кофейне, представлявшей, благодаря подвижности хозяина-грека, отрадный неподвижный остров среди этого бушующего океана, Учитель заинтересовался:

— А какое у нас сегодня правительство? украинцы, что ли?

Грек отчаянно цыкнул:

— Какие вы слова говорите! Мы, то есть все — только малороссы, а правительство у нас ростовское. Романовки вот как поднялись, а за украинки всего трешку дают за сотню, советские — и те дороже!

— Это меня молодит,— рассмеялся Хуренито.— Думал ли я, что на старости лет попаду к себе на родину!..

Айша спросил его:

— Господин, скажи Айша, Айша очень глупый, он не понимает почему они все говорят, что друг друга не любят, а делают одно дело, как братья родные?

— Милый Айша, ты не глуп, а слишком мудр, брось высоты своей африканской философии. Так хочешь отыскать некое различие там, где его и быть не может. Это уж твое дикарское дело — слушать речи и глядеть на флаг,— мы, люди культурные, больше интересуемся системами пулеметов. Конечно, было бы остроумней объединиться для этих работ, но чувство солидарности не имеет корней в данном цехе. Я представляю себе все выгоды «Профессионального союза тружеников, пытающихся захватить власть». Какая экономия сил и времени! Каждая секция получает город на один месяц, разрежает городскую скученность, борется с роскошью, способствует поднятию производительности труда наборщиков и маляров, так как печатает новый свод законов и на всех городских вывесках вставляет мягкие знаки, уничтожает твердые или восстанавливает «яти», потом мирно, собрав предметы преступной роскоши: знамена, свод законов и прочие пожитки, перекочевывает в другой город, уступая место товарищам-противникам. К сожалению, почва для такого объединения еще не готова, и ты должен примириться с тем, что конкуренты, кроме законного объекта, то есть обитателей, режут бессмысленно и друг друга.

Между тем пока мы болтались по городу, пили у грека кофе и философствовали, мистер Куль и m-r Дэле, времени не теряя, о чем-то меж собой усиленно совещались.

Следствие этих бесед было неожиданное, а именно: в одно утро, вполне спокойное и располагающее к идиллическим прогулкам, в комнату Алексея Спиридоновича явились наши солидные друзья, и m-r Дэле торжественно, но задушевно заявил:

— Великий час пробил! Дорогой m-r Тишин, вы мобилизованы!

Алексей Спиридонович еще пребывал, мечтая, в кровати. Услышав это, он вскочил и завопил:

— Что вы говорите? Господи! Но кем?

Мистер Куль важно ответил ему:

— Разумеется — не нами. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Для этой цели мы наняли одного отставного вахмистра, и он подписал указ. Друг мой, не горевать должны вы, но радоваться, ибо идете защищать культуру и свободу от варваров!

После сего, оставив указ и два доллара на обмундирование, они ушли. Алексей Спиридонович, который уже однажды защищал культуру от варваров, упав на кровать, начал голосить и делал это до вечера, когда Учитель и я пришли к нему.

Он рассказал нам о всех своих мучениях. Разумеется, большевики — варвары, их следует свергнуть. Но он против насилия, он почти толстовец, недаром святая София окончилась братом Айши. Кроме всего, ему страшно стрелять в своих, в русских. Правда, m-r Дэле заверяет его, что красные войска состоят изо всех, кроме русских,— из башкиров, киргиз, евреев, венгерцев, китайцев, латышей.

— Но все может быть — вдруг среди них затесался хоть один свой, русак? Господи, что делать?

Но делать было нечего. Получив от m-r Дэле винтовку и трехцветный флаг, а от мистера Куля библию и еще один доллар, Алексей Спиридонович отправился с тридцатью «добровольцами» брать у красных деревню Дырки.

Героической атакой, потеряв двадцать три человека, добровольцы заняли деревню и прилегающий к ней сахарный завод. К величайшему недоумению и ужасу Алексея Спиридоновича, ему пришлось заколоть штыком русского, и все трупы, найденные им в Дырках, походили не на китайцев, но на тульских и калужских мужичков. Мучения его удвоились. Ко всему, в Дырки приехали мистер Куль и m-r Дэле «благодарить и приветствовать славное воинство», причем мистер Куль разъяснил, что завод Кутуменко он приобрел за гроши, а m-r Дэле напомнил «освобожденным пейзанам» о необходимости честно работать для погашения всех долгов России, к коим прибавилась еще стоимость тридцати винтовок, двух флагов и жалованья вахмистру.

Все это так подействовало на Алексея Спиридоновича, что он бежал ночью из Дырок прямо на квартиру к Учителю, винтовку обменял на две бутылки самогона и в пьяном виде декламировал «Клеветникам России», при чем Айша должен был стоять заместо «клеветника», получая уничтожающие взгляды, брызги слюны и даже прикосновение рукой.

С этого дня Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться от вахмистра и от m-r Дэле. Он осунулся и опустился. Лежа целыми днями в кладовой Учителя, он мечтал о том, что если бы к свободе Керенского прибавить организацию Шмидта, доллары и высший дух, свойственный одному славянству, то было бы хорошо... А так — очень скверно!..

Мое положение не было лучше. У меня губы семита и подозрительная фамилия. Я мог в любой миг закончить свой трудный земной путь у облупленной стенки елизаветградского амбара.

Как-то ночью меня на улице остановили военные.

— Стой! Ты жид?

В ответ я выругался сочно и обстоятельно, как ругаются в Дорогомилове сдавшие заказ сапожники. Это показалось убедительным, и меня отпустили.

В квартиру Учителя, где жил и я, пришел некто в форме:

— Жиды, Христа распяли! Россию продали! — и сразу без паузы, деловито: — Этот портсигар — серебряный?

Даже Учитель поплатился. В один из традиционных «трех дней», когда особенно культивировался этот новый спорт, он вышел погулять. На улице он натолкнулся на застывшего в мечтательной позе военного.

— Жид! Иди сюда!

— Я мексиканец.

— В таком случае простите. Может быть, вы скажете, где мне найти хоть одного жида?

— Поищите.

— Вот несчастье. Все попрятались — с утра зря стою,— и, сняв с Учителя его меховую шапку, несчастный охотник пошел искать редкую дичь.

В общем Учитель тоже был скверно настроен. Уже в Москве я начал подмечать в нем усталость и апатию. Все же он держался стойко и даже свел дружбу со многими белыми, дольше других остававшимися в городе.

Один из них, подпоручик Ушков, был трогательным и очаровательным отроком. Он был помешан на романтизме прошлого, на трубных звуках старой гвардии, на победном шелесте великодержавных знамен. Идеи его были общи и убоги, но вело его креп-

кое патетическое чувство любви к былому. В его мыслях сливались: Куликовская битва, вербная суббота с огоньками, порхающими по московским улицам и переулкам, кремлевские соборы, бал с подругами сестры — институтками, Отечественная война, мама, елка — в одно цельное, страстно любимое, отнятое чужими людьми. Учитель говорил о нем: «Вот Евгений, бедный чудак, который не ждет, пока плоть всадника претворится в медь. Кто виноват, если Хулио Хуренито, отпихнув сценариуса, выскочил на пять веков раньше положенного, а тихий Ушков на столько же опоздал, пропустив пирушку с пуншем и великолепных офицеров, умиравших на полях Бородина, сводивших с ума парижанок танцами и усами, влюбленных в родных Наташ и в заграничную масонку «Свободу»?

В одном полку с Ушковым служил Давилов, молодой помещик, азартный игрок, но человек трезвых мыслей. Ушкова он звал «девчонкой». «Дело просто и ясно, без романтической чепухи: либо мы, либо они. Я предпочитаю погибнуть от пули, нежели тянуть лямку «пролетария» и подделываться под мерзкий мне язык. Если мы победим — мы будем жить, по-настоящему жить, как живали отцы и деды, с приемами у предводителей, с кутежами в «Стрельне», с тыщами на зеленом сукне, с разгулом, удалью, бесшабашностью, присвистом. Нет — погибнем, придут «товарищи» и разведут на пять веков такую скуку, что даже чистокровные русские мухи — и те сдохнут».

Третий приятель Хуренито, казачий хорунжий, был детина необычайного роста, с гигантскими ногами, прозванный всеми Танком. Танк глядел на гражданскую войну как на опасную и завлекательную охоту. Он гонялся за комиссарами, за атаманами, за всеми, кого мог нагнать, и в десятый или в сотый раз бриллиантовые серьги купчихи Ягодицевой, английские фунты спекулянта Айзенштейна перебегали в новые руки. «Наш, мексиканский,— с гордостью говорил Учитель, хлопая Танка, показывающего новую добычу — дутый браслет, по массивной глыбе спины.— Ты, брат, не на пять веков опоздал, а всего на три года. В семнадцатом году ты бы вдоволь порезвился. А теперь нельзя, теперь там Шмидты такую организацию развели, пошлют тебя вагоны выгружать, до предварительного еще все ящики пересчитают!..»

Несмотря на дружбу с описанными мною офицерами, Учителя не оставляли в покое: то контрразведка интересовалась, что именно он делал двенадцатого июля 1915 года, то осетины приходили выяснять в сотый раз его вероисповедание, по дороге захватывая старые брюки или чайный сервиз. Может быть, поэтому, а может быть, просто со скуки Учитель решил действовать и неожиданно для всех объявил себя претендентом на российский престол. Он доказал,

что является родственником расстрелянного императора Мексики Максимилиана, происходившего из Габсбургов, кои связаны с датским двором, а следовательно — и с Романовыми. О своем намерении воссесть на опустевший трон он довел до сведения местной контрразведки, Освага и иностранных держав. Контрразведка прекратила неприятные визиты, а один из ее сотрудников притащил даже по сему случаю Учителю бутылку мартелевского коньяку, не без удовольствия распитую нами. Осваг вывесил портрет Хуренито в своей витрине, о престоле, впрочем, дипломатично умолчав, чтобы не оскорблять деликатных чувств некоторых прирученных социалистов. Из-за границы Учитель получил телеграммы с пожеланием успеха, а также сто франков на мелкие карманные расходы. Обменяв эти деньги у мистера Куля на сто тысяч рублей, мы изумительно их пропили, при чем Айше попойка и главным образом рахат-лукум в кофейной грека так понравились, что он возымел безумное желание объявить и себя претендентом, чтобы получить сто франков.

Но сроки одиннадцатого правительства уже истекали. В городе началась обычная суматоха, к заставам потянулись телеги, груженные добром; все напоминало Москву в доброе старое время к началу каникул. Утомленные событиями и скомпрометированные монархическими выступлениями Хуренито, мы решили отправиться на дачу. Откуда идут враги и кто именно идет, мы не знали. Проделав верст двадцать, мы попали в деревню, занятую красноармейцами. Вытащив из-под подкладки пиджака старые, но почтенные советские удостоверения, мы благополучно миновали девять ОО (Особых Отделов) и двинулись на север, в Москву.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Немного противоречий

Путь наш до Москвы длился семь недель. После схем Шмидта увидали мы не страну, но чудовищную топь, с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, невыносимо нищую, на все речи, воззвания, манифесты отвечающую все тем же неистребимым «чаво?» — безразличья, косности, смерти.

Голодные, ходили мы по деревням, тщетно выклянчивая ломоть хлеба, отдавая за крынку молока жилеты, шляпы, часы. Даже брелок m-r Дэле («Вера, Надежда и Любовь») был обменен на яйцо, оказавшееся, впрочем, тухлым. Айша нас окончательно подводил, ибо вместо товарообмена начиналось либо патетическое бегство, либо

храброе изгнание поганых арапов. Все же иногда нам удавалось преодолеть недоверие, и тогда крестьяне сердечно с нами беседовали, давали кукурузные или ячменные лепешки, а за все брали какую-нибудь рубаху или кожаное портмоне.

Меня очень удивляла в голодающей стране эта жирная черная, поросшая ковылем, незасеянная земля. Собеседники наши, наоборот, находили это весьма естественным и даже успокаивали заверением, что в будущем году они засеют еще меньше: «Только-только самим не околеть. На кой ляд сеять-то, все одно загребут!»

— Пойми,— вразумлял меня Учитель,— от ста миллионов «чаво» требуют самоотверженного труда во имя непонятной им идеи. Кто требовал прежде смирения? Барин, купец, царь, но за всеми стоял бог с лестницей посредников, начиная от «заступницы» и кончая сельским дьячком. Бог не отбирал, он брал в долг, обещая на том свете все вернуть с лихвой. Кредитоспособность была безусловной. Все аскеты, бессребреники, схимники лишь меняли тленные ассигнации сорока или пятидесяти лет сомнительных земных радостей на «вечное золото» неба. Теперь им раскрыли, что дело именно в этих сорока годах, в хлебе, в марципанах, «кои жрал паразит», в перинах, в бабах, в театрах. Очень замечательно об этом гаркнул ваш поэт Маяковский:

Нам надоели небесные сласти.
Хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
Дайте жить с живой женой!

...Но вместо немедленных безмятежных часов с супругой и хорошего кусища хлеба предлагают осьмушку (и та вроде суглинка), сверхурочные работы, «субботники», «воскресники», беспрерывные повинности — схиму, вериги, подвижничество, причем никаких векселей на царство небесное не дают, даже наоборот, гарантируют червей в могиле, абсолютную бескорыстность. Кто-то — дети, дети детей, внуки, внуки внуков будут жить лучше!.. Идеалистический материализм оказался во сто крат труднее материалистического идеализма. Как же ты можешь удивляться тому, что сто миллионов не сделались супер-святителями? Дивись лучше тому, что нашлись тысячи новых подвижников, великих самосожигателей, жаждущих не отлететь с дымом в небо, а своими телами немного согреть замерзающий край.

В вагоне разговорились мы с одним приказчиком из Малого Ярославца, горбатеньким уродцем. Он очень своеобразно нападал на коммунизм.

— Что я? Образина! насекоемое с человеческим паспортом! Прежде я хоть мог надежду питать — разбогатею, зашуршу «катеньками», все наверстаю. Может, скажете, что за деньги нельзя было все захватить! Ошибаетесь! Хоть я ей и противен, а она будет юлой юлить, горб целовать, прыщ мой превозносить станет! А теперь что? За паек работать? Равенство? Так пусть они раньше всех родят ровненькими. Хорошо, за восемь часов работы — полторы селедки. А за горб, спрошу я вас, за унижение мое, за тоску — кто заплатит? Одно мне осталось — поступлю в чеку. И никто меня осудить не посмеет. Я там наживать себе буду не больше того, что другие даром на дороге подбирают. Не от жадности чекистом стану, а во имя священного равенства.

От всей поездки осталось у меня столь тягостное впечатление, что я жаждал более чем когда-либо бодрых, возвышающих речей Учителя. Но он хмурился и молчал. Такие периоды бывали у него и прежде, но тогда он работал над своими изысканиями, теперь же выражал откровенно утомление, безразличие, скуку. Я забеспокоился — не болен ли он? Хуренито улыбнулся: «Я не m-r Дэле, «Пинком» моих дел не поправишь!»

Только раз он нас утешил и ободрил. Купив за пять «косых» крохотную белую булочку, мы честно поделили ее на пять ломтиков и тщательно подобрали все крохи. Учитель сказал:

— Радуйтесь, друзья, вы познаете сейчас величие человеческого труда, святость созданного мозолистыми руками. Помните Париж накануне войны, задыхавшийся от избытка ненужных вещей, от труда, подобного пересыпанию гороха узником? Кто тогда мог понять божественную природу булки или сапога? Теперь возвращена вам начальная радость, и, потеряв сотни лживых идеалов, вы обрели достойные обожествления вещи. Вы топтали благословенную землю и шарили по небесам — не астрономическим, но размалеванным каждым не слишком ленивым жуликом. А под ногами у вас лежали радость, счастье, восторг, эти белые крохи, подобные лучшим из звезд. Вы презирали труд и преклонялись пред бормочущими бездельниками, не способными пришить пуговицу к своим штанам. Теперь произведена полезная экспертиза, фальшивые камни отделены от ценных.

Эти слова были единственным маяком за долгие месяцы плаванья. Учитель вновь замолк. С новыми разувереньями и с новой тяжестью вылезли мы на грязную платформу московского вокзала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О героизме, о скуке, главным образом
о нелетающем аэроплане

В Москву мы приехали утром в десятом часу. Выйдя на площадь, мы увидели караваны советских служащих, направляющихся в канцелярии, с мешками для пайков. Изредка проносились автомобили с персонами в чине не ниже заведующего отделом наркомата.

В продовольственном распределителе 93 выдавали по сто седьмому купону кислую капусту и фунт соли. Длинная вереница женщин, старцев, детей и чиновников, рискующих опоздать на заседания комиссий, молча стояла у входа.

На стенах бабка расклеивала «Известия». Какой-то длинноволосый, судя по саркастической улыбке — из «оппозиции», замерзая и переступая с ноги на ногу, читал очередную статью о мировой революции. Барышня продавала три карамели, но, очевидно, все, кроме нас, вздумавших прицениться, знали, что цена им три тысячи и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Только мальчишка не мог оторвать от них побледневших в экстазе зрачков.

Все знали также, что ждет их — бывших читателей «Русских ведомостей» — сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас надо по старым тарифам ухитриться составить новую смету так, чтобы Рабкрин пропустил ее, отослать назад с пустыми руками сто делегатов из провинции, приехавших за книгами или за машинами, составить отчет о бездельи прошлого месяца и план на безделье грядущего — словом, шагом на месте, вечным притоптыванием, шарканьем ног, бормотанием создавать видимость лихорадочной работы. Потом обед из воды и пши на первое и пши с водой на второе, потом брусничный чай с сахарином «Красная звезда», купленный на месячное жалованье, потом критика совместно с женой вполголоса советской власти, мечты о потерянном рае и печенье «Эйнем», наконец, сон в морозной конуре, под пахнущими псиной шторами. Все это было начертано на их опростившихся лицах.

Учитель сказал нам:

— Слышите, как пахнет бытом? Ничего, что быт бедненький. Он подкормится когда-нибудь. Радуйтесь, m-r Дэле,— теперь здесь ходят не на голове, но на обыкновенных, только сильно отощавших ногах.

Действительно, на этот раз возвращением в Москву остались наиболее довольны самые ярые враги революции — мистер Куль и m-r Дэле. Их с предупредительностью, достойной Парижа или Лондона, объявили «гостями Советской республики», поселили в хо-

рошей гостинице, кормили мясными котлетами и возили в литерную ложу Большого театра глядеть балет «Сильфиды». Всем этим, включая классические па обаятельных балерин, они остались вполне удовлетворены и, заважничав, стали разговаривать пренебрежительно не только с нами, но и с Учителем. М-г Дэле как-то вынес мне в коридор половину недоеденной по случаю плохого действия «Пинка» котлетки и сказал: «Вот благородный жест гостя республики!» Так как они удостаивали нас лишь краткими репликами, я не мог выяснить в точности, чем они занимаются, кроме вышеизложенного. Я узнал лишь, что мистер Куль играет по вечерам в бридж с важными сановниками и торгует у них крупные концессии: не то пол-Туркестана, не то восьмушку Сибири. М-г Дэле предложил Учителю попытаться переговорить с теми же дипломатами об «Универсальном Некрополе», но Хуренито отказался, мотивируя это выразительным: «Надоело!..»

Зато положение Эрколе пошатнулось. Он пришел к нам донельзя опечаленный. Тысяча чертей! Как все меняется! Его открыли! Пришел какой-то контролер, и ни Юпитер, ни Тритон не помогли. Ему, Эрколе Бамбучи, предложили заниматься... Как вы думаете — чем? Стрелять хлопушками? Развешивать флаги? Ничуть не бывало. «Производительным трудом!» Кровопийцы! Иезуиты! Зачем же тогда «совьеты»? Чем это не Германия? Выдали какую-то трудовую книжку, вписали туда, что он получил из Собеза пару старых штанов и лакейский фрак, и хотят еще вписать, сколько часов он проработал. Но для этого — идиоты! — нужно, чтобы он работал! Капитолий провалится, но этого не будет!..

Алексей Спиридонович после опыта в Дырках перестал ждать генералов и союзников. Все свои надежды он возлагал на то, что коммунисты окончательно засовестятся и после открытия бакалейных лавок разрешат выходить «Русским ведомостям». Тогда все пойдет изумительно.

Айша и я честно поступили на прежнюю службу, приставленные — он к революции Африки, я же к кроликами, ставшим, благодаря исключительной энергии В. Л. Дурова, за время моего отсутствия гораздо более сознательными.

Но, увы, работа меня не удовлетворяла. Я томился. В маленькой комнате подолгу я занимался метафизическими рассуждениями о том, что лучше: холод или дым? Склонившись в сторону последнего, я шел на двор, тащил тихонько дрова, привезенные соседу, владельцу магазина ненормированных продуктов, то есть сахарина и мороженых яблок, колол их и кое-как разжигал печурку. Тогда замерзшие стены начинали оттаивать, и я на кровати чувствовал себя, как в лодке среди Ледовитого океана. Затем в окно, куда выходила труба, начинал дуть ветер, печка тряслась и выкашливала

клубы едкого дыма. Я тоже кашлял, еще плакал и каялся. Потом в отчаяньи напяливал полушубок подозрительного происхождения и выходил на лестницу. Может быть, пойти в «Дом Печати» — там по одному бутерброду с кетовой икрой и диспут «О пролетарском хоровом чтеньи». Или в Политехнический музей — там бутербродов нет, зато двадцать шесть молодых поэтов читают свои стихи о «паровозной обедне». Нет, буду сидеть на лестнице, дрожать от холода и мечтать о том, что все это не тщетно, что я, сидя здесь на приступочке, готовлю далекий восход Возрождения. Мечтал я просто и в стихах, причем получались скучноватые ямбы:

Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.

Так шли дни. Никогда я не жил так честно, скудно, духовно и целомудренно. Вся Москва представлялась мне монастырем со строгим уставом, с вечным постом, обеднями и оброками. В самой скуке было нечто подвижническое, и только жиром обросшие сердца не поймут трогательного величия этого безумного народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае с низведенными на землю звездами, а потом занесенного мятелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол!

Учитель нигде не работал, ничего не делал, курил беспрерывно махорку и глядел прямо перед собой невидящими, как бы остановившимися глазами. Мне сказал он:

— Один поэт написал книгу «Лошадь как лошадь». Если продолжать — можно сделать «Государство как государство». Мистер Куль — в почете. Эрколе — курьер. На рассыпных папиросах и на морковном кофее герб мятежной республики «РСФСР». Французы написали на стенах тюрем: «Свобода — Равенство — Братство». Здесь на десятитысячных ассигнациях, которыми набивают себе карманы спекулянты и подрядчики, революционный клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я не могу глядеть на этот нелетающий аэроплан! Скучно! Тарарабумбия! Видишь ли, в чем дело, Эренбург, мне надо умереть, ибо я свои дела закончил!

От ужаса и тоски я не мог вымолвить ни единого слова, но, вцепившись в колено Хуренито, качал бессмысленно головой. Учитель же продолжал:

— Мне окончательно все надоело. Но умереть, как это ни странно, довольно сложное предприятие. Один болван зовет меня «гидом», второй — «компаньоном», третий — «другом», четвертый — «товарищем», пятый — «хозяином», шестой — «господи-

ном», а ты, седьмой — «Учителем». Что скажут все семеро, если Хулио Хуренито покончит с собой, как обманутая модистка? На всю жизнь их вера в коммерцию, в дружбу, в божественность будет поколеблена. Я не столь жесток. Я должен умереть пристойно. Для всякого другого это легко: достаточно иметь не соответствующие общепринятым убеждения. У меня же, как ты знаешь, никаких убеждений нет, и поэтому я выходил с веселой улыбкой из всех префектур, комендатур, чрезвычаек и контрразведок. За идеи я не могу умереть, остается одна надежда — сапоги...

Потрясенный страшными словами Учителя и непонятным упоминанием сапог, я решил, что он сошел с ума. Я хотел бежать за m-r Дэле, опытным в сих случаях. Но Учитель остановил меня и снова предложил полюбоваться высокими английскими сапогами, шнурующимися доверху, полученными им в Елизаветграде, когда он был претендентом на российский престол.

— Я могу погибнуть только из-за сапог. Беда в том, что большевики вывели из Москвы всех бандитов. Мне придется для этого поехать на юг, где нравы много проще. Ты и Айша поедете со мной. Его я люблю больше всех, тебя совсем не люблю, но ты будешь писать мою биографию и должен поэтому сопровождать меня до конца. Приготовься — мы едем завтра в Конотоп, это, кажется, очень уютный городишко.

От страха и муки я совершенно ошалел. Надо было попытаться отговорить Учителя или постараться для такого случая раз в жизни выдавить из проклятых желез хоть одну слезу. Но я, ничего не соображая, пошел к знакомым и получил соответствующие бумаги. В удостоверениях значилось, что мы едем в Конотоп «ликвидировать безграмотность».

Придя вечером домой, я печки не топил, стихов не писал, не мечтал, но, сидя в углу на корточках, до утра кричал: «Караул, караул! Учитель хочет умереть из-за сапог!..» И пел похоронный марш.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Смерть Учителя

Это был крестный путь. Есть смысл и величье в прехождении миров, эпох и людей. Я знал, что Учитель довершает изумительное здание своей жизни, что для потомства смерть его будет неизбежной и торжественной точкой на странице, которая не могла не быть последней. Но я любил его простой, животной любовью, как спосо-

бен любить только пес, подобранный на улице паршивым слепым щенком. И верный этому чувству, не думая о потомстве и не обращая внимания на смущенных пассажиров, я, закинув голову, долго и отчаянно выл.

Зачем я пишу теперь о моем горе, о моей слабости? Ведь не для того, чтобы поделиться своими жалкими переживаниями, я тружусь над этой книгой. Это — повесть о великом Учителе, а не о слабом, ничтожном, презренном ученике. Илья Эренбург — автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными задумчивыми глазами — выл на скамье вагона. Кто сможет вынести эту оскорбительную назойливую деталь, когда рядом с ним в том же вагоне готовился к смерти, крутя козью ножку и шутя с Айшей, наиболее достойный человек не века, но веков? Молчи же, подлое сердце, непристойными стуками не оскорбляй литургической чистоты этого неповторимого предсмертья!

Я не стану говорить ни о горе Айши, ни о приезде нашем в маленький городок, ставший отныне бессмертным. Все произошло так, как было предвидено Учителем. Двенадцатого марта под вечер сидели мы на скамье длинного бульвара, который идет от вокзала к центру города. Учитель, тщательно выбритый и торжественный, повел нас гулять. Если бы не его разодранный пиджак, я бы чувствовал себя вновь секретарем посла Лабардана. Мне даже показалось, что Учитель передумал и собирается не умереть, но объявить себя царем, президентом или негусом какого-нибудь великолепного государства. Но он обратился к нам со следующими словами, последними словами Учителя:

— Весьма вероятно, сегодня какой-нибудь бандит прельстится моими сапогами. Товарищ Ольтенко сказал мне, что грабежи в городе усилились. К сожалению, потомство не узнает его имени. Я вижу ясно в 1980 году памятник, воздвигнутый этому неизвестному избавителю государств бывших, сущих и грядущих от мексиканского бандита Хулио Хуренито. Жаль, что я не смогу положить к его ногам венок — это очень приятное занятие. Для этого и для многого другого ты, Эренбург, отправляйся после моей смерти в какое-нибудь тихое место и, времени своего, никому не нужного, не жалея, но и строк бессмысленно не нагоняя (ты это любишь делать), опиши все, что знаешь о моей жизни, беседы, труды и анекдоты — анекдоты предпочтительно. Давно уже место эпопеи или проповеди занял блаженный анекдот — он ключ в сокровищницы человечества. Над этой книгой умные будут смеяться, глупые негодовать. Впрочем, и те и другие мало что поймут в ней. Тогда не печалься над своей бездарностью. Понять меня — дело вообще трудное. В самом начале угрюмого дня я говорил уже, забегая

вперед, как пес, принюхиваясь, о дне завтрашнем. Алексей Спиридонович как-то спросил меня, неужели я так ненавижу эту жизнь?.. Нет, не ненависть, но величайшая нелюбовь опустошила мое сердце. Стройте! Трудитесь! Растите! Я не зову вас назад, бомб не подсовываю и, снявши штаны, пасти овец по примеру Раймонда Дункана не рекомендую. Дорогой Айша, верь мне, ты самый прекрасный изо всех людей, встреченных мной в жизни. Но не твоим детством спасается мир. Ты уже десять раз «защищал культуру», ты судишь в подотделе, любишь самопишущие перья и граммофоны. Словом — порядок времен года и прочее. Чтобы спираль мира ринулась к новому счастью, должен быть описан круг столетий, круг крови, пота, угля, железный круг.

...Я вижу полдень этого встающего дня. Парфенон будет вспоминаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами любой водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величьи бетона и в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса. Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом. Ибо строят не те, у кого избыток камня, но те, кто эти невыносимые каменья решается скрепить своей вязкой кровью. Я это предвижу, но не радуюсь.

...Мне хочется в последние мои часы прозреть иное, следующее, туманное. Вот идет человек с папкой бумаг. У него сзади в специальном карманчике браунинг. Но бойтесь, это не бандит, это честный чиновник. Утром он, отстукав нечто на машинке за номером, расстрелял человека, с ним не согласного. Сейчас он пообедал и бодро идет на заседание. Видите рядом с ним кошку? По всей вероятности, она тоже съела сегодня какую-нибудь мышь. Позвольте мне преклониться перед кошкой, перед Айшей, перед отсутствием номеров и посмотреть вперед — неужели там не кошки, а лишь номера, номера, даже кошки за номерами? Мир замкнут для человека. Что ему не только Марс, но лошадчество? О звездах он думает лишь в дни влюбленности как о специальной небесной иллюминации. Новые миры — это снаряжение экспедиции на Южный полюс. Он отъединился, замкнулся, утерял гармонию. Человека можно заставить ходить по канату, но как только уйдут зрители, он шлепнется на мягкий песок арены. Вне гармонии нет свободы, нет любви, нет преодоления смерти. Либо мистер Куль научными средствами выводит со света, как тараканов, Айшу, либо Айша запросто в семейном кругу завтракает бедрышком мистера Куля. Или обоих их запрягут в одно ярмо, и они будут, ненавидя друг друга, всех и все, тащить праздничную колесницу «освобожденного человечества». Или Эрколе чешет пуп на виа Паскудини, или вечный военный смотр Шмидта. Бегут от смерти, ищут ее, но никто не

засыпает просто, все дергаются и прыгают. Вместо любви — приходо-расходная книга — близости, помощи, измен, отчуждений. Вне гармонии нет жизни, но лишь существование людей и племен. Вот m-r Дэле тоже гармонию поминал. Для него это разумная диета, средняя из всех сложенных в одно мировых единиц. Не об этом, конечно, говорю я, но о потерянном ощущении, необходимом для прекрасной жизни, в ладе вселенной.

...Я не знаю, как оно будет обретено,— в лабораториях, среди стихийной катастрофы или последним напряжением разумной воли. Я не знаю, когда придет этот час свободы, восторга, бездумья. Я знаю, что он придет. Еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную стрелку событий, войн, революций нашего не лю́бого мне дня.

...Делайте это как умеете. А мне что-то больше не хочется. Я сыт по горло, в животе тяжесть, словом, величайшее несварение, которое потрясло бы даже нашего Дэле. Прощайте, друзья мои! Берегите свое здоровье! С трупом моим не возитесь! Еще — кушайте в Москве простоквашу, это ненормированный продукт и очень рекомендуется для бессмертья.

Кончив говорить, Учитель съел мороженую грушу, вытер лоб красным фуляровым платком, Айшу поцеловал, мне же подарил обкуренный пенковый мундштучок и, приказав нам сидеть на скамейке, пошел вперед по пустынной улице. Я дрожал и хныкал.

Вскоре раздался чей-то резкий крик, свист и близкий выстрел. Айша бросился бежать, догоняя Учителя, я же свалился под скамью и там, свернувшись, замер.

Через четверть часа я выполз и решился пойти на розыски. В ста шагах от скамьи я увидел Учителя, лежавшего в канаве с окровавленным лицом. Он был мертв, а сапоги его сняты с сиротливых холодных ног. Я упал рядом, не выпуская из рук его ноги в полосатом заштопанном носке.

Прибежал Айша, размахивая своим большим африканским ножом. Он хотел нагнать убийцу, но тщетно.

Что делать с останками Учителя? Не звать же милиционера, подменивая величайшую мистерию гнусным протоколом. Пользуясь безлюдьем и темнотой, мы понесли тело Учителя за город, в поле. Там с помощью ножа Айши мы всю ночь рыли яму.

Когда все кругом дрогнуло от подступающей зари, могила была готова, и смутная полоса рассвета как бы напомнила нам о пророчествах Учителя. Я нашел кол, вбил его и привесил мою трудовую книжку,— ничего другого у меня под рукой не оказалось,— надписал на ней:

«Осторожно! Здесь погребен Учитель Человечества Хулио Хуренито, убитый 12 марта 1921 года, в 8 часов 20 мин. пополудни».

Наверное, теперь не осталось и следа его священной могилы.

Пока мы работали, напряжение и мелкие заботы заслоняли от меня случившееся. Но когда мы вернулись к вокзалу и я понял, что мы поедем сейчас без Учителя, что никогда больше я не услышу его ровного любимого голоса,— я закричал от боли. Напрасно Айша пытался успокоить меня, говоря, что Хуренито теперь стал богом и живет в других людях. Это были жалкие и недостойные его имени бредни. Я знал — он умер навек, навсегда. А я остался, и у меня нет сапог, а если б и были, я бы спрятал их, скрылся, жил бы все равно...

В безумии кинулся я к какой-то торговке пирожками и, опрокинув лоток, завопил:

— Поймите, Учитель умер! умер из-за сапог! Я не переживу этого! (Как читатель видит, последнее было не реальной угрозой, но лишь образом, выражавшим беспредельность моей скорби.)

Меня побили, отвели в комиссариат, а вечером выпустили, и мы поехали в опустевшую Москву, в мир, потерявший право крутиться, кружиться, нестись без смысла и без конца.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

и, по всей видимости, ненужная

Может быть, мне следовало бы остановиться на смерти Учителя и не начинать этой главы, тусклой и скучной, не озаренной его присутствием. Но все увиденное мною в Европе столь потрясло слабое мое воображение, что я не считаю возможным скрыть патетическое и неуравновешенное состояние, предшествовавшее написанию этой книги.

Вернувшись в Москву, я созвал друзей, чтобы сообщить им о смерти Учителя. Мы собрались в его комнате, и, казалось, ласковый, насмешливый его образ был неотступно с нами. Горько плакал Алексей Спиридонович, вспоминая все свои размолвки с Учителем, приступы недоверия, слабости, отступничества:

— Я клятвопреступник! — кричал он.— А бандит этот да будет заклеймен цареубийцей!

Monsieur Дэле не мог спокойно слышать моего рассказа о яме со вбитым в землю колом:

— Такой порядочный человек, мой компаньон — и хуже чем по шестнадцатому классу!.. Страна варваров — вот все, что я могу сказать!

Горюя, плача, вспоминая слова и привычки Учителя, мы мало-помалу перешли к вопросу о нашей будущности. Несмотря на

различные дела и занятия, только присутствие Учителя объединяло нас и прикрепляло к Москве. Мистер Куль, хоть он и наладил кой-какие дела, был не прочь переменить котлетки «гостя республики» на устрицы и лангусты Ваттеля. M-r Дэле ежеминутно поминал свою прекрасную родину: «la belle, la douce France», Зизи, Люси и горошек. Эрколе тоже скучал без римского солнца, без вина, без вывески виа Паскудини. Алексей Спиридонович ни о чем, собственно, не тосковал, плотские нужды презирал, но жаждал эмигрировать, чтобы «спасти свободу духа от растлителей и насильников». Я до его высот подняться не мог, и высшей приманкой для меня оставалась чашка скверного кофе с дешевым «маром» на террасе моей незабвенной «Ротонды». Кроме того, я чувствовал, несмотря на узкий эгоизм и преобладание животных инстинктов, мой долг пред человечеством,— ведь мне завещано Учителем написать историю его глубоко назидательной жизни. Писать же в Москве или вообще в России было трудно,— много времени поглощали если не сами кролики, то комиссии, им посвященные, получение различных пайков и раздобывание на тайных базарах четверки табаку. Даже бумагу, потребную для столь большой работы, найти было нелегко. Кроме того, я отощал и с трудом мог сосредоточиться на возвышенных мыслях Учителя. Наконец атмосфера творимой истории мало благоприятствовала тихому труду летописца. Я знал, что стоит мне попасть в «Ротонду», выпить несколько рюмочек, закричать: «Garçon, de quoi écrire!» [1] — и тотчас же быстрая рука начнет заносить на забрызганные кофеем листочки священные проповеди Учителя. Что касается Айши, то, потеряв своего господина, сиротливый и беспомощный, он готов был следовать за нами, безразлично куда.

Итак, все мы, введенные Учителем в чистилище революции, теперь жаждали вернуться в уютненький ад, или, если это определение покажется неблагоразумным, в непроветренный рай. Сделать это было не столь легко, но, к счастью, Шмидт тоже собирался за границу, правда руководясь соображениями особыми и от нас скрываемыми. С его помощью мы получили паспорта и две недели спустя в хорошем рижском ресторане пожирали жирные свиные котлеты, одну за другой, все, включая и m-r Дэле, потеряв какое бы то ни было чувство меры.

Наши челюсти, а кругом десятки других, звучно, дружно, торжественно работали. Засыпающие музыканты честно играли «Пупсика». Мистер Куль, подманив к себе, как собачку, скромную девицу, дал ей доллар и получил все, что за оный полагалось. M-r Дэле, разговорившись с соседкой на темы политические, был немало

---

[1] «Официант, бумагу, чернила!» *(фр.)*

растроган выдачей Германией молочных коров союзникам, он шептал: «Справедливость восторжествовала!» Это был вечер восторгов и примирений, широких объятий, раскрытых для встречи блудного сына. Наши общие чувства хорошо выразил мистер Куль, подняв бокал с поддельным шампанским: «Друзья, за торжествующую цивилизацию!»

От волнения я вышел на балкон проветриться. Вот она, мудрая, вечно прекрасная Европа! Нежно замирало чавканье, задорный «Пупсик» и чмоканье лобзаний. Все покрывалось величавым храпом, с присвистом, бурчаньем, подсапыванием. M-r Дэле, Рига, Европа, покушавши и поерзав на брачном ложе, заработав хлеб насущный и попытавшись отнять хлеб у другого, ибо «не хлебом единым сыт человек»,— мирно спали. Я окончательно расчувствовался и начал петь «баю-баюшки-баю», но голоса не соразмерил. Подошедший лакей попросил меня занятие это прекратить, ибо я беспокою все двадцать отдельных кабинетов.

Через несколько дней начались трогательные расставания, слезы, обещания присылать открытки с видами. Правда, выехать было не совсем просто, так как Европа за время нашего отсутствия обогатилась институтом хоть обременительным, но, безусловно, разумным, а именно, «визами». Действительно, давно существуют дверные цепочки, строгие швейцары и тщательно изучаемые визитные карточки. Если такую осторожность проявляет простой обыватель, каким безумием было со стороны государства впускать в свои врата чужеземцев, не осмотрев предварительно, симпатичны ли у них физиономии, подходящие ли убеждения и достаточно ли толстые бумажники! Благодаря этому нововведению выехали мы не сразу, но постепенно, как бы подтверждая правоту иерархии национальной.

В первом классе, разумеется, очутились мистер Куль и Дэле, а когда все уж разъехались, Алексей Спиридонович и я долго выстаивали еще положенные часы в приемных консульств больших и малых держав. Но мы сами понимали правоту этого деления, и Алексей Спиридонович на вопрос о подданстве отвечал, как бы извиняясь, неопределенным жестом: «Так, знаете... одна страна... на Востоке...»

Однако не месть, а милосердие царили в государствах культурных, и, почтительно простояв положенное время, даже мы получили визы. Пожав руку швейцару консульства, который за месяц успел ко мне привыкнуть, как к вещи, я еще раз преклонился пред дивной чинарой, принявшей в свое лоно дубовый листок, я хотел даже сказать об этом швейцару, но вовремя вспомнил, что страна Ронсара не любит варварских поэтов, и тихонько вышел.

Итак, круг описан — я еду в дорогой, любимый, возвращенный Париж!

Вся дорога была для меня после долгих лет войны и революции одной непрерывной демонстрацией торжества мира, порядка, благоразумия, цивилизации.

Я пробыл неделю в гостеприимном Копенгагене, и хотя, по трезвенности характера, его мистичности, воспетой, кажется, Бангом, не заметил, но зато был потрясен богатством витрин и избытком яств. Люди, которых я встречал на улицах, были толсты, красны и веселы. После московских «раздумий» я чувствовал благоговейное умиление перед каждым круглым животиком, мерно раскачивающимся в уютном жилете. В кафе «Тиволи» я увидел, как лакей, наливая себе чашку кофе, предварительно сполоснул ее жирными, густыми сливками. Я даже привстал от восхищения. Где-нибудь в Вене или в Петербурге сейчас умирают тысячи детей, не имея молока, а здесь оно течет, как в Аркадии, никому не нужное. Здесь не устраивали революций, не тщились переделать мир — нет, здесь честно торговали, проводили в Риксдаге законы и пасли коров. Какая поучительная история для наших детей о мальчиках — пае и шалуне! Можно ли после этого не крикнуть в ярости: «Прочь, герои, полководцы, поэты, революционеры, сумасброды всех мастей, да здравствует честный коммерсант!»

В Лондоне я ходил по улицам, как по храму,— на цыпочках и сняв шляпу: я был вновь в исконной стране права, свободы, неприкосновенности личности, в стране Habeas corpus'a. Какое достоинство, какая независимость на гордых лицах даже мелких клерков Сити! Я вспомнил, как английские полисмены били палками по голове батумских жителей, нарушавших опубликованные правила. Теперь в Лондоне я понял, что виноваты малокультурные русские, грузины, турки, не заслужившие Habeas corpus'a и достойные глубоко воспитательной дубинки.

Мой энтузиазм достиг высшего предела, когда я увидел наконец дорогой Монпарнасс и «Ротонду». Хотя нравы в ней изменились, как подобает это человеку, вошедшему в возраст, я все же почувствовал себя в родимом гнезде. Зачем было мечтать, тосковать, скитаться, чтобы вернуться вновь к круглому столику с горкой блюдечек? Но здесь я ощутил с особенной силой невозвратимую потерю. Как мог я без Учителя осмыслить эту рюмку, этот город, всю жизнь? Вместо стройной картины предо мной мелькали яркие точки пуантилистов, издали создавая иллюзию предметов, но не давая глазу твердой опоры.

Милый Париж был все тем же. Огни кафе и реклам реяли, как верные маяки, зажигаемые неслабеющей рукой сторожа. Текли рубиновые и изумрудные аперитивы. Депутаты, героически напряга-

ясь, сбрасывали кабинеты министров, поэты писали безукоризненные стихи о грудях и бедрах. В маленьких журнальчиках отчаянные революционеры раз в неделю громили, впрочем, малочувствительное к этому правительство, и чиновники сберегательных касс вносили в бережно обернутые книжки новые путеводные нули.

Но появилось и много нового. Мужчины щеголяли костюмами в талью, с грудями и задами, свойственными скорее другому полу, что объяснялось модой на любовь, несколько отличную от общепринятой. В кабаре и в салонах танцевали новый танец «фокс-тротт», основанный на ассоциативных раскачиваниях. Наконец газеты открыли не известный в былое время и весьма увлекательный спорт — конкурсы маршалов.

Через несколько дней после моего приезда я был совершенно ошеломлен зрелищем воистину прекрасным. Было объявлено состязание между двумя знаменитыми боксерами, французом и англичанином. Париж — столица мира, а за ним все города Европы и Америки, затаив дыхание, ждали исхода. Я отправился с Алексеем Спиридоновичем поглядеть этот великий поединок. На арену вышли два очень здоровых больших человека. Все замерли, понимая, что сейчас решаются судьбы мира.

Сначала англичанин, раскачавшись, ударяет француза по лицу. Он выбил зуб и окровавил его... Алексей Спиридонович стонет: «Господи, что же они делают! Лицо! Лик! Подобье божье... Не могу!..» Начитавшись Толстого, бедняга перестал понимать красоту войны, государственной мощи, искусства, бокса, словом — всего, чем человек отличается от какого-нибудь барана. Я не спорю с ним, увлеченный борьбой... Удары сыплются один за другим. О каждом радиостанция немедленно сообщает всему миру. На площадях Лондона и Нью-Йорка, перед гигантскими экранами стоят толпы, обсуждая вес и значение кулака, выбившего зуб. Заключаются пари на миллионы долларов и фунтов. На пароходе «Тюрбания» в Тихом океане пассажиры толпятся у приемника, взволнованные тем, что француз получил уже второй удар в подбородок. Я знаю, что нахожусь сейчас в центре вселенной. Но вот француз, собравшись с силами, ударяет англичанина в нос. Кровь бьет. Громадный детина падает наземь. Knock out. «Vive la France!» Я выбегаю на площадь. Какое ликование! Зажжена иллюминация. Над Парижем летают три аэроплана, разбрасывая бюллетени победы. Трубят трубы, женщины кидают цветы. Вот истинный праздник национального самолюбия, справедливо удовлетворенного!

Вечер бокса после всех восторгов, испытанных мною в предшествующие дни, окончательно оглушил и опьянил меня. Я потерял душевное спокойствие. Я бредил, безумствовал, я готов был упасть на мостовую, целуя древние, седые камни. Тогда неизвестные мне

друзья решили спасти меня. Кто бы они ни были, я знаю одно — чувство любви к человечеству, к русской поэзии, ко мне руководило ими, и я буду вспоминать этих таинственных благодетелей, пока человеку дано жить и помнить. Они поняли, что я слаб телом и духом, что мне нужен покой, чистый воздух, они предложили мне немедленно переехать в иные края.

Я отправился в радушную Бельгию и здесь, опомнившись от избытка впечатлений, приступил к труду, возложенному на меня Учителем. Но прежде нежели описать мою жизнь в эти месяцы, я должен рассказать все, что известно мне о судьбах моих друзей.

Мистер Куль продолжает торговаться с представителями России. Кроме того, он обеспечивает человечеству длительный мир. Уж древние знали, что для этого нужно готовиться к войне. Мистер Куль как высокий гуманист нашего века выполняет означенное со свойственной ему энергией. Вновь оборудованные заводы и верфи работают вдвое интенсивнее нежели в дни войны. Пущены в ход все изобретения, сделанные Учителем в 1915—1916 годах. Мистер Куль одновременно не забывает и чисто этических заданий — он пишет трактаты о преимуществе мира и работает в семнадцати комиссиях Лиги Наций.

Я считаю его деятельность залогом благоденствия и мирного расцвета. Не без его содействия разоружена окончательно Германия, и, конечно, ее примеру поддадутся и другие державы. Отчего-то происходят в Европе различные мобилизации, какие-то полудикари еще продолжают в Силезии, в Литве, в Турции и иных местах следовать по былым путям, не понимая совершившегося переворота, но мистер Куль пишет мне:

«Я счастлив. Религия укрепляется. Доллар стоек. Мое хозяйство процветает. На снарядах, изготовляемых моими заводами, марка — олива мира. Да разнесут они когда-нибудь благую весть во все земли, острова и материки».

Не хуже его живет m-r Дэле. Он очень быстро оправился от пережитых потрясений и, не возобновляя деятельности «Некрополя», стал во главе бюро, организующего экскурсии на места недавних боев, под названием «Veni — Vidi — Vici». Многие американцы, англичане, а также французы обоих полов, тщательно избегавшие близости фронта несколько лет тому назад, теперь образумились и проявляют к нему живейшее любопытство. На севере Франции находится широкая полоса, совершенно разоренная боями, с остатками укреплений, с зарослями проволочных заграждений, с рощами крестов, где ютятся в жалких бараках разоренные жители. M-r Дэле сразу оценил высокопатриотическое и коммерческое значение экскурсий. Мужчины и дамы в комфортабельных автомобилях выезжают из Парижа. В Вердене они осматривают развали-

ны и кладбища, а также плотно завтракают. Потом едут дальше. На местах, где шли особенно ожесточенные бои, m-r Дэле устроил небольшие кафе; там можно выпить замороженный оранжад и надписать открытки с видом пустыни. Дальше — обед в Реймсе. Продажа сувениров из осколков снарядов и спокойное возвращение домой.

«Мой друг, я снова нашел сладость жизни. Я делаю не только выгодное, но и величайшее дело: я пропагандирую героизм. Мой домик цел и требует лишь небольшого ремонта. Я взял в экономки молоденькую девушку, m-lle Габриэль из Аркашона. Не жалейте меня,— я еще бодр и, несмотря на свои пять десятков, полон порыва!.. «О, как ужасна жизнь»,— восклицал царь Эдип (m-lle Габриэль повела меня вчера по случаю своих именин во «Французскую Комедию»,— это серьезная особа, но она знает и... остальное). Я же воскликну: «Как она прекрасна!..»

Судьба была менее милостивой по отношению к Эрколе. Еще в Риге он был арестован, ибо, придя в первоклассный ресторан и тщательно закусив, он по счету, разумеется, не заплатил, а пригрозил немедленно, здесь же в ресторане, устроить такой «совьето», что столы и те побегут. Тогда его выпустили. Но недавно в газете «Джорнале д'Италия» я прочел о том, что в Риме на виа Паскудини во время стычки между социалистами и фашистами был задержан некто Эрколе Бамбучи, который стрелял и в тех и в других, а допрошенный заявил, что всем он одинаково сочувствует, но больше всего на свете любит скандалы и бенгальский огонь.

О Шмидте я тоже знаю лишь по газетам — он задержан германской полицией во время последнего неудачного восстания.

Айша занимает должность несколько необычную, а именно — m-me Жоб, жена разбогатевшего во время войны подрядчика, наняла его гувернером для своей любимой собачки, брюссельского шпица по кличке Виктуар. Айша должен воспитывать в собачке любовь к порядку, выводить ее гулять, чистить ей зубной щеткой зубы и купать ее в грязевых ваннах, так как Виктуар страдает ишиасом.

M-me Жоб приезжала недавно в Остэнде, и мне удалось повидать Айшу. Он относится к своему делу с таким же рвением, с каким работал год тому назад в подотделе пропаганды. В восторге показал он мне специальные собачьи калоши, которые надевает Виктуар в сырую погоду. Я вполне разделил его чувства. Можно ли после этих калош оспаривать мировой прогресс?

Хуже пришлось бедному Алексею Спиридоновичу. С открытым сердцем кинулся он к русским эмигрантам, но там его встретили далеко не дружелюбно. Конечно, он сам в этом виноват. Так, например, он принялся скучно рассказывать свою жизнь некоему почтенному академику, но тот его сразу ошеломил вопросом:

— Все это мелкие детали, а вот расскажите-ка лучше, как коммунисты варят щи из пальчиков младенцев?

Алексей Спиридонович ответил, что хоть большевики и варвары, ибо запретили ему читать Чехова курсантам, однако насчет щей он слышит впервые и никаких данных представить не может. Академик рассердился.

— А позвольте узнать, вы какого вероисповедания?

— Православный.

— Сословие?

— Дворянин.

Это показалось академику уже вовсе неправдоподобным, и в ответ последовала длительная гримаса, достойная лучшей из академий.

Через несколько дней в одной эмигрантской газете было напечатано о том, что большевик Тишин был комиссаром чрезвычайки в Самарканде и пытал с помощью сахарных щипцов местных лавочников. Возмущенный Алексей Спиридонович написал тотчас же «письмо в редакцию», но, очевидно, от волнения (ибо в России из протеста даже начертал упраздненные буквы на обоях своей комнаты) в слове «сведение» поместил вместо двух «ятей» одно. Прочитав это письмо, редактор окончательно уверовал в свое собственное творчество.

Несмотря на все это, Алексей Спиридонович жаждал общения с честными русскими эмигрантами из группы «Час близится». Наученный опытом, против щей он больше не протестовал, даже излагая различные способы их изготовления. Впрочем, эмигранты, состоявшие из демократических черносотенцев и монархических социалистов, были очень заняты и не могли уделять много времени задушевным беседам. По утрам они выстаивали длинные панихиды по особам коронованным. Потом они шли к симпатичным румынам или полякам и доказывали необходимость немедленно уничтожить всех большевиков, среди которых нет ни одного русского. Вечером, прочитав в газете, что японцы убили одного русского, они шептали: «Наверное, большевика» — и умилялись. А ночью трудолюбиво ели «кавьяр рюсс» и пили шампанское за грядущее «возрождение», за великого генерала и за скромного, но честного труженика — городового.

Алексею Спиридоновичу пришлось в этом обществе туго: панихиды он, правда, любил, но японцев смертельно боялся, а на «кавьяр» денег не хватало. Денег вообще не было, даже на хлеб. Тщетно он искал себе заработка и, голодая, вспоминал «пшу». Наконец, познакомившись на улице с агентом частного сыска, он нашел место, которое хотя и обеспечивает его материально, но причиняет ему ужасные моральные терзания.

Он живет в квартире некоей госпожи Диркс, в тайном темном чуланчике, причем никто, кроме этой дамы, о его существовании не ведает. Столь странный образ жизни объясняется вовсе не развратностью госпожи Диркс, но ее чрезмерной привязанностью к семейному счастью. Супруг ее весьма легкомыслен, и Алексей Спиридонович должен повсюду его сопровождать, докладывая о замеченном госпоже Диркс.

Я приведу открывок из письма моего друга, характеризующий его душевное состояние:

«...Брат мой, где ты? Я погибаю! Я не буду говорить о простом страхе, что хозяин, то есть муж хозяйки, наконец, обнаружит меня, заслуженно оскорбит, побьет. Но зачем я бежал от палачей человеческого духа? Неужели, чтобы следить, не изменяет ли этот рыжий биржевик своей половине? Где же жизнь? где святые идеалы? Поруганы, осмеяны, убиты! О, как был прав Хуренито, доказывая мне, что ничего нет, что нет даже — страшно вымолвить — человека! Он ушел в небытие, в Лету, в Нирвану, а я остался. Скажи мне, что делать, зачем жить?..»

Получив это письмо, я сам заколебался. Мои первоначальные восторги несколько умерились. Я начал спрашивать себя — не предаю ли я Учителя?.. Письма друзей, тяжелые воспоминания последних лет, наконец необузданный рост культуры смущали меня. Я даже подыскал пару сапог, похожих на те, что избавили от жизни Учителя, и написал цикл стихотворений, для посмертного издания. Но быстро я собрался с силами, зная, что мне предстоит великое задание — рассказать о жизни Учителя.

Теперь я кончил эту книгу. В душе моей пустота и покой. Я вновь пережил прошедшее год за годом и восстановил побледневший было образ Учителя. Я больше не боюсь предать незабвенного Предателя. Я не убегаю трусливо от неодолимых противоречий, ибо ими жил и дышал Хуренито. Предо мной проходят Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука.

Обильная седина, частые перебои сердца, слабость — утешают меня. Я миновал уже трудный перевал, и, может быть, недалек тот час, когда я смогу больше не просыпаться, не мыться, не обедать, не писать, даже не вспоминать. Мой долг выполнен: книга написана. Я знаю, что она оттолкнет от меня всех, кто из чрезмерной любви к литературе еще тщился понять и оправдать меня. Какой консул теперь положит на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня за порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки? Одиночество, отверженность ждут

меня. В рассказе об истинных событиях, в передаче искренних чувств безжалостные Фомы увидят гнусный пасквиль, и даже имя мое станет презренным. Да будет так! Я плохо жил — и счастливый заказ был бы нелепым и оскорбительным диссонансом.

Кругом меня сейчас — жизнь, тихая, ровная, как бы тысячелетняя. По утрам кто-то играет гаммы. Потом звонят к обеду. Я ем суп, мясо с картошкой, компот. Дамы, живущие в пансионе, показывают на меня: «Странный тип». Я молчу, курю трубку, немного гуляю, немного читаю адюльтерные рассказы Рони или «Теорию относительности» Эйнштейна в популярном изложении. Наконец завожу часы, кладу на столик трубку и ложусь спать.

Так живу я, нехорошо живу, но не стыжусь и не отчаиваюсь. Конечно, я умру, никогда не увидев диких полей с плясками, рыком и младенчески бессмысленным смехом наконец-то свободных людей. Но теперь я бросаю семена этой далекой полыни, мяты и зверобоя. Неминуемое придет, я верю в это, и всем, кто ждет его, всем братьям без бога, без программы, без идей, голым и презираемым, любящим только ветер и скандал, я шлю мой последний поцелуй. Ура просто! гип-гип ура! вив! живио! гох! эввива! банзай!

Трах-тарарах!

Июнь — июль 1921 г.
La Panne

$$X = -\frac{P}{2} \pm \sqrt{\frac{P^2}{4} - q}$$

Цыплёнки тоже хочут жить...
Современная песня

ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КУРБОВА

1

Воздвиженка. Казенный дом, с колонками, рыжий, дом как дом. Только не пешком — автомобили; не входят — влетают, и все с портфелями. Огромный околодок: кроме нашего Ресефесера, еще с десяток республик — аджарских, бухарских, всяких. А вывеска простенькая — как будто дантист — заржавела жестянка:

«Ц.К.Р.К.П.»

Вот где ее гнездо! Отсюда выходят, ползут в Сухум и в Мурманск. Скрутили, спаяли, в ячейки свои положив, расплодились, проникли до самых кишок, попробуй — вздохни, шевельнись не по этим святым директивам!..

Стучат машинки: цок, цок, цок!

— Товарищ, заготовьте бумаги в Цус, в Цос и прямо в Снабарм!

Резолюция при двух воздержавшихся.

— На подпись инструкцию.

— Занести в исходящие.

А в подъезде бабка плачет:

— Да как же? Куда же? Угла лишили... вселили... охальник машинку принес, прямо в ухо пущает!..

Злится курьер:

— Иди в жилищно-земельный, знаешь кто здесь? — Цека!

— Я туды и сюды...

Дверь прикрыл — мороз напускает. Не скажет.

— В Тамбовском уезде убиты четыре товарища.

— Губком доносит, что все расстреляны.

— Тезисы по борьбе с церковью...

— Детская смертность в немкоммуне.

— Цифры?

— Умер от тифа товарищ Зыков...

— Послать другого.

— Куда?

И надо всем — одно слово, тяжелое, темное слово:

«Мандат!»

Оргбюро. Распределенье работы. Толпятся с портфелями, оброс-

шие, обмотанные. Ведь когда-то ходили в пивные, заедали моченым горохом и воблой, читали альманахи «Шиповника», даже влюблялись, охали, а теперь нельзя — ну как на своей кровати перевернуться с боку на бок? — «инструкция»...

— В Наркомпрос двое, в Рабкрин трое. Вы, товарищ Блюм,— в Туркестан.

Целый час уже распределяют, отсылают, машинистки стучат. Мандаты. Стемнело, пыльная лампочка, махорочный дух, чайная чашка с отломанной ручкой, даже уют, семейственность, после мороза. Всюду послали, только осталось в чеку, трудное дело. Кому же охота?.. Все норовят на чистое, даже душевное, с романтическим блеском, при магнии. Всякому лестно сидеть в иноделе и Англию с Тибетских вершин поддразнивать красненьким флажком. Или — раньше ребят, за конспектами сидя, как-то вообще не замечали — теперь педагоги. В чеку же идут лишь коммунисты последнего выпуска: нос угреватый в бобровый уют окунуть или на Кисловке пирожное «Наполеон» с кремом давить языком, косых не считая. А нужно в чеку большого, святого почти; хотят к палачеству приставить не палача, подвижника, туда, где сети с уловом — доллары, караты, где кровь окисшая, со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке — Ассаргадон, не человека — пункт программы, но с руками, с глухим баском— подписывать и утверждать.

— Товарищ Ялич, вы в чека, по предписанию оргбюро.

— Я? Нет! Что вы! (Ялич даже кашлять стал в башлык от раздражения.)

Конечно, он понимает: чека — вещь необходимая, без чеки дня не проживешь. Но он — Ялич, написавший две брошюры о марксистской этике, хороший, честный, которого даже кадет Громов уважает,— к насосу мразь высасывать? Никогда!

— Я, товарищ, постановление опротестовываю. Хочу в Наркомпрод.

Секретарь уязвлен, возмущен, тычет своим самопишущим пером (подарок из Ревеля) в чернильницу, зря тычет, портит перо.

— Кто же в чека?

Потягивается огромный спрут, в тесной комнатке, с недопитой чашкой чая, потягивается и выпускает еще одну лапу, быструю, легкую, крепкую.

— Кто?..

И спокойный ответ:

— Если нужно — я. Меня отозвали из Наркомзема, там дело налажено.

Слегка удивились — товарищ Курбов: таких ведь мало — и в чеку? Потом: ну да, в чеку, туда первых, верных, без пирожков.

Прекрасен Курбов покойной, ясной красотой! Движенья все верны, вески, слова рассчитаны, глаза — чтобы видеть, ноги — чтобы ходить, и даже руки, крепкие, тугие, чтобы все делать: доклад писать, пилить дрова в общежитье, к брюкам пуговку пришить. Конечно, Курбова, и как раньше не догадались!..

Опять тупится заграничное перо секретаря. Товарища Зимштейна в Наркомпрос. «Единая» и прочее. Дункан немного в переменках. Но главное — чтобы были инженеры. С младенчества их по производственной учесть и обстрогать. А Ялича?.. Ну, Ялича... он книжки написал... он жаловаться будет... ну, Ялича — пишите: в Наркомпрод. Одна обуза. И Ялич рад: капуста, заготовка, сам Громов скажет: все большевики канальи, а этот Ялич честный человек, нельзя же без продовольствия?.. Пишите: Курбова в чека.

Ялич с жалостью, чуть-чуть брезгливо жмет руку Курбова. Да, да! Он понимает, меньшевики пакостят, надо быть начеку, надо, надо в чеку. Курбов хороший работник. Ялич давно писал в своей книжке об этике: «Увы, порой необходимо насилье».

(А в душе, глубоко,— этика, дом, детки в матросках, дома совсем как Громов, уют, чистота. В чека — подвал, допросы, неприятно, марко. А в Продкоме — карточки чистенькие, карточек хватит на всех.)

— Бедный Курбов!

А он не бедный — крепкий и живой.

Секретарь:

— Желаю вам успеха. Вы куда? Туда?

— Туда.

И машинистке через пустые коридоры в затон остывшего пустого зала:

— Мандат!

2

Хорошо, что Курбов нашелся. А если бы не было Курбова? Могло легко и не быть. Весь Курбов случайность. Пошел он от карты — на два очка Валентин Александрович Лидов перекупил. Мелок на зеленом к прежним цифрам три жирных тяжелых ноля добавил. Здесь начинается Курбов: в надымленном клубе, над зеленью столика, в руке, что тычется от груды окурков к дулу в заднем брючном кармане, и снова к колоде — поддеть, передернуть, спастись.

Валентин Александрович Лидов — отец Курбова, не отец, но вроде. Отец другой — Завалишин. А Курбова — просто и не было. Только Маша Курбова в Еропкинском переулке, мастерица гофрированных роз. Хоть было не двое, трое — Курбов мог не родиться, не дол-

жен был он родиться. Карта толкнула — восьмерка: Валентин Александрович перекупил.

Был Лидов — прелестник, не ногти — рубины. А имя? В Москве, в Еропкинском, где всё Еремеи, Фаддеи, Сергеи — Валентина найти. Клубмен, гладко выбрит, широкий костюм, с искрой — от Шанкса.

Презрительно вежлив к Маше:

— Ценю я свободу...

И Маша, молясь на складку у губ, на брючную складку, стыдливо:

— Вы истинный ангел!

Повсюду успех: не одни мастерицы: графини, актрисы, супруга посла Португалии, идейные и недотроги — все! Только записывать дни и часы. Все нежно:

— Любовь — мещанство, из книжки плохой... как называется?.. Ах, да, евангелие! Прочтите Ницше и торопитесь! Главное, как в Англии — свобода...

Так и когда студентом был. Беспорядки. Манеж. В Таганке ни Нелли, ни Шелли. Даже нельзя пройтись по Волхонке в героической позе. Скучно. Искушал его ротмистр: весна на Никитской, из палисадников сиренью треплет по сердцу (ротмистр в мундире своем как весна — голубой и туманный).

— Назовите имена — и все обойдется.

Назвал. Обошлось. (Ну, что имена, когда вместо параши,— все утро с Нелли — искать пятизначное счастье, сначала на ветке, потом на груди?)

Был женат, конечно, не на матери Курбова, на Нюрочке Критской. Дом получил, но место плохое — на Самотеке. Так и сказали: дом не доходный, должно обставленный, и всё — вплоть до массивного закусочного (ведерко икорное, кнопки для сыра), вплоть до лифчиков Нюры (фабричные, под Валансьен, из Пассажа),— по списку. (Бывают измены и принципам Ницше.) Валентин Александрович был в затруднительном, маклер Ишевич дом оценил в двадцать тысяч. И Нюра — свежа, пухла, глупа, приятно девчонку учить всяким фигурам. Папаша — Нюре:

— Овца! Морду от мужа воротишь, а у самой небось коленки млеют. Вот погоди — научит.

Учил. Научил. Потом продал дом. Кнопки для сыра и те заложил. Ушел, небрежно поддернув плечами:

— Брак — это рабство. Зачем друг за друга цепляться?

(Нюре остались лишь лифчики под Валансьен.)

Другие — от часовых до сезонных. Когда же встретил Машу, был верен идеям, но сильно поношен. Тридцать восемь всего, а ко многому больше негоден. Возможно — наследственность или шампанское «Мумма» (ведь дом Самотечный истек не минутной струей «три-

пльсэк» — многолетним ключом). Но, словом, ни души, ни патентованные капли не помогали.

Маша знала весну с подоконника, бумажные розы и чужое счастье — двоих у окошка напротив, оперу «Травиату» (у Солодовникова) и еще, самое главное, что когда-нибудь может быть это.

Увидав Валентина Александровича — оправила передник, сказала глупость (погода и моды), прокляла розы и подоконник («ведь он — образованный!»). Потом послушно, как заказчице вздорные розы, отдала ему — жизнь.

Он взять не мог, слишком много брал, объевшись, истек, но все же не хотел успокоиться, ерзал и, тешась, о духовном родстве лопотал, туманно — совсем Метерлинк.

А Маша смущалась — он тискал слабея, хихикал, потом, щурясь перед зеркалом и брюки свои натянув, осторожно, чтобы не смять складок, шел в Английский Клуб.

Закутавшись в клетчатый теплый платок, лежала; все это не то! не то! И компрессом жег щеку замокший от слез платок.

Сказал ей:

— Ты останешься девушкой — это гораздо изящней. Взять все до конца — какая пошлость! Я так уважаю твое девичество.

И, тихо хихикнув, прижал.

— Я так уважаю...

И розы в трюмо, бумажные грязные розы шуршали:

— Конечно! как в Англии...

Неделями Маша ожидала двойного звонка. Завивала папиросную бумагу, думала: «Я его недостойна, он рыцарь». И марала слезами линючие тусклые розы. Потом приходил, подвешивал брюки, хихикал, и снова шарил, и звал к далекому Ницше, и никем не отпитая женская нежность переполняла каморку, Еропкинский, мир.

А он объяснял приятелю, секретарю газеты «Курьер».

— Простенькая, но не говорите...

Шли вместе к «Омону». Секретарь ворчал:

— Я ученых люблю. Чтобы все номера из Парижа. Довольно родной самобытности!..

Валентин Александрович соглашался, но все-таки скромно добавлял:

— В простоте — своя прелесть.

И, выходя на Садовую, где гнилые листья пахли гарью, не зная, что делать с собой, чуя уже старость и легкий сгиб в пояснице, садясь в пролетку с верхом, чтобы не видеть, не слышать — кричал:

— В Еропкинский.

Так Курбова могло не быть. Не должно было быть. Ужасно! Что делал бы секретарь Цека? Не Ялича же, чистюльку такую, гнать на работу в чеку! Но выручил случай — восьмерка. В Английском Клу-

бе играл Валентин Александрович Лидов с Завалишиным (крупный подрядчик) в «железку», играл — заигрался... Условье: на месте расчет. Проигрался изрядно — одно спасенье: сорвать Завалишинский банк.

— Беру! Прикупаю!

Восьмерка!

Завалишин мелком поскрипел. И голос у него скрипучий, несмазанный голос. Завалишин отводит, Завалишин не шутит.

— Милейший!..

Ведь будет скандал, старшины, исключенье.

— Закусить не хотите?..

Вместе за столиком. Вдруг Лидова осенила дивная мысль. (Бывает: Ньютона в саду, Буонапарте в крестьянской избе.) Взглянув на засохшие толстые губы счастливчика, Лидов вдруг вспомнил: есть Маша, а это ведь стоит нолей на зеленом сукне:

— Заплатить не могу... впрочем, хотите девочку?..

Подрядчик презрительно скрипнул:

— Считать не умеете, вот что! Да на Тверском любая за красненькую... Благодарствую — сам найду.

Но Валентин Александрович умеет считать.

— Вы меня не поняли. Я вам не девку — честную девушку предлагаю.

И пальцем вкусно причмокнул:

— Оказия! Свеженькая!

Завалишин взглянул недоверчиво — его не надуешь! — откуда такая? — сам Лидов известный бабник — конечно, подвох! Не поверил, но все же взволновался.

Человек, изогнувшись, шептал:

— Прикажите антрекотик?

Не верил:

— Извольте платить!

— Парфе а ля Франс!

А где-то под ложечкой ныло:

«Свеженькая!»

Валентин Александрович пил и юлил, и молился над застывшей сальной тарелкой: «Дай Боже, дай Боже, чтоб ему захотелось того!» И, выпив изрядную дозу мадеры:

— Поверьте! Услуга — другу. Невинность! Я знаю, что вы далеки от искусства — но вы ведь слыхали: Мадонна! Экстаз! Беатриче!

Завалишин не выдержал:

— Врете! Неужто такая?..

— Ей-богу!

И дрогнул:

— Но как же вы прозевали?..

Как было? Выпил ли Лидов не в меру мадеры или очень боялся скандала, старшин, исключенья, хотел убедить, увести, ноли зачеркнуть? Нет, просто — попало в точку.

— Я?.. видите ли...— я не способен.

От попранной гордости, от мужской обиды, от всей своей уже трехлетней муки, перед подрядчиком, перед лакеями, на манишку смятую за ночь — заплакал, громко, по-детски, сморкнулся, вышел. И долго в уборной, у кафельной стенки всхлипывал, как мальчишка, строго наказанный, забытый, ненужный.

Вошел Завалишин:

— Согласен. Едем.

Подрядчик торопился, не мог попасть в рукава енотовой шубы — извинялся швейцар. Лихачу:

— Живее!

Двойной звонок. Маша проснулась, кинулась к двери. Вот точно ей снилось: Царицыно, лодка, и милый веслом подгребает упавший платок.

— Мой друг Завалишин.

— Ах, я не одета!..

Завалишин усмехнулся:

— Оно и лучше: меньше будет работы.

Валентин Александрович суетился: а вдруг Маша не согласится, отрежет, откажет? тогда... тогда... И вставало одно: тогда скандал.

— Машенька, я хочу поговорить с тобой.

В соседней комнатке:

— Видишь ли — я проигрался. Азарт — великое чувство. В нем красота порыва. Восьмерка вышла — перекупил. Завалишину должен. Одно осталось.

И вынул браунинг.

— Валенька, что вы?.. Господь с вами!

(Видит, уж видит страшную рану.)

— Ты можешь помочь мне. Я чист, я невинен, я даже таких слов не знаю. Но вот Завалишин — весьма ординэр. Как жаль, что ты не понимаешь по-французски — язык Мопассана. Словом, ты с ним должна остаться вдвоем и кое на что согласиться. Что тебе? Как говорит мой приятель, философ большой, Ксюнин — ничего не убавится. Красота останется. Мы будем снова невинны, как дети...

У Маши все завертелось — розовые розы, шапка с ушами Завалишина, милые руки, вспорхнувшие мимо. Потом прояснилось, остались лишь руки.

— Валентин Александрович, если для вас — я могу.

Хотелось — еще одно слово «люблю»,— боялась — «любовь мещанство», но все же не сдержалась, руку его схватила (не ногти — рубины) и, преклонившись, ее поцеловала.

— Я вас не обязываю. Выше всего свобода. Но здесь поставлена на карту (проклятая карта — восьмерка!) моя свободная личность!

Довольно. Все обошлось хорошо. Завалишин дает расписку.

— Спокойной ночи. Я не стану стеснять вашей свободы.

Вышел. Остался Завалишин, скрипучий, сухой. Торопился, не знал ни Ницше, ни свободы. Навалился, схватил, закусил жадно, как виноградину раздавил. Ботиком топнув, ушел.

Мокрый платок: «Не то! не то!..»

Валентин Александрович никогда не вернется. Что без девичества Маша? — глупенькая мастерица. У него гувернантка, деликатная, из Женевы.

Так кончилась ночь. Нет, не конец, а начало.

В бурой каморке, под хрип и скрип, и досок скрип, и смех скрипучий, был мир еще; за домом — ветер, тучи, за тучами — высоко — звезды, и на кровати, от позора и от любви, от перекупленной восьмерки — начало человека — Николая Курбова.

3

Валентин Александрович действительно к Маше больше не пришел. Хоть знал он, что вечер в клубе кончился карточным сыном — Колей.

Раз лишь, три года спустя, выиграв порядком, выйдя один на мороз — вспомнил: восьмерка, лихач, на пальцах горячие губы. Вернулся. Вложил сторублевку в конверт, приписал:

«Духовному сыну на елку. Расти свободным, широким, терпимым».

Дал посыльному и долго за полночь собой любовался. Какую-то девушку помнит, не брезгует прошлым, без предрассудков, один, забытый всеми, как Рудин или бедный Лемм, никем не понят, джентльмен — среди хамов.

Если бы эти сто рублей пришли раньше, когда Маша металась, молила бабку еще подождать, писала Лидову, ждала почтальона и, соску пустую воткнув в ротик, задыхалась от жалости!..

Потом?.. Всегда так выходит и все же чудно — как это вышло?.. Пришел не Лидов — Завалишин. За ним другие. Сначала фамилии, лица, потом ряды. Брюнеты. Блондины. Вот здесь бородавка. Еще — вчерашний рубашку разорвал. Еще — один как-то лязгал зубами. Огромный рой. Не человек, не люди — человечество.

А рядом в каморке, со щелкой во двор, где плакал шарманщик и мастер паял кастрюли, на сундуке под лоскутным одеялом в куртке платанной спал беленький Коля.

Слышал вечером говор, сговор. Мамаша смеялась, брала гитару

и глухо, как будто в носу полип (чтоб было чувствительней), пела.

— «Ах, звезды, вы, звезды мои!..»

Потом, визжа, прочь летела гитара. Шмыгали, прыгали, шаркали. Стоны. Мелкий смешок. Вздох. Рык. Тишина.

Спросил — мамаша всхлипнула, слезы взрыхлили щеки белые — как мятные пряники. (Маша распухла от сна до обеда, от трубочек с кремом — гостей угощала, и белая стала, белее нельзя.) Увидел, как слезы размыли мучнистые щеки, и понял — молчи.

Пожалуй, обвык, стали вздохи и скоки за стенкой, как визги шарманки, как клеп мастера. Но маму жалел до озноба. От жадной жалости дрожал под лоскутным. Когда днем мамаша уходила в колбасную — чайной купить, он целовал на кровати ее пробитую ямку — след тела. Просыпаясь, выглядывал, и гость иной, заметив ясные глазенки, завязывая галстук, на лету кидал:

— Он у тебя ангелочек!..

Бывали ночи похуже — посуду били. Мамаша молила — чашку с золотом вязи «откушай» — одну пощадить. Разбили. И хуже еще: не чашку — мамашу били.

Помнил Коля: как-то проснулся. Сердце забегало. Гитара. «Ах, звезды, вы, звезды»... Бац.

— Так-то ты, стерва!.. поерзай на брюхе!..

И тихо. А в шторке рваной — звезды.

Слышал и знал. Но не был ни маленьким Байроном, ни тихой замухрышкой. Играл задорно в чехарду. Больше чехарды, больше бабок, больше нарядных игрушек в окне магазина «Сын детства» любил он коробки от спичек, пустые катушки, пробки. Часами он строил — коробки и пробки росли, стояли, упасть не могли. Вот фабрика спичек, не фабрика — город, и просится ввысь каланча.

Маша от жизни несбывшейся (ах, Лидов уехал куда-то — наверное, в Англию) кидалась в церковь, до смуглого Спаса. Там вместо гитары и армянских загадок — торжественный зык: «Иисусе Сладчайший»! Из кошелька выгребала полтинник — все наградные, за выверт, за фокус, за усердье многих ночей — и ставила свечку, не мудрствуя много — кому и за что, просто от бедного сердца, от кошелька, где каждый грош зубами прокушен.

Водила Колю в церковь. Не нравилось, порой упирался. Маша крестилась:

— Что ты — чертенок? В церковь боится идти! Только черта от божьего духа мутит...

Как-то зашли — Василий Блаженный — закоулки, проходы, щели и норы. В темь, в глубь, а в углу, среди золота, большие пустые глаза. От чадных лампад, от ладана, от маминых сдвинутых к брюшку благообразных рук — скучно стало, так скучно!.. Только на площади ожил. Веселый клекот пролеток. Купчина поскользнулся, упал. Тя-

желые голуби чуть отлетели. Снова сели. Купчина стряхнул с полы пух снежной перины.

— Маменька! маменька! как хорошо!..

Маша смущалась, даже просила отца Спиридона наставить. Жирной рукой шлепнулся прямо в губы:

— Читай «Отче наш».

Читал. Боялся. Не верил, но все же боялся — мать говорила:

— Слушай отца Спиридона, не то Господь покарает...

— Покарает? Чем?

— Ей-ей покарает... чихом или глистой...

Отец Спиридон сам испытал всевышнюю кару. (За что, неизвестно. Ведь Иов безгрешный и тот был наказан.) Мужчина в соку четвертый десяток, а вдов. Когда Маша говела, он ей важно сказал:

— Очистись!

И после сладко причмокнул (что же, и в пост полагается постный сахар).

— В четверг приду! Чтобы не забрел кто греховный...

И вправду пришел. Коля в щелку глядел. Ни креста, ни рясы, ни трубного зыка. Бородой маму ласково щекотнул. Пошло как всегда. Но уходя (другие шуршали рублем или трешкой) — стал снова суровым, хотя без креста, но все же отец Спиридон. Только руку к губам не спеша подсунул. Мама припала. А Коля у двери на цыпочки встал, приподнялся и вырос. Сразу прозрел, и презрел и чих и глисту. Только ласково подумал о маме: ей ведь не скажешь — она будет плакать.

Маме на утро:

— Я, маменька, в церковь схожу — помолиться.

А сам пошел к приятелю Васе в печатню Качина. Вертелись гигантские свитки, вливая бумажные струи, зубья белесую реку вбирали, сжимали, клеймили, целуя взасос, и снова кидали. Подобравши порченый лист, он прочитал:

«Мы ждем от Микадо уступок»...

Машина знакома с Микадо!

Маша гордилась. Из сил выбивалась — за ночь две смены пускала — но сын будет важный: Валентин Александрович, мечтатель, иностранные слова, не «ординэр»... Реалисту, что жил во дворе, на хлебах у молочника Тычина, три целковых давала в месяц на девок (натурой не хотела: мальчика хоть постыдись!..).

Тычин готовил к экзамену, честно готовил — и «гнезда», и «звезды», и «цвел», «приобрел» — все яти сказал, не утаил ни одной.

Коля буквы залпом глотал. Просыпаясь от шума — вот сейчас надо поставить двоеточье... Пятнадцать целковых не пропали — на экзаменах первый. Потом, взмылясь, достала Маша Коле куртку и

фуражку с гербом. Красивый герб! И вдруг, отойдя от зеркальца,— готовясь к гостям, пудрила шею:

— Да ты ведь того... кавалер!..

Шли дни. В большой — суетня и визг, в маленькой рядом — наречья, союзы, предлоги.

Но к новой весне беда. Как-то пришел приказчик один, с Плющихи, в явно нетрезвом, Машу раздетую, всю запотевшую вытолкал на лестницу:

— Прогуляйся в прохладе!

Маша слегла. Все внутри захрипело. Хочет дохнуть — нет сил. Банку бы поставить — нельзя; кошелек Коля вывернул даже, ища пятачка несгоревшего церковной свечой.

Коле:

— Сходи в Мансуровский к Прову, знаешь — колбасник; он добрый — даст, коли что — позови.

Пров пришел и озлился:

— Я думал за делом зовешь, оснастился, а ты, что же, дура, меня принять не способна?.. Тьфу! Разлеглась! Мадама какая!..

И, кинув полтинник, да так, что еще под кровать завалился — еле Коля его подобрал,— ушел.

Так и не было банок, и даже бальзама не было — утишить кашель. Две ночи еще промаялась. Потом — один взлет от ямки, клок простыни в скрюченных пальцах — и все.

Когда выносили, дворник Трифон ругался:

— Окочурилась, шлюха!

И на Колю:

— Еще наплодила! скажите — богатство!..

Впрочем, все было пристойно. Отец Спиридон прогремел:

— «И презревши все прегрешения!..»

От чувств набежавших и от кислого кваса сердито икнув.

Так закопали. Коля на конке (собрали четыре целковых) доехал домой.

Вошел и взроптал. Нелепости этой осмыслить не мог. Рои ночей, люди, муки, скупая щель в размокшей земле. Зачем же высокие башни катушек, державные лапы машины, чудные буквы в учебнике: ясная «А» и свободное «О»? Зачем же морозное утро, нос заиндевевший, плещущий голубь? Зачем — сиротела кроватная ямка — целует тюфяк, клок пакли, в полоску тряпье. И другая яма — сырость, червь, как глиста.

Гитара. Нечаянно тронул струну. Завизжала. Вспомнил — «Ах, звезды, вы, звезды мои!..»

Так-то!.. В окошко взглянул.

Вот Маша и Маши другие,— глядят, вздыхают: туманность их тянет, распирает простор, грусть — отчего не дано? А Коля взглянул

и увидел: система, гармония. Да были-то числа, таблицы, не сны — чертежи. И в круге и в ромбе оправдано все: койка, комья московской тяжелой земли.

Здесь истоки жизни, в каморке неприбранной — у запотевшего от весеннего духа стекла. А после одно продолженье, одни хвосты этих явившихся чисел. Мечты и конспекты, и дальше — программы, учет, строй совхозов или комкомов — лишь позднейший отсвет вот этих на час прояснившихся ромбов.

Он понял и прошлое ласково прочь отстранил. Спокойно выпил из чайника старый, еще для мамаши заваренный чай.

Утром был маленьким мальчиком Колей. Теперь — Николай Курбов.

4

В гимназии Курбова очень ценили. Педель — Аполлон Афанасьевич шепелявил:

— Не ученик — самородок.

Правда, шалит, порою несносен — осенью, например, калоши отца Михаила прибил гвоздями. Вдевал отец Михаил, вдевал, чрезмерно напрягался, а после усомнился в себе, стал воздыхать. Весь класс наказали, но Курбов признался. Шесть воскресений за это латинские «бестия» и «фруктусы» честно склонял. Но это-то что! Педель добрый, сердечный, сам понимает — без шалости разве сыщешь ребенка? — возраст такой. А все-таки Курбов особенный, прямо классический отрок. Хоть беден, весь латан, не может на плюшку взглянуть без волнения, а все же в предметах первейший. Министр приезжал,— кого вызывали? Конечно, его! Задачу как схватит, чиркнет мозгами — готово. Ей-ей! В двенадцать лет — математик!

Узнав о смерти матушки Курбова, Аполлон Афанасьевич в учительской даже чаю не допил — взметнулся. Егорьев историк — председатель «Общества помощи»,— к нему.

— Сами Курбова знаете. Он, так сказать, украшение.

Егорьев вначале чуть покобенился:

— Курбов Николай? Во втором параллельном? Как же, знаю, знаю: он баламут. Я с ними начал удельный период в доступных рассказах — Святополк Окаянный, ослепление Василька. И что же? Курбов выпятил руку:

«Иван Ферапонтович, а как эти дяди промышляли себе оружье?»

Так и сказал — не князья и не люди, а «дяди». После опять:

«А как они строили Киев? Были ли с трубами печи? Разводили ли кур? А то вы все про одних мазуриков!..»

Слова-то какие! Вот из таких и выходят (в ухо педелю дунул) терро-ристы! «Что?» да «как?» дурак!

Но вскоре смягчился и обнадежил педеля:

— Есть заявление. Власов кожевник — сын у него второгодник, в четвертом застрял. Так вот этот Власов сказал мне: «Если болван в пятый пролезет — возьму на иждивение бедного мальчика. Буду выплачивать правоучение и осьмнадцать рублей на харчи».

Сделано дело. Власов Никита, слизнув задачу у соседа, пролез. Курбов устроен. Добренький педель пошел в Еропкинский сам:

— Учись и ручку целуй благодетелю. А гвозди оставь. И про Святополка вызубри, чтоб назубок. Ты теперь не просто гимназист, а в некотором роде (палец к небу, по слогам) сти-пен-диат!

Власов, увидев, гаркнул:

— Вот ты какой! Потаскухин фрукт! Отвечай — чьи на тебе брюки? мои! По моему милосердью. Смотри на коленках не протри — ремнем! Учись, пуще всего покорствуй. Кончишь учебу, будешь честный, непьющий — возьму тебя младшим приказчиком. И руку — (рука склизкая, мясистая) — целуй.

Целовал.

Так каждый месяц. Очки нацепив — в балльную книжку: чтобы были пятерки. Раз отчеркнул Егорьев солидный кол — сказал Николай:

«Эпиктет, Эпикур — все одна семейка: обоим небось рабыни исподнее, то есть тоги ихние, стирали».

Власов кол жирнущий носом вдохнул и сладко погладил живот:

— Эй, Дунька, зови Никиту!

А Николаю:

— Пащенок, ложись на скамью.

Очень хотелось Власову сына тупицу всласть постегать — жена не давала. Только он за ремень — «ах!» на диванчик, отпаивать надо. Хоть на этом щенке отведет замлевшую руку.

Никите тоже невредно взглянуть:

— Вот так и тебя подобает!

Сложил ремешок и пошел. Считал с замедлением, до двадцати насчитал, устал. Никита — истый теленок, глаза из оптической лавки,— стоит и в рукав гогочет: «Гы-гы». А сам Николай не пикнул. Обрядно причмокнув запотевшую руку, взял восемнадцать рублей и ушел.

Не было злобы — только недоумение. Пожалуй, жалость. Какая должна быть крысиная скука, чтобы в мире, где числа, где башни, где каждой гайки трамвая обдуман гуд и пролет, чтобы в мире, где грозы, над грозами звезды, чтобы в мире, в огромном мире, сидеть на Полянке, за ватою окон, в квартире, густо надышанной, с фикусом, с пуфом, с пудовым золотом риз, с толстым теленком Никитой, и

часами пыльной душой оседать на фикус и на пуф, сладко, как будто желудком, мечтая: «Эх, хоть кого-нибудь выпороть!..»

Так Николай судил. Не ненависть к аду его подмывала, но четкий продуманный рай. Он лестницу быта — чванливых,— не люди, а сало в жилете, подвижников в ризах высокой пробы, философов постных и все оправданья, от послеобеденных «что же есть истина?» до пьяной отрыжки мордобойного околодочного — не мог ненавидеть, только жалел. Знал — скоро окрепнут руки — он выплеснет стылый и сальный навар, пойдет на работу — корчевать жизнь. Какая злоба — просто гнилушки, расти мешают. Москва — один беспорядок, придется ломать, хотя ломать он не любит, придется — нужен для стройки пустырь.

Читал он как прежде — том в присест, буквы сменили суровые мысли, чем чище, голее, тем ему ближе. От мысли ждал мысли, от солнца — теплыни, от жесткой подушки — сна. Читатель Спинозы любил биллиардное поле, любил беззлобно громыхать, любил на катке лихие спирали «Снегурочкой» очертить свистя. Был прост он, как идол,— едва обтесали: вот шея, вот ноги, вот пуп, и нет ни ресниц, ни морщинок, ни междудольных чувств, ни крохотных росчерков грез.

Прочитав «Идиота», долго смеялся, как будто смешной анекдот. Есть мука от жизни, ее ведь он знает, но мука для муки — чудят чудаки!

Иные слова его веселили — «святыня», «творец», «вдохновение»; он, повторяя их, долго, по-детски смеялся. А после бежал к микроскопу и жадно взирал на миры. Под глазом как будто двери трещали. В каждой бактерии — знак бесконечности — билась восьмерка. Или с готовальней. Чертил. Число обличалось, росло. Теоремы ясностью жгли детские щеки, и был он не гностик, не кабалист — влюбленный.

Другие вздыхают — «Прекрасная Дама» — туманы, и где-то в легчайшем эфире трепещет вырез нечаянный шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он «динамо»...

Любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь. Раскрывал наугад — все равно, где начало и где конец. Образы — мимо — не их он любил. Мимо — слова: ну «парни» или «гранит», «ножки» или «площадь», одно он любил — как шествует время, как мчится копытчатый ритм. Из слова в слово, не падет, не изменится, и слово — камень, и слово — цемент и четыре угла текучей пирамиды.

Потом жевал сухой бублик и, просыпаясь утром, пугая хозяйку, вопил «О! О!» от солнца, от зайчика на стенке, от своих пятнадцати лет.

Вот и шестнадцать. Потянулся. Силу почуял. Теперь не страшно. Больше не будет мокрой ручищи Власова!

Егорьев ворчун — для проформы слегка поворчал:

— История — свиток. Героизм, программа округа. Необходимо придерживаться!..

Но мигом устроил. Николай — репетитор. Обойная фабрика Глубокова. И сразу (куцая куртка, на локтях — треугольники), едва вошел, пряча красные пальцы за спину, глаза кольнули бра и брызги бриллиантов с атласных животов, дух захватило от душных духов, а кругом, а в нем — на хрусталиках люстры, в неподвижных и тусклых зрачках, по жердочке прыгало чье-то сопрано. Вновь рокот. Хозяйка (глаза фламандской коровы, будто жует сверхурочную жвачку), влача горделиво свой шуршащий хвост, Николаю сердечно кивнула коровьими глазами (шеей короткой без крайней нужды она не любила двигать).

— Ах, вы воспитатель Бори? Он не мальчик, а чудо. Надо только понять его душу!..

И муж по дороге к закуске:

— Очень приятно. Я сам не чужд... идеи Песталоцци. Монтессори. А в общем я враг систем...

Соседу:

— Колоратура-то какая... Милости прошу!.. Депре доставил мне — оказия «Шато де Руа».

Вот молодежь — Глубоковы: дочь — поэтесса, не Мария — Мариетта, сын — студент Олег, философы, художники, писатели и просто кудреватые, мечтательные снобы, живущие среди вернисажей, рифм, только что открытых религий, цыганок из Тамбова и купчих, наклонных к сатанинским мессам (как у Гюисманса).

Мариетта прекрасна — высокий лоб, очень точный овал и на тонкой с просинью шее детская нитка жемчужин. Поклонники часто спорили — один говорил: «Нечто византийское, напоминает Равенну», другой: «Камея Ренессанса», третий: «Этрусская ваза», и много еще раскопок, стилей, стильных суждений — поклонников много. Сейчас она в профиль, закинув головку (с Глазовым — в профиль, Глазов сказал про этрусскую вазу), читает сонет Малларме. Послушайте «н» — носовое, и в «ннн», как в туманах, прореет случайно понятное слово: «безмолвие», «лилия», «лебедь». А Глазов взволнован, забивает слюной янтарный мундштук и смотрит,— ну, правда, не профиль,— пониже, где скромно гаснет жемчужный закат, на тонкую шею, так разом и впился бы, куснул, чтобы знала, не ваза, не «ннн», а вот просто: он хочет. Но все здесь пристойно, и он лишь в брючном кармане коробку спичек ломает от злобы. А Мариетта — расширив глаза и анфас (подошел скрипач Коловэн, автор «Равенны»), читает уже пятый сонет, и лебедь, задевши лилию, может быть, станет безмолвием.

Зато вокруг Олега крутит пурга. Сам он — порыв, вздыблен волос неуемный хохол, шея поспешно раскрыта, и живчик бьется, как добрый скакун. Другие за ним: вот сейчас поскачут, догонят и мир, и Христа, и последнюю истину. В нетерпении дрожат боевые космы,

пальцы, цепляясь, хватают обрывки фраз, в блюдцы с вареньем снуют папиросы, и бас застилает:

— Про это еще писал Соловьев...

— Любовь, чистую любовь, любовь, как таковую...

— Штейнер сказал...— Познание... тайна...

— Добро — категория...

— Добро par excellence...

— Бердяев выступил против...

— Буддизм...

— Нет, вы мне ответьте, в чем дух христианства?..

Но взмылясь донельзя — устали:

— Пойдемте к дамам!..

У каждого шейка одна на примете. Немного волненья, а ночью другие, без этих сонетов, без всех психологий, без драм и без мам.

Курбов все прячет руки за куртку. Кто-то заметил:

— Кто это, Мариетта Дмитриевна?..

— Ах, это... не обращайте внимания... так, репетитор...

Корова же из Фландрии, жвачку свою дожевав, всласть посплетничав: жена Королькова открыто взяла у Гольдштейна колье, а Домский доктор с женой не живет, ему стелят всегда в кабинете, откуда же ребенок? — и, выяснив это, оброк отработав, внутренним светом вся озарилась — ангел, хоть немного массивный, но ангел. И взглядом лениво влачась по гудящему залу, в углу за пальмами в кадке наткнулась на Курбова. Благость излила, приказала горничной — вафле, нежнейшей гофретке:

— Матильда, дайте тому... в углу... чаю и закуску, только попроще — кусочек селедки.

Курбов, отвесив дубовый поклон Матильде, чай выпил, селедку съел. Уж люстры глаз не кололи, привыкли глаза, и весь обтерпелся. Скучно только. В пальму уткнувшись, зевнул.

Прислушался к гудящему говору. Скучно!

Вдруг все замолкли, без говору, но сразу. Как будто в кинема испортилась машина, или тот, кто вертит ленточку, забастовал, окаменели ноги, близ люстры повисли вместе без ниточек Песталоцци и колье, добро и Малларме. Тут явственно почуял Курбов, что скучно, очень скучно было всем, что надо много сил, чтобы каждый вечер на журфиксах таскать меж чашек, арий из «Лакме», все эти фикции, субстанции, и холостой диван обманутого мужа. Почуял, понял, пожалел.

Кто-то первый стыдливо скрипнул стулом. Встал. И, облегченные, другие потянулись, погружаясь как в объятья в бобровые, енотовые, лисьи, тяжко зевая, в мягкие воротники.

Курбову сказали, что жить он будет во флигеле направо от конторы, возле казарм. Желтый морозный туман. Ошибся дверью.

Рабочие в тулупах, матерно ругаясь, не по случаю, а просто: творчество, стихия — облили крысу керосином. Подожгли. Был ясен крысиный писк. Пламя тоже пикнуло, свистнуло, метнулось по промерзшим сеням, и, надымив как факел, изошло. Еще слабея, изругнулись. Старикан вытащил из-под тулупа последний шкалик, ударил ладонью донышко и быстро выхлестнул в себя огонь. Потом все смолкло. Скучно, очень скучно! Завтра праздник. На сегодня хватит.

Придя же в комнату, безмерно длинную и узкую, похожую на коридор, Николай вытащил из узелка большую книгу. Сел, раскрыл: «Работы Лобачевского»...

Читать не мог. Бежала огненная крыса в залу, все горело смрадным удушающим огнем. Казалось, Мариетта пикнула, а может, даже пикнуть не успела.

Курбов встал, прошелся, усмехнулся:

— К черту! Все переделать! Заново!

5

Всех опознал Николай. Блюдя иерархии чин — сперва о папаше. Либерал, каких мало, не либерал — радикал. С приятелем, пятую закусывая балычком, ругался:

— Страна рабов! Кадеты трусы! Нет у нас Мирабо!

При этом даже жевал независимо. Письмо Толстого, такое, что прямо в Якутку, не убоялся вслух жене прочитать. Среди грязной Москвы, на фабрике, где портки и портянки, где в субботу парни, слизнув получку, ломают еще недоломанный нос плотника Глеба или сучек травят, где вместо неба — дым, зима, над дымом и зимою «мать»! — среди этакой Азии он оставался европейцем, грызущим сигару над тридцатью страницами «Morning Post». Он ногу на ногу клал, не просто — выявляя особенный смысл — свободу, однако корректность. И, ногу увидев, было легко его спутать с любым радикалом, с Комбом или с Брианом. Хотя любил он «смирновку», но даже ее просвещал, вливая каплю «Пикона».

Да, Николай свободу мог оценить вполне! На фабрике вскоре, к весне, началось баламутство. Платили поденно семь гривен: не европейцы,— зачем им? Запросов духовных нет. Жадность и глупость! Как овцы пошли. Верно, какой-нибудь мальчишка подбил, самого-то выгнали из пятого класса. Смеют такие себя называть «социалистами»! Социалисты — Европа, они в парламенте — вот где! — сидят, а не шляются тайком по грязным задворкам, смущая этих неграмотных хамов. И что же! — Рабочие

(мало Глубоков о них заботился, открыл приемный покой, об яслях мечтал!) за мальчишкой пошли.

Три бородатых явились. «Депутаты», а если по сердцу,— «вопче» и «чаво»? Статисты от пьесы «Царь Федор» в Художественном... Набавить пятиалтынный, еще какая-то дерзость, и под конец хозяйское мыло. Глубоков возмутился: на Западе требуют свободы совести, а у нас хозяйское мыло! И увидав, что двое ушли, третий же, старый, еще мнет томительно картуз, не выдержал, гаркнул:

— Всем паспорта!

Не хотели брать:

— До Петрова дня не уйдем.

Вызвал по телефону пристава:

— Очень прошу — наряд. Вручите паспорта. Хорошо бы изъять смутьянов. Да, да, я заготовлю список.

За вечерним чаем жаловался адвокату Беспятову:

— В Европе союзы, депутаты запросы вносят, а ко мне пришли, встали и стали вычесывать из бороды насекомых...

Пристав к утру всех успокоил. И снова плавной рекой потекли из машин для гостиных достойных голубые и лиловые обои.

О супруге Софье Сергеевне все было сказано сразу. В первый же вечер Николай опознал ее породу. Дальше детали: стойла благотворительных мык, плюшевое манто, в полночь шпыняет горничных за угарный самовар, постом говела, постилась. (Глубоков, клерикалов мимоходом лягнув, осетрину под каперсовым соусом весьма одобрил.) Николая просто она презирала, но воспитателю Бори совала двойной кусок кулебяки: поест и добрее станет, как-то сердечней. При гостях за общий стол не сажала — обидеться могут — все-таки он вроде прислуги, но ужин отсылала в комнату.

Сложнее с молодыми. Олег был широкой натурой — кроме святой Софии любил другие вещи, попроще. Часто каялся, но знал и утешенья: добродетель — гордыня, познать грехи — смириться. Познавал усердно (как на крышке холостых портсигаров: головка красотки, бутылка в ведерке и конская морда). Сегодня на Джека в двойном, на Ю-Ю в ординаре, выдавали по двести десять. Этика скучное дело, вздор лютеранства,— выше, где нечто, Подруга — Дама-Мудрость. Николая Олег считал чем-то низменным, но по любви безмерной (как подобает члену содружества «Свет с Востока») все же порой замечал:

— Ну, что вы сказите с вашим марксизмом?.. Плотская радость? Я ее не понимаю. Есть дух, в начальном бреду Майя,

потом вознесение духа, астральный мир внизу, Будхэ! Эх, разве вы поймете совершенство!

И от ужаса, что Николай не поймет, но только своей усмешкой осквернит все Будхэ, Олег Дмитриевич, быстро накинув шинель, мчался к Нюрочке Лапиной, потопив легкую плоть среди пены простынь, с ней взнестись до самого Будхэ.

До Нюры, когда Николай поступил, была другая — Леля Долина.

Канитель от нее пошла. Вместо духовных моментов, какая-то чуйка на черном каждое утро торкалась. Девственность — цветок, время — опáсть, ну — смерть, но не бакалейный басок: «Вы, сударь, дитя растлили»...

Беда! Глубоков-отец, несмотря на свои Европы, был скуп. Олег получал сто рублей — два заезда на бегах, один ужин в «Мавритании», членский взнос «Свет с Востока» — и все.

Чуйке надо было бы вместо излияний о слиянии — радужную.

Но pará понять не хотел:

— Должен сам на себя пенять — это каждый европеец знает: одно дело певички, другое — честные девушки.

А Леля, действительно, была дочкой лавочника Тихонравова в Трехсвятительском. Кончив гимназию, презрела селедочный дух и огурцы в кадках,— есть где-то поэты, прядь на лбу, и глаза в глаза, без нолей капитала, домов, чинов, без свадебных скучных кадрилей, без матушки, без присказки («будешь штопать его носки») просто: были, любили, любя, пребыли до гроба.

Конечно, встретив Олега — в Крещенье на катке чистопрудном, Леля сразу все поняла — дома ждут селедки,— «я вам как Изиде!.. это ведь не мое тело, но смутный дух Озириса!»... Пойду... пойду... Ну, разве такой обидит?..

Было не больно — страшно. В «Парижских» номерах — папаша! Олег уснул. Проснулся месяц — мот и фертик — кинул в окошко чистенькое серебро, потом серебро растекалось, стал пруд, и в холодном пруду плавал, томительно раскрыв селедочный рот, Феофан Степаныч Тихонравов.

Затем — расставание. Олега с минуту помутило. Но вышел, вздохнул, вдохнул глубокое утро, и все позабыл. А Леля у двери в одной рубашке, не могла вздохнуть, ноги клонились к мерзлому полу, прилечь бы! Еще ничего не соображала, но глубоко, в недрах утробы жалость явственно екала. Дальше: страх — заметят! Узнали, кричали, папаша ломал прилавок, но и косу пятерней зачерпнул. Разнюхав адрес, пошел проучить Олега. Однако, узрев ливрею лакея, опал и на черном тихонько бубнил: «Дозвольте! По важному делу».

Олег иногда выходил, лакея за собой волоча. Папаша снова:

— Покройте!

А Олег вслух:

— Это был фатум, рок.

Про себя:

— Где бы раздобыть сотню, другую? Две радужные покроют и дочь и папашу.

Леля слегла. Родила. Сосед из посудной сказал: «Тихонравовы нравы», и дочке своей: «Смотри, туда не ходи». В крайней ярости Тихонравов пришел к Олегу. Понял: на этот раз не уйдет. Кинулся к Курбову (хотя и знал: не поймет дионисова духа), все подробно изложил:

— Вот набираю сотню. Мариетта дала тридцать рублей — сталось от платья, у меня есть — двенадцать, у maman взял десять.

Николай вынул все, что было,— сорок и мелочь — дал с омерзением. Олег вложил кредитки в конверт и вышел с лакеем на кухню. Час спустя Николай, двор проходя, увидел: на приступке сидел Тихонравов, теребя изящный конверт. Всхлипывал:

— Что же, болван, в счета занеси: сколько за керосин, сколько за мед, а вот это за дочку, за свое дите родное!

Стало Курбову жалко до колик в боку, до одышки. Хотелось купца, как старого пса, пригнуть к себе, потрепать его бороду, пропахшую селедкой, отогреть пальцы, затвердевшие на костяшках счетов, древнее бакалейное сердце обдуть, но не мог, только в морозную твердую ночь кинул:

— Скорей бы снести эту мерзость!

Мариетта, брату прощая все («в нем бродит еще неоформленный гений»), Лелю, напротив, презрела:

— Бывают же такие грязные женщины! Мне достаточно, если скульптор Пульков говорит, что у меня готические бедра. Это — торжество линии. А рожать детей, к тому же незаконных, грубая физиология.

И, порадовавшись своей чистоте, вспомнив, как Глазов, бессильный, дышит ей в шею, улыбнулась — надолго (улыбка ей шла).

Николаю же строго сказала:

— Вы можете сколько угодно читать свои книжки — природы не скроешь: сейчас видно — плебей. Вы даже не умеете ножа держать.

Впрочем, с Николаем Мариетта редко говорила — была занята выбором мужа. Страсть для низких душ, например, для лавочниц. У нее — поэзия. Муж — нужен: положенье, поездки на Ривьеру, журфиксы, и чтобы хороший цвет лица, не как у старых дев. Прищин, Пульков, даже Глазов быстро отпали — как-никак, а стихи не текущий счет. Выплыл Кадык, урод, если угодно. Но, во-первых,

есть красота и в уродстве (стиль Бодлера), потом — вилла в Ницце, потом для эстетических эмоций остается Глазов. Итак — Кадык. Николай, увидав его (бельмо, пук пакли в ноздрях кровавых), вежливо поздравил Мариетту.

Не легче было Николаю со своим воспитанником Борей. Не мальчик — фабрикант в потенции, личинка либерала — заранее начертан и обдуман. Вот только брюки вырастут, с колен дойдут до каблуков, и голос затвердеет, а прочее уже в порядке: десятый год, но, право, академик. Таблицу умножения вызубрить нетрудно. Боря знает существо существ: есть некое добро — увидев гостя, шаркнуть ножкой и руку тетушки Елены вежливо лизнуть, грехи — на стол поставить локоть, на Кадыка болонку Эмми натравить. С Павлушей, сыном счетовода — не то чтобы играть, но и говорить нельзя: он — низший, подчиненный. Быть мальчиком ужасно скучно, надо стараться скорее вырасти — как папа — ждут к столу, но он рассеянно:

— Я занят...

И, запахнувши полость, кучеру Гавриле:

— В клуб!

Ах, этот клуб! Что значит «клуб», толком не знает он, но, очевидно, рай, где черные вороньи фраки, ордена, где все пускают клубы дыма в люстры, блистающие, как шары на клумбе, где зеленое сукно, и на зеленом лугу крупными клубниками краснеют черви (папа выбирает черви), где зеркала, а в зеркалах большие дамы с птичьими перьями, вино и мармелад. (Боря слышал — папа говорил Беспятову, что он клубничку любит, Боря любит больше мармелад.)

Какой же клуб на самом деле?..

Одно он знает: Павлушу никогда туда не пустят, святыни клубные не для таких Павлуш, а он... он скоро закричит Гавриле «в клуб». И мама подтвердила: надо только вырасти. Конечно, это трудно: есть две преграды — аттестат зрелости и зуб мудрости. Но все же прорастет проклятый зуб, и сразу все швейцары дрогнут — с зубом в клуб! Боря знает — с ним не должны равняться ни Федя, ни кузены: Миша, Гриша, Вася. Мама говорила. Все идет от папы, у него есть что-то: «акции». Таинственное слово — как будто дерево (акация?), на нем растут конфеты от Сиу (чтобы были щипчики и ананасы), большущий орден, боа из горностая Мариетте, Олегу для лошадок сахар, Боре марки редкие (Венецуэла, Чили); среди билетов на балет, среди третьих блюд, желе и кремов — гнездо из золота — клуб.

Так Боря в десять лет не ведал детства. Груды дорогих игрушек, ни игр, ни смеха. Перед папой церемонный вздох, тихонько в сторону зевочек, а в детской после снов об акциях чудовищ-

ная мысль: не шалость — пакость, со скуки: сестре в парчовый томик Малларме вложить хвост селедки (для аромата), прокрасться в комнату старушки гувернантки из Лозанны m-lle Мари и выцветший портрет жениха, упавшего с горы ровно за день до свадьбы, тщательно покрыть чернилами, зад болонки Эмми бензином оросить, чтобы она визжа каталась по коврам,— и все тихонько, осторожно: может быть, прислуга занесла посуду с селедкой или разлила чернила, может быть, Эмми, прыгая, сама разбила склянку, может быть... И мама, зная церемонные поклоны Бори, говорила:

— Не он! Ах, этот мальчик — ангел!..

Николай — он сам еще полуребенком был — детей любил до крайности, но с Борей он терялся: на тонкой шее явственно обозначалась Власовская морда. Казалось, мальчишка пробасит сейчас: «Ложись-ка на скамью». Боря учителя не только презирал, но ненавидел, со дня его прихода встала цель: замучить, истребить.

Ведь Николай, бесспорно, низший, вроде кучера Гаврилы, его гостям не представляют, к Пасхе мама выслала ему, как дворнику, отрез на брюки и рубаху, живет по милости, и вот такой смеет Боре задавать уроки! За это надо мстить, и беспощадно. Дерзил:

— Эй, вы, ученый дворник!

Николай не поддавался, был всегда ровен, тих. Ходил к отцу:

— Ах, папа, право я не знаю... Мне Николай Ильич сказал — когда приедет тетушка Елена, не целовать ей ручку, а в сторонку сплюнуть.

Как будто верили, Глубоков громыхал:

— Вы мальчика к экзаменам готовьте. О принципах своих вас никто не просит распространяться. Хоть я и либерал — не потерплю.

А Боря, торжествуя, продолжал: жег книги Николая, перекручивал часы, нашептывал сестре, что Николай подсматривает в щелку, когда у Мариетты вечером засидится жених, словом, работал и не унывал.

Николай, собрав трехмесячное жалование, купил себе хороший микроскоп и в первый день не удержался: разглядывая рои инфузорий, закричал:

— Как хорошо! Боря, посмотрите!..

Взглянул. А вечером, когда учитель пошел к товарищу за книгой, затаив дыханье от радости и страха, снес микроскоп во двор и быстро в клумбу закопал. Вернувшись, Николай окинул стол, все сразу понял, хотел спросить, но не спросил. Он знал: есть дети, много, без акций, без капель для аппетита, без замшевых гетр, там во дворе, где мастер паял кастрюли в тысячах дворов — им жизни нет. А этот... и без злобы, от необходимости

одной, подумал: змеиное яйцо ведь разбивают, вырастет гадюка — всех пережалит. Кто «жалость» говорит — обманщик — жалости не знает. Я жалею. И убью.

6

Так время шло, но кроме книг, корней, таблиц — была еще одна большая радость. В пустыне акаций и Софий, в пустыне книг (слова — пески) — людей обрел, простых, почти пещерных. Не в стихах, не в исчислениях, здесь рядом — в казармах, где застилали лица капустный дух, портяночная твердь и матерная брань — прореяли пред ним впервые отражения далеких звезд, подсмотренных в каморке. Ну, разве может жить без человека человек?.. Пусть брань и храп, вповалку темный сон на нарах, пусть крыса, выбитая втулка, скула развороченная, пудовая надышанная тишина, среди которой грустно хрустнет хвост селедки, губы, будто крылья, проплещут «Отче наш», а их поддержит колокольный зык икоты... Но после зал Глубоковских, входя в казармы, Николай как будто просыпался. Он кроме пота и махорки ясно слышал горелый запах горя и тоски, такой тоски, что могут разом зевнуть, уснуть навеки, а могут, выдунув из козьей ножки искру, и сон, и дом, и целый мир, как крысу поджечь.

Особенно с двумя сдружился Николай. Старик из упаковочной, Сергеич. Лицо в провалах и в ухабах, разъятое лицо. Бывало, увидит — мальчик лепит снеговую бабу, не лепится, чуть вышло — упадет, два глаза — угольки в сугробах тонут. Увидит — ласково посмеется и рытвины на щеках так жалостно разъедутся, проглотят все, что вспоминает Николай и другие — тиковый матрац.

Сергеич порою, выпив сотку, раскрывался. Прежде крестьянствовал, конечно,— он самарский. В голодный всего лишился. Побирались. Пашеньку и Глашу (погодки) вынес на плечах. Когда пришел в Самару, уже кончались. А от домов — ведром: зараза. В окнах столько снеди! — никто не подает. Тогда с ним и случилось. Зашел в Успенский — помолиться. Дивный образ: каменья, золото, богаческий оклад. Вот тут глаза раскрылись блюдцами, голос стал чужой и зычный, не крестьянский,— дьяконов распев. Не выдержал и прямо подступил:

— Просыпься.

Ждал, долго ждал — зерна и жалости. А после, изловчась, на золото плюнул — «Щербатовский», «графьев», и ничего не стало... Рот промерз,— весь ледяной. Только в праздник — сотку, да мальчику, что бабу лепит:

— Дуралей, ты хворостинку вставь!..

Николай на нежности Сергеича, на этой виноватой улыбке, среди рождественской ватной бороды, на этом застывшем (струя в Лету) «просыпься» учился воле ясной и сухой — до треска. Ответит старику:

— Чего там... милый...

А сам уже кует огромный циркуль — разметить и начать.

Другой — механик Тагин — вправду был другим. Не больше тридцати и холост. Сам управляющий его ценил, часто советовался,— «американец наш». И может, если б был американцем, еще б один Карнеджи удивлял мир рассказом, выдышанным вместе с серным облаком гаванны: как мальчик — чистильщик сапог и самоучка изобрел особую систему, вошел в доверие, после приобрел завод и, наконец, теперь пятнадцать голых негритянок по целым дням на бедрах крутят для него сигарные листы отборных ароматов. Но Тагин был из подмосковных — дальше механика не пошел, курил лишь папиросы третий сорт. Зато добрел до многих выкладок и выдумок, которые Карнеджи и не снились. Одно он знал — пытать, и, кажется, порой готов был усомниться в своем носу. Пощупает: уж правда ли нос, и верно ли кверху любопытно задран, обследуя темный небосвод. Так, с виду белобрыс, мастеровой и все,— таких под праздник, на гуляньях табуны,— гармошка, тонет солнце в пухе галантных слов, подсолнечной трухи и дружной ругани (в рифму), но это видимость, а остальное чудо. Тагин, вступивший в мир, а было это в Богородске, в рабочей, темной и тупой семье, каморку с треугольным, вдоль и поперек заклеенным стеклом не медля превратил в Эдем. Хоть был крещен Игнатом, но явственно пришел Адам. Всему дивился — именам и лицам, чугунке и жуку, портрету адмирала в «Ниве» и суке, загребающей под все сосцы щенят. Не только его нос допрос чинил, но брови высоко взлетали и неуемная тянулась к миру крепкая рука. Есть мудрость вековая — календарь и святцы, закон Христов и мировой судья, столпы державные: «не обманешь, не продашь», «тише едешь — дальше будешь», «на Бога надейся, а сам не плошай» и много других. Хотя учили (три молочных, да два хороших, костяных изъяли наукой) — мудрости не понял, презрел. На все — «а отчего?», и были эти «отчего» и «почему» и «полно, так ли?» большими стенобитными машинами.

В белесой голове — верховный трибунал и канцелярия Саваофа. Примерно так обдумывали мир. Ремонт серьезный — от святителей до нужников — вот люди, даже пакостить не умеют!.. Тагин во все любовно входил. Войдя же, приглядевшись (четверть века), не вздумал, как Сергеич, от золота каких-то сантиментов ждать (вообще: не сталь, металл никчемный!), нет, дойдя до двоеточия,

стал у приятелей в депо, в воскресной школе и даже в пивной Калинкина искать «такого человека». Какого — в точности не знал, но слышал — ходят, приписывают и дают листки. А как-то в воскресенье пошел, не думая о многом, просто взнеся сапоги до каретной черноты на Воробьевы горы — пара майского вобрать. Вокруг палаток бабки дребезжали:

— Чайку! Чайку! Пожалуйте к нам!

В беседках, густо потея, нагибали чайники, кто честный с чаем, кто обманный с «казенным», и, наловчась, подхватывали однозубой вилкой кубик колбасы, столь издававшей, что спасала лишь пролезшая в беседку ободранная юркая сирень. Тагин спустился к реке. Вдруг видит на лужайке некие сгрудились, а посередине маленький очкастый, все говорит и говорит. Слова хотя невнятные, но круглые — не подцепить, как кинет шар — все кегли разом лягут.

Тагин подсел, как будто невзначай. Послушал. Кто-то, тоже, видно, энергичный, хотел вскарабкаться наверх и показать всем: «личность». Дудки! В амбицию: рабочий — это класс. «Идеалисты» — кто такие? Дурьи дуры. Очкастый встал, по травке топнул, рявкнул:

— А вы читали «Антидюринг»?

Тагин больше не слушал. Глядел блаженно на потные очки, на круглый рот (в нем языкастый обтачивал ужасные слова), на двадцать огорошенных голов, кивавших в лад словам и ветру: «Ну конечно же, конечно!» Глядел и думал:

— Вот я и нашел такого человека.

За сим пошло все очень быстро: идейная бородка Игоря-пропагандиста, кружок, а там — к зиме — земля обетованная — районный комитет. Встречая Николая, Тагин вначале был конспиративен, и на вопрос наивный — «кто же поможет?» — ответил насмешливо:

— «Общество попечения о народной трезвости».

Но, приглядевшись тщательно, одобрил и безо всяких околесиц прямо ошарашил:

— Вот вы толковый человек, а почему не в партии?..

И также сразу Николай все понял: книги прочитаны, отчеркнуты, конспект готов — пора писать не на бумаге, а на рыхлом теле Глубоковых, Власовых и прочих.

— Вас свяжет здесь один зубастый большевик...

Дня три спустя Николай во тьме перебирал затоны площадок, выискивая тщетно квартиру 46. Наконец, нашел — «Массаж лица Мадам Цилипкис». Благоговейно замер. Прошмыгнула рыжая Цилипкис, попахла на лету Брокаровской сиренью и голым локтем приоткрыла дверь. Там верещали: хроменький студент-технолог,

рябой угрюмый дядя, девица очень тощая, на долгих заседаниях явно утратившая пол, еще какие-то. Дым — тверд.

— Я требую еще профессионала...

Поспешно Николай, без нужды, трижды — всем, а особенно рябому дяде, шепнул пароль:

— «Каплун»!

Девица нервно стукнула изгрызанным карандашом: молоденький, не знает конспирации, так прямо «Каплун», сразу видно — не работал:

— А ваше имя?

— Курбов Николай (по-гимназически, как вызывали).

Так даже карандашик обломала: при всех «Каплун», фамилия, вот-вот покажет паспорт. И очень неохотно:

— Хорошо, вы будете таскать литературу.

«Товарищ Николай». Нет Курбова — остался на площадке перед вывеской «Массаж лица». Еще не все преграды. Какой-то желтый (будто съел лимон):

— Программу знаете?

Ужасно! Перст к небу:

— «Развитие обмена установило такую тесную связь»...

Нет больше слов, но гуд и ворох чудных губ, раскаченное новой судьбой сердце бьет башенный бой. Уже в тумане: воззванья, тезисы, отнести к Гужону, к печатникам, в союз. Комната Цилипкис. Карточки: бебе с барашком и усач — хоть безусловно фельдшер, но Аполлон, «Какой простор» — открытка, и гонг сердца. Так нисходили в катакомбы; эти грязные листки на гектографе, с лиловыми тисками пальцев — каменные: рыба, крест, яйцо.

Свершилось! Чтобы мир понять — его огородили: порог и дверь. Николай вошел в собор, где плиты, арки, купол. Не знал, не слушал, одно:

«Партия».

Жизнь впала в быструю глухую реку — мускульная дрожь и сердце — целостный кремень, еще не давший искры, и пухлых губ нецелованных жар — все ей, огромной, непостижной — где надо знать программу назубок, где надо на каторгу, и не невеста — подкандальник, где Николай один из тысяч, жизнь большая, потная, мохнатая — в стене простой кирпич.

Шел домой, к врагу, в Глубоковское логово — заложник. За пазухой две бомбы: сверток прокламаций, чуть шуршащих,— чтобы даже меченый Сергеич знал — все дело в капитале, это одна, а под листками вторая, страшнее первой — готовое сейчас же взорваться сердце. А поглядеть — идет как будто с первого свиданья: гимназистку провожал и физику Краевича в ремне сжимал от

страсти. Идет и шепчет нежное, большое имя, оно встает дымком в морозных синих сумерках — легчайший птенец — не «Лена» или «Вера» — грозное, глухое:

«Партия».

7

У Олега вместо Нюры — Земфира (конечно, в святцах нет, там ситцевое имя Зинаида, Земфира — псевдоним). Не писательница, но живет в самой литературе. Что Нюра — «миленький» и, словом,— дура. Земфира — в широкой юбке — cloche — колокол и всех корифеев — символистов, акмеистов, футуристов — по отчеству. Другие: «Поглядеть бы в щелку, какой он в жизни», Земфира же запросто: «Ах! Аристарх Иванович!..» И колокол встречает звоном: озорника мордастого — боевым, хихикающего старичка — малиновым (декабрьская пасха), а чопорного — сюртук наглухо, басит высокие понятия, все в рифму — такого — великопостным, глухим, но обещающим услады. Для бедного Олега — Земфира — мир.

Сегодня впервые снизошла. Вечером — тройка и цыгане, чтобы было строго — поэтично. Олег и сам понимает: человек — не скот. Это скоту на солнце фыркать и только; кобель без духа, без души, с одним дыханьем-сапом, повоет, вырвет клок шерсти у соперника, оседлает суку и после ляжет, отдышавшись, подставив солнцу живот. Точка. Олег же человек — Земфира даже больше, несмотря на «cloche» — почти понятие без рифмы, миф. Но тройка, шампанское и прочее — до 40, чаевые... Что делать? Олег растерян: цыгане — это стихия, и вдруг... чаевые. А pará ограниченный, кабинетный крот. Европа! Ни взмаха, ничего, какой-то клуб. Ну разве мог бы клубом вдохновиться Аполлон Григорьев?..

К нему не пробует. Вот разве maman?

Как всегда, лениво жевала жвачку. Выслушав сына, взглянула привязчиво и меланхолично. Казалось — сейчас нагнется и оближет. Нет, только задушевно промычала:

— Ммы не ммножем, ммало средств.

Потом, порывшись в ридикюле, набрала мелочью два рубля.

— Молю тебя — не ешь рубленого в ресторанах. Всегда из остатков, а у тебя желудок мой — впечатлительный и нежный, чуть что...

А что «чуть что», не дослушал. Кашлянув от злобы, вышел в коридор — рыцарь на распутье. Четыре двери — куда? У Мариетты — нет. Отец не даст. Экономке должен восемнадцать и еще четыре — ровно двадцать два — не подойти. Что же — опять к

марксистскому ублюдку? Позор такой? Не может! Кабинет отца — к телефону — сказать Земфире: заболел. Конец цыганам, конец мечте! Вот скажет: болен. Переспросит: «Ничего опасного?» — и в горле полыхнет: опасно! очень! может быть, смертельно!.. Ведь там же колокольца тройки, колокол Земфиры, благовест любви. Мужественно взял трубку. Станция долго не отвечала. Рассеянно оглядел стол. Огромный стол — папки, письма, обрезки обоев. Большой лист: «3% заем». Когда же раздалось из гуда океана далекое, подводное: «Стан-ци-я» — не сказал ей «16-48», быстро лист засунул в брючный карман, покосился на окошко — и прочь.

Что же! Вечером мело. В «Стрельне» подрядчик мял пятью обрубками грудь девушки и розу на проволоке — недоумелую ниццарку. Изо рта любознательно выглядывал ломтик семги. Раскормленные морды пели о кибитке, о жарком сне индейского царя. Среди меню и подхалимов — ухало, аукало смутное «у». И про безумную тоску, про грусть, среди устриц, грудь на грудь.

Олег, кутнув и пальцем выудив на карте «Мумма», нашел под лифом Земфиры понятную теплоту. Будто он, Олег,— поэт! Вдоволь опьянев, слюнявя помадные, приторные, как монпансье, щеки, видя рядом стихию — кнопки расстегнуты — простая баба — не зевай, вдруг поддался «Мумму», уснул. Со сна кричал лакею:

— Миндаль! К шампанскому всегда миндаль!..

И, видя кнопки, робко:

— Узасно, узасно заль!..

Сдуру перепил. Лишний бокал — пропало все, уехала Земфира с каким-то критиком, Олега не впустили в русскую литературу.

Все это было ночью, а под вечер часам к пяти Николай Курбов пришел домой. Оглядевшись, тотчас же пачку прокламаций спрятал в средний ящик комода (в верхнем были книги, внизу — белье). Ящик запер. Сердца же спрятать не мог, тараном било грудь. На стекле инициалов не писал, но смутно поглядывал на дверь. Казалось, покажется «она»: число и звездный механизм развинченного, собранного, проверенного мира. Как раньше машиной гордился, ныне партией. Машина знала Микадо, это — всюду: бербер и кули, все — эс-де. В год войны Плеханову жал руку японец, не смущаясь желтизной и Порт-Артуром. Сейчас о ней какой-нибудь бушмен: в Лондоне стачка, баррикады — «она». «Она» — бушмен, свободно кидай уду, черный воздух пей! Глядел на дверь — «она» придет.

И точно: дверь открылась. Вошел Глубоков. Не поздоровался. Забыв про Комба — к столу, к подушке, к шкапу, вытряхивает, щупает, тетрадки, старый носок, записку прачки — все выпотрошил. Николай соображает — обыск — старается прикрыть комод. К нему:

— Где ключ?
— Здесь мои письма. Нет ключа. Утерян.
И в ярости Глубоков:
— Ага! Нашел! Припер! — Его рукою:
— Скотина! Вор!
Боря в восторге. Бенефис. За дверью не успевал дышать, только бы расслышать. Выскочил:
— Воришка! Он еще у мамы сахар крал, а вчера Мариетта оставила в передней на зеркале двугривенный почталиону, он мигом слизнул и мне обещал тянучку, чтобы я молчал.
Глубоков звонит: позвать кухонного мужика и дворника. Жене:
— Ну как не возмутиться?.. Ведь мы его пригрели — почти что сын... Хорошо, что я либерал — не стану припутывать сюда полицию.
Корова, сообразив:
— А я еще его кормила! Действительно, какой нахал!..
И в гневе лиловел дородный, полнокровный либерал.
Пришли глыбастые. Матвей от усердия даже рукава засучил.
— Вы под руки и вон!..
В коридоре Мариетта. Как всегда грустна. На розовых губах еще не стертый толстогубым Кадыком последний стих сонета. Николаю брезгливо:
— Я вам дала бы сама какие-то копейки... Господи, как прекрасны крестоносцы, Мадонна и вот... простонародье...
Матвей сочувственно:
— Мазурик!
И может, сам надеясь двугривенный от барышни заполучить, приложился увесисто к плечам Курбова. Сени. Снег.
Охватили: сверху — свет люстры — бра, серебряное бульканье рояля — Мариетта играла «буль-буль, буль-буль» — «Томленье Прометея» (так полубог причесан, вымыт), еще — Матвея сивушная отхарканная матерщина. А снизу — снег. Унижен.
Вытер рукавом лицо — ссадины. Идет к Сергеичу. На нары лег, прикрылся кусачей овчиной. Сказал Сергеичу, Сергеич пожалел.
Николай не сжимал зубов как полагалось: со стиснутыми, кажется, родился. Заранее знал: ударят. Выговаривал почти что с нежностью, как «брат», взволнованное слово «враг». Унизили вот так: ну что же, ну разве этот Комб с лиловой шеей виноват? Ведь он не мог иначе: враг. Когда придет «она»: районы, городские группы, сознательные члены, разметит, обозначит, приступит — такой Глубоков, словом, тогда — эдем. Одна обида — пропали прокламации. И как признаться секретарю? Если был бы сейчас листок — прочел бы Сергеичу:

— «Товарищи, в Думе помещики и фабриканты»...

Ну, все равно, он скажет без листка. Под овчиной закрутил. Не гнев, не пыл. Слово за слово — чертеж. Так — было, так — Сергеич знает. Есть партия. Кружки. И будет вовсе поиному. Вот так. Ну что же? Сергеич, а?..

Сергеич понимает. Что Николаю — пухлые зачитанные книжки — ему давно в одном: «Проспыпься». Сергеич знает и не верит. Конечно же с утра приятно, думаешь — перекувырнешь. А вечером зазорно. Ничего из этого не выйдет. Одно целение знает — не слова, не ласка, не человеческое скудное добро — одно целение: сон. И Николаю, заботливо законопатив овчиной щель:

— Поспи, касатик!..

Кусается овчина, ходят на боках, боком ходят вши, в углу со сна рыгает Гаврюшка-возчик. Сергеич улыбается, и яма ямой.

— Касатик...

И засыпающему Николаю снится: мама, меж двух гостей — к сундучку, единственное детское, забытое за годы, слово: «Спатки».

А после до утра: крылатый шум, гуд пчел, огонь — пора! И с боку на бок:

— Враг!

8

Утром оказалось: кроме чисел — хлеб. Поглядел недоуменно на ватный день; и небо, и дым из труб, и заспанные лица — все вата, грязная, к весне, меж рам. Пошел по переулку. Ворота. Пивной завод. Репетитором, чтобы Мариетта?.. Нет! Здесь ближе к делу.

Час спустя выстукивал порожние бутылки. «Динь-динь». Быстро всю корзину объехать. Как музыкальный клоун. Где трещина — срывается, звук жалуется — «ах!» — такую прочь. Концерт с шести и до шести. Шестьдесят копеек, на своих харчах. Жить можно. В семь на явку. Пароль, листки, и все как надо.

Пошло. К весне пригляделся. На пивном — кружок, восемь человек. Уж он «организатор». В районе — секретарь товарищ Надя. Курсистка. Влюблена в пропагандиста Глеба. Разумеется — идейная любовь. Но только Глеб, рассказывая грудастой Варе, в какой печальный эмпириокритицизм ударились иные из верхов, вместо точки рукой на миг — к груди — товарищ Надя, забывая свои обязанности, роняет блокнот, адрес путает, немедленно выбывает из строя. Сам Глеб — мужчина как мужчина; мог бы быть агрономом, публицистом, агентом «Саламандры», кадетом, просто

дядей Глебом — стал эс-деком — профессия. Почти служил. Исправно разъяснял и вовремя готовился; ни Надя, ни Варя не отражались на конспектах. А зачем и как — не думал, так уже вышло, каждому свое.

Еще товарищ Тимофей — дискуссия. Если разобрать на составные элементы — три: чахотка, пенсне и в упоении брызги слюны, жестокий водомет. Враги природные его не занимали. Царь? Всякий знает: царь — зло. (Всякий, то есть два десятка приятелей; посетители столовки на Малой Бронной и прочая периферия.) Кадеты — тоже ясно, даже дураку. Враги — меньшевики. При этом слове Тимофей яростно кашлял, так, что пенсне галопом пролетало ввысь, и взрыв слюны. Готов был ночью, на морозе, засыпая, со сна и даже во сне начать дискуссию; так и снились: толстые методологические ошибки, выводок хромой — неправильные выводы, юркие мальчишки: подвохи, остроты, «на слове поймал».

Как-то перед съездом (тогда еще «объединенная» жила) мандаты набирали. Последнюю труху — там три наборщика, здесь завалялись булочники, еще какие-то сомнительные шляпочницы. К Николаю — на пивной. Явились меньшевичка Елена и Тимофей. Куда ей!.. Рохля! Пока раскрыла рот, уж Тимофей ее разоблачил. Муниципализация и прочее, а попросту, для не различающих различий — ревизионизм. Пенсне — высоко. Рабочие — так ее! Ишь, норовит, чтобы нашему брату меньше!.. И Митюшок, особенно, ортодоксальный, вкусно вспомнил «мать». Рохля чуть покраснела, розовой ушла. Носа больше не покажет. Еще набрали восемь голосов.

Все это видел Николай. И часто, пересчитав бутылки, лежа в каморке, был готов отчаяться. Подходило — вот после тысячи бутылок достучался — одна надтреснута, дребезжит: «оставь»! Видел: Надя, Варя, много — скопом — стечение обстоятельств; груди ждут: сначала затвердеть под пальцами любовника, потом набухнуть — детеныша вскормить. Какое-то сопровождение. Ведь если б Глеб был фабрикантом — Люба: «рабочие тебя обкрадывают», музыкантом — учила бы сольфеджио (на стенке Бетховен). Тьфу!.. А Глеб — он на собрание, как в департамент — отслужить. Тимофей? Драчливые парни, без ревизионизма прямо по мордасам — хоть проще, но серьезней. Ерунда! Все вместе — люди, то есть нечто вроде Глубоковых, ну лучше, добрее, в бедноте своей честнее, но все же не числа и не звезды, а туши, груды необработанного мяса, темное сырье.

«Готов отчаяться», но не отчаялся. На краю удержался. Разум спас. Пусть жалкая гнилая мешанина. Это — люди. А партия — динамо... Надо людей заставить стоять согнувшись у станка. Машина же не может ошибиться. Расплющит все и выкроит иное тело,

иное сердце, иных, совсем иных людей. Пока — не унывать. И молодость большая помогала.

Еще — рабочие. Не ругань, не праздничная жадная тоска, и даже не кружок, где восемь смельчаков мечтали: «И никаких тут околодочных»... Нет, поутру, когда суров мороз, косое солнце — скупо — в сгибе рук, в дыхе труб — большое колесо — труд.

Летом — зазубрина. У Николая был дружок, почти эпизодический: краснодеревцы отделывали на Полянке трактир с причудами. Собирались на квартире у Михайлова. Подвальные удобства — без соседей, хоть всю программу разъясняй. Но у Михайлова была жена — костлявая и злая, рот — нитка: в микроскоп глядеть, а из него не голос — шип. Когда Михайлов уходил в пивную Трехгорного, погулять или по партийным — глубже в себя всасывала губы и шипела. После на свет несла мужнину рубаху: искала волос разлучницы. Возненавидела до задыхания. Как-то в июньский вечер собрались. Николай изображал период начального накопления. Еще — передыхая, пили чай с клубникой и вытирали рукавами лбы, исходившие испариной от «накопления», от чая, от жары. Дверь раскрылась. Ждали шипа, нет — шашек стук.

— Собрание? Обыскать! И всех в участок!

Даже клубника буколическая не помогла. Провожая, костлявая впервые улыбнулась, нитки чуть обозначились:

— Там тебе покажут с девками гулять!..

Впрочем, Михайлова и прочих отпустили. Только Николая приберегли. Наутро — в Басманную. Ввели в контору. Смотритель — Пасюк с торчащими резцами, но в мундире — сразу ошарашил:

— Скидай портки!..

— То есть как это?..

— А ты без «тоись»...

И сняли — обыск! Рылись, живое тело потрошили. Какой-то сопач рукой мозольной (будто рукавица) в рот забрел, под языком проверил.

Камера — вповалку, кашель, скрёб, смрад. Освоился — ведь знал, на что идет. Но кругом беспокойно было. Пасюк работал неустанно, измывался вовсю. В камере четвертой сидел молоденький парнишка, гимназистик, Женя Фикелевич. Подготовлял не только гимназистов, реалистов, но даже институток к «ниспровержению». Тюрьмой был горд. Ему родители прислали ночные туфли и домашнее печенье с миндалем — стыдился. Вообще стыдился, что баловень, что жил в семье, что там кроватка с голубым атласным, что утром приносила мама кофе и ручку калача. Хотел казаться бродягой — без угла. С утра и до ночи слу-

жение революции. Вот розового Женю Пасюк особенно возненавидел.

— Жиденка изведу,— и острые резцы выглядывали жадно.

Как-то в воскресенье Женю вызвали на свиданье. Мать. В конторе. Пасюк уж тут как тут.

— Скажите, сударыня, как вас угодило этакую пакость уродить?..

Женя:

— Не смеете!.. Я прокурору!..

Мать дрожит, шляпка набок, сумка на пол...

— Женичка, молчи! Вы — господин смотритель? Простите, что мы вас беспокоим...

Пасюк доволен. Женю назад ведут.

— Как вы смеете?..

— Вот я те съезжу в харю!..

И бац. А через час Женя, выйдя в отхожее, не возвращался долго. Сторож Бабич пошел удостовериться. У двери вздрогнул. На помочах... Под подушкой нашли туфли (стыдился — прятал), крошки миндального печенья, и на клочке от папиросной гильзы: «Дорогая мамочка, я так боюсь... Мамуся!..»

Николай — рука на железе окна — сухой глаз, сухой сон, железная тяжесть, сердце — запор — порох. Когда же? Скоро!

Пока что — месяцы в тюрьме. Допросы. Ротмистра бархатный баритон, чай с лимоном.

— Я душою с вами.

Белки глаз мечтательно ввысь — Гретхен в голубом мундире.

— Ведь я почти революционер...

И снова нары. Карцер. Крысы — другие, без службы. Мокрицы — за шиворот. Голодовка и плевки на хлеб (от соблазна). Однообразие: снова били,— в «пьянку», на блевотину. Осень. Скоро ли?

Потом скитания. Теперь «профессионал». В Николаеве забастовка, судостроительный. Урал — выборы. Волнения среди матросов. Севастополь. Надо связаться с солдатами. Военная организация. Несвижский полк. Был дворянином Кадашевым. Тер-Бабаньянц, армянин из Нахичевани. Сольской волости, Елецкого уезда, Гавриков Илья Иванович. Бельгийский инженер Сельвер. Имена. Прописки. Приметы. Аресты. Тюрьмы. В Баку провал. Сидел в Лукьяновке. В Иваново-Вознесенске меньшевистское засилье. Самарский централ. В Крыму ингуш — нагайкой. Чайные. Ночевки. В среду, в четыре печатники, в шесть часов РК. Где ночевать? Блокнот. Адреса на папиросной. (В случае чего — проглотит.) В тюрьме отдохнет.

Одно особенно любил: выступать в рабочих казармах или ми-

тингах, чтобы было побольше лиц чужих, неперелистанных. Еще — чтобы не было имен. Войдет — высокий, худой, в просиженной на разных заседаниях шляпе. Смотрят — «агитатор». Тянутся. Он знал эти движения: выгнутые пружины шей, руки выпростанные, чуть приоткрытые, сухие прогорклые рты. Бородатые — как школьники — на доске мелом «О» — и каждый ротик тотчас становится таким же «О» — удивление.

Говорил складно, внятно, слов не кидая пригоршнями, будто мот, бережно раскладывая по всяким головам — курчавым и плешивым, как домовод припасы. Сразу видел всех и никого не видел. В такие минуты верил — не зеваки, не пьяницы, не лежебоки, не мусор — обожженные в горниле муки кирпичи для новых строек. Слово, грузное и рыхлое как мясо, кидал восторженно:

— За нами массы!..

Второй и третий раз в казарме. Видел, кто и как. Василий из казенки раком ползет домой, да не простым — вареным. Федька — разбуди его и то — «орел или решка»? Зобастый Влас всех девок упаковочной, распаковав, прощупав, испробовал. Увидит, хвост закрутит, мигом увильнет. Все это Курбов вскоре замечал. Не брезгал, не осуждал, усмехался ласково:

— Ну, вам, товарищ Влас, сегодня не до Маркса...

Но исчезали первичные громады. Как глетчер таяла величественная «масса», обнажая кочки жалкие голов: Василия искристую лысину, смешок молодцеватый Власа.

В каком-то из мелькавших городов среди людей встретил человека. Цекист. Кличка «тов. Иннокентий» (имени, кажется, и сам не помнил),— больной. Ночевали вместе, снял пиджак — лохмотья. Есть забывал. Но не было в нем ничего от аскетизма марксистских начетчиков, среди комментариев, затерявших простую радость. Взглянет, улыбнется, и глаза усталые, чуть прищуренные, раскроются в таком младенческом упоении, что встречный — какой-нибудь усатый регистратор, враг и дурак — тоже взглянет, тоже улыбнется в рыжие колючие усища — жить стоит!.. Раньше, кажется, такие в скитах живали: молились, перевязывали лапу подшибленному журавлю, вне мира были с миром. Теперь не в монастыре, где белуги под соусом и щедроты молельниц, а в самой изуверской партии — такой сыскался. Прочел он... прямо все прочел, на конгрессе Жореса переспорил, разумного желал, а в сердце — любовь бесхитростная, отрешенность: дитя, лесная ягода, улыбка.

Николай его встретил на собрании. Туземец — щенок — читал доклад об «использовании легальных союзов». Вздор, а где не просто вздор — там ересь, синдикализм. Николай его, без напряже-

ния, мимоходом, проследив, разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать.

Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был мягок до отчаяния. Да, принципиально, конечно, но доклад все же очень интересен, благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом.

— Товарищ, зачем вы прямо не сказали — вздор? Ведь это развращать таких балбесов.

— Вы очень молоды. Он тоже. Вы умней его, но не старше. Да, да. Вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке: приезжие сказали, значит, я — ничтожество, зачем же жить?.. И будет ему плохо, так плохо,— камень-голова, щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас...

Николай жил двадцать два года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо — что это?.. Растерянно замер. Остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови.

— Ну что там!.. Я ведь не против вас... А просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь.

«Жалеть». И Николаю это плеть.

— Жалеть нельзя — для дела вредно.

Товарищ Иннокентий вздрогнул (ему черед), чуть двинул бровью — этого еще не слышал. В первый раз нагнулся — такая глубина!.. Не знал, что, вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал:

— Не так, не так...

И, чуя, что словам нет власти над жесткой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом:

— Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?..

И снова — плеть. Николай выжал:

— Может быть. Ну, мне сюда. Прощайте.

Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом, печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье. Пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил — как ягоды этим летом — не дороги ли? Вдохнул жар и сладкий пар. Вспомнил что-то, и на губах, где расползалась скрученная папироска, почувствовал: сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уж вечерело. Подошла собака — старая, с седой бородой, жалобно подышала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае — как глядел в упор. Захотелось прилечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей — ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. (Через год — в пятнадцатом — он умер, не увидев, чем

закончился вот этот спор, в нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется, в Уфе, когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые белели щеки и вспыхивали жесткие глаза.)

Расставшись с товарищем Иннокентием, Николай не пошел домой. Он долго бегал по пыльным уличкам, пренебрегая конспирацией, пугая сонных обалдевших кур. Был тоже он над самым склоном, ясный математик готов клубком свернуться, умереть. Забрел зачем-то в чайную, взял «пару». Чубастый мастеровой кинул пятачок в машину — машина, не ошибаясь, проплакала про бура. И чубастый растравленное сердце, неудачливую жизнь, картинку красавицы из «Нивы», мух и скуку вылил в одно пронзительное верстовое «у-у-ух»! Николай глазом не повел. Камень. А внутри все ходуном ходило. «Жалеть»? Как тот, у фельдшерицы? Был он другим. Рожден иначе. Пенок вкуса не припомнил на сухих губах. И для других годов рожден. Такой не мог бы умереть в пятнадцатом. Он должен был дождаться и дождался. Вынянчила не любовь, а воля. Жалеть? Но стоит пожалеть ему, и вскочит очумевший, обнимет всех: трактирщика, чубастого, машину, мух; весь изойдет в соленом ливне. А после — ничего. Ложись на скамью, пей чай и — если очень сильно нальется гневом сердце — ухай — «у-у-ух». И все останется, и будут где-то мамы работать (тиковая ямочка). Провы шуршать ассигнациями, и Мариетты — сонеты, бас Власова, бычьи шеи, мясо с перстнем, нежность вшивая Сергеича — тухлятина, цыц, Коленька, лезь в конуру, лижи сапог и блох вычесывай, пока не околеешь! Вот жалость! Нет! Николай Курбов не может жалеть!..

Из чайной вышел твердой поступью. Зачерпнул немного северного ветра. Среди домиков, утробных, теплых постельной душной теплотой, вот этот ветер и гудок вырвавшегося в поле паровоза («я рою горы!»), редкое сердце — боем. Скоро! Уж скоро!..

9

Австрия. К посольству!..

— Как же так?.. позвольте прикурить!..

— Братья!.. Славяне!..

— А ну их к матери!..

Той теплой ночью Николай, среди слезы и зыка, познал такое одиночество, что, кажется, он был не на прокисшей, тихой Мойке, где, набегая с Невского, прапорщики, экстренные выпуски, шлюхи, подвыпившие призывные сновали, плакали, с молодце-

ватым свистом выплевывали новое слово «война» — не там — в пустыне.

Заранее все знал, без директив: Англия, Германия, империализм... Но что же делать с этим знанием, когда даже тумба готова, подбоченясь, гарцевать, колоть, стать знаменем или наглой телеграммой? Груды туш, домов, вещей, шпицы, купола, каланчи,— все взбесились. Вывески кричали: воевать! Золотой калач, от чванства раздувшись, требовал: «Сожрите, растопчите, я неистощим!» И он подмигивал при этом рогу изобилия, с плюшками и с прочим. Сюртуки и брюки портняжек, без голов, уже маршировали. Колбасы пахли падалью, окорока сочились дикой олифой. Надо всем торжествовал сапог. Он долго жил своей отдельной жизнью, рядом с «Иллюзионом», напротив кулинарной школы, в доме № 20. Услышав топот, стал опускаться, доказывать: «Зачем нога? Я сам. Пройду в Берлин. Я растопчу. Я — с вывески. Я рыжий, дикий, самодержец». Курбов чувствовал на голове пудовую пяту. Бежал. Но из домов выглядывали пуза комодов, легионы десертных вилок, крокодилов оскал кушеток, портьеры, вздор. Вещи явственно не могли терпеть: много, тесно. Люди тоже. Образовалось море. Николая несло час, другой, наконец, с гулом выплеснуло. Он шлепнулся о дверь, скатился со ступеньки. Может, являлся уже трупом, и некто, будто заправский поп, над ним пропел:

— Одын кахэтинский!

В кавказском погребке войны сначала не было (две двери, к тому же обитые сукном, и шесть ступенек). Засаленные, заспанные ковры лениво колыхались. Баранье сало. Жалостно: «Алла верды». Шмыгала какая-то девица (вероятно, Нина). Глаза масляные и мокрые, как подмышки. Николай, уже бездумный,— утопленник на дне — послушливо пил кахетинское.

Вскоре война стала просачиваться, сперва по каплям. Двое:

— Вильгельма за усища!..

— Миляненький, ай-а, ай! миляненький, подстрелят тебя пулей, прямо в пу-у-уп.

После, прорвав сукно дверей,— ватагой. Буйные бутылки в восторге выстроились: снарядов хватит! Засим — Берлин. Высочайший путеец нашел на стойке кинжал для шашлыков, с девизом «Смерть барашкам», машет. У Нины из глаз-подмышников течет густой, любовный сок:

— Ты храбрый!..

Запели. Бутылки тенором и чисто. Люди фальшивя, отрыгая детские уроки, экстренные выпуски и дрянное винцо.

— «Боже, царя храни!»

Вдруг видят: один не встал, не отрыгает, над столиком, на-

хохлившись, ест с хрустом огурец. Обступили Курбова, так человек пятнадцать:

— Пой: «Бо-о-оже...»

— Пой!

Здесь чей-то штык, и «смерть барашкам», и подмышники, и все — одно:

— Пой!

Знал — не сделает. Но крепче сжал рот, боясь, что вырвется случайно какое-нибудь мягкое зализанное слово, вроде «не надо» или «перестаньте».

— Пой «бо-о»... пой, «бо-о»!..

Встал тогда, широко рот распахнул и отрыгнул — не «бо», весьма рогатое:

— А ну вас к черту!

Черт, выскочив, задорно рогами боднул путейца. И высочайший обомлел. Потом ударил. Полетели: Курбов, столик, бутылка, огурец. Кахетинское легко смешалось с кровью. Докончить не могли: дальше несло, и в дверях еще разок отчаянно рявкнув «царствуй на славу», все выкатились прочь. Хозяин с пьяным армянином, успевшим уже выжать подмышники девицы, подняли Николая и выкинули на улицу. Какой-то проникновенный патриот смутился, но армянин его утешил:

— Человэк пэрэкупил.

Николай поднялся, долго, слюнявя платок, вытирал лицо. Так одинок! Так нескоро! Гигантская «партия»— крохотная девочка, ручкой махнет «долой»! Эти усмехнутся: «Пусть себе!..»

Светало. Взболтанный народ еще ходил, не мог осесть. Вдруг, оглядев толпу, Курбов зажмурился: ясно стало — истопчут, нашинкуют, человеческая окрошка, «пулей прямо в пуп»... Отнюдь не тигр, но, это осознав, удовлетворенный, почти что облизнулся. Да, штука будет посильнее всех Власовых, Глубоковых и крыс в мундире!..

Мойка пахла сыростью, чухонской, скряжнической, мелкоканцелярской духотой. Но Николай услышал плотный кровяной дух. Разволновался: «Пулей прямо в пуп!..» Будут многие пупы, ощерясь, мстить. Также бегать по канавкам, сбивать с наскоку картузы, зальют все погребки, дивным кахетинским прополощут грязный камень и гранитные седалища сановников. Видя такое, Курбов радовался дню, одышке одутловатого Петербурга, экстренным выпускам, синякам, войне.

Заснул уже утром. Шепнул в подушку вздорным шорохом:

— «Смерть барашкам»!..

Засыпая, видел, как по миру ходил чудовищный циркуль, отмерял, назначал и вписывал одно в другое. Видел сердце без воя и без войн, строй, солнечный зной, глазастый разум. Видел еще

голый город: в одной стене миллионы иллюминаторов. Дальше — число пришло к числу и два числа торжественно молчали. (Но это видел уже во сне.)

10

К дочери хозяйки (Курбов жил тогда на Кирочной), к Мирре-хохотушке, приходила подруга Таня Епифанова. У Николая книжку попросила. Потом все чаще, уже не к Мирре, а (третья дверь направо) к Николаю.

— Можно? Я не помешала?..

Вместо ответа с полки еще одну колючую достает. Ну, как такую проглотить?

— Вам надо усвоить диалектический метод.

Бедная обмирала. Знала: дома — шарады, фанты, танцы, шоколадное печенье «Империаль» и «Je vous aime» Пети Петухова. Еще: она — дочь капитана в отставке, Таня Епифанова, у нее две руки — обнять, голова — ночами думая, измыслить нечто сложное и важное, например, «Коленька», «родимый». Но читала: «антитезис... синтез».

Раз Николай, одобрив, сказал:

— Вы будете работать в моем районе.

«В его»! С ним! Район — почти шалаш влюбленных. Диалектику, стыдясь себя, тихонько заедала Блоком, тогда у Курбова оказывались роза и секира. Закрыв лицо ладонями, Таня со сна его звала:

— «Мой любимый, мой князь, мой жених».

Капитан в отставке книгу нашел («Карл Маркс, 18-ое Брюмера»). Страдая астмой, так задышал, что подвески люстры грустно всплакнули, швырнул, учинил допрос, Мирру с Кирочной обозвал потаскушкой.

— Запрещаю!.. Молчать!.. Прокляну!..

Таня «18-ое Брюмера», обиженное капитаном, нежно поцеловала (не это ли его письмо?).

— Он герой!

— Жидюги! крамольники! прохвосты!

Об стол. Люстры навзрыд. Кричит:

— Не то прокляну.

— Я тоже буду... и в его районе!..

Через час — третья дверь направо. Николаю:

— Отец отсталый... Мы разошлись навеки: помогите мне пристроиться. Я умею немного по-французски и еще штопать папины носки...

Ночевать оставил у себя. Октябрьское солнце поцеловало мер-

злое окно, и стекла — старушечьи щеки — облились слезами, оттекли. Оба молчали. Таня не выдержала.

— Вы подумаете, что это нечестно... Все равно! Я должна вам напрямик сказать: у меня, кроме убеждений... Ну, как сказать?..

(Рот приоткрыт, и все готово для слов, а нет их, тянет, тянет из себя, как из колодца тяжелое ведро.)

— Николай!.. Я про себя зову вас просто Николай... Словом, я хочу, чтобы вы меня...

И это уж не вслух — чертеж губами:

— Любили...

Николай чуть-чуть согнулся, но, быстро вспомнив и Тань, и Варь, и Кать, озлился. Что им партия? Капитан, ну, помоложе, чтобы гуманный, и в театр, гости, дети... Не ответил Тане. Долго, громко возился со спиртовкой: надо чай пить. Когда вскипел, сказал:

— В моем районе много работников, а вот в Василеостровском был провал. Вас — туда. Я завтра скажу секретарю.

Таню уложил на свою кровать. Сам — на пол, в углу. Но не спалось. Женщин Николай не знал, хотя по возрасту как будто полагалось (был ведь крепок и здоров). Может, память удерживала: ночи на сундуке, гитара, визг, маменькина ямка. Как в иных девушках, в нем настоялось трудное, густое целомудрие. Улыбался женщинам, и часто, проходя по летним уличкам, радовался на влюбленных, сам же никогда никого не целовал. Порой по телу ползло что-то мохнатое и теплое, как большое насекомое, в голове распластывало крылышки, и бились невнятно залетные слова: «милая», «нежная». Отряхивался, как с дождя. Теперь — сильнее. Вдруг звук. Не сразу догадался, что это слезы. На Николая хлынула влажная обморочная теплота, как в летние, сырые ночи. Закрылся одеялом с головой: там, в темноте, высовывала шакалью пасть любовь. А что с ней делать — с этой любовью?..

Таня все всхлипывала. Углы узких плеч подскакивали в такт. Вот так! И ничего не будет. Ни жениха, ни того, другого... И даже не в его районе...

А Николай уже дышал ровно. Глядел на потолок: трещины свивались в какие-то мифические буквы. На неизвестном языке значилось:

«Все ерунда».

«В четверг в 4 — явка».

«Будет когда-нибудь легко».

Чувствовал — осилил. Мысли сцепились, отхлынув,— правильно текла вышколенная кровь. «Любовь? Мне не нужна любовь!»

Утром снова спиртовка и деловое:

— Вам лучше всего поехать на трамвае № 34.

Спустя неделю, встретив секретаря Василеостровского района товарища Максима, спросил: как такая-то?

— Не было такой.

Вот тебе! Зачем же с ней возился? Как будто таким дорога партия! Самки! Конечно, любовь в природе — но час, но день,— у этих всё. Когда мы одолеем, надо устроить школу для девчонок: с детства приучать, чтобы любовь и дети на месте были, не утром и не днем. Так, побрюзжав, вскоре забыл о Тане.

После: морозный засиневший вечер. Сочельник: нагруженные свертками, пакетами, кулями, заиндевевшие, спешат, чтобы, окунувшись в тепло, выронить крымские яблочки, золоченые орехи и красные рождественские носы. В паре расплываются, сдаются парадизы витрин: закрывают — поздно. Свертков все меньше. Светлые пятна и гам переместились в этажи, где за портьерами и шторами: детвора, суетливое предчувствие, распакованные звезды. Только редко — запоздалый тащит купленную подешевле елочку.

Бесприютный Курбов долго разыскивал — где найдется заваля- щийся огонек. Набрел: «Чайная»— еще открыто. Два китайца, не то улыбаясь, не то грозясь, во всяком случае переставляя время от времени таинственные скулы, орудуют с чайником. Хоть рядом кипяток и сахар, но сивушный аромат все тайны выдает. Еще — девица. Сначала Николай не узнает: нечто знакомое, может быть, случайно, на улице заметил. Потом эта знакомость щекочет мозг, перерывает воспоминания. Какие-то намеки тонут в малиновом море румян, в треске юбок: ясно — с Невского, откуда же знает?.. И вдруг — уже не памятью, а чем-то встающим из живота: мохнатое ползло, ночь, слезы.

— Товарищ Таня, я не узнал вас...

— Напрасно узнали... Вам ли такой интересоваться...

— Что вы!.. как же!.. А почему же вы не пошли тогда на явку?..

Таня смеется так громко, что серьги, чашки и даже скулы китайцев перемещаются:

— Это очень скучно! А я живу весело. Вчера была в «Электротеатре». Глупышкин зацепился за порог, разбил в посудной лавке все миски. Хи-хи!

И снова общее колыханье.

— Потом — фарс «Когда его нет дома». Вы не были? Ужасно жаль! А впрочем, до свиданья: я пойду вот к этим желтым. Они уже пригласили.

Встает, но как-то слишком быстро. На пол — сумочка, из нее: зеркальце, мужской дырявый кошелек, трубочка губной помады, грязная плешивая пуховка, новые чулки, неизъяснимо прозрачные: лес поздней осенью и наконец — книжонка. Николай невольно любопытствует, ах! «18-ое Брюмера».

— Отдайте!..

Голос снова вверх, и трах — разбился, прямо наземь слезливым задыханьем. Бегом к китайцам. Из горлышка чайника пьет залпом.

Закрывают. Курбов один среди торжественной морозной тишины. Слышит еще «хи-хи» и слезы. Надо забыть, не слышать, отмести. Зачем такое? Просто ей был нужен муж, какой-нибудь капитанишка. А впрочем: не то... Может быть, любила?.. Мохнатое опять ползет. Но лучше без любви. Если поддаться — пойдут уют и прозябанье: дети, елка, грецкие орехи. Затвердеть. Стать свежим, белым и прямым, как этот пустой, окрыленный новым снегом, летящий дальше, в ночь и в мир, проспект.

11

Вскоре перекочевал в Москву. Там с одним сошелся — тов. Сергей. Технолог. Веселый. Лицо — славянское поле: направо, налево гляди, до неба. Небесный глаз. Нос — недомолвка. Рот лишь в эскизе. А вместе — подмосковный пейзаж. Зря говорят о таких: «душа нараспашку». Просто в адамовом виде, ее и запахнуть нечем. Николая, видевшего в жизни прямые дороги, огромные грузы, задачи, отмычки, крупный конский пот, его — прямого, сухого, с точно очерченным белым лицом, с чернильной чернотою — глаз — прельщала в Сергее женская мягкость, щек припухлость, расплывчатость слов.

Сергей любил с рабочими после политики выпить — где-нибудь на Воробьевых — чесучовая рубаха, ворот отстегнут, итальянка — и дерет, дерет «погубил бы я Нюточку, да она заплакала»— как ножом по стеклу — Нюты жалко — слез ли или потерянной оказии — кто знает — только очень жалко. Сил нет!

Так в будни Николая он приносил какой-то дух примятой травки с яичной скорлупой, разудалых жалоб, студенческой тоски, пивной, слегка слинявшей, но все же с запросами.

Был первым другом Николая. На масляной сняли вместе комнату — у Серпуховских. Сергей на новоселье повесил портрет Андреева, сглотнул четыре бутылки портера и, приложившись к Леониду, задумчиво пролепетал:

— Проклятье зверя!

Вечерами — беседовали. Ну, кто же подумает, что Курбова, который мальчиком глядел на звезды и слушал топоты ямбической строфы, могли насытить две явки, тезисы и ежемесячные отчисленья семи Эйнемовских конфетчиц? Сергей попался. Сергей был первым, допущенным к такому часу, когда угрюмый Курбов, как пушкинская Таня, как все в начале жизни: технологи-пропагандисты, любители

футбола, модницы, модистки, все — боясь дохнуть (дыханье — жизнь), боясь взглянуть — бессонно разгораясь в истоме розовой, кладут, чуть-чуть пригнув углы, на карту — карту: домик. Да, Николай мечтал. Но мечты проверенные выходили из мастерской великолепного часовщика. Стихи читал каких-то диких (звали «футуристами»). Вскачь гласные: «Х», «Ц» и «Ч» быстро — искрами из-под копыт. Голое слово —«смехач». И сразу — пьян — вытаскивал из-под тетрадок какой-то прейскурант, турбины, мотор, колесо, три тысячи лошадиных, такая — когда идет, разрез, и в Ливерпуле — Галилея безошибочных чудес. Нью-Йоркский небоскреб? — Щенок! Лавочников лихорадит — нарыв. Нет, будет город — плоский, голый, весь единый дом, весь вымерен, отлит, составлен, без труб, без башен — серый куб, над кубом — солнце.

Были какие-то намеки, гомункулусы в банках: Петр с ножницами цирульника (почти что маникюр), «неподкупный Максимилиан» («Невольница» Шенье, чувствительная прихоть толстяка Дантона — все это вздор,— тверже: кровь и календарь). Теперь придут другие — выдержали сотни корректур — не прошмыгнут описки школьников: любовь или сомнения. Как о любимой, говорил о времени. Верная мера — Век.

Сергей подумал вслух:

— А что ж ты скажешь, так сказать, о человеке?..

Другому Николай просто бы ответил: «С народниками скучно спорить». Другу:

— Ведь это все про человека. Прежде было про зверье. Он будет — большой, широкий, дела, слова и даже повороты суставов — изъявления воли. Никаких истерик! Всех геройчиков Андреева и прочих — в зоологический музей. Вагон трамвая, принимая тонну человеков — и тот начнет петь, не нужно будет триолетов. Вместо озноба гнева и любви — неукоснительное равновесие. Сергей, я вижу этого большого человека. Новое сознание. Мне кажется, чтобы судьбу измерить, он себе на лоб поставит огромный третий глаз.

В упоеньи он подошел к Сергею — нет, не к нему — к модели «человека», и холодно, немного чопорно поцеловал зерно, почку глаза, веснушчатый, бугрястый лоб. От теплой кожи сразу стало стыдно, скучно, тяжело.

Снова — время. Памятный весенний день. Общегородская конференция. За Канатчиковой дачей — в лесу. Патрули с одуванчиком в петлице. Пароль — спросить: «Как пройти на рачью свадьбу?» Солнце припекало. В прения «об агитации среди запасных» бесцеремонно вмешивались славки, малиновки и даже нудная кукушка. Одуванчики не только в петлицах и в траве — их золото в самой груди. Вылезшие из подполья, из каморок на Живодерке, Козихин-

ских подвалов, духоты Благуши, как звери из норы, нежились. Порой казалось, действительно — не рачья ли свадьба? Николай сорвал цветок, пальцы покрылись молочным соком. Солнце меж лопаток усердствовало. Хотел было лефортовского Виктора пристыдить за утопизм, но все аргументы забыл, зевнул стыдясь, потянулся.

Вдруг — свисток. Виктор подпрыгивает. Трещат кусты. Отнюдь не птичьи голоса. Делегаты врассыпную.

— Провалились!

— Направо!

— Нет, сюда!

Отсюда и оттуда — отовсюду, в кольце одно:

— Оцепили!

Николаю повезло: прополз бочком — в траве. Продефилировали рыжий сапог со шпорой и синие штаны. Дополз до Татарского кладбища. Залег меж плитами. Мимо гнали арестованных. Стадо. Овчарки с кобурами лаялись. Прождал до темноты.

В лавочке купил коробку папирос и жадно затянулся. Шел медленно по Шаболовке. Переживал провал. И все же, еще не утрамбованной утробой, радовался теплым сумеркам, чадным керосиновым светильням, скверной папиросе. Навстречу — Сергей, Курбов, увидев, бурно повеселел. Думал — и его.

— Ты тоже выкарабкался?

Молчит. Жмет руку. Улыбается. И потом не спеша — на Курбова — револьвер. Мигом подполз некий штатский в рыжем пальтишке с искрой электрик, другой. Потом — городовые. Сергей своим приятным задушевным баском:

— Прямо в охранное... Там за извозчика заплатят.

Мгновение — гнев. Кинутся, примять, убить. Потом — спокойно! В охранке, когда на утро фотографировали и вежливый фотограф извивался:

— Теперь анфас. Минуточку вниманья! Снимаю.

Вспомнил Сергея. Провокатор. Он знает многих в лицо. Сообщить на волю. И еще одна короткая деловая мысль: да, для людей, но только без человека.

12

Суд. Адвокат по назначенью, разгрызая в буфете жесткую фанерную колбасу, выкладывал буфетчице:

— Какой попался подзащитный — злющий!..

Речь говорил мучительно — будто во рту все та же неподатливая колбаса:

— Влияние... Наследственность... Курбов почти дегенерат... Эксперты...

Прокурор был быстр и деловит (понравился Николаю). Судьи входили и уходили, как хористы в опере.

— 102-ая... Лишить всех прав... Каторжные работы... без срока.

Опять централ. Кандалы. Натерли ногу. Из окон: снег, нагромождение эффектов, Урал. Месяцы и вечера. В острожном переплете — желтый тощий месяц. Амурская колесная. Порка и кирка. На камне камень — бей! Какие там свершения!.. Где-то: партия, книги, девушки в кисейных блузках, воркот голубей. Здесь: камень, кровь и вши. В наметанном зрачке конвойных — тупое: «не уйдешь!»

И все же ушел. Звезды августа кишели муравьиной кучей. Низкорослую бурятскую лошадку версты и сон погони — густо взмылили. Пучился Байкал.

В избе. Кислое голубенькое молоко. Течет по телу сон и брызжет в глаза молочной ночью, белесоватой, ватной мглой. Ночевал. Утром потянулся. Никого. Хозяйка за водой ушла. На земле младенец страшный, кривоногий с огромной тыквой головы — облезлая, струпья — не может ни ходить, ни говорить. Таких бы убивать! Глядит большущими глазами на Николая. Вдруг, слюну пустив — блаженно улыбается. Лицо, как тайга весной, все прорастает. И Николай от нежности не может шелохнуться. Сам улыбается и с неиспытанной бережностью гладит паршивую головку. Темное хотенье — обнять, унести, не знать на свете ничего, кроме роста этих кривых убогих ног. Так, верно, черенок от яблони, когда воткнут его в сырую разрыхленную землю — чудный зуд — растущих и не листьев, но корней. Почему-то пред Николаем встала наивная, смешная — звали Таней. Как тогда — гора. Страх. Младенец палец Николая поймал, сосет. И как пощада: хозяйка с ведрами. Пора!

Готов был стать, ну, просто неким, со страстями, с перебоями, с ворчанием досадливым и нежным щебетом, «обыкновенным смертным»! Но — пересилил. В Казани на явку заявился сухой, осведомился, как ведут работу, о каторге ни слова. А девицы сердито перебирали:

— Хорош!

Потом по вкусу: Маша —«Еж», а Саша —«Ерш».

В апрельский день приехал в Киев. Паспорт верный — сын бухарского купца Лев Мешмет. Протянул его любовно, чуть горделиво швейцару гостиницы «Золотой якорь», и швейцар с почтительностью дунул половому:

— Господину Мешмету номерок.

Взглянул в окошко: первенствовало солнце, мальчишка, раскрыв галчонком рот, с трудом засовывал туда огромный ком халвы. Прошли две гимназистки, вспыхивали первые веснушки — золотая

россыпь. И груди, полные видением прекрасного поручика с Фундуклеевской, как клейкие почки тополей, готовились взорвать форменные передники. Вдобавок имелись: голубые царственные лужи, в них воробьи, рябая радость отпускных, кудахтанье торговок, словом, несложная и все же таинственная бутафория обыкновенного весеннего денька. Взглянув, тотчас же понял: завтра на явку, а сегодня отдыхать.

Бродил по улицам, по лакированным внезапным ливнем горбам костлявого Киева. На Сенном какой-то пегий мужичок стянул огромное индюшечье яйцо — мигом выдудил, и в пояснение:

— Мы до мощей, которые...

Баба за пегую мочалку.

Мимо Софийского собора. Зашел случайно: после смерти маменьки паперти усердно обходил. Дохнуло сыростью и воском. Чуть помутило. Погреб! Впрочем, летом, верно, вроде кваса. И детворе для пряток. Еще увидел: под куполом архистратиг. Летая — пребывает глыбой. Вымерен и крепко сделан. Подумал: ведь так же делают теперь аэроплан, и рассмеялся. Бабка, «о недугующих» молясь, досадливо прошамкала свои старушьи «шу» и «ша», личико ее как яблоко, мигом спеклось, вся запросилась мощами в Лавру. Курбов вышел во двор. Чуть зеленело снизу, выше было сине и просторно. Девочка училась прыгать на одной ноге и, важная как цапля, взлетая к сини, падала на зеленый пух. Купил два яблока, одно дал цапельке, другое — себе, куснул — да дряблое какое — припомнил третье (под архистратигом) и, окончательно веселый, скатился узкой уличкой, где пахло рассолом, а в открытых чайных халатники, восседая князьями, пили чай, вниз на Крещатик. Пролетки верещали. В киоске малый, раскошелясь, пил мелкими глоточками «фиалку» и, выпив, улыбнулся пустому донышку стакана. Продавали фиалки — первые недоуменные бутоны. Курбов купил, понюхал и зажмурился. Навстречу — девушка. Лица не прочитал, но, как заглавные, мелькнули расширенные, якобы незрячие глаза. Николай остановился, оглянулся, снова: черные, большие... С минуту оба постояли. Курбов застыдился, быстро пошел вперед. Но даже стыд был тихим, девическим, апрельским.

Завечерело. Царский сад. Внизу скрипела скрипка и трамвай кометовым хвостом помазал небо над Печерском. Здесь же пахло землей после дождя — и только. Парочки, друг другу не мешая, чинно рассевшись, целовались, молча, деловито, взасос. Спугнутые шагом, головы откидывались в мелкую листву, звенел жестяной недоконченный поцелуй. Николай порадовался, поволновался и, вытянув руку, так, что мускул заплясал, крикнул, где-то в очень темной и пустой аллее:

— Здорово! Здо-ро-во!..

И весна, шарахнувшись, подтвердила вздохом, шорохом:

— Здорово!

Человек. Знакомое как будто... Не может быть!.. Сергей! Стоят. Убьет? Но робко, скулящим лысым голоском, Сергей:

— Ты можешь меня ударить. Но только выслушай...

И дальше — слова: отравленного рвота, из горла — ключом. Много, очень много жалостливых животных слов:

— Ротмистр... грозил... виселица... хотелось жить... не понимал, что делал... невеста... Маша...

Да, да, конечно, Маша! И в темноте лицо трогательно распахивалось — как же нараспашку! Голос, сначала сиплый, барахтался среди закуток («попутал»), но после — ввысь, в купол Софийского, задушевный голос (такие прямо — в певчие), проникновенно скок — до Бога:

— Николай, пойми — об этом писал когда-то Достоевский!..

Давно, свернув с аллеи, шли прямо в глубь кустов. У Курбова одно: он знает многих в лицо. Сергей снял фуражку, показал рукой — обрыв.

— Вот подвиг и подлость... Маша!..

Остановились. Внизу — Днепр. И оттуда пахнет сыростью, смертью. Склеп. Как Софийский собор. Сергей боязливо — презрит, уйдет — вцепился в руку Курбова. Вздохнул, и вздох пронесся сзади по тоненькой, младенческой листве.

— Прости — ведь я... ведь я... ну просто слабый, гадкий человек.

«Многих в лицо». Курбов поднял руку,— мускул весело забился, вздулся,— обнял Сергея, готового доверчиво всплакнуть, обнял, рассчитав, легко и просто швырнул, как камень, в ночь, в пропад, в Днепр.

На Крещатике еще была весна и продавали фиалки. И верно, проходило много девушек с глазами, готовыми остановить. Но Курбов ничего не видел. Нащупав вдруг в петлице размякший букетик, он брезгливо его кинул, ком мяса в студенческой тужурке.

13

На фронт. Курбов — ратник Никита Птицын. Галиция. Мерзкое местечко. Пограничный столб повален, и на картинке двуглавый одноглавого клюет. Местечковый кислый хлебный сон.

С носилок:

— Сестрица, испить бы!..

В штабе:

— Понатужась, через Карпаты (у князя пламенное сердце).

— Князь, признайтесь, вы знаете толк в токайском?..

Князь кается — нет, не в токайском, а в венгерках.

На перроне обрубленный живот — сам по себе живот и маленькая пенсия. Что же, можно через Карпаты, понатужась!..

Казак, играя на солнце одной серьгой,— еврею, бородатому начетчику:

— Целуй, собака, конский хвост!

Начетчик недаром читал, он знает — Иов скреб черепком, Иона — в китовом чреве. Разве можно против?.. Целует. И ассирийская густая борода вождя, судьи, пророка вливается в обшмыганный унылый хвост.

Николай (он же Птицын) слышит:

— Домой... Жена с пленным: сволочь — мадьяр... Сил нет никаких!.. Живьем в землю... Да нам ведь в Тулу.

Час спустя:

— Птицын, ступай в офицерское, доложи капитану.

Словили дезертира.

— А ну, его разок! Наука...

В офицерском — сливянка. У сестрицы Аглаи Николаевны удивительные пальцы — в Питере нет такой маникюрши.

— Распить сливянку! Сливянка-то какая!

— Знаменито!

— Аглая! Аглаичка сегодня злая!

— Знаменито!

— Как на станции кассир,
Желтый храбрый кирасир.

Николай докладывает:

— Ваше благородье... дезертир...

От слов першит. Капитан Бакланов мчится быстро к двери. Тульский юлит, целует капитанский, до непогрешимости натертый сапог — все зря. Бакланов дело знает, любит; сам командует. От тульского — только лужа, законно красная. Но капитан, перехвалив сливянку, вдруг белеет, качается, раскатисто блюет. И тоже лужа, вторая. Николаю:

— Дурак. Ура.

Еще качается. Целованным сапогом — Николая трах. Оба вместе наземь, в кровь, в блевотину, в местечковую проплеванную глину, а рядом «ура!» испуганных баранов, и глухо — пушки, и с крестиком нательным на «уру» — через Карпаты, в Тулу, к черту — все равно!..

Николай, как упал с Баклановым, окаменел и камнем докатился до позиций.

Приказано не отступать. Зябко. Светает. Шинели торчат косматой шерстью. Вырывают снаряды — клок, еще... И сразу дохнуло: газ. Клочья виснут виновато, рядами падают.

— Противогазы!..

Нет — отсохшие какие-то... До Курбова дошло. Сначала пахло луком. Кололо булавками глаза. Чуть повозился, в землю уткнулся носом. И так хотелось одного — простейшего — вздохнуть! В глазах булавки сменились раньше молоком, потом чернилами. Почувствовал: летит в темь, в пропад, в Днепр.

Очнулся в госпитале. Дело первое — вздохнуть вовсю, со вкусом. Потом припомнил: шинели в ряд. И фельдшер пояснил:

— Да, да — на Стрые. Четыре тысячи.

Выжил. Остался только кашель, внезапный, как ураган. Злобно колотился в груди и, взламывая клетку, вырывался таким громоподобным лаем, что дощатые перегородки лазарета перепуганно дрожали.

Как-то (на Масляной) услышал — доктор говорил с приезжим штатским.

— Как в Петрограде?

— Кисло... Обвиняют.. В думской комиссии ужасный материал... снарядов не было... Мазурская история... И кто не брал?.. Вот вам примерчик: некто Глубоков поставил... Приняли заведомо негодные противогазы... Смазал, конечно...

Неделю спустя— легок на помине — не сам — сынок — пичугой впорхнул Олег. «Для раздачи подарков на фронте». Узнав Николая, нахохлился. Вдруг вспомнит? Встали: трехпроцентный выпиравший из брючного кармана, недораздетая Земфира и маленький скандальчик — бумагу тогда поручил продать кретину Клитову, Клитов сдуру при случае ляпнул Кадыку, Кадык же всем домашним и прочее. Конечно, это в прошлом. Теперь великая война, и он почти на фронте — герой. Но все же противно, если этот знает... Решил пощупать.

— Papá вас тогда обидел? Но вы ведь сами понимаете — бывают разные недоразумения — это прекрасная тема для какой-нибудь французской новеллы. Впрочем, кто былое помянет, тому... словом, когда бумага нашлась, мы очень сожалели. Maman вас простила... В такие дни... Вот вы в каком-то маленьком местечке, раненный, на койке, один из многих, тот витязь сермязный, о котором мы спорим в столицах. Вы ранены в бою?

— Нет. Газы.

— Ах, это германское злодейство! Вот вам цивилизация, Кант и Крупп. Но теперь мы не боимся газов. Papá поставил огромную партию усовершенствованных...

— Я знаю.

— Прекрасные противогазы. Мы все работаем, и бескорыстно. Мариетта была три месяца сестрой, а я, как видите, рискую жизнью. Привез махорку, монпансье, мыло.

В Николае — взрыв. Залаял. Стенки затряслись. Олег еще раз:

— Papá доказал необходимость проливов... Он трудится день и ночь... Взял отпуск — в Кисловодске... Легкая одышка... Прекрасные противогазы.

И Николай средь лая:

— Что раньше: смазал или доказал?

Олег — сразу горд и тверд. Говорил — жалея. А этот байстрюк еще смеет оскорблять его! Повелительно накинув бровь:

— Молчать! Ты — низкий чин. Возьми махорку и ступай.

Николай вышел во двор. Так никогда не ненавидел. Весь смолк, забелел, стянулся. Томительный денек слома. Озноб и первая испарина земли. Февральское недоумение. Слушал — в говорок далекий пушек вступало нежным противоречьем журчанье капель. И прижавшись к мокрому стволу, не выдержал железный Курбов: воркотня и грязь, четыре тысячи на Стрые копошились, каплей капал ласковый басок Олега. Крикнул:

— Не могу! Вот просто не могу!..

И точно смилостивясь над сыном битой потаскухи, над острожником в бегах, над Птицыным — над таким, над многими такими, измерив кровь и тщательно свесив пудовые обиды — далеко, на севере, где распластались среди болот сенат, посольства и гастроли итальянской оперы — Немезида заботливая пролила огонь. Курбов чашечкой сложил ладони, накрапывал весенний дождик.

(Министры разбегаются.

— Волынцы с нами!

— Бей... по загривку!

С моста. Мойки олово. И дикий вскрик городового:

— Я семейный!..)

Известно стало позже. В местечко, где гуд пушек, лазарет, курчавые, густые пейсы, вспугнутые ветром, мировой историей и «матерью» есаула, медленно ползло, как насекомое, большое слово: «Бологое».

Сначала не сообразили. Артиллеристы продолжали аккуратно подкатывать снаряды. «Мать» есаула по-прежнему летала над лугами, и пейс, боясь просчитать рубли за «пейсаховку», крещенную «столовым вином», взлетал за нею вслед. Но «Бологое» осело и с мушиной быстротой начало плодиться. Появились: «комитет», «обсудили», «попили — довольно», а главное, широкое, как «о» (рот с непривычки может лопнуть) «долой!».

Стояли ярославские. Другие — губу до полу и предварительно чесаться. Эти бойкачи. От «долоя» знобило местечковые мелкие домишки и даже двухэтажный, с купидоном, пана Пшешещевского. Пан, помянув покойного Юзефа и приятный Краков, крякнув разок, как прежде, не без благородства, сдался — засел в курятник

(кур ярославцы съели, многое предусмотрев). Звяк графинов, где была воспетая Баклановым сливянка. Даже пушки поняли — таких не перекричишь — примолкли. На заре чуть вылезало солнце, и пан за петуха, спросонок ежась, бил крыльями о стенки, кто-нибудь немытый уже работал, и от зевотного широкого гудка раненые весело взлетали с коек.

Олег не убежал. Был мил необычайно. Скользил по глине, как по паркету Благородного Собрания, от доктора до генерала, потом к солдатикам, то есть отныне к гражданам. Каждому не уставал победоносно улыбнуться:

— Каково? Вот я привез подарочек — с махоркой великую, бескровную...

Впрочем, подарки давно розданы. Теперь он помощник комиссара. Курбов-Птицын, среди бела дня став просто Курбовым, рвался в Петербург, но, не теряя времени, возился с ярославцами. Выбирал слова съедобные, увесистые, как теплый, невыпеченный хлеб, чтобы распирали брюхо. Как-то Олег не вытерпел, попробовал «уговорить»:

— Теперь помещик и землепашец во всем равны, то есть всем свобода совести и передвижения... Общее усилие... Надо наступать...

Курбов, зная — нужно не доводы нанизывать, но бередить печенку:

— Ваша правда! Так вы, товарищ, наступайте, а мы к себе, то есть в Ярославскую.

Сам подумал: ну и глупость! Боюсь, что этак до Христосика дойду. Ведь если нам придется воевать — «свобода»? — в пять минут на сук. Мы их отучим лет на сто сомневаться. А потом? Потом... Потом должно было идти блаженство. Но додумать Курбов не успел. Помешал огромный рев. Зверинец — настежь. Ярославцы прежде сидели кругом. Теперь привстали. Олег — в середке. Сжимают. Рев, как лев, растет, жирнеет, бьет хвостом и дышит в покрасневшие девичьи щечки Олега. Брюхи назад рыгают подсунутые Курбовым самогонистые крепкие слова — «а нам здесь дохнуть?», «купчик» — вместе с присвистом слюны,— прямо в Олега. Присел на корточки и только; даже заслониться не успел. Курбов крикнул:

— Товарищи, постойте!.. Ну зачем такого?..

Не слышал. Из середки еще доходит:

— Подарки?..

— А капуста гнилая!..

— Приварочные где?..

Кольцо распалось. Мякиш. Курбов подошел и с любопытством оглядел. Лица не стало. Одни ноги — тоненькие, раскинутые в недоуменьи — вот только что скользили... Неприятно! Почувствовал, как мокрая давленина растет и облепляет. Ведь это только первый.

Тысячи. Нет, больше! Придется влезть по шею в такую мразь. Не убивать в бою — палачествовать. Смятен. Вот-вот заплачет... Но сразу — четыре тысячи, противогазы, изба в Сибири с тыквой-головой. Да, в скверноту, в густую, липкую трясину, убивать безвинных, розовых, с родинкой, с какой-нибудь зацелованной карточкой на сердце! Один, сто, класс, партия, полмира — не щадить.

И когда какой-то, деловито бивший, не менее деловито смекнул:

— Сапоги какие!..

Курбов по-хозяйски:

— А ты сними. Не пропадать.

14

Смольный. У входа, ручной легавой — пулемет. И фронтовик: отсыпается с громовым храпом за три окопных года. Запах логова, в котором говорят, потеют, хлебают наспех щи, и здесь же между двумя голосованиями дрыхнут,— марксисты с rue Glaciére, техасские ковбои, замлевшая еще Калуга. В коридорах, где, обнявшись, порхали пелеринки «милочка, какой четвертый?» — «в дортуаре...» — «княжна влюбилась!», где царствовали Чарская и голубой гусар,— косоворотки, гимнастерки, юбки, закрученные узлом. Стриженые меньшевички, Нарцисс-эсер, глядящий вместо вод в слезящиеся очи бывших собинисток, матросы, кидающие врозь раструбы, как в качку, рабочие, прислуга за все Паша (по поводу расчета). Скачут, машут руками, каждый в углу готов, для приличья отряхнувшись, стать министром.

Пулемет у входа склонен залаять. Нарцисс упрашивает фронтовика час-другой идти на фронт — на то он фронтовик. Но бородач пребывает при особом. Очухавшись, потягивается. Может, конечно, проголосовать, а может — кто их знает?.. (Россия — непарламентская страна) рыжим сапожищем примять Нарцисс, как будто он не гордость партийной клумбы, а так, какой-нибудь старорежимный клоп.

Комната вглуби. Дощечка: «Классная дама» и приписка мелом: «Фракция большевиков». Выходит прямой, упрямый Курбов. Он готов. Готов, как классная дама, заскрипеть: «Довольно». Рабочим — винтовки, матросов к орудиям, меньшевичек-стрижек ближе, в Смольный, за машинки, переписывать приказы. А Нарцисса?.. Увы, Нарцисса придется засушить. Осмотрел Россию. Она, ощерясь, подымается, подходит, обступает кругом, как ярославцы Олега, кирпичный дом, где дюжина невыспавшихся нытиков (в голове Лавров, под ложечкой просто ком) старается за хвост поймать «текущие моменты». Пора за дело! Дверь закрылась. Фракция расселась.

Фронтовик у входа доволен, ласково треплет сердечный пулемет.

К октябрю Курбов был в Москве. Громадина корабль, при отчаянном взрыве спекулянтского шампанского в «Эрмитаж-Оливье», при прочих взрывах, был спущен. Сначала не сообразили. На Мясницкой не дрогнул хвост — калоши «Треугольник». Потом не стало ни людей, ни калош.

Только где-то на балкончике бутон Нарцисса, один из нарциссят вопил:

— Всеобщее прямое! Манечка, зачем они стреляют?..

Но Манечка не отвечала: наспех прятала среди грязных панталон массивные серебряные канделябры (светоч Прометея) и прочее помельче. Муж не кто-нибудь — социалист, он двадцать лет состоял подписчиком «Русского богатства», в столовой под ковром бухарским чуял «дух земли» — ему и светоч в руки.

Привстав, пошли: Кожевники, Хамовники, Лефортово, Разгуляй, Пресня, Дорогомилово, Благуша, Марьина Роща, Симонова Слобода и прочие. Внутри притихло. Последний маклер на Ильинке, акции выпустив, как птичку в Благовещенье, сам провалился. На Поварской в любом особнячке отпаивали гелиотроповых графинь. Пытались выползти на сцену валерьяновые капли. Подъезды наглухо,— щиты, доски, бочонок, и обязательно нахохленный студентик героически дежурит, охраняя тетушку, комод, честь. Дрожат шестиэтажные (модерн, лифт и в кухне газ), разденут догола — кто там? Ночь, дождь, один промокший юнкер, большевики.

Кольцо сжималось. Разгуляй, залаяв, вонзился в самый пуп, где Мюр и Мерилиз. Курбов с батареей на Воробьевых. Кто-то:

— Ведь Кремль... История...

— Товарищ, не теряйте времени!..

Потом с разведкой на Волхонку.

— Здорово!

Тагин. Руку наспех. У белых — пулемет. Тагин праздничный. Шесть дней не спал. Но нет ни сна, ни дум, ни слов — одно: рябой, курносый мастеровой — статуя Победы (слепа, глуха), и бьются, среди запертых лавчонок, где спрятанный мадаполам, изюм и толченное пулями стекло, чудовищные крылья.

Присвист. Тагин, вскрикнув,— на спину... В живот!.. Шепчет:

— Маузер мой возьмите...

Губы в мыле.

Плачут за щитами. Последний «ух». И сдача. Курбов в автомобиле — по городу. Прилипшие к окнам и белые и красные носы. В каком-то переулочке Плющихи — бабка. К сухой груди подносит грязную тряпицу:

— Под Успенье молочка откушала... Беспутница!..

Тряпица — трупик — не внучек — Иисусик. Рехнулась.

И вдруг, как в богадельню, в нудный переулок входит топот. Рабочие — к районному совету. Вышли — сжигавшие под праздник крыс, от харчевых, харчевен, чайных, от потной люботы на нарах и полатях, от карт просаленных, от всех святителей, снетков, чумного рая — наверх: шаг, рычаг, иначе, так (по-старому) нельзя. Кровь из гулких рук переплеснулась на полотнища.

Курбов выскочил, бегом навстречу. Теперь он знает, как радость тяжела! Пред ним в картузах живые, теплые, из мяса — разметки, чертежи — все бывшее годами полями книжек — предвиденная жизнь.

Он, как роженица, блаженно в изнеможеньи улыбается: теперь ни мякиша Олега, ни Стрыя — голубой легчайший разум, высокое морозное добро. Теперь... не в силах думать. Обнимает чумазого, колючего и с нежностью неслыханной, со всею отрешенностью материнства целует — сына. Щеки колются, картошкой — нос. Ну, как же отпустить кусочек мира, клочок бумажки, сбывшийся сон?..

Была минута (может, больше — сердце медленно вело свой особый счет), когда Курбов, согнувшись, забыл о прежней ненависти, как в избе сибирской над уродцем, изошел любовью: не человек, но тишина и нежность.

Была минута. После — дни и месяцы. Сразу Курбов почувствовал, что значит власть. Все эти угодники, подвижники, бессребреники, совсем случайно не сопричисленные к лику: журналисты, адвокаты, розовые девушки (вот только что из ванны), очкастые студенты, которые глазами выдыхают возмущение так, что потеют стеклышки, словом, «соль»,— встречая Николая с шепотом, с шушуканьем, поспешно расступались. Как-то Николай увидел, на Страстном шли двое. Нежнейший юноша, вчерашний земгусар, познавший тайну и переход от шлейфа небесного Прекрасной Дамы к запечатанному захватчиками сейфу, буркнул спутнице:

— Осторожно!

Она бела от снега и от бед, бела и зла:

— Палач!

Как от удара, Курбов заслонился. Глядит — знакомый росчерк губ. Ах, вот чьи!.. Лет пять тому назад они выписывали Кадыку символические лилии, и расстроганный Кадык в ответ выписывал чек (на изумрудное колье). Николай отряхнулся, скидывая с плеч снежинки и пустую слабость:

— Да, мы не институтки!

И это было так же буднично и просто, как где-нибудь, в еще доисторическом Смольном, среди Чарской и гусаров.

— Да, мы не палачи.

Страшней другая встреча: поехал на Глубоковскую фабрику. Стоят машины — ни угля, ни сырья. И кому теперь нужны обои?..

Ворчащим ларом с нар опустелых выполз Сергеич — журить: вот там пайка не выдают, там отобрали у Пелагеи швейную машину, там подкупили приказчика — тянут из лавки сахар, долго, час, другой. Ошибки, промахи, проступки громоздились — гляди уж преступленье. Что Николаю — в ответ? Одно: вот скоро управимся, наладим... И усмехается Сергеич: знает это кругленькое «скоро» — не подцепишь, прежде пахло ладаном, теперь со всех заборов несет печатной краской. Погладил Николая по жесткой (щипцы, пилы, сверла), по комиссарской руке:

— Говорил я, ничего из этого не выйдет...

Руку вырвал (ею хватать, кромсать, подписывать — пилы скрежещут, визжат буравы, смех свиреп). Встал и перерезал все, скрипя:

— Расследую. Прощай.

Понял: не только против Глубоковых, но против этих, может быть — дух захватывало — против всех.

Фронт: Волга, степь Кубани, архангельская топь. Курбов дважды ранен. Три тифа — всех пород. Узнать ли тихого марксиста в этом кирпичном шаре под кожаным рогатым шлемом? Герой Майн Рида или наполеоновский гвардеец. Компас. Глоток воды. Отрезать отступление. Перехватить обоз. Фураж.

Гибли молодые Тагины — улыбчивые коммунисты из рабочих, узнавшие одновременно и азбуку, и мировую революцию. Гибли степенные крестьяне, честно, без обмана поделившие помещичьих коров и очень опасавшиеся воскресенья из мертвых станового. Гибли разбойники и дезертиры (дуло в затылок, чтобы шли).

Курбов — погоня. Один предел «скинуть в море» — видит вечер, шепоток листвы, чувствительного потного Сергея и Днепр.

Стал еще прямее, суше. Зрачок сгустился, потемнел и перестал искать. Наоборот, как бы стремился избавиться, увильнуть, прорваться к голой беленой стенке, к небу, к чему-нибудь, где пусто и светло.

Под Черниговом белые поймали мальчика из Комсомола — шестнадцать лет. Били шомполами. Живому пригвоздили ко лбу звезду с фуражки, подняли на шест («виси, звездатый, красных дожидайся»).

Курбов прискакал. Глаза сначала поверх и мимо: яркое и неуютное тряпье осеннего заката, в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидел: висит, на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную — лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали: тетрадка с отогнутыми полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья:

— Хорошо! О-чень хо-ро-шо!

В тот же вечер словили белого. Молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки —

нет ли чернильных пятен? Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины — и в рот. Вспомнил дачу в Конюшках перед отъездом, когда пестреют астры, бьется парусина, возы, экзамены и мама. Мама! Не выдержал — упал. Просит Курбова: всё вместе — гимназия, сестренка торгует спичками, страшно умереть, шестнадцатое сентября — день рождения, ради Бога!.. Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками глядя на белую рубашку (шинель содрали) — пусто и светло — голосом отметил:

— К стенке.

На небе красное тряпье. Здесь, вместо дисков, бессмысленная кровь и гадкая густая духота.

15

После тот же фронт: тысячи заседаний, одних отметок, когда и где — версты. На пустых заводах. В залитых шахтах Донбасса. Субботники: брошюрочными ручками подталкивать вагоны; промерзшее железо жжется. Дискуссия. Хрипота, отчаянье, стакан воды, в стакане «гибнущая революция». Сразу вместо революции и резолюции — лай телефона, тоже осипшего: «Тревожно... партийная мобилизация». Билет Р. К. П. № 32618. Снова с винтовкой. Промозгло. Пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетопленом районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул — уже ждут: комиссия. Финансы. Транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье: диаграммы.

В барские гостиные вслед за бородой Маркса и махоркой втерлись «разверстка», «трудфронт», «рабкрин». Теперь у Курбова не компас — портфель, безусловно стельный, похожий на мешок хозяйки с провизией: кому штык, кому трактор, «контрам» — плакать. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то (число к числу приходит в гости). Считал, даже засыпая, еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершастый хлеб, давился не усищем — какой-нибудь просчитанной семеркой. Был рьян и праведен, когда, вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердца в колонны цифр:

— Необходим единый план.

Потом отчаянье: ну я, еще две сотни на верхушках. Из рабочих лучшие погибли. Крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут — привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний — мы. Да что крестьяне! Партия — почти что тесто. Взошло, ползет, вот-вот за мил-

лион зайдет, как рубль,— хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист! Старые, свои, и те поддались: в креслах принимая, рявкают по-генеральски, плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, до балерин включительно, плюс... (Так по привычке считал партийные прорехи, как «пробки» или «незасеянную площадь».)

Прежних встретил. Глеб, когда-то ходивший на собрания, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки: «грамотский», «богдановский» и даже «милицейский». Пользовался лошадьми, и кучер (Захар), несмотря на кризис, в грудях не поддался, в окриках же был стилизатором: не то «поди!», не то «пади!», но так, что все неответственные — регистраторы, нештатные инструктора и прочие готовы были тотчас же и пойти и пасть. Пять минут пятого товарищ Глеб, загребая разные пайки под полость, отбывал, причем мурлыкал грозно в кучерскую спину:

— «И решительный бой»...

Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий дня не мог прожить. Война, блокада, голод — все равно — он об одном: взять партию, нашинковать, чтобы было много-много фракций, и после фракция на фракцию...

Шел 20-й, третий, тягчайший год. Курбов, ослабев до пчелиного гуда в ногах, до полегчания (еще немного — полетит), работал, не Курбов с биографией — икс с портфелем. Пока пришло «событие» — пустяшное, из мелкой хроники, но много ль надо человеку?.. Шел по Моховой. Увязалась девочка:

— Подайте!..

Дал бумажку — не берет: «хлеба». Долго среди зимней чумной тишины бился голосок. Потом — в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна. Хрип. И всё. Николай — над ней. У самого такой же хрип, топорщаясь, прыгал в горле. Лезло из какого-то доклада: «Задержка грузов... банды... транспорт... в Москве не выдавать до 21-го числа»... Потом в доклад пролез осипший Сергеич: «Просыпься».

Дрожал. Снял драное пальтишко — тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой — зачем-то отогреть пытался, отчаянно, как паровоз, дышал на лобик. В отчаяньи искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго (милицейский давно уже уволок на салазках трупик) стоял сутулый, давший крен.

Потом пошел и сразу — на знакомое пенсне: меньшевик. Приятелями были. Пенсне не медля:

— Что же! Хлеба нет?.. А у крестьян все отбирают... Уже в Тамбовской начинается... Мы ведь предупреждали... Народное хозяйство расстроено...

И, выложив, блестит стекляшками: посмотрим, что он возразит? Ведь это ж правда!.. Но Курбов молчит. Весь — ненависть.

— Уходите! Не то я вас сейчас же застрелю...

Пенсне — бегом. Поскользнулось, разбилось. И Николай неправдоподобно, как трагик провинции, захохотал. Ха! ха! Быть может, он и прав. А впрочем! Говорят — социалисты! И вот теперь на этой улице, где только что — ребра и салазки — злорадство. Нет, не слова — чудовищный всемирный пулемет. (Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами и в полчаса всех ликвидировать.)

Дальше! Но пенсне все лезло и дразнило разбитым стеклышком из темноты. К нему присоединились: седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают. Облипают потными тушами, смехом, ропотом, икотой. Ненависть, поклокотав, ушла, морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял: из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой (никого, только хрипящая собака, околевая, рыла мордой снег) сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт. Необходим усиленный террор. Шапку — на лицо, руки — в рукава. Двигался по всем Садовым, не человек, но танк.

И днем, когда в Цека секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в Наркомпрод, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг — «в презренную чеку»!

16

Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой, добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать — и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит — навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы. Немцы — коммивояжеры; молодожены из грустных захолустий — поглядеть Омона и «Трех сестер»; орловский помещик без «Сестер», один Омон; и прочие. В подвалах удельное. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало, а среди двора шарманщик проклинал разлуку и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом, дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно — сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть «Лубянка» — взглянет на босые ноги, со

всем простится, молодой здоровый — бык — заплачет как мальчонок. Волчьи головни автомобиля, меховые куртки, дрожь председателя домкома «собирайтесь... гражданин...» и надо всем:

— Лубянка!

Взяли дом, и стал он мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранези: тридцать три заледеневших ступеньки, дуло, вверх — решетка, вниз — подвал. Там духота, темнота, икота. Скользко. Табун автомобилей храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо, раздельно, как баба на полатях. Войти и выйти — легче умереть. Заставы. Заграды. Здесь — штык. Там — смрадная параша. Направо — пролежанный диван. Налево — смерть. Во дворе проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька — и забудь, что на Лубянской площади оттепель, призывной с гармошкой, ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там, за пропуском, штыком, за некой дверью — смех и жизнь.

Впрочем, Курбов не испугался, не заблудился, не грезил о винтах Пиранези — вошел спокойно, как в любое учреждение. На площадке поискал дощечку (некогда «Массаж Цилипкис») — «оперативно-секретный подотдел».

Войдя, увидел комнату, обычную, советскую, обсиженную, обкуренную,— канцелярия. Был в этом некий быт, почти уют: схема девяти отделов цветными карандашами, портреты (и в «секретном» чуть-чуть насмешливо лоснилось знакомое лицо наркома, любящего муз), две машинки — «Ундервуд» и «Ремингтон», на большом столе домашние лепешки, пролитые красные чернила (совсем «оперативные»), рубашки «дел», зачитанная книжка — Кнут Гамсун «Виктория». Над «Викторией» Людмила. Между двумя бумагами о применении «высшей меры», она, то есть барышня с машинкой, то есть Людмила Афанасьевна Белорыбова, читает, как Виктория любила, и томно ноет белорыбовское медлительное сердце. Бела, мучниста,— вареная картошка. Булку приготовили, испечь же позабыли. Глядит — глаза, как студень. Бровей, ресниц и прочих отступлений нет. Лицо, как таковое. Под блузкой, что, еще крепясь, скрепляет нечто, лишь поскрипывая, при неожиданном повороте, ясно утверждается, такое же тело. Чрезвычайно флегматична, хоть двадцать четыре года, любви еще не знала, если не считать сочинений Кнута Гамсуна и прочих, имевшихся в библиотеке на Петровских линиях. Правда, замзав товарищ Андерматов как-то, упав в эти рыхлые и тряские просторы, лишил Белорыбову внешних атрибутов девственности, вознаградив ее за это хорошим тихим местом в чеке. Но, пренебрегая видимостью, можно смело назвать Людмилу Афанасьевну девой. Андерматова не оттолкнув по прирожденной флегме, она восприняла минуты страсти как небольшую неприятность,

как гимназисткой уроки гимнастики и впоследствии девицей — танцы. Ничего подобного Виктории и прочим ветреным особам, от взгляда теряющим голову, Белорыбова не испытала, быть может, не пришел один, особый, способный поймать в сети белорыбовское сердце, быть может, Белорыбовы, как рыбы, не знали человеческих страстей. Зато она очень любила сон, тепло и бутерброды с чайной колбасой (конечно, еще вкуснее с языковой, но времена не те). Поэтому инциденту с Андерматовым обрадовалась: кстати. До тех пор Людмила жила с мамашей.

Прежде у мамаши была пенсия, и Милочка могла спать в натопленной до задыхания комнате хоть целый день. Просыпаясь, осторожно выдвигала из-под сложной слойки одеял белый, жирный локоть, подбирала роман и бутерброд, медленно читала и жевала, снова вдвигала локоть, засыпала. Была прекрасна жизнь! После революции все изменилось: исчезли бутерброды, выдвинутый локоть в морозной комнате мгновенно синел, мамаша, промышляя продажей былых великолепий, дошла до милой Милы, до ее кроватки, так что из слойки шести стеганых осталось одно, почти ажурное. Все изменилось, только жизнь в каких-то книгах оставалась неизменной, и Людмила немало завидовала всяческим Викториям. Приходилось чистить картошку, ходить на Зацепу, колоть лучины, словом, музейную недвижность белых рук отдавать золе, морозу, занозам и прочим напастям. Мамаша невыносимой стала: каждую минуту плакала. Густо-лиловый нос на сморщившемся личике раздражал Людмилу:

— Милочка, да как же это все случилось?.. Всю Зацепу обегала, нет молока. Попалась баба — двести кружка. Я ей: да что ты! креста нет!.. А она как раскричится: тебе уж подыхать, а ты за молочком, туда же, ты лучше сучьи сиськи пососи! Какое грубое пошло простонародье! А на обед опять пшено. Ну, что мы будем делать?..

Лиловый нос — капля дрожит, и прямо на Людмилу. Разлучаясь с быком Бласко Ибаньеса, лениво:

— А вам бы, право, уже время умереть.

Андерматов краток был. По случаю холода даже не снял меховой куртки, так что Людмилу все время целовали клочья шерсти. Нахлобучив шапку:

— Служба будет. Приходите завтра. Паек хороший; например, три фунта масла (и благодарный за неожиданный дар — невинность, почти любовно), не растительного — коровьего.

Людмила улыбнулась — три фунта масла, распластавшись, сияли огромным бутербродом. Явилась точно, села за машинку, неумело, одним пальцем, и то распухшим от мороза, задолбила: «слушали», «постановили». Получив паек — пять фунтов баранины, пришла горда. Дверь — триумфальной аркой. Мамаша вздыхала:

— Куда пошла!.. В чеку!.. Да там китайцы — под ногти гвозди, Господи спаси!..

Но, вздыхая, острыми как гвозди пальцами, вонзалась в мерзлое фиолетовое мясо, проверяя добротность. Впрочем, поесть ей всласть не удавалось: оказалось много костей. Людмила задумчиво переживала и пережевывала вкусные кусочки. Мамаша, стоя сзади, задыхалась: надежда — оставит, всего не одолеет, ужас — еще берет, вот этот, направо, жирненький...

А недели две спустя мечтательная секретарша переехала в особняк бывших князей Дудуковых, на Поварской. В зале — каток. В гостиной — красномордый, как дуб, торчит «заведующий хозяйственной частью»... чего — неизвестно, главное, торчит, не выкорчевать. Людмила Афанасьевна обосновалась в будуаре. Поставила печурку. Дров не жалеет. Может вечером свободно, высовывая голый локоть, дочитывать роман: и так они любя страдали...

Днем же на посту. Переписывает бойко — научилась. Пожалуй — символ. Прохожим мнится Пиранези, инквизитор, словом, опера. Здесь же учреждение. С десяти до четырех. Разносят чай. Бывают выдачи: гильзы, гуталин и даже куры (к праздникам). Стучит исправно. «Ремингтон». Которых расстрелять. Через синюю бумагу с копией (в архив). Двадцать четыре. Какое имя чудное, верно, армянин. А это длинное — придется перенести. Всех к расстрелу. Бумага переписана. Пауза. Автомобили, нетерпеливо пофыркивая, дрожат. На столике «Виктория»: «Он шел к Камилле»... Так страдали! Так любили!..

— Товарищ Белорыбова, сегодня выдают дрожжи и билеты в цирк.

Шмыготня. Кто-то торкнулся, за дверью кашлянул:

— Перепишите: слушали — постановили к высшей мере...

Это кашлял Аш — заведующий подотделом. Круглое лицо с редкими, уходящими спиралью волосиками на разных несвойственных местах: под правым глазом, в ушах и даже на ногу. Глаза — не на Людмилу, вдаль, небесные, светлейшие глаза, такие только у щенят бывают — кто-то капнул две капли снятого молока. Не смотрят: Аш людей не замечает. Где-то в голубоватом молочном мороке далеких дней маячат просаленный капот в горошек и руки, пахнущие луком: мать Аша была исправной хозяйкой. Аш нечасто — раз в год или в два — с конфузом вспоминает: его когда-то звали Сашей. Странные бывают в жизни положения! За сим пустоты: изредка пенсне, бакен следователя, морозный дым Сибири, отлетевшая пуговица, сломанный карандаш, выбитый зуб — жалкие случайные приметы. Вновь капот, но чистый и в полоску: жена. Как случилось — неясно. Он не успел продумать, пришла часов в шесть, помешала, глядел растерянно и ждал. Но не ушла. Осталась. А утром

вытащила из корзинки капот в полоску, стала достоверным фактом, раз и навсегда.

Аш не с ними живет, не с бакеном, не с дымом и не с той, что факт в полоску,— с идеями. Их много. Были толстые («прибавочная стоимость»), потные, росли и угрожали. «Классовое самосознание» — стройна, черна — лань — как в такую не влюбиться? Были и домашние («централизация организации»), пахли уютом, осенней, яблочной, медовой тишиной. Знал, окликал по имени. Встречи, размолвки, примирения. Каторжанином, таская тележку, боролся не с конвойными, не с пудовым холодом, не с камнем, с одной залетной, кокетливой и явно непригодной в таком хорошем домоводстве, звали «эмпириокритицизм», а каторга, как оторвавшаяся пуговица брюк, слегка мешала.

Попав в чеку, товарищ Аш наставил свои голубоватые глаза на некое обширное постановление. Вскоре из параграфов отчетливо проступили дивные черты: суровое надбровие, покатый лоб, в глазах унылый одичалый восторг. Аш, очарованный, прошамкал: «Массовый террор» — и в молочных каплях на минуту занялась радость, как в предрассветном облаке.

Затем оглядел стол: стопочка бумаги, большие ножницы и красные чернила. Взял ножницы, стал бумагу резать: чик-чирик. При этом думал: вот так и контрреволюцию! Целый лист изрезав, сам себя словил на порче государственного имущества:

— За это и меня не мешает... чик-чирик...

Для образности поднес ножницы к шее, причем один длиннущий и совершенно ничем не обоснованный волос, прораставший нагло на кадыке, свалился, все же ножницы полюбились Ашу: допрашивая, он, как парикмахер, стрекотал. Когда же Андерматов подносил бумагу на подпись и Аш читал, что надо изъять неких смеющих «не только не понимать хода истории, но и вставлять в колеса палки», прежде чем напоить перо красным пойлом, он подымал вверх ножницы и чик-чирикал. Чувствовал: «падает голова буржуазии, кровожадно подавившей июльскую революцию, Парижскую Коммуну, затеявшей мировую бойню и прочее». Так ясно чувствовал, что щенячьими слепыми глазенками залезал под стол, не там ли она? Но под столом валялись лишь тонкие полоски изрезанной бумаги.

Аш себя во всем урезывал. Пожалуй, листок-другой изрезанной бумаги — единственная роскошь. Пайков не брал. Ел черный хлеб. Чай пил без сахара. Когда случайно замечал на блюдце беленький кусочек или на краюхе хлеба подкинутый тихонько Людмилой от служебного усердия ломтик колбасы, негодовал: «При настоящем положении республики, в кольце блокады такие непроизводительные траты! Усиленное питание необходимо занимающимся фи-

зическим трудом». Звал курьершу, товарища Анфису, столь монументальную, что, когда она на цыпочках вступала в кабинет, происходило сотрясение, протягивал ей бутерброд и отложенные тщательно в правый ящик стола кусочки сахара:

— Возьмите, товарищ, при ваших трудовых обязанностях вам необходимо усиленное питание.

Сам Аш ел мясо дважды в год: первого мая и в годовщину октябрьской революции. Раз, вернувшись домой не вовремя, часам к пяти (перенесли заседание на одиннадцать вечера), Аш застал нечто ужасное; факт в полоску, то есть жена, спокойно разлегшись на реквизированной софе, жевала белый хлеб с вареньем. Конечно, Аш мог бы не заметить преступления (так однажды он вошел — капот в полоску был распахнут и в его глубинах ютился какой-то усатый курсант, но, переживая интриги военспецов, Аш даже не взглянул на потревоженную парочку). Теперь же белизна давно невиданная каравая ударила в небесные глаза. Остановился, задумался и, взяв со столика кривые крохотные ножницы жены для маникюра, приступил к допросу:

— Откуда?

— На Сухаревке...

Аш молча вышел. Ночью он принес со службы нечто длинное, завернутое в «Известия». Жена спала. Разбудил.

— Если я еще раз обнаружу купленные у спекулянтов продукты, прибегну к высшей мере наказания.

И вынул из «Известий» перед сонной, обалдевшей от ужаса супругой огромный дуэльный пистолет, взятый при обыске и завалявшийся в кабинете Аша, как ни на что не годный.

Таков был заведующий подотделом. Обыватели шептались: к нему попасть — крышка. Сам расстреливает и пытает. Английской булавкой ковыряет мозги. Знавшие Аша, наоборот, утверждали: добрейший человек, мухи не обидит. (Последняя деталь вполне точна: однажды Аш в Женеве прокорпел полдня, снимая с липкого мушиного листа, подложенного жестокой домовитой женой, погибавших мух.) Но никто не знал, что в кабинете Аша жила высокая смуглянка, дикая идея, имевшая глаза и губы, по имени «массовый террор».

Товарищ Андерматов диктовал. Товарищ Белорыбова отстукивала. Аш читал, и на минуту встречались две пары глаз: черные летучие — идеи, щенячьи чистенькие — Ашевы. Потом курьерша, товарищ Анфиса, подымая топотом весь страшный дом, несла бумагу по проходам, закоулкам. И, предчувствуя бег, нетерпеливо ржали разгоряченные автомобили.

Диктовал и составлял товарищ Андерматов. Другая порода: голова засеяна, ногти тщательно возделаны, галстук артисти-

чески небрежен, и все на месте — не отдельные волосики, например, а коллектив — прекрасные усы, под руководством наусников. Глаза, как темные черешни, обещают сладость (только косточка горька). Красавец! Нужно воистину белорыбовское сердце, чтобы, познав, как он, похожий на арабского коня, целуя фыркает и в ход пускает даже зубы, вернуться равнодушно к бутербродам. Другие, брошенные им, кидались из окон, глотали толченые спички или назло выходили замуж за добродетельных старых уродов. Узнав об этих эпизодах, Андерматов только улыбался, правда трагически.

Был трагичен с нежных лет. В миг рождения сразу причинил большую неприятность матушке, тишайшей супруге дантиста: пошел ногами. Сам от подобного пассажа съежился, чуть-чуть не кончился. А на четвертом месяце совсем необычайно проросли зубы; тишайшая, выронив наследника, так взвизгнула, что прибежал из кабинета папаша, как был, то есть со щипцами. Дальше все напоминало стилизованную новеллу. Мальчишкой тихонько прошмыгивал в кабинет, играл с пилками, щипцами и сверлами. Особенно чтил бормашину, мечтая: вырастет, всех свяжет, кинет в кресло и начнет сверлить. Когда отец принимал, подслушивал у двери: слаще музыки — предварительные слезы, охи, папаша чистит инструмент — лязг и блеск, вой часовой — дерет, в плевательнице сгустки крови и (венец) серебряное очистительное бульканье — полощут рот. Впоследствии к искусству пристрастился. На диво всем в семье захудалого дантиста с гнилыми корешками во рту, с женой, способной только грызть сухарики, посыпанные тмином, и икать — рос сноб. Трагичность явно выпирала: на стенках Гойя и Бердслей, в передней какой-нибудь клиентке с флюсом — в ухо — стих Бодлера.

Юный Андерматов, оглядывая сухари, «Ниву» в приемной и прочее, изнемогал от собственного превосходства. Мир мелок, нет в нем места для черешневых зениц, презрительного колыхания задом и только что восходящих грустных усиков. Значит, надо миру мстить. Но как? Сначала еще детские мечты: стать, как отец, дантистом, каким-нибудь наглым аристократкам, не желающим даже взглянуть на Андерматова, сверлить часами десны. Но с годами хотелось большего, тем паче, что профессия зубодера не шла изящному ценителю Бердслея. Вообще профессия — вещь низменная. Пускай отец содержит: должен гордиться таким сыном. И не находя простора для своих сатанинских упований, когда окончательно надоело ругать мамашу так, чтобы она с перепугу икала, и щипать до крови, накинув лишний полтинник, на все согласных девок, Андерматов, выдавив из своих черешен любовную трагедию, женился на гимназистке Зине Чишкиной, пухлой курочке, и сразу же все двадцатитрехлетние проекты применил на оной. Чишкина чего-то, а может быть, и ничего не сообразив, после брачной ночи утром

по привычке пошла в гимназию. Урок закона божьего. Закрывшись крышкой парты, Чишкина сообщила подругам нечто столь ужасное, что, пренебрегая батюшкой, весь класс взревел. Чишкину заставили немедленно взять в канцелярии бумаги и отправили под конвоем швейцара к супругу. Два года Андерматов творил. Осознав себя похожим душой и телом на восточного принца, возжаждал рабынь. Зина должна была утром, голая, повязанная старым шарфом, купленным у антиквара Черномордика, прислуживать, а именно: стоять у умывальника с мохнатым полотенцем, спину волосатую Андерматова натирать францбрантвейном (для оживления) и, пока владыка пил кофе, в живописной позе лежать у ног, копируя какую-то картину (кажется, Делакруа). Имя свое (Игнат) презрел, и жену заставлял звать себя Эльзевиром.

Три года Зина проделывала все это и многое иное (интимного характера). А на четвертый, познакомившись с неким веснушчатым тапером, исполнявшим столь печально «Веселую вдову», что глазки Зины покрывались испариной, сразу все сообразила и взбесилась. Андерматов ждал мохнатого полотенца, супруга же в это время изгоняла печали из тапера. Так и не дождался. Увез на дачу в Сокольники и запер. Отпускал только на полчаса, собирать колокольчики, коими она должна была посыпать его коврик у кровати. Вдруг конверт: бегала — «до востребования» получать. Что же, Андерматов в трагический час показал: он не купчик, не крепостник, но Эльзевир, читающий Бодлера.

— Иди к тому кретину, но письма его дай мне. Я их читать не стану, я уважаю тайну переписки. Я буду их хранить в запечатанном конверте. Когда же через неделю или через месяц ты, осознав, кто я и кто он, вернешься с повинной, я прочту их, чтобы наказать тебя.

Зина попыталась противоречить, но Андерматов, ультиматум повторив, так сжал ее пухлую шейку, что после целый месяц пришлось ей не расставаться с горжеткой. Час спустя он получил большой, желтый, сургучом запечатанный конверт. Проводил брезгливым взглядом утешение тапера. Стал ждать. Вот-вот придет — несчастная, познавшая все превосходство Эльзевира, будет плакать, ерзать, молить. Тогда вслух перечтет все письма: каждым словом станет бередить. По слогам, с расстановкой: «Лю-би-мая» — ну как любил? Хи-хи! Ну, как? «Це-лу-ю» — вот что! А куда? Извольте, сударыня, каяться во всем. Ждал месяц, другой. Вечерами, облизываясь, вынимал желтый конверт и щелкал, чтобы шуршало: в нем много писем, штук двадцать, на двадцать вечеров — потеха.

Год прошел. Ждать надоело. Зина где-то на Плющихе блаженствовала, произвела младенца и предавалась прочим мещанским радостям, не думая о скорбном духе Андерматова. Под Новый год Андерматов купил бутылку шампанского и заперся. На столике:

бокал, конверт, свеча. Разделся, обмотав вокруг бедер шарф Черномордика, чтобы выглядеть трагичнее («плоть — горька»), походил не то на наказанного Адама, с нравоучительной картинки «Грехопадение», не то на банщика из Сандуновских, разочаровавшегося в чаевых. Сам на губах изобразив двенадцать, выпил бокал и осторожно вскрыл конверт. Сейчас узнает, надругается над ними, будет всем читать (и где-то в памяти приятно застрекотала бормашина). Бумага, много туалетной бумаги, и Зининым куриным почерком выведено:

«Ку-ка-ре-ку!»

От гнева взревел. Наутро в трубочиста, пришедшего поздравить с праздничком, швырнул коробку пудры. Словом, очумел. Стал сложно, обдумывая все детали, пакостить кому придется. В душе таил надежду: доведется еще встретиться с изменницей, тогда... Заранее штудировал «Сад пыток» и выбирал. Например: привяжет ее к нему (он — вместо ложа) и выдаст роте солдат, предварительно их напоив. Правда, дорого и сложно, но он сумеет!.. Беда, что он не выведал фамилии этого паршивенького музыканта. Даже в лицо не знает. Встретит — может мимо пройти.

Как Андерматов попал сначала в партию, потом в чеку — никто не знает. Пришлось как будто подделать бумажонку и просидеть недели две над разными скучнейшими брошюрами. Это было во Владикавказе. Там побаловался малость, душу размял, генералов допрашивая, особенно же одну хорошо сохранившуюся генеральшу. Уже уверенный, с мандатами и прочим, прибыл в Москву, где, очевидно, обреталась мерзкая чека. В дни всяких «чисток» и проверок, когда интересовались совсем неинтересным и интимным, к примеру, чем занимался товарищ Андерматов до октября 1917-го, он, предварительно выпив бутылку брома и отправившись на полчаса к какой-нибудь особе, вроде Белорыбовой, чтобы, получив удовлетворение, стать спокойней, отвечал уверенно и деловито. Вместо Эльзевира и францбрантвейна получалось: организация, работа, ссылка. Аш умилялся бескорыстности. Все уважали. Был вдоволь счастлив, глядя томно списки осужденных. Отыщет Зинку и тогда... О, это лучше бормашины, лучше роты подвыпивших солдат! Клал на стол листок «ку-ка-ре-ку», бережно хранимый для расправы, револьвер, мандат и от предчувствий сладострастно фыркал. Но когда входили Аш или кто-либо чужой, тотчас менялся, ухитряясь даже своим трагическим черешням придавать строго марксистский оттенок.

Так и теперь, увидев Курбова. Знал: важный и опасный, не проговориться бы...

— По предписанию оргбюро...

Аш ножницы оставил, доверчиво вперил голубоватые:

— Вот хорошо! Вместе будем работать...

(Уютно, по-домашнему, как будто «вместе будем класть пасьянсы или собирать грибы».))

Белорыбова и та, на минуту вдохновенно отдернув руку от «Ундервуда», как на эстраде пианист, уставилась на Курбова. Подумала:

«Красив... но не моего романа... Мне нравятся толстые и чтобы были закручены усы... Впрочем (вспомнив Андерматова), об этом лучше читать — спокойнее...»

Деловито Андерматов ввел в гущу работы. Закончил:

— Очень ответственный момент. Есть данные о крупном заговоре. Небольшое заседаньице...

Курбов осмотрелся, принюхался. Пахло, как всюду, пайками и бумагой. Конечно, барышня советская... Еще две пары глаз. Один — угодник, благочестив и кроток, таким бы в рай, чтобы приятно стрекотали крылышками, а не в чеку. У второго в глазах притон, так и сочится на пол сало. Скорей всего подлец. А может быть, полезен? Тогда хоть с чертом! Лишь бы вытряхнуть, выветрить, дать тем, другим, счастливым, сидящим не в чеке, а в разных благородных наркомпросах,— дышать.

17

Ясно: заговор. Сначала барон в Крыму недаром брил татар. Сообщение Росты: небольшое отступление. Слово «Алешки», шлепнувшись на московские заборы, всколыхнуло забытые надежды. Затем барона тарарахнули, но объявились прыгунчики, на шарнирах, и еще голосящие членораздельно мощи. Далее: меньшевики вынесли несимпатичную резолюцию. Почти что забастовка. В Тамбовской: продкома повесили. Сейчас на очереди Москва. Знают: по черным лестницам, по проходным дворам снуют франты и франки, торкаются в военные штабы, вместо мостов подрывают папки служебных дел. Заговор близко, может быть, в ста шагах от Лубянки, кушает французскую беленькую булку, крестится на всех Георгиев, растет, жирнеет. Где-то, безусловно, болтается его хвостик, то есть язычок какой-нибудь болтливой жены или любовницы, но как его поймать?..

Андерматов сидит следопытом над грудой показаний, кокетливо лорнируя огромной лупой: может быть, какой-нибудь неосторожный росчерк и есть вожделенный хвост?

Перебирают доносы-просто и донесения секретных сотрудников. Старый Карл на стенке, слушая замоскворецкие неторопливые пересуды, пахнущие рассолом, предбанником, где чай и шайка, сло-

вом, отнюдь не диалектикой, но Азией — смеется. Впрочем, смеется тихо, в бороду, никому не мешая. Зато Курбов грохочет: это, кажется, мадам Глубокова — сейчас приедет диван обманутого мужа. В чеке — журфикс.

Какой-то адвокатик, моментально покрасневший, не от стыда, но от натуги (добывая усиленный паек и ордерок — супруге шубу), негодует: вчера он два часа беседовал с писателем Бобычевым. Заговорщик. Данные? Сначала говорили о пайках. Бобычев проявлял агрессивное безразличие (остатки саботажа). Потом зашли в чащи абстракции. И что же? Бобычев среди бела дня на Театральной площади, не смущаясь, что рядом Дом Советов и милиционеры, выпалил: «Все дело в духе». Адвокатик не может. Немезида, рази!

Далее, на хорошей бумаге увесистый увраж о злодействах контрреволюции. Пишет спекулянт Папьянц. В его квартире реквизировали комнату антантовы шпионы. Уверяют, что коммунисты, но партийных билетов нет. Папьянц решил проверить, приказал дочурке благоговейно исполнить «Интернационал». Самозванцы не только не встали, как подобает, но один, презрительно сплюнув на ковер (национализированный, как и прочее, то есть составляющий собственность советской власти), закричал: «Врет! Сил нет слушать!» Почему Папьянц, перечислив все свои заслуги, как, например, пожертвованное нечто в 1905 г. на нуждающихся студентов, просит самозванцев срочно расстрелять, а в случае каких-либо амнистий, по меньшей мере, выселить из реквизированных комнат, где Папьянц — главлес, жена Папьянца — главсахар, сын — главгвоздь, и все в каких-то шести каморках!..

Наконец — последний. Здесь даже Белорыбова, отпадая от Гамсуна, прислушивается. Некто, бывший судебный пристав, Холщенников, не выдержав, доносит сам на себя. «Стоя на страже интересов рабоче-крестьянской власти, считаю своим долгом донести вам о покушении на государственное преступление, произведенном мною, гражданином Евгением Холщенниковым, заведующим хозяйственной частью студии героически-комического театра, проживающим на улице Интернационала в д. под № 47. Как известно, в квартире № 4, бывшей моей, проживает с июля месяца 1920 года политком военно-хозяйственной академии, товарищ Сивохин, который в свободные от занятий часы высоко поддерживает мое революционное самосознание. 26-го января сего года товарищ Сивохин пригласил меня к себе и по случаю наших дипломатических преуспеваний угостил трудовым ужином, содержание коего вам, по моему разумению, известно. Все же считаю своим долгом указать, что кроме морковных пирогов из серой муки, по шести на товарищескую персону, и пшенной каши с компотом из сушеных груш, имелась бутыль спирта, по уверениям товарища Сивохина, не роняющая

нашей классовой выдержанности и незаменимая в военном хозяйстве. Откровенно признаюсь, что не помню, как я пришел к себе и лег рядом с женой моей, неспособной к труду, о чем имеется постановление комиссии за № 3481. Проснулся я от зычного голоса. Надо мной стоял инкогнито, для сокрытия своего лица и партийной принадлежности завернутый в простыню. Инкогнито толкал меня пребольно в живот кухонной принадлежностью, коей когда-то взбивали сливки или же куриные белки, и кричал: «Евгений, ты благословен в женах!» Осмыслив этот контрреволюционный призыв, я взглянул на свой чрезвычайно увеличившийся живот и во многом усомнился. Далее настало мое злодеяние: вытащив из печки уголек, я начертал на своем голом животе справа, выше пупа, упраздненную букву «ѣ», в крупном масштабе, слева, внизу «В. Т. Т. З. М», что должно было обозначать «вынашиваю торжественное тезоименитство законного монарха». Ныне, осознав свое преступление, прошу вас меня в срочном порядке ликвидировать, а в награду за чистосердечное показание паек студии героически-комического театра выдавать после моей ликвидации неспособной к труду супруге — гражданке Марии Игнатьевне Холщенниковой».

Аш и тот не выдержал — улыбается. Молочные глазки засветились, младенчик запросился на икону, грудь сосать или играть с румяным яблочком.

Впрочем, за дело. Пришел секретный сотрудник Чир. Прошлое его — туманы. Был максималистом. Убрал не менее пятидесяти «фараонов». Налеты. Какие-то пятисотрублевки. Впрочем, теперь великое усердие. Пропавший голос, легко заменяемый тихим хрипом, ползущим из самого живота, и на лице раскиданные щедро скверные прыщи.

Вновь перебирают донесения, письма, показания. Все ерунда, все около да рядом. Заговор играет в жмурки: под ухом шелестит франчишками, резвой ручкой военрука щиплет огромный политкомовский зад и всячески шалит — то в Мертвом переулке, где снег по плечи и отдел охраны памятников старины, медведем рявкнет: «Становись во фрунт!», то на Красной Пресне, быстро гримируясь, чтобы пучились мозоли на ладонях и пот на лбу сиял, забыв о франке и о фрунте, выглядит совсем марксистом: «Свободные выборы — не угодно ли?» Как защемить юркий хвост?..

Аш серьезен. Предлагает: изучить классовую природу, пересмотреть архив. Разослать анкету. Реорганизировать подотдел. Конечно, все это весьма занятно. Но где же заговор? И Андерматов протестует: ждать нельзя. Изъять по спискам — тысячу, две, пять. Списки же готовы. Белорыбова запотела, переписывая; почти что адрес-календарь «Вся Москва». Начинает по алфавиту: «Абаров, Авигов, Агарин, Адельсон, Ажевский...» Андерматова, увы, нет

(дядюшка уже изъят за былую непочтительность), зато есть просто Андер. Произносит имена с особой материнской нежностью, утомлен и бледен — не шутка: пять тысяч детей. Снова возражения. Курбов — против: может быть, изъять и не мешает, но это каникулярные дела, теперь же спешно, раз заговор, не пять тысяч, а просто пять, не по алфавиту, даже без прописок, через хвостик. Пауза.

Тогда выступает Чир.

— Тсс... Что-то...

— Что?

Встает и, отливая прыщавым, пятнистым лицом, под Марксом, величественный, как пифия, выдавливает из утробного тюбика одно:

— Здесь Высоков.

Чир недаром становился в позу: эффект необычайный. Аш, оглядывая ящики стола, как будто Высоков в них, пришамкивает:

— Вот как!.. Высоков!.. Истребить!..

Андерматов хочет скрыть озноб. Не удается. Рука с папиросой на лету вычерчивает ужасные кривые. На радиостанции прочли бы SOS, а проще в обиходе: ай-а-ай! Мне страшно! Что стоит Высокову меня ухлопать?.. Лучше не выходить на улицу. Впрочем, может и сюда пролезть. Андерматов при всем трагизме хочет жить. Как спасательный круг выплывает: взять отпуск. В здравницу: пить молоко с пенками, вести дневник. Не пустят. И папироса, отчаявшись, влетает в ухо, вместо губ.

— Вот до чего рассеян. Хорошо бы отдохнуть...

Это к Курбову (ведь он важный — с цекистами на ты), но Николай не слышит. От слова «Высоков» проснулся, преобразился: наконец-то враг! Снова, как будто год тому назад: английские френчи, названия станиц, на рубашке рыжая сухая кровь, на карте красным карандашом отчеркнуто: к 6 ч. занять. После мушиной скуки канцелярий, шама Аша, андерматовского алфавита, дряни, чепухи, тика часов, тука «Ундервуда» — взрыв. Оправданы пайки, подвалы, липкое плохое дело — чека. Николай, помолодевший, разгоряченный,— чуден! Сюда бы Пушкина не мешало: воспеть. Машина в ходу и вдохновение. Глаза — сталелитейный завод. Отхлынувшая кровь готовится к прыжку, громко грохочет под котлами: сердце и висок. Наконец приподнимается рука: в ней розовый огонь, четкий хруст, сгиб, расчет до миллиметра, страсть и воля. Даже Чир, презирающий эстетику, включая оперу «Гугеноты», морды девок и плакаты на Кузнецком, и тот залюбовался. Потом, недовольный своей слабостью и перемещением центра внимания, вновь зашипел:

— Натолкнулся случайно. Есть такая Машка Свеклокуша. С военморами в «Лоскутной» промышляет. Впрочем, пускает вся-

ких. В мае через нее я спекулянтика Заркевича словил. До ужаса вместительная девка. Так вот она в субботу отправилась на Сухаревку за пудрой: выдерживает чин — и там подцепила сморчка. Сморчок продавал нюхательный с мятой и сам все время чихал. Она к нему с разумным словом, а он — апчхи и никаких. Но обещал серебряный полтинник и фунт рафинаду.

У нее — как полагается, но только принимая во внимание седину и чихи, удивилась — слишком резвый. Уснули. И вот, на счастье, Свеклокуше какая-то дрянь приснилась: будто она под деревом. На дереве растет вобла и та вся обглоданная — одни головки, а внизу китайчонок с пушкой. И будто говорит он: «Если ты мне не сорвешь вот эту воблу, я тебя из пушки расстреляю в пух». Девка испугалась (хоть не трусиха, но это ведь во сне) и вцепилась в бороду сморчка. Проснулась: глядит, у нее в кулаке пук волос, сморчка как будто и не бывало, а рядом дрыхнет молоденький, еще прихрапывает с...... Машка ему со злости всем фунтом рафинада по бритой морде:

— Мазурик!

Взревел. Опомнившись, попытался быстро нос закутать в бороду. Не удалось. Помолчал и бух (если только девка не врет) — стал Машкины коленки целовать:

— Ты, говорит, мое просветление. Я не мазурик, а высокий человек. Идеалист я — вот кто, против китайцев. Я из тебя сделаю избранную деву.

Машка, понятное дело, расчувствовалась, но полтинник все же взяла и днем забежала ко мне. Я сразу понял, кто,— Высоков. Он ей и рандеву назначил. Обещала выпытать: девка молодец, прямо комиссар. Ко мне ей шляться не годится: может быть, высоковские молодцы следят. Пришлет записку с подругой Сонькой,— тоже такая, «Лоскутница»...

Закончив романтический рассказ, Чир победоносно улыбнулся, и прыщи засветились великолепными опалами. Стук. Курьер.

— Товарищу Чиру.

Странно. Не письмо — пакетик. Развертывает быстро: коробка спичек Лапшина, а в ней не спички, но живой жирнющий таракан; водит усищами, внимательно осматривает учреждение. Недоумение. Брезгливо жмется к стенке Андерматов, он боится не только Высокова, но и тараканов. Впрочем, это не страх, а чувство эстетического превосходства. Аш отважен — готов нападение отразить, уж ножницами чик-чирик. Только Чир, удовлетворенный, щурится на таракана, как кот на мышь:

— У нас теперь все нити. Свеклокуша выведала. Знаете где заговор? В «Тараканьем Броду».

18

Опять мело. То есть встречались дыхания двоих: отощавшей, очумевшей, согласной не дышать Москвы и московской зимы, весьма добротной. Москва сначала сопротивлялась. В четыре распахнулись двери тысяч канцелярий и в зиму задышали различные теплые шарики, порой кокетничая наушниками по ордеру или старорежимной муфтой. На бульварах продавали спички. Вокруг распределителя № 48 прибой метели тщетно пытался смыть материковый державный запах доморощенной капусты. Словом — торжествовала жизнь. Но вскоре метель, покрутившись в поле, за Рогожской заставой, разъяренная, опять дохнула, и Москва сгинула. Милиционеры, папиросники, даже фонари пропали. Только клочья стенных «Известий» еще вздыхали в такт метели.

Вдруг на Цветном бульваре возле цирка показались трое. Правда, казалось, не идут они — несутся прямо от Марьиной рощи, выдышанные полем. Но это оптический обман: шли стойко, подрубая снежные столпы с адресом и с волей. Чуть покрутившись на углу, загнули. Две папахи, платок с ушками — трехмачтовый парусник.

Наконец причалили. Куда — не видно. Оснеженные окна чуть светились, не фосфорическим снегом, но своим внутренним светом, желтым, животным, теплым, напоминавшим сразу лампадку, старческую кожу и мед во рту. Одна папаха храбро навалилась на дверь. Другие помогли. Через минуту примерзшее дерево поддалось, ахнуло, впустило.

— Здесь. Пришли.

Голос Чира. Значит, Чир привел. Чир — умник. Ему бы не «фараонов» бить, не закидывать удочку на спекулянтских пискарей, а прямо сесть Ллойд-Джорджем и с целым миром в дурачки играть (обыгрывая). Даже штат у него министерский. Что девка? — Дура! А Свеклокуша — дипломат. Не только прелестями натуральными прельстила Высокова, но все выпытала и сообщила так, что Сонька, принесшая коробку с тараканом, никак не могла догадаться, в чем дело, страдая же с детства любопытством, пристала за полночь к военмору Масодаву:

— Какой есть символ таракан?

Масодав, подумав, изрек:

— Это и младенец знает — большущий, говоришь? с усищами? — следовательно, польский пан, Пилсудский.

Свеклокуша знала: Чир не Сонька — сразу догадается, ведь не раз совместно дули самогон и даже как-то спали в «Тараканьем Броду». Так и случилось. Военмор мог философствовать. Аш чиркать ножницами, Чир знал: заговорщики встречаются в задних

комнатах вегетарианской столовки «Не Убий» в Девкином переулке.

Курбов захотел сам попытаться выследить: дело серьезное, никому нельзя доверить. Посему, получив папаху и шинель, стал вполне мешочником. Увязалась еще Людмила Афанасьевна. Она как раз зачитывалась Джеком Лондоном, очень хотелось наяву увидеть московские Техасы. Высоков ей представлялся ковбоем в шляпе с кожаным ремешком. Что же, с барышней даже незаметней (это заключение Чира). Белорыбова послушно намазалась безо всякой нормы, повязалась платочком, обещала пить самогонку не чихая и, если понадобится, соответствующего соблазнить.

Втроем ввалились. Курбов от метели стал еще крепче: надышался. Сам теперь может выдохнуть такую же. Чир — завсегдатай, как дома. Людмила Афанасьевна слегка трусит, даже подумала, не стоит читать вздорных книжек, лучше просто служба и бутерброды. Как следует додумать ей не дал Чир. Пользуясь конспиративными преимуществами, обнял Белорыбову за текучую неопределенную талию.

— Вы, цыпочка, не сомневайтесь: косых не пожалею...

Пусто и морозно, вроде сеней. На прилавке умывальный таз с солеными огурцами и фруктовая вода. Ни печки, ни людей. Только какой-то безобидный старичок ест очень медленно, обсасывая со смаком жесть ложечки, ненормированный продукт — простоквашу.

Но здесь не задержались. Одолев еще две двери, коридорчик, пустую кухню, где мяукала кошка, выплыли в открытое море. Остолбенели: свет, тепло. Люди, много людей на скамейках и под. Горланят, поют, играют в карты, здесь же блюют. В носу защипало от крепкого настоя мокрой овчины, пота, сивухи и рассола.

Ловко лавируя среди бутылок, шапок, морд и сапогов, хозяин Иван Терентьич Шибитов подошел к ним. Церковный староста, почти что мученик за веру: в восемнадцатом, вступаясь за попранную церковь, целый день ходил по Тверской в крестном ходу, и возле Дома Советов, став в позу наподобие пророка Иеремии, сначала прогнусавил «Христос воскресе», а после, недовольный,— дом стоит и даже плакаты все на месте — показал фасаду и флагу кукиш. Впрочем, вскоре, будучи человеком очкастым, следовательно, степенным, подобному мученичеству предпочел реальность. Походил, понюхал, подумал, и к весне совместно с Ваней Острюжиным, прежде половым в «Стрельне», а ныне коммунистом безработным, но и беззаботным, стал неожиданно для всех трудовой артелью. Другие регистрировались, ботики из бобрика, бисер, деревянные ковши с молотом-серпом, словом, идиоты. Трудовая артель, то есть Иван Терентьич в широком токовании — человек благочестивый — облюбовал вегетарианство: божья заповедь на вывеске по новой орфографии. Получил ордер на целый дом: правда, дом вроде ку-

рятника, только на слом годится, но все же двухэтажный. Прежде, в дни юности и счастья, в нем помещался изысканный притон мадам Аннеты с румынскими девицами. Потом мадам Аннету со всем приплодом выселили на Ямскую. К дому прибили жестянку «Союз рабочих кожевников» (приличные жильцы, оценивая запах, а также наименование переулка, браковали). Союз попах кожей, но был также вскоре выселен в Бутырки. Дом долго пустовал, пока в нем не поселился отставной вахмистр. Занялся он разведением морских свинок для бактериологического института. Свинки плодились, при этом громко пахли — так до самой революции. Не выдержав дипломатической изоляции России и восьмушек, вахмистр преставился. Свинки тоже сдохли. Мебель растаскали на растопку. Остались только тяжелые слои запахов различных эпох — от румынской пудры до мокрой соломы воспитанниц вахмистра.

Вот в этом историческом сооружении обосновался Иван Терентьевич. В бывшем зале — вегетарианская столовая. Иногда заходят дураки на вывеску — какой-нибудь ветеринар, приехавший в командировку, или дама, продавшая последнюю гардину и высчитавшая, что в столовых продукты должны обходиться дешевле — «массовое потребление». Дураков не гонят, дают кому пшенной каши с растительным маслом, играющим различными цветами, будто нефть, кому огурчик, кому простоквашу. От этого один убыток, но иначе «артель» — не артель. Притом уже говорилось,— Иван Терентьич человек благочестивый, совестливый, не может «вдов, сирот», то есть даму без портьеры или заезжего ветеринара обидеть. Тем паче знает: масла такого радужного подольют, что ветеринар, вернувшись в Калугу, скажет жене, романтически бледнея: «В Москве есть Девкин переулок, вот сколько буду жив, не забуду — у-жас!»... (Жена простит, утешит.) Это о каше и о масле.

А в задней комнате, куда Чир привел сослуживцев — никаких «ужасов», пожалуй, кроме собачьей колбасы. И иерархия напитков — от самогонки, пахнущей дерущим нос и небо деревом, минуя спирт с анисом (для пресечения сомнений), до коньяка. Последний по подданству мадьяр, по роду занятий красильщик (скорей всего таким чистят экономно будапештские перчатки), Иван Терентьич его сервирует в кофейных чашках, совместно с собачьей колбасой особенно взыскательным, которые требуют, чтобы все, как в заграницах. Раз Миша Мыш, укокошив накануне артельщика Главкожи, нагло на глазах у Чира, даже не угостив его,— выпил пять бутылок коньяку и слопал при этом не менее копченого пса, разложенного на колбасы, за что вскоре и кончил свои дни у стенки. Впрочем, это было после и вне. Внутри — нейтралитет. Иван Терентьич, повесив в угол Троеручицу, к ней под-

пустил и Троцкого в шлеме, принимающего парад. Чира он уважает, поит бесплатно спиртом и часто, уводя к себе в угловую комнату, где отдыхают под перинами жена и три дочки, многое ему сообщает из интимной жизни посетителей. Зато Чир обещал ни в помещении, ни в Девкином вообще не хватать и обещание держит. Поэтому «Тараканий Брод» считается местом безопасным, почти посольство с иммунитетом: за полтора года ни одной облавы. Для многих это большая приманка, нежели мадьярский коньячок: для того же Миши Мыша, для Леща с ребятками, ценнейшего художника, печатающего в день до тысячи косых, не отставая от советской власти и сохраняя нежно все ее причуды, вплоть до китайских букв. Для Пелагеи (при женском имени — мужчина, даже не без блеска, то есть с напомаженными усиками), ухитряющегося и ныне, как в семнадцатом, с примерным педантизмом ежевечерне честных спецов освобождать от шуб, и для прочих. Среди таких буколически восседают, друг другу не мешая, Чир или Шмыгин (сотрудник эмчеки). Это все буржуи, «коньякщики»; если прибавить к ним Троеручицу — оплот и умиление Ивана Терентьича.

Далее — золотая середина: скупщик амуниции Чиваров, дедушка Тимоша, продающий кокаин, не без подмешанной известки (просто — отколупнуть от стенки, и пять косых в кармане), от которого девки чихают, бесятся, друг другу рожи царапают; тихий Зильберчик, романтически влюбленный в «романовки» — взглянет на свет: Петр Великий — и прослезится; Свеклокуша; Маничка Типунчина — местная Кавальери, никаких изъянов, если не считать лиловеющих следов, ласк ревнивца Леща, историческая девка, гордящаяся тем, что спала с тремя режимами, то есть с приставом Басманной части, с самим министром при Керенском и с каким-то заспанным профессором коммунистического университета, который принял ее за неофитку. Все это среднее сословие пьет предпочтительно спирт с анисом, зря деньгами не швыряя, но и не скупясь, к «коньякщикам» чувствуя должное почтение и презирая чернь.

Чернь-то, как черни полагается, безымянная. Иван Терентьич, снисходя, пускает всех: мешочников, папиросников, извозчиков, девок. Приходят спившиеся интеллигенты, облезшие от недоедания бородки макают в самогонку и, быстро охмелев, скулят: «Идеалисты — в дураках, вот вам народ, а мы еще за него распинались!..» Таких прежде Миша Мыш, а теперь, после его преждевременной кончины, Пелагея мимоходом бьют валенками по носу до изгнания из чрева самогонки и идеализма. Порой извозчик, от лютости напитка чумея, ярко-фиолетовый, вообразив, что вся вселенная козлы, садится на голову Ивана Терентьича и восседает, но примятый все теми же блюстителями нравственности, после, до утра, валяется среди сугробов Девкиного переулка. Девки усердствуют

и, пользуясь благоприятной температурой, не менее 20°, «коньякщиков» соблазняя, расстегивают все, что можно, рукой вытаскивают наружу большущие пенистые груди и похлопывают их, как разносчики арбузы: вот что, не обман...

Для дальнейших процедур во втором этаже имеются четыре комнаты. Иван Терентьич, любящий высокопарность, зовет их «номерами». Обставить не удалось — но много ль человеку надо, особенно в минуты экстаза? В двух подороже, впрочем, кровати, даже с одеялами, и заржавелые рыжие тазы. В других — на полу. Что же! Пол не снег — удобство налицо. Но во всех четырех иконы шлют благодать на приходящих. Иван Терентьич сдает на час или на ночь. Когда на час, поглядывает аккуратно на свои массивные серебряные, с накладным цветным павлином и шлет одну из дочерей — «гони»! Дочка, не смущаясь обстоятельствами, входит, если дрыхнут, толкает женщину в нос носком ботинка, посетителя же щадит. Иногда уходит только девка, а мужчина, соблазненный дочкой Ивана Терентьича (в три обхвата), собиравшийся уж было домой, все начинает сызнова. Но дочек Иван Терентьич бережет: берет за них немало.

Так тихо, просто, среди кризисов и тезисов, ведется в Москве большое прочное хозяйство: «Не Убий» — снаружи, «Тараканий Брод» — внутри. Последнее требует некоторых пояснений. Почти феномен. Тараканы, как известно, любят сухость и воды боятся пуще иных купчих, даже в засуху не расстающихся с калошами. Водятся они на кухне возле печек и, по заверениям некоторых наблюдателей, обожают духовое отопление, человек от него вянет, в носу — Сахара, а тараканы, наоборот, весело водят усами, и жены тараканьи на радостях кладут невероятное количество яичек. В помещении Ивана Терентьича чрезвычайно сыро: каплет с потолка, стены, вечно потея, отливают венецианской зеленью, а сгнивший пол, расступаясь и чмокая под ногами, напоминает о чем-то вовсе не домашнем — о распутице или о болоте. Несмотря на это, тараканы противоестественной любовью любят мокрый дом. Они отважно ползают по потным стенам, насмешливо выглядывают из чайников, оживляют мертвецкий сон собачьей колбасы и заставляют визжать счастливых посетителей четырех верхних комнат, оказываясь неожиданно в чьем-либо ухе.

Когда Иван Терентьич только открыл свою вегетарианскую с добавочным, в один из первых вечеров к нему пришел Миша Мыш. Хоть был он с каланчу и весил не менее восьми пудов, но отличался детской нежностью, наивностью. Миша Мыш спросил чашку спирта, выпил, задумался. Манька Типунчина обещала заманить в цирк Соломонского армянина с брильянтовой булавкой. Во время вольтижа, Миша Мыш должен был булавку переместить. Обдумывая

некоторые детали полета и перелета, Миша Мыш вдруг заметил редкостное зрелище, остолбенел, забыл о Маньке и о брильянте, завопил:

— Иван Терентьич, видишь?

По полу ползло целое стадо тараканов. Дойдя до лужицы, они не повернули назад, но храбро окунули в воду сухие до хруста лапы и усы. Перебрались. Миша Мыш в восторге лепетал:

— Ну!.. Здорово!.. в первый раз такое вижу!.. тараканий брод.

Детский лепет впечатлительного Миши Мыша стал именем, утвердился, вошел в историю. Не говорят «к Ивану Терентьичу» или в «Не Убий», нет — в «Тараканий Брод», а завсегдатаев зовут «тараканщиками».

Вот куда попали, Высокова выискивая, Чир и спутники. Спросили у подплывшего Ивана Терентьича спирта. Подал и, глядя на явно вытекающие из-под блузки белорыбовские прелести, почтительно икнул в ухо Курбова:

— Вы, может, гражданин, номерок желаете, имеется, с кроваткой...

Курбов огрызнулся. От «тараканщиков» он сразу замрачнел. Столько ломать, кромсать и что же?.. Все на месте. Провы. Рабочие глубоковские с крысой. Кавказский погребок. Над ним номер с кроваткой. Знает: тиковый тюфяк, ямка и какая-нибудь маменька вьется юлой. Черт возьми! Но как же сжечь этот тюфяк, громадный, всемирный, в полоску, сальный, повисший над ним, надо всеми?..

Кругом — веселье. Чиваров, выиграв в карты у Зильберчика цепочку и в придачу еще бутылку коньяку, вообразил себя слоном, стал носом щекотать спину Манички Типунчиной. Маничка вся в упоении трепыхала, как бабочка, но Лещ, возревновав, пустой бутылкой трахнул ее по носу — в итоге пострадало платье — кровь, не отмоешь... Слон-Чиваров, как слону и подобает, проявил великодушие, угостив чашкой коньяка обиженного судьбой Зильберчика с результатами совсем необычайными. Тщедушный Зильберчик мигом обалдел. Вынув пятисотку, стал хоронить в кухонном решете, похищенном у супруги Ивана Терентьича, императора Петра, поливая его остатками мадьярского напитка и слезами, напевая над ним, как в синагоге: «Ка-дош». В ответ какой-то сопливый папиросник, хлопая себя по брюху, беременному стопами ассигнаций, победоносно грянул:

— Цыпленок вареный, цыпленок жареный...

Цыпленки тоже хочут жить!..

Николай еле сдерживается. Даже о заговоре не помнит — ненависть цокает в мозгу, как эскадрон. Вот сразу без допросов, без дознаний, всех этих пьющих и поющих, как цыплят, за шейку раз, два, три!.. Сжимает свои руки так, что раздается жесткий

хруст. Может, Андерматов прав — минуя церемонии, прямо по алфавиту — всех. Чиру:

— Что же, Высоковым и не пахнет?..

— А вот я пойду, понюхаю.

Чир, подмигнув, нырнул в спальню Ивана Терентьича. Долго пытает и улещает: двести бутылок старой «смирновки» даст и грозит расстрелом. Иван Терентьич от потуги что-либо измыслить раздувается, усердно потеет, клянется и крестится на все угольные, т. е. сразу на Троеручицу и на козыряющего Троцкого; если б мог он, с удовольствием родил бы какого-нибудь заговорщика или, по крайней мере, дочкам приказал бы. Для смягчения Чира выкладывает все: Чиваров вчера купил двенадцать полушубков у некоего Бадонина, а Зильберчик, подвыпив, просил Ивана Терентьича, чтобы тот его «в случае чего» не резал — он сам за церковь, коммунистов терпеть не может, а если и любит что грешным делом — то немножко, совсем немножко конституции. Может быть, в другое время Чир польстился бы на полушубки или на конституцию, но теперь, высоко паря, презирает.

— Ты об этом Шмыгину выложи в эмчека, а мне...

(Сиплый голосок еще сиплее, тише.)

— Высокова!..

Потеряв надежду спасти себя какими-то полушубками, Иван Терентьич зовет на помощь Глашеньку — младшую из дочерей,— скромненькую, в коричневом гимназическом платье, две косы, ресницы вниз, словом, первая любовь. Чир мягчает, лицо прыщавое багровеет, даже белки глаз становятся цвета раздавленной клубники (так, когда «фараонов» бил или в чеке по темным коридорам к допросу водит). Иван Терентьич, удовлетворенный столь быстрым результатом, даже не помышляет о верхних комнатах,— здесь оставит, на своем супружеском ложе.

Николай и Людмила Афанасьевна долго ждут Чира. Молчат. Курбов о своем: о покалеченных прекрасных ромбах, о скрежете сурового колеса, о желтых теплых шейках, мерзко хрустящих под руками. Белорыбова же, охмелев и разомлев, исходит в молочном паре мечтаний. Даже хлеба с колбасой не доела. Глядя, как Лещ с вывертом щиплет грудь Манички, Людмила Афанасьевна вздыхает — четко, громко, как будто у доктора на осмотре, когда выслушивает: вот я — Виктория, кто-нибудь — меня, с усами, толстый, как в романе, «так любили»...

Наконец — Чир. Заспанный и успокоенный. Все его жесты дышат неким миром, благодатью. Причин не объясняет, а на сердитый окрик Курбова, зевнув сначала, так зевнув, что кожа, не выдержав, затрещала, кратко:

— Ни черта.

Собираются идти. Вдруг вваливаются трое. Вожаком — кривой и угреватый, до пантеровой пятнистости,— Пелагея. С ним двое, не «тараканщики» — тоже здесь впервые: мужчина отменно плотный, с выправкой оловянных кирасиров, с закрученными туго русыми рогаликами усов, и маленькая женщина. Лица ее не видно: платок весь инеем разузорен.

Чир: не эти ль?.. Мало Пелагее шуб, он путается с кем-то, явно несоответствующим. В оба! Усач из интеллигентов, девка не местная, самогонку дует исправно, но чашку держит по-особому, будто в кондитерской пьет шоколад. Чир знает таких — в Ялте мигом раскладывал на дорожке, в наше удовольствие...

Людмила Афанасьевна отнюдь не интересуется манерами девицы. Вздыхает еще чаще, еще громче; из молочного пара вырастают рогалики усов. С белорыбовским сердцем неладно, мечется туда-сюда, как беспокойный квартирант. Неужели этот?.. Плотный, сдобный, распластавшийся где-то в предчувствиях, он сладок, как дивный бутерброд. Пелагая зовет его Иваном Ильичом, Иван — ну да, Иоганн, а я Виктория. Дома — нежно — Ваня. Будет щипать высунутый из-под одеяла белый, сонный локоть. Истома.

Курбов:

— Ну что ж? Подсядем, что ли?..

И сразу — обухом. Девушка разматывает платок. На лице, слегка испуганном и смуглом, под крыльями бровей, то улетающих легко ввысь, то падающих обвалами,— синь, сквозь мамины шторки звезды, последняя таинственная схема мировых совхозов, сердца, ночи, глубины. Лицо такое, что все — камнями. Лещ поднял кулак — не опускает, Зильберчик смеется ласково, по-бабушкиному, и умиленный Чир, забыв про Глашу, про чашку с коньяком — дрожит: как же? разве такое может быть? Поражает слабость, почти предсмертная, когда приподымают на простыне, воск, пух, дыхание, а в этом — невиданный накал последней воли, сталь спирали — к небу, спертость — меж ребер целый мир. Каждый вспоминает детство, большая книга, о таких — легенды. С Николаем — катастрофа. Курьерский вниз с насыпи, еще последние вагоны плавно скользят по рельсам, а машинист уже — комок. Еще спокойно Чиру:

— Подсядем?

А внутри: бежать? спастись? Нельзя. Прежде знал: умирают от пули, от голода, от злобной скуки и докук, но чтоб от нежности?.. Нет, этого не знал — впервые. Вдруг прояснился путь — от большеголового младенца в избе сибирской к рабочим, громко топотавшим в переулке, и сюда, к чужой, быть может, злой и злобной, к врагу. А нежность все сильнее вздувалась. Чуял ее всем: в глазах она, сперва туман, потом зияние; в ушах смутный гул; соль во рту;

холодеющие пальцы; запах детства, с тряпьем, с животной лаской, с яблоком под подушкой. Забирала всего. Кажется, сейчас умрет. Позади: раскиданные числа, лоскуты фигур, последние припадки плана, судороги равновесия. И тают, как метель, на ее вязаном платке. Имя? Слышит — Катя. Встает.

И все же отчаянным, никем не понятым усилием одолевает. Снова Курбов, работник, член, винт, зодчий. Нет! Так не сдастся. Он — в притоне. Это — агенты белых. Впереди — ликвидация, скрепы, победа. Чиру, уже успевшему и умилиться, и кончить чашку, в третий раз решительно:

— Подсядем.

19

Чир правильно подметил все. Катя действительно была не из местных девок. Верно и то, что хотя сивуху она глотала храбро, но предпочитала мелкими глоточками отхлебывать горячий крепкий шоколад. Как же она попала в «Тараканий Брод»? Зачем ей понадобилось в метельную колючую ночь забраться черт ведает куда? Может, за кокаином дедушки Тимоши или (дома — родители) спать с неотразимым усачом, уже поймавшим в сети белорыбовское сердце? Тогда при чем тут Пелагея? Недоумение ощущали все.

Чтобы ответить на эти тревожные вопросы, надо повернуть назад по еще синеющим среди сугробов следам, до комнатки на Спиридоновке, и дальше — к Брянскому вокзалу. Следы меняются: вместо ножки с высоким пронзительным каблучком, тупой сапожище. Еще дальше — без видимых следов — по нюху. Много городов, границ и фронтов. Наконец зеркальные вращающиеся двери парижского ночного кабака «Монико». У дверей — негр в красном фраке. За дверьми — разгадка чудесного появления Кати и многого другого.

Конечно, «Монико» не «Тараканий Брод» — культура. Вместо Ивана Терентьича вьется метр д'отель, статный, гладкий, изгибающийся предусмотрительно, как перочинный ножик, готовый тотчас же сервировать дюжину мареннских устриц, бутылочку бургундского, любовь и счастье. Входишь — трах по голове: грохот, охание, визг джаз-банда. Малайцы прыгают, как обезьяны на ветках. Уронив губу чуть ли не на пол, один вдруг припадает к причудливо изогнутой трубе и жалостно мяукает. Другой оседлывает барабан, яростно бьет палками, ногами, головой в тарелки, в медные тазы, шкуры, в пузо какого-то малого малайчика. Звуков столько, что они не успевают оседать, загромождая залу медной рухлядью и битым

стеклом. С ними — серный дым гаванн и парфюмерия английских папиросок. Свет люстр также не может течь, сгущаясь, он плавает среди гула и дыма масляными пятнами.

Меж столиками две голые женщины, в блинчатых шляпах и в оранжевых чулках, танцуют. Раз — прижимаются, два — врозь, раз — снова вместе. Все ясно и понятно. Как будто где-то на широком ложе почтенный консьерж прижимает и отстраняет свою супругу — четверть часа, пол, час, ночь напролет, всю жизнь. И снова раз — друг к другу, два — передохнуть. Тела склеены. Клейкий грохот, тягучий дым, застывший свет — крепче синдетикона. Будут качаться долго. Когда же малаец выронит в изнеможении палочки, а зевающие отчаянно лакеи повернут выключатель, отпуская на волю в синюю редеющую темень послушливый свет,— перестанут. Разлучат. И снова кинут, только без шляп и без чулок: раз — вместе, два — врозь...

В укромном углу, под пальмой, гости, достойные такого ресторана. К ним приближаясь, метр д'отель столь сгибается, что за треском машинки чувствуется хруст костей. Вокруг стола нечто торжественное. Ясно, здесь не просто кутят по случаю какой-нибудь удачной сделки, нет — служат идеалу. Никаких нескромностей: черное и белое. Черны: смокинги, шелк дам, икра в бочонке; белы: скатерти, накрахмаленные груди, пудреные щеки, водка в графинчике, лед. Напоминает богослужение. Дама смягчает суровость чина ангельской улыбкой. Недаром ее сосед, плешивенький французик, как лягушонок, прыгает на стуле:

— О, эта мистическая красота! О, Византия!

Услышав «Византия», дама сердобольно кивает головой; не впервые, конечно, но Византия, услащенная духами Герлена и танцем джимми. Может, завтра в пять часов у Румпельмайера?.. Нехотя берет виноградину и с золотого тельца медленно сдирает черное, бархатное платьице. Косточка во рту скользит, пахнет терпким духом винных погребов, лепечет о Ницце и о Массандре.

— Да, жизнь все же прекрасна! Мы столько, столько потеряли... У мужа отняли дом, бумаги — всё. Несчастная Россия!

И над Россией Византия готова уронить серебряные капли, но, зная, что лучше утешить живого, нежели над мертвым плакать, только лопочет:

— Вы нам поможете? Мы победим. А я?.. Мне ничего не нужно... У нас есть вилла в Ницце... Скромный, почти монашеский конец...

В затонах дивана ее рука с длиннейшими, отточенными, сверкающими, как орудья, ногтями, встречает наконец другую — мясистую. Почти проверяет упругость мяса. Французик от удовольствия жмурится.

— Значит, завтра в пять у Румпельмайера?

И продолжает шепотом, удачно пользуя всезаглушающий рев самого горластого малайца.

— А после ко мне. У меня коллекция эротических гравюр. Уютно, свободно, по-холостяцки.

Дама, сострадательная самаритянка, на все готова, лишь бы людям было легче жить. Не полагаясь на себя (с годами: лысина, катар желудка и ослабление памяти), француз записывает: «Среда 5 ч. Madame Мариетта Кадык».

Сам Кадык огромный — бельмо и пакли в ноздрях кровавых — сидит недвижно, мраморная дева на Кампо-Санто. Вместо урны — ведерко Ирруа. Весь — скорбь. Можно ли в такие дни веселиться? Французику, который уже от ручки Мариетты дальше пополз в пухлые интимные залежи византийского добра:

— Monsieur, мы здесь ужинаем, хоть скромно, но прилично, а в России голод. Едят друг друга. Как же жить?..

Дева над могилой — почти классический шедевр. Сострадательный лакей обновляет урну, то есть в ведерко вставляет новую бутылку. Ломкий лед звенит. Не выдержав, Кадык уходит. Направо в кабинетике находит скромное бебе. За сто франков в пять минут бебе дает скорбному Кадыку простые идиллические утешения. Раз — прижаться, два — передохнуть... Кадык возвращается к столу просветленный, и, с уважением погладив собственный живот, заявляет французу:

— Эти разбойники продают англичанам товары, украденные у меня. Я про-те-стую! Законные претензии русской промышленности. Мы заставим всю Европу считаться с нами. Еще бутылку!

В урне лед. Но в сердце француза пламень. Француз почти — социалист. Он сам понимает: выше всего социальная справедливость. Но что же? Так обидеть эту миленькую даму, у которой в голове Анри де Ренье и Дебюсси, а ниже теплые щедроты; этого кротчайшего рогоносца, вольнолюбца, идеалиста — так обидеть, отобрать бумаги, предприятия, даже три рояля, заставить скромно ужинать в «Монико», вести почти монашеский образ жизни... Нет, большевики не социалисты, а просто азиаты, «тартары»!

— Не беспокойтесь, друзья, мы вас не покинем. Франция на страже гуманности и справедливости. Я выступлю в палате. Доклад и смета. Вашему доброму гению, генералу... как имя?.. да — Врангель! — пошлем в Константинополь пароходы и снаряды. Тартаров перебьют. Ведь этот Врангель тоже — я убежден — почти социалист. И вы, друзья, не правда ли? Со временем все разбогатеют, и будет рай.

Слушая француза, дородный князь Саб-Бабакин, писатель и председатель, стонет. От горя породистые щеки виснут и ложатся на

манишку. Знающие нравы русских бар и санбернаров ждут слюны. Ждут с основанием. Князь, подвыпив, голосит:

— Все дело в улицах. Были: Хамовники, Плющиха, Молчановка, Курьи Ножки, Мертвый переулок. Челове-е-ек, селянка по-московски! Осталась Лубянка. Щука по-жидовски. Трудовая кость в горле. Татьяна! Лиза! Ася! Наташа! Чистые русские девушки! Где вы? Три сестры! Спасите!

И князь ложится на пол, предварительно стряхнув салфеткой пыль с коврика. Ползет на брюхе. Малайцы дают. Женщины, склееные все так же, бьются. Только метр д'отель, видя князя в странном положении, на лице изображает набожный, почти паломнический экстаз. А Саб-Бабакин расслабленный пищит.

— Разве это святая русская земля? Разве это тульская, рязанская, калужская? Разве здесь топали стопочки богородицыны? Челове-е-ек, бутылку содовой!..

Князя подымает граф. Тоненький, руки, ноги — спички, а между спичками стеклянная пуговка жилета. Все вместе — дипломат, советник посольства. Картавит, слаб, взволнован, если не поддерживать его яйцами всмятку, мартелевским коньяком и служебными повышеньями, может легко умереть. Смуту державы, то есть чудовищные телеграммы в «Figaro» и увядание посольства с сокращением штатов, едва выдерживает. Был прежде тверд и горд. Заходя в консульство, оглядывал рой посетителей и чирикал секретарю:

— Зачем жидов пускать в Россию? Употгебляют кговь. Насчет жидовочек не говогите: бывают очень вкусные девчоночки, гимназисточки. У лапсагдачника — опега.

В начале революции поддался, не дожидаясь директив, сам кресло водрузил на стол, взлез и, понатужившись, снял со стенки самодержца в раме. На печатях орла старательно замазывал сургучом. Когда входил в посольство какой-нибудь с сомнительным носом, по всем данным употребляющий кровь, на всякий случай мурлыкал:

— «Отгечемся от стагого мига»...

Но вскоре опомнился. Прибыли из Москвы обиженные князь Саб-Бабакин, Кадык, другие. Слезами и шампанским затопили Париж. Советник понял — здесь не поможешь ни портретом, ни «отгечемся» — надо бороться. Сам пересылал различным генералам на юг, на север приветствия, инструкции и, разумеется, франчишки — подъемные, суточные, наградные. Ныне совместно с прочими борцами из России учреждает «братство». Клятва кровью. Гибель или победа. Истреблять жидовских комиссаров оптом и поштучно. Для этого пришел сюда, усталый, далекий от светской жизни, любящий только престиж России, минеральную воду и семнадцатилетних девчоночек. Готов погибнуть. Обнимает Саб-Бабакина:

— Мы победим.

Малаец грозным гонгом как бы предвидит въезд в Кремль. Но Кадык взволнован подозрительно рассеянной икотой француза.

— Он нам очень нужен. Мариетта, ты его немного обработай...

Мариетта улыбается загадочно, как Джиоконда. Помнит: завтра — Румпельмайер, гравюры, по-холостяцки, кажется утончен, знает все парижские моды: и так и наоборот...

Все в исправности. Лакей уже приносит десятую бутылку. Склеенные девы качаются. Но здесь заминка. Ждут кого-то очень важного. Без него одна закуска, то есть парламентское негодование французика или Саб-Бабакин, под столом лобызающий рязанскую. Он запоздал. И наконец-то с нежностью предельной:

— Высоков!

Лицо как лицо. Такие лица вроде смокингов — их изготовляют тысячами для всех порядочных месье. Жидкие, закрученные усики. Плешь. Вежливая улыбка. Только свинцовые глаза напоминают о карьере. Как-то шутя Высоков ответил в анкете: «Род занятий — убийца». Не преувеличил: с семнадцати лет только этим и занимался — был анархо-максималистом. Впрочем, сам никогда не убивал: грязно, марко, против Христа и красоты. Выбирал других — помельче. Подготовлял, доставлял средства, бомбы, револьверы, выбирал жертву и после писал витиевато некрологи обоим — убитому сановнику, повешенному террористу: «Наказан разящей дланью новый Калигула», «Пал за народ светлый буревестник, мститель и мученик; почтим...» Вне дела был скрытен, мрачен, отсутствовал. Никто не знал, как он живет в антрактах. Говорили — женат на немке, пьет кюммель, закусывает килькой, немку бьет и, взяв младенца на руки, баюкает, обливаясь слезами. Кто-то уверял: обожает цветы, дома — садоводство, особенно герань. Может, врали. Верно одно: сидит землистый, скучный, пьет кофе с молоком, а только заговорят, «такого-то не мешало бы ухлопать», просыпается, ложечкой о чашку — звяк, и в свинцовых глазах круто замешанный, как каша, динамит.

Дождавшись Высокова, обрадовались. Только советник посольства трусит: все еще не может привыкнуть к мысли, что Высоков теперь «совсем, совсем другой». Спички — ручки-ножки трясутся, как ветки на ветру. Излагают устав «братства». Высоков зевает. Цель?.. Ближе к делу! Устранять. Вот список самых важных. Высоков оживился. Предлагает:

— Назовем «Братство Христа, меча и революции».

Да, да — революции! Он — революционер. И все здесь истин-

ные революционеры, даже советник. Контрреволюция в Кремле. Что же, можно. Кадык не педант, о словах не стоит спорить. Главное, устранять. Средства будут. Французы тоже поддержат. Если Высоков согласен — аванс на месте.

Согласен. Излагает план. Поедет немедленно в Россию. Через Варшаву — там связи, и французы прикажут, чтобы поляки помогли. (Почти социалист: «Ну да, конечно»).

В Москве идеалистическая молодежь. Наберет «пятерки». Каждая «пятерка» устраняет одного. Руководство Высокова. Расходы: дорога, содержание восемнадцати «пятерок», подготовка актов и прочее... Примерно, с карандашиком, восемьсот тысяч франков.

Общий восторг. Лакеи, почуяв торжественность минуты, тащат гуртом пять бутылок. Кадык шепчется с французом, считает, обдумывает. Наконец, вынув из кармана голубенькую книжку, выписывает чек — «предъявителю 100.000» аванс.

Саб-Бабакин от избытка шампанского и патетических переживаний окончательно одурел. Требует детский стульчик и чашку теплого молока. Становится на колени.

— Я с женой и с детками, мы будем о вас каждый вечер молиться.

Высоков, чуть усмехнувшись:

— Спасибо. Молитесь Христу. Люблю Христа. Особенно за то, что пустил к себе детей. Высшая невинность. Во имя Христа пролью кровь. Не мир, но меч.

Советник, все еще не успокоившись, лепечет:

— Кговь? Как стгашно! Он пгольет кговь!..

Мариетта:

— Да, да! Много крови!

И в неге шепчет французику, среди дел не забывающему прижать, примять и прочее:

— У Румпельмайера...

Саб-Бабакин хочет поцеловать Высокова. Нет! Брезгливо усмехаясь, Высоков встает:

— Спокойной ночи. Мне пора.

В глазах свинцовая невеселая радость:

— Восемнадцать устраню.

Качаются девицы. Мяукает труба. Негр вертит зеркальные двери, среди зеркал, как в лабиринте, шагает, путаясь, грустя о черной Африке.

На улице промозглый рассвет. Отовсюду течет. Рабочий злобно ругается. Воз с репой. Жизнь. В кармане Высокова — чек, узел многих жизней. Презирает всех — и пивших в «Монико», и тех, в Кремле, и неизвестных, которых пошлет убить, и эту репу.

Скучно! Позевывая, затягивается египетской приторной папироской:

— Надоело!.. Если бы кто-нибудь знал, как надоело! Впрочем, устраню!

20

Два месяца спустя, в февральский вечер, когда в Париже мокрый ветер с Ламанша вдувал в сердца весну и грусть, когда на асфальтах бульвара ежились груды мимоз, когда нежнейший негр у входа в «Монико» уже начинал кружиться в чаще зеркал, по глухим сугробам Спиридоновки, перебираясь с горба на горб, брел скромный старичок.

Подошел к домику, жалкому, плюгавому. Забор пожрали спиридоновские печурки. Сугробы домик затолкали, как старушку в очереди. Вошел в незапертую дверь, с минуту потанцовал на льду площадки, не выдержав, упал. Раздался «черт», довольно юный и задорный, кого-то пробудивший. Вышли. Зашамкали. Старичка втолкнули в большую комнату. Пусто. У окна ящик, на нем громадная голубоватая картофелина, книжка потрепанная и флакон от духов, превращенный в чадный светильник, и еще, в углу — подобие кровати. Старичок вгляделся, остолбенел. Среди меха бушевали синие озера глаз. Глухой, грудной голос:

— Садитесь. Сюда. Стульев нет.

— Вы — Екатерина Алексеевна Чувашева?

— Да.

— Я к вам от Веры Лерс. Вы знаете в чем дело?

— Знаю. Говорите, здесь никто не услышит.

Старичок, обремененный паклей бороды и разными мандатами, преобразился. В комнате сидел Высоков, равно безразличный к шику «Монико» и к нищете спиридоновского логова, занятый одним «скорей бы убить», ненавидящий эту холодную сугробную страну, где чавкают и шамкают, где убивают с неохотой, нудно, медленно.

И все же даже Высоков, увидев Катю, несколько смутился. Он любил давить своими стопудовыми, свинцовыми глазищами различные фарфоровые глазки, чтобы пугались, отвертывались, знали: мы бирюльки, Высоков — смерть. Катя не отвернулась. Вместо фарфора зияла чудовищная глубь: я верю, я убью, но я тебя, я всех вас затащу с собою вниз, где свежесть, правда, тишина. Это было не по вкусу. Девчонка — и смеет так смотреть. Порадовавшись бороде, которая скрыла некоторые мелкие движения взволнованного подбородка, Высоков решил впредь не глядеть. Взял с ящика книжку. Оказался — Лермонтов. Буквы смесились в ледники, в синь

глаз, в провал. Отбросил. И уж не глядя ни на что, опустив тяжелые лимонные веки, стал излагать суть дела. Катя слушала. В такт словам крылья бровей вздымались, сбирались, бились, как бы заполняя комнату ветром, беспокойством, готовностью сейчас — да, да, сейчас! не завтра — сделать все.

Это знали с детства, то есть брови, тревогу и готовность. Первой узнала мать в испуганной смуглянке, прибежавшей от гадкого нотариуса, от кашля, от смерти, которая приходит, как в сказках Андерсена, взять душу — тогда ведь надо петь или умереть самой. Семилетняя Катя пела: «Дети, в школу собирайтесь» — единственное, что знала, и много раз, ложась на стол, как это сделала мертвенькая бабушка, пыталась умереть за маму, но ничего не выходило. Мать свою, болезненную вдову полковника Чувашева, погибшего при Мукдене, любила исступленно. Не игры, не игрушки: могла всю жизнь дышать этим сладким запахом полутемной с синими шторами спальни, с настоем камфары, валерьяновых капель, нафталина и сухих пучков мяты в шкафу среди белья. Жили бедно, но с достоинством, то есть: крахмальные накидки на подушках, батюшка в Крещенье, копейку нищему, Кате — воспитание. Какой-то злой дух, страшней кощея,— нотариус, маме писал шершавые, противные письма. Требовал денег. Мама плакала: опишут обстановку, бабушкино серебро. Катя думала, что «обстановка» — это самое прекрасное — то есть полочка над умывальником с лекарствами, с облатками в коробочках, на которых незабудки и цыплята, с пилюлями в серебряных баночках, с булькающими бутылочками, таинственно шелестящими крыльями рецептов. Если это опишут, а опишут, значит — отнимут (так мама сказала), нечем будет смерть отпугнуть, и мама ляжет на стол, скрестивши руки. Уж лучше бы бабушкино серебро, это вроде пятачка, который ей дали раз на именины (купила карамель «короля сиамского» десять конфект). Это — ничего. Так думала. Когда же злой дух пришел за обстановкой, храбро выбежала в маминой ночной рубашке, волочащейся по полу:

— Оставьте обстановку! Опишите меня!

Опишет — унесет. Рубашка, как мешок. За плечи — прачке-китайцу в узел с грязным бельем, потом в Китай, там говорят по-утиному и стегают пятки вожжами — как извозчики лошадей — больно, но пусть, все равно, только бы не обстановку!

Вместе — слабость, послушливость, дрожь в углу, зарывание в одеяло, в мамины колени и своенравность, бунт от отчаяния. Когда кивками и слезами вдова Чувашева пристроила Катю в Александро-Мариинский институт — покорилась. Было ей уже десять лет, понимала — иначе нельзя. Но вот завтра утром, в восемь, расстаться с мамой!.. Всю ночь не спала, как бы погибая, ловила знакомые

шорохи, покряхтывание мамы, запахи — бальзама и воска (натирали накануне пол). Уж шторы темно-синие заголубели. Обозначился рассвет. Тогда — восстание. Не выдержала хода часов, неумолимого тик-така стенных, с боем, из таинственной «обстановки». Встала тихо-тихо, стул подставила и, торжествуя, вырвала у времени, у некоего чудовища, которое знает: сегодня с мамой,— бальзам и ласка шафранных, от худобы дребезжащих рук, а завтра — институт, беленые стены, смерть, у этакого чудовища вырвала медный язык, страшный маятник. Упала. Жар. Пролежала три недели.

Потом — действительно беленые стены, послушание, послушничество. Обет — маму не огорчать.

Новые страсти: «Демон» Лермонтова, пролетевший в третьем классе на уроке русского языка. Лед. Синева. И одинокий — страшнее, чем среди беленых стен, никто не проведет горячей слабой ручкой по звонкому лиловому крылу. Недоумение — как же Тамара его не полюбила, не спасла? Дикое открытие: в глазах Владимира Кузьмича — учителя русского языка — демонова грусть. Старшие шушукались, рисуя цветными карандашами мясистый, по-индюковски багровый нос Владимира Кузьмича — пьет тихонько водку на черной лестнице, жена за это бьет его шваброй и щелкает по носу. Знала — ложь: если охрипший и опухший — от ночных видений, от сакли, лика и Тамары. Весь класс регулярно, не уставая, издевался над Владимиром Кузьмичом. Как-то пришел особенно красный, сиплый, чудной. Грохот хохота — без галстука! Потерял на лестнице, под шваброй лежа,— вот что! Хи-хи! Летят бумажные стрелы, жеваная промокашка, корки мандаринов. Владимир Кузьмич:

— Дети, почему вы смеетесь? а? смешно? А мне очень, о-чень грустно...

Катя выбежала:

— Нежный! Демон!

И на колени:

— Вы ведь галстук обронили ночью, летая... Лен и синева.

— Галстук?

Владимир Кузьмич виновато за шею схватился, хмыкнул, помолчал. Потом вдруг озлился:

— Да как ты смеешь? Невоспитанная девчонка! Мне читать нотации!..

А Катя по-прежнему на коленях, сжав ручонки. В глазах — экстаз и обреченность. Наказали: за грубость воспитателям. Подруги дразнили — что? хотела выслужиться? одна и против класса, вот посиди-ка воскресенье за французскими спряжениями, никто не поможет, не принесет тихонько пирожка, не пожалеет — пре-

зренная, забытая, одна. Но Катя, причастия переписывая, торжествовала: она остановила оскорбление. Помогли ему. Собой покрыла. Он не знает. Бродит отвергнутый. Если бы она была Тамарой или, по крайней мере, женой со шваброй — не отвергла бы никогда, никогда не обижала бы — приняла такого, с красным носом. Но что она могла, в пустом чернильном классе, с пудрой меловой на партах и на фартуке, что? Было Кате тогда двенадцать лет.

Любовь к подруге, к очень аккуратной Лизе Волочинской. Сначала Лизе — пирожки, переводные картинки, ленточки. Принимала как должное, Катю звала овцой и заставляла делать несуразности: в переменках прикидываться нищенкой, во время урока закона божьего кричать «шалды-балды», как индюшка, становиться в дортуаре перед Лизой на колени и, целуя кончик форменного передника, лепетать: «Я ваш паж». В пятом классе — испытание любви. У княжны Белецкой пропал медальон. Решили обыскать. Лиза, от досады чуть покраснев, сунула платочек с медальоном под подушку Кати:

— Скажешь, что ты. Тебе удобнее. А то меня папа оставит без подарка, скоро именины.

Катя только мгновенным загибом губ радость выдала: она поможет Лизе! Нашли и начали часами допрашивать, с вывертом, нащупывая там и здесь — зачем? кому? — грозить, оплакивать. Отсадили в отдельную комнату — других не заразила б. Вызвали вдову Чувашеву, и мама принесла в торжественную приемную с царицами и с птицами родимый запах камфары от ваты в ухе, яичного мыла, терпких слез. Так плакала! Заклинала Катю покаяться — ее хоть пожалеть, быть честной, как отец! Катя не поддавалась. Целый день (почти по Ломброзо) взгляд исподлобья, хмурая усмешка, молчание или ложь, только на минуту, забегая в раздевальную, прячась под большую шубу Владимира Кузьмича, преображалась. Синие глаза ужасно веселились, и губы, еще надутые по-детски, вздували шкуру кенгуру: «Ли-за, Л-и-и-за...»

Кое-как, снисходя к слезливости вдовы Чувашевой и к Мукдену, Катю оставили, но еще долго на нее из коридоров, из приоткрытых дверей учительской, из роя расшалившихся подруг выбегало: «Воровка!»

Сны ветвились. То пожар выталкивал на языках, шипя и злясь, Жанну д'Арк, с узкими, дрожащими плечами, как у Кати, то огромным небосводом расстилался драдедамовый платок, в который куталась, все победив (что точно — Катя не понимала), Сонечка Мармеладова. Как у других растет воля схватить, зажать в кулак, успеть сглотнуть сердце, деньги, счастье, руки крючками костенеют, отшлифованный язык готов зарезать, так Катя зрела среди стен и снов, кидаясь от «Мцыри» до высокомерия Лизы, для какого-то

совсем простого часа: ляжет, не скажет ничего, возьмут, вытопчут и бросят. Думая об этом, тихо радовалась.

Владимир Кузьмич остался где-то на полустанке, среди детских лет, вместе с нотариусом и вырванным маятником.

Но на выпускном балу демонова грусть вновь выпорхнула из серых глаз сумца фон Люца. Фон Люц после третьего тура вальса сказал:

— В вас нечто того... Сегодня весенний день. Я утром вышел на Кузнецкий и опьянел от воздуха. У Дациаро прекрасные гравюры. Екатерина Алексеевна, если бы вы знали, до чего я одинок!..

Снова вальс качал. Как бы тонули вместе. Он честной мужской, мужественной лапой хватался за ее талию, за дощечку, за слово ласки. Волны же росли. Нет, Катя не Тамара! Она готова.

Вскоре фон Люц зачастил в квартиру Чувашевых. К прежним звукам, знакомым с детства, прибавились героически-боевое звяканье шпор и в темно-синей спальне выкашлянное мамой шепотливое домашнее словечко «что ж — женишок». Кате был он то Карлом — поведет его в Реймс, то милым нелепым мальчиком — заботливо думала, как спит, не жестко ли, кто стелет ему постель, ведь одинок, сам говорил — и узенькие груди от нежности гудели.

Наконец, фон Люц, не выдержав, упал перед Катей на колени, рослый, косолапый. Зазвенели на полочках китайские вазочки, пастушки, графинчики и прочее. Сердце Кати тоже зазвенело. Фон Люц рявкнул, красноречием не отличаясь:

— Я вас люблю... Вообще... того...

И Кате в этом «вообще» послышалось дрожание звездных, туго натянутых струн, ропотный утробный ключ всех человеческих признаний, от пеленочного «мама» до смертного «прощай», звон, гуд, италианская речь Петрарки.

А вечером явилась Лиза. Слегка всплакнула, аккуратно припудрила порозовевший носик и сказала:

— Он тебе не партия. Поиграет с тобой и бросит. А я его люблю, и это очень, слышишь, очень серьезно. Если святость нашей дружбы — не фраза, ты должна уступить его мне. Понимаешь?

В Кате все столкнулось, заходило: медвежья ласка, звяканье на полке и под корсажем радость выплеснуть себя — ну что же, пусть бросит, должен бросить — и счастье заслонить собою Лизу, гордую, величественную Лизу, которая прежде позволяла только целовать край передника. Такую вот, любимую, прекрасную,— ее спасти!

Ночью Катя лежала на диванчике, свернувшись клубочком, и не было костра, даже драдедамового платка не было. В памяти замирали глухо шпоры и «вообще». Деревенела.

Месяц спустя, принарядившись, прибрав лицо, чтобы было праздничным, Катя пошла в церковь: венчали Лизу и фон Люца.

Сумец смущенно улыбнулся — от счастья: теперь не одинок! Она ведь будет на балу? Он ангажирует ее на первую кадриль. С Лизой поцеловались. Катю обдал холодок румяной, фарфоровой щеки, в блаженстве она глаза закрыла. Казалось, батюшка рыком медным (но и медовым) зарычит:

— Воровка! Где медальон?

И это было слаще колокольцев шпор, италианской речи, сухого дребезжания поцелуев, слаще всего.

Дома мама, лежа, обложенная банками и горчичниками, кряхтя, поплакавши, покашлявши, высморкавшись, выложила Кате свое житейское, простое:

— А женишок-то оказался обманщиком...

Катю прорвало:

— Не смеешь! Я сама обманщица! Ты низко судишь! Ты низкая!

В ответ лишь плач и кашель. Катя в ужасе! — что я наделала! — трет мазью желтую запавшую грудь, с диким рвением трет, будто резинкой стирает гадкие слова.

— Мама, мамочка, прости!..

Вскоре в этом, то есть в мазях и в микстурах, очутилась вся жизнь. Маме — хуже с каждым днем: двадцать старых выхоленных болезней, спевшись друг с другом, принялись догладывать тощее сморщенное тельце. Больше не вставала. Не раздвигали штор. Вся аптечка над умывальником была мобилизована, и Катю захлестывали волны знакомых с детства запахов. Жизнь кончалась на пороге комнатки, и клочья каких-то событий (шла давно война) долетали, как долетает в открытую фортку гуд трамвая или крик газетчика. Здесь были свои великие события: в левом боку начало колоть, температура поднялась на три десятых, сказать доктору Фуксу, что мазь не помогает, попробовать пилюли, понатужась, позвать профессора Игланова и, сжимая в кулаке конверт с двадцатипятирублевкой, подслушивать сквозь дверную щелку, как он цедит небрежно почтительному Фуксу:

— Разумеется... возможно... всякое бывает...

Пока мама дремала, Катя тщательно мучила себя: вот ей сказала «низкая», вот этой под одеялом, вот этой — маме, ей!.. Как искупить такое? И дальше выползали просьбы мамы в институтской приемной, бедной мамы, заплаканной, в заплатанной шубенке, со слезшей набок шляпкой, под насмешливыми взглядами классных дам, неисполненные просьбы «признайся» — и Катино сухое, хрусткое молчание. Кивали хвостиками, как в траве юркие гадюки, детские проказы, шалости, обиды. Нет, всего не искупить, даже не вспомнить! Бас профессора гремел одним глухим и страшным «поздно».

Мама умерла в Троицын день. Умерла невыразительно, раз

только кашлянув, сухой шафранной ручкой в изнеможении зачерпнув пену простынь.

Когда Катя на кашель подбежала — все было кончено. Из угла, темно-синего, как прочее, выплыл теплый, весь залитый медом лампадки. Желтый, как ручки мамы. Живой.

Месяцы неистового поклонения, в пустых комнатах с неподнятыми шторами, с невыветренным духом камфары, поклонения, обмирания, свиданий под иконой. Сначала просто — к нему, как спину к печке, как вечером к подушке: сон, тепло. Но вскоре Кате захотелось иного. Как? Только брать? Лик в углу прояснился, стал лицом, на желтом, измученном проступили сгустки крови, ломовой тяжелый пот. Начался мучительный роман. Порой, когда сквозь щель в темно-синий угол врывался белый жесткий луч, Христос вставал морозный и суровый: истец, ревнивец, счет язв, гвоздей, ступенек к Понтию. Катя тоже вся белела от ярости и срама. Отцу Василию, отрыгавшему вместе с квасным газом «достойно есть», выкрикивала:

— Как? Апостолы? Святые? Но им ведь легко было уверовать — они его видали. Видали и предали. Не заступились, не пытались отбить у стражи, вместе умереть. Хорошо — Христос сказал: «Вложи твой меч». Он мог сказать, он мог даже пожалеть об отрубленном ухе. Но если они — апостолы, подобранные на дороге, как псы, его любили, они должны были ослушаться: «Нет, Господи, живые тебя не предадим». Нет, эти не любили... Если бы я жила тогда...

Слыша столь еретические речи, отец Василий, забывая о «достойно», напротив, испуганно кряхтел:

— Недостойно! Недостойно осквернять уста хулой. Не нам судить святителей, не нам, не греховодникам...

И взрыв кваса (хлебный, с изюмом).

Ночью Спаситель смягчался. Катя иконы натирала маслом. Он обливался потом, как будто крест еще лежал на стянутых в узел плечах. Молили о подмоге. Умирал — ежевечерне, в темно-синем углу. И Катя не могла помочь. Только билась в углу. Иногда под утро его рука, прохладная и бережная, ложилась на выпуклый, тревогой распираемый лоб. Тогда засыпала.

Кроме этих страшных свиданий, после которых днем от пола приподымались ноги, как будто они легче воздуха и должны лететь, горячие ладони жгли, пустая голова катилась шаром, кроме ночных часов, существовали дни. Катя служила приказчицей в перчаточном магазине. Знала руки: холодные и длинные — модниц, со штыками ногтей, готовых разорвать лайку, сердце любовника и прочее, что только под рукой; мокренькие — сластолюбцев, мимоходом старавшихся руку Кати, цапнув, увлажнить; деловые —

крючки, чтобы хватать, сжимать бумаги, отсчитывать; пухлые с ямочками, где можно хранить густые сливки, эти — законных жен; волосатые — мигом пращура припомнив, подступят к чьей-нибудь лилейной шейке; много рук. Покорно подбирала по номеру и цвету, слыла на редкость исправной, к тому же красотой привлекая офицеров, покупавших, сверх всякой нормы, целые коллекции.

Так — до скандала. Два гвардейца выбирали лайковые белые. Катя помогла натянуть на твердые сухие пальцы. Один другому:

— Он мне «никак нет». Но я, вы знаете, человек гуманный, его бы под суд и finis. А я, так сказать, в intimité ррраз. Рука у меня как будто женская. Перчатки $6^1/_2$. А он огромный, настоящий варвар, скиф. Но ловкость — всё. Два зуба — мигом, как дантист, без хлороформа. Теперь поумнел. Вот только стал шепелявить. Ужасно неприятно. Ко мне приходит, entre nous, Ниночка из Михайловского — она не может слышать: какой-то свист, а не слова...

И Кате:

— Mademoiselle, покажите мне теперь пару замшевых, беж.

Но вместо замшевых, беж, Катя белыми, лайковыми, всей связкой — по щеке. Четко, громко, среди обалдевшей публики. Гвардеец от неожиданной боли выронил слезу и убежал. Катю прогнали. Стала искать места. Но трудно было. Кругом шло нечто неладное. Оказалось: революция.

Катя долго не замечала. Даже бои под самым домом у Никитских ее не разбудили. Стало жить труднее, и это ей нравилось — какой-то общий непрерывный пост пред желтым потным ликом. Вместо перчаточного магазина очутилась в длинной комнате, должна была бумажки нумеровать и нумера записывать в книгу. Длинную комнату звали на иностранный лад «Музо». Прошло два года. Могло пройти и десять. У Кати было много глаз внутри, глухих, утробных, а синие большие видали вещи по-особому: проглядывая жизнь; все вместе — и пустяк, желтый лик и номер «исходящей».

Так до декабрьского куцего денька. Из «Музо» Катя повернула в Кривоарбатский переулок, где жил советчик братец Наум — поговорить: томило — правильно ли живет?

В комнате стоял густой, горячий пар, как в бане: Наум лил на печурку воду, чтобы согреться. От пара у Кати загудели виски, дух захватило, села, слабея, на полено, в пустоту: даже лицо Наума едва-едва розовело. Сидел он в кожухе и пил из огромной бутылки какую-то микстуру. На минуту, пробивая пары, нос Катин щекотнул запах лака, как в столярной мастерской. Пил микстуру и торжественно, богослужебно кряхтел, чем дальше, тем сильнее.

— Как жить?..

Спросил — где служит? какой паек? подсолнечному, выданному к праздникам, позавидовал. Но вдруг, кончив бутыль и обдав еще одним ковшом воды накаленную добела печурку, преобразился. Голос стал глухим, далеким, как будто вокруг Кати не пар, а Саваофа облака, слова — зычными и праздничными, давно забытыми в «Музо» — весь Наум грозным пророком, пусть из младших — Михеем или Наумом. Длань подняв, стал Катю обличать, на ты, сурово и величественно:

— Недостойная, как живешь? В мерзости — вот как! Златом искусилась, пайком, подсолнечным. Не только веру не защищаешь, но усердно служишь гонителям иудам, иродам — тьфу! тьфу! Спаситель, гонимый, ходит из града в град. А ты?.. Бумаги нумеруешь! С Богоматери сдирают последнюю рубашку, ризы с пречистых образов, китайцам на потребу. Знамения даны. Когда убиенный цесаревич лежал в пещере, кровью обливаясь, прилетела голубица, по человечьему рекла:

«Встань и царствуй!»

Затем и унесла его на крылышках. В Тамбовской, под Успенье — объявился; на лбу покаявшегося разбойника вместо сатанинской звезды загорелся животворящий крест. Когда к святым мощам прикасались святотатцы, шли с неба громы и стенания. Не слышишь, что ли? Или — маловерка? Нет, слышишь, знаешь, но Господа нашего предаешь на поругание, благочестивых монахов, старцев, жен православных, младенчиков безвинных на страсти неслыханные, в чеку. Все за паек. Изыди, несчастная!

Катя не оправдывалась, не просила о пощаде. Встала. Вышла. Из бани — в морозный пар. Где-то на бульваре присела, не зная холода и ночи. Быстро, очень быстро в душе росло огромное и страшное, разрывая крыльями грудную клетку, когтями впиваясь в мясо. Почти физическая боль. В двадцать два года Катя оставалась все той же девочкой, считавшей когда-то нотариуса злым духом, а Владимира Кузьмича прекрасным демоном. Житейского, презренного, смешного в пророчествах Наума она не разглядела, не задумалась — зачем же Наркомнац? Духа политуры не разгадала. Да если бы поняла и разгадала — все равно сидела бы на бульваре, свою вину вынашивая. Верить мало. Нужны — дела. И снова встала, на этот раз возмужав, захлестывая целый мир, искушение — отдать себя, погибнуть, изойти в любви. Вспомнила: два года — чужие обиды, шепоты, вздохи вокруг и рядом, как у вдовы Башмаковой реквизировали комнату, и, сидя на приступочке, вдова плакала, как у Щедровых расстреляли сына, только карточка осталась — курносый гимназистик, как горевали монахини Девичьего — кельи оскверняют. И много щек заплаканных, изъеденных слезами,

будто железо ржавью — слились в одно лицо, закапленное маслом в темно-синей спальне над мамой, скрестившей мирно руки. Нет, Катя меча не вложит, не простит!.. Даже если он, изгнанный из храмов, дрожащий где-то здесь, в снегах бульвара, даже если он попросит — не простит. Убьет.

Дальше — недели, месяцы. «Музо» и номера. В голове спирали сложных планов.— Кого? Когда? И как? Одной не справиться. Что у нее? — Руки и страсть. Хоть бы кто-нибудь пришел, направил, приказал. Пробовала заговорить с братцем Наумом, но тот, отнекиваясь, жаловался на ревматические боли, больше на пророка не походил:

— Смирение. Что ж, я служу в Наркомнаце. Паек улучшили. Зачем Господа Бога гневить?..

А Катя все ждала. Засыпала с одним — «убью», и это было как касание крыл голубицы, унесшей цесаревича. Просыпаясь, сразу вскакивала от испуга, будто кто-то стучится в дверь: надо убить, сегодня, сейчас! Порой, отчаявшись, выходила на улицу — искать главного виновника и револьвер. Вглядывалась жадно в лица прохожих — может, этот? Но люди шли мимо, с портфелями, с кулями, деловые, озлобленные, голодные, мимо, все. Никто не подавал ей знака.

Помощь пришла негаданно. Как-то Катя в церкви Бориса и Глеба встретилась с товаркой по институту, Верой Лерс. Вера зазвала к себе. Средь болтовни о продуктах — где и сколько — вздохнула.

— Видела сегодня в «Известиях» — снова список расстрелянных? Назначили известного садиста Курбова, он объявил массовый террор. Что же будет?..

Катя резко отсекла:

— Жаловаться мало. Надо судить и мстить.

Вера взглянула внимательно на угрожающие лавины бровей. Взяла Катю за тоненькую, с синью жилок руку (сидели рядом на диване), погладила и просто, очень просто, не отпуская глазами глаз, спросила:

— Хочешь?

— Хочу.

И записав на кухонном столе «Спиридоновка, д. 18, кв. 2», быстро снялась. О чем же еще говорить? Скорей бы!..

На следующий день в большой пустой комнате угрюмый Высоков повторял:

— Скорей бы!

Изложил подробно. Здесь были: Христос, Антихрист, искупление. Жертва, с детства лежавшая под спудом, в томах или в туманах

церковных кадильниц, теперь услужливо и деловито предлагалась, как чашка чая:

— Хотите устранить крупного чекиста?

Означало: убить себя, отдать себя за бездомную вдову, за мать расстрелянного, за монахинь из Девичьего, за всех. И никогда ничье любовное, пленительное, под луной, среди сирени, не звучало так нежно, как это «да».

— Наше братство: «Христа, меча и революции». Раскиданы повсюду «пятерки» — устранять самых опасных и виновных. Потом — восстание. Все подчинены мне. В четверг соберется ваша «пятерка», вернее, наша — я сам в нее войду, помочь и прочее.

Высказав, Высоков погладил осторожно паклю на подбородке, церемонно поклонился, как танцор после кадрили, и вышел. Удачный день! Ведь никаких «пятерок» больше не имелось. Вера — молодец. Такую девушку выкопала. Юдифь, к тому же почти что в колыбели. Это именно и надо. Клад! Представил, как напишет некролог: «Когда страна под игом захватчиков позорно цепенела, поднялся мститель — слабая девушка, она покарала тирана». Прекрасно! От нахлынувшего упоения разошелся и ударил какой-то еще не разобранный на топливо забор. Посыпался густо снег, и где-то отощавший пес почти по-русски завыл: «Ба-а-а-тюшки». Впрочем, Высоков тотчас же опомнился, стряхнув снег с шубы, побрел к Вере Лерс — пить настоящий чай и спать.

Катя же, забившись в угол, всю ночь сидела, глядя на тонкий, желтый огонек светильника. Подрагивая, пытаясь сняться с места, свет жил мучительной и дикой жизнью. К рассвету, когда зрачки Кати расширились и затемнели, он стал любимым ликом: вытянулся, распластался на кресте. Катя тогда взглянула на свою руку. Как будто ее и не видела прежде. Весь смысл и пафос сосредоточились вот в этой слабенькой, готовой, как ветка, подломиться, ручке. Ее погладила, особенно погладила Вера Лерс. Жал почтительно и многозначительно Высоков. Эта рука — «пятерка» — она уже не Катина, но некая, отдельная, величественная в слабости. И Катя с уважением на нее взирала. Ею сразит. Наум тогда поймет, что выводившая номера в «Музо» и запятнанная советскими чернилами, как кровью,— смогла преобразиться. Осторожно Катя подняла ее и с силой опустила, будто гимнастику делала. Огонек светильника заметался, не выдержал, улетел. Но на дворе уже возилось утро, и с иконы глядел суровый в инее синего света, по древнему грозя. Катя перед ним упала.

21

Высоков пришел первым. Вскоре вслед за ним, на катке затанцовал пузатый в кожухе. Но, шлепнувшись, он черта не поминал. Напротив, потирая пузо, вздохнул благообразно:

— Господи Иисусе!

Катя от изумления привстала: пузо, размотав широкий заиндевевший шарф, оказался Наумом. И он в «пятерке»! «Не мир, но меч». Смиренно поцеловала замерзшую, несгибающуюся руку, похожую на мороженую рыбу. Наум присел на подобие кровати и стал вздыхать вовсю, сему занятию отдаваясь с исключительной любовью. Высокову это не нравилось: предпочитал слова.

— Что скажете, братец?

Ответил не сразу, для солидности еще немного повздыхал:

— В Наркомнаце сокращение штатов. Жиденок Кац из комячейки сказал: уволю. Что же делать?

Высоков подсел поближе, шубу распахнул и жестом фокусника выковырнул из свисающего животика пачку «царских». Наум промолвил:

— Оно конечно...

Подышал на твердый палец, бумажки пересчитал. После сего вздохи участились, но стали мягче, задушевнее, как-то музыкальнее. Высоков, скучая, вздумал — сладость мига несколько подгорчить:

— Так-то! А вы знаете, что я социалист? Если понадобится, и вы социалистом станете.

— Оно конечно...

Катя, однажды видавшая братца Наума пророком, вспомнив пар, длань и рык, не могла перенести высоковских насмешек. Строго:

— Перестаньте! слышите — сейчас же перестаньте!

Привыкший приказывать Высоков смутился, испугался вот этой Юдифи в колыбели. Но тотчас же своего смущения устыдился. Процедил:

— Предрассудки.

И принялся себя утешать обстоятельствами на редкость сладкими: револьвер, убьет, потом ее, утречком, в прохладе, к стенке, трук-тук-тук. Хорошо! Когда убивают свежесть, легкость, как будто принимаешь ванну из нарзана, булькание, пузырики кружатся, роятся... Но даже это не помогло. Высоков был явно мрачен. Не без причины. Вчера связался с какой-то девкой. Завела к себе. Ночью борода Высокова при интимных обстоятельствах отделилась. Пришлось наполовину признаться. Девка — дура, зачарована словечками и прочим не словесным. Но все же — неприятный инцидент. Сегодня, кроме боли в ногах (недоспанное) — перемена масти. Уж не сморчок седой, но молодой брюнет греческого типа. Дев-

чонка встречная так соблазнилась, что выронила кулек с пшеном и, предоставив зерна птицам божьим, сама стала упрашивать Высокова зайти: недалеко, в комнате тепло... Нет, не пошел — устал. И надоело. Довольно. Пора за дело! Из Парижа торопят...

А пузо снова возобновило вздохи, и в тишине, кружась от строгой Кати до Высокова, налитого по темя тяжелой, как бы бурой колбасной кровью, вздохи эти мнились долгим ветром, ходом часов, великой мерой времени. Наум вздыхал по многому. Во-первых, был он очень толст, и от малейшего волнения сало колыхалось, не давало дыха. Во-вторых, и это, конечно, главное — он томился, слабый человек, придавленный помпезностью творимой истории. Различные дикие стихии смесились, где-то под кожухом, под грязной рыжей рубахой, под волосатой грудью, слишком много стихий для бедного братца, любившего всего больше в золотые времена старого «прижима» лавочника Синегубова обыгрывать в дамки, попивая при этом чаек с наложенным, примерно до половины чашки, вареньем из райских яблочек. Ненависть. Ведь в вечер, столь памятный Кате, отнюдь не лгал,— раскрылся. Коммунистов ненавидел, так что ночью, проснувшись и вспомнив остренькое личико жидочка Каца, начинал от ярости скрипеть крупными лошадиными зубами, «вот и тебе», столь выразительно, что сосед за стеной, бывший лабазник, а ныне инструктор Наркомпроса, стучал — спать мешают. Как не ненавидеть? Господа распяли. Мощи святителя Трифона осквернили. Кац в Наркомнаце, маленький и юркий, подойдет к Науму вплотную, нагнет плешивую головку, как будто ею хочет боднуть задушевное пузо, и закартавит «соккатим», так что без чаю с вареньем, напротив, в нетопленом Наркомнаце и то пот ведром. Ну, как не ненавидеть? Далее — стихия героическая. Он — простой, пузатый, склонный вылакать бутыль политуры и дуру бабу вместо грелки под бок подложить, пугая адом, но и прощупывая всячески, он — греховодник, мелкота над шашечницей, всеми презираемый советчик, когда отцы и пастыри немотствовали, гнули выи, осмелел, вступился за Христа, поднял глас и длань. От этой мысли молодел, преображался в хохлатого паренька, однажды некоему приказчику весьма патетично свернувшего гнусные скулы. Примеры из священной истории: скованного приведут в Кремль. Он извергу Ленину судьбы откроет, как отрок Даниил. (Наум чувствовал себя действительно отроком, стройным и прекрасным.) Кинут в печь. Хотел представить пытку, мучение, ожоги. Но вместо этого вздыхал, удовлетворенный,— тепло любил до крайности, и очутиться в печи, после нетопленой комнаты Кати, казалось райской усладой. Как будто внутри рябиновка, а под боками две бабы сразу, для равномерного согревания и живого урока пышной многоликости природы. Так незаметно героизм переходил в уют. Проступала под

кожухом высоковская пачка. Пятьдесят — все новенькие, хрусткие. За одну — и дров, чтобы согреться лучше Даниила, и спирту чистого, и на Смоленском фунт сала, а еще в запасе сорок девять. От таких предчувствий пузо торжественно вставало дыбом. А бабы? Бабы безвозмездно — за советы. С ними выспится. Спит. Вдруг стук. «Здесь сотрудник Наркомнаца, Наум Скворцов?» Прямо на Лубянку! Ни Кремля, ни пророчеств, ни печи. Подвал. Мороз (кожух — и тот ироды снимут). Китайцы — шилом в пуп. Ух! Наум дрожал и вздыхал, так страшно вздыхал, что Высоков, переживая некролог, дергался, будто у него нервный тик. Пачка томила пузо. Наконец, последнее сомнение: кто знает? что, если бумажки поддельные, большевистские? говорили, будто новых не берут, слишком уж скрипучие — подвох.

Хотел было отозвать Высокова, отдать, отговориться как-нибудь, ну, скажем, ревматизмом. Не успел. В комнату ввалились двое; толстый представительный усач и маленький, кривой, но очень юркий, сразу одним правым глазом ощупавший все, вплоть до пуза Наума, на котором ютилась пачка «царских». Решил прождать.

Юркий уже вился возле Кати, гнусавя «мамзель». Был это маститый «тараканщик», меховщик, то есть специалист по части шуб, а также ротонд — Пелагея. Его биография по-античному проста, ясна, монументальна. В воспитательном — щипки. Парикмахерская Леона, где юный Пелагея, тогда еще Павлуша, два месяца подметал волосы и щеткой скреб зад гостей, выше взлететь не ухитряясь, вследствие и рокового роста, на третий же самого «Леона», то есть Шемухина, обчистив очень основательно, с выручкой и с прочим перекочевал в ночлежку, близ Хитрова. Пил важно и еженочно справлял «свадьбы», узнав впервые, как слово «мамзель», так и многое иное. Затем — квалификация: форточник. Поймав, избили. Вытек левый глаз. Рукавишниковский. Обучение столярному мастерству и порка с присвистом. Сбежал. Углубление форточничества. Крещение: «Пелагея». Касса. Кутеж. Каникулы в Сокольниках. Раз барышню поймал в лесочке. Галантность изъявляя, шептал «мамзель». Угреватое лицо вспотело до сияния лика. Одолел. Для удовольствия давил кобелей. Очень занятно — хрипят и на веревке пенятся, как подбородки в цирюльне Леона. Еще собирал лесную малину и пел от многих чувств: «Полюбила ты, шельма, меня». Тюрьма. Суд. Арестантские роты. Революция. Один обман. Сгущенность крайняя в квартирах: спят у самых форточек. Вообще, невыразимый кризис. Перешел на шубы. В «Тараканьем» душу отводил: много шельм, все любят, только косые выкладывай. На Сухаревке недавно, сбывая лисью ротонду (чудный мех, цельная покрышка), познакомился с Высоковым. Подружились. Славный парень. Денег не жалеет. Предложил, вместо шуб, кое-что.

Можно весь «Тараканий» запрудить коньяком: не советские бумажки — пух говяжий — нет, настоящие — и «царские» и золотые — сколько хочешь.

Там же, на Сухаревке, глотая быстро горячие щи с жирной солониной, приправленные хлопьями падающего снега, разговорился с Игнатовым. Сразу понравился добротностью и дивными усами. Щами торговал, также, для пролетариата, морковным чаем и пирогами с пшенной кашей на изумрудном маслице, все без обмана. Понюхав, пощупав, Пелагея привлек Игнатова, авансом выдав две «царских», полбутылки неразбавленного и фунт изюма. Игнатов не только согласился, но, закрутив усы, стал над своей жаровней в позе по меньшей мере предводителя дворянства, как бы требуя от Пелагеи и голубей бронзовой рамы. Возгласил:

— Ныне отпущаеши...

После чего, продав по сходной цене остатки охладевших пирожков, сам поспешно долакав из котелка густые щи, собрал орудия производства и отправился с Пелагеей для выяснения деталей. Ясно: раз были щи и даже с солониной, Игнатова завлекали не «царские» и прочее придаточное, а исключительно высокие идеи. Стоило взглянуть на усы, в сетях которых должно было запутаться белорыбовское сердце, стоило услышать этот голос, отдыхающий на гласных («зна-ете така-я ба-ба...»), с развалкой голос, чтобы понять — такой не может щи варить, все это превратности судьбы. Действительно, до семнадцатого Игнатов, не снисходя до щей, даже в ресторане, заседал над ворохом дознаний, будучи ротмистром особого корпуса, а из жандармского ехал в «Эрмитаж», где ел суп из бычачьих хвостов, по-европейски. Дознания любил уютные, большие, чтобы папки пухли, чтобы арестованных вводили и уводили, как статистов, чтобы были молоденькие — переписку читать, романчик — ну, и эффект, конечно. Как-то, допрашивая девушку-эсерку, которой некий фрукт писал (при обыске изъяли чуть ли не пуд любовных писем) «малиновка моя» — пошевелил усами, промолвил:

— Мали-новочка моя, девчо-ночка!..

Малиновочка оказалась птицей весьма серьезной и, вскочив, хлестнула Игнатова по мягкой, к плечу свисающей щеке. Но ротмистр не потерялся, как истый христианин подставил и другую:

— А э-ту по-целу-йте!..

Горящие глазенки. Милый домик на Малой Никитской. Ночью цыганки. Время воистину блаженное! И сразу, безо всяких предупреждений, как будто Москва стояла на каком-нибудь Везувии,— конец. Искали. Хотели расстрелять. Увернулся. Может, лучше, если бы расстреляли. Два года — такие! — голода, обид. «Рассыпные» продавал. Ловил бездомных псов, для колбасника на Божедомке.

Крал казенные дрова. Даже служил три месяца в каком-то собачьем главке. Все было. Только недавно, встретившись в этом окаянном главке с женой Натанчика, скупающего и продающего (для экспорта) закладные на имения, ожил; мадам Натанчик обомлела и в тот же вечер прибыла к Игнатову в каморку, предусмотрительно закутанная в пять платков, ибо Игнатов краденые поленья продавал. Потребовала, чтобы было полное изнеможение. Через две недели Игнатов, имея солидный основной, приобрел жаровню и стал выкрикивать:

— Щей жирных, гражданин, а, щей, щей!

Хоть холодно было стоять, хоть часто разгоняли, так что пропадали щи, опрокинутые на снег перепуганными бабами, после ловли сук и пакостей в главке казалось это отдохновением.

Грех жаловаться. Но Игнатов знал другое: идеи, тяжелые, чопорные, как в бальных платьях, похожие на придворных фрейлин, проделывающих перед вдовствующей императрицей серии книксенов: «престолонаследие», «благонадежность», «чинопочитание» и другие. В мире стало невыносимо пусто. На людной Сухаревке Игнатов порой растерянно оглядывался — среди зипунов, шинелей, среди хлама, масла, мяса, золотых колец, вместо витрины нанизанных на синеватые отмороженные пальцы, среди муки, рухляди, муки и граммофонов он звание искал. Вот эта баба — баба или дама? Дама или попросту жидовка? Тайна. Звания не было, а без него вселенная казалась неназванной, отсутствующей, похожей на груду заржавелых гвоздей, разбитых тарелок, пустых флаконов, драных тряпок, высившуюся рядом с жаровней Игнатова. Все стало бывшим. Бывший ротмистр. В доме бывшем... Отличия бывшие. Так жить нельзя! Если б даже Игнатова поселили в бывшем «Национале» и дали б «кремлевский паек» — все равно он не утешился бы...

Чем редко утешался — «Всеобщим Календарем» на 1898 год, полученным от старичка за пирожок с пшеном. Читал все имена императорского царствующего дома. Великий князь Сергий Михайлович. Великая княгиня и королева эллинов... Страницы благоухали, как будто на Игнатова, обтянутого духом Сухаревки — льняного масла и пота,— вновь брызжет домашний парикмахер, m-r Эжень, из пульверизатора тройным одеколоном.

Дальше: «табель о рангах». На вершине обер-гофмаршал или обер-шенк. Почтительно, но и прилично в середке — камер-фурьер. Внизу, юля щенками, тафельдекер, кофишенк и прочие — куцые «благородия». Куда? Куда же все исчезло? Как Собинов — из рупора грустя «куда вы удалились?».

Но вот еще подпора. На семнадцатой странице. Сколько у какой державы войска. Если все пойдут на большевиков... Брал карандашик и слагал: Абиссиния, монархия, Негус, регулярных 36000;

Австро-Венгрия — ее как будто теперь нет — ужасно, даже календарь стал бывшим; Аргентина, республика — может быть, тоже «товарищи» — пропустим; Бельгия, 80000. Итого уже 116000... Так засыпал, слегка удовлетворенный.

Услыхав от Пелагеи о «пятерке», сразу ощутил и звание, и даже престолонаследие. К Кате на Спиридоновку шагал увесисто, как некогда в жандармское (здесь же находилось, по соседству). Пусть смерть! Он умрет за государя, как в Большом театре умирал Сусанин, как памятник Пожарскому на Красной площади, как некий вымышленный обер-шенк.

Поздоровавшись с Катей, щелкнул валенками — ничего не вышло, но в игнатовских ушах раздалось пение шпор, нежнейшее — не то «коль славен», не то «я славен» — я — Игнатов! Перегнувшись, ручку поцеловал.

Все в сборе. Высоков без предисловий:

— Эта «пятерка» устранит одного из главарей чеки — Курбова или, на худой конец, Аша.

Вздохи пуза растут. Хитрый смешок Пелагеи («Если двух — набавить не мешало бы...»). Игнатов, ласково развалившись:

— Разуме-ется...

И поспешное ревнивое:

— Я!

Кати.

Высоков:

— Конечно, вы. Мы уж условились. Остальные члены «пятерки» вам помогут найти намеченного и прочее.

Пелагея просит слова. Он может поискам способствовать. В «Тараканьем Броду» бывают всякие чекисты — Чир, например. Пелагея с ними — приятели — немало самогонки распили, без малейших расхождений. Молодцы ребята, про шубы знают, но никаких нотаций. Можно попытаться выведать, кто этот Курбов, куда ходит. Если любит девок или водку — тогда пустое дело, в два счета. Пелагея один возьмется, и барышне незачем утруждать свои ручки.

Пелагея предлагает идти сейчас же. Ревностность редкостная. Откровенно говоря — он очень хочет поскорее разменять у Ивана Терентьича пару «царских», спросить коньячку, похвалиться перед Чиром, Лещом и другими, вот как, а затем, набрав девок, гуртом, не менее пяти штук, удалиться всем на зависть в верхний номерок.

Что ж, это дело! Наум не может — острый приступ ревматизма. Зато благословляет. Высоков рад бы — нельзя. Глупо рисковать столь ответственной персоне. Ведь у него кроме этой — еще 189 «пятерок».

Катя — платок на голову. Как лодка плывет среди пены снегов. За нею — Игнатов, знает: Катя — дворянка, спокоен. Пелагея

костенеющими пальцами грозится: попробуй, Танька, на соплявого Леща взглянуть — расковыряю...

Метет.

22

Лещ бесится. Что тут поделаешь? И Маничка Типунчина, и Хлюська, и Бабабачка — все вокруг Пелагеи юрзят, пытаясь вскарабкаться на колени, влезть в его единственный глаз и дальше, внутрь, где гордо ходит Пелагеево сердце, помахивая, как павлин хвостом, нарядненькими «царскими» (видали — вынимал, скрипел, углами топорщившихся чопорных бумажек), Пелагея горд, только Чира он удостаивает дружественного «так-то». Гонят вместе уже третью бутылку — что им?.. И между икотой («то-то», «так-то»), подозрительно оглядывают друг друга, вернее Чир — Катю, Пелагея — Курбова. Людмила Афанасьевна? — что ж, девка девкой, только подороже «тараканьих», видно, сукин кот, то есть Чир, облегчив по дороге в чеку какого-то запористого спекулянта, взял ее с Тверской,— там возле «Люкса» день и ночь конфетки для иностранцев и для «клешников» в командировке. Игнатов тоже недаром щами торговал, несмотря на все престолонаследие, так проникся капустным духом, что среди «тараканщиков» по-особому не пахнет. Но Курбов? Но Катя?

— Что ж, еще бутылку? (Вслух.)

(Про себя) — «в оба». У Пелагеи один, да он такой пролаза — стоит двух.

Катя пьет из чашки, спокойно, ровно (так мама пила свои микстуры), если надо, выпьет бочку — ей все равно. Вдруг перед ней, снявшись со стола, с протяжным всплеском пролетают руки Курбова. Смятение. Неужели этот тоже чекист? Нет! Вот тот — с прыщами, конечно,— пытает, прижигает тело папироской. Не этот! Разве можно такой рукой, длинной, тончайшей, как птица, у которой в лете пропало тело, только крылья и упор?.. Нет, не этот! И как могла подумать? Еще чашку.

Курбов себе приказывает, почти что вслух, чуть шевеля узкими и бледными губами,— на Катю не смотреть. В сторону, туда, где Белорыбова с Игнатовым над колбасой, еще нетронутой, вопреки логике и угощениям Пелагеи, воркуют. Все в порядке — товарищ Белорыбова старается, хорошая сотрудница.

Ах Курбов, не знает — отчего этот воркот, эти несъеденные ломтики любимой, хоть и собачьей, но все же чайной. Сразу, в Девкином переулке, среди харкунов и рвани, на двадцать пятом году жизни, осуществилось: Гамсун стал наличностью. Любовь

перекочевала из зачитанных книжек (Петровские Линии, по второму разряду) в эти виснущие щеки, в эти вздыбленные гордо, как кони над бездной, чудные усы. Андерматов, ее узрев, сейчас позавидовал бы. Ведь оценив в холодной комнатке теплоту и мягкость плоти, он остался все же недоволен отсутствием темперамента; даже когда слегка душил, вымещая злобу на мир вообще, в частности, желая вызвать хоть видимость волнения — Людмила Афанасьевна, только удивленно щурясь, спрашивала: «Это тоже нужно?» Сейчас — иначе. Игнатов среди беседы своей немалой лапой придавил ее носок. Больно, но приятно. Теперь она понимает Викторию и других. О ней тоже можно написать большую книгу — «так любила, так страдала».

Игнатов ножку придавил не от невоспитанности — выражая чувства, если не столь патетические в их первозданности, то все же достаточно пылкие и прекрасные. В антракте, между героическими усилиями вернуть опустошенной Сухаревке звание и гармонию — развлекался. Видит — не девка с Трубы: манеры, образование, скорей всего своя, дворянка, обстоятельствами, как и он, доведенная до неподобающего званию места. Раздаются отдельные слова:

— В гимназии... Я бы вас записала в карне на все кадрили... «Империаль» — шоколадное печенье, в кондитерской Трамбле...

— Предпочитаю мазурку... При шпорах... Вы мне напоминаете Венеру, за вашей спиною таится проказник Купидон... Что ж! Я сдаюсь...

От «Венеры» Белорыбова совсем дуреет. Машинально оглядывается, но за ее спиной лишь Лещ, отчаявшись переманить у Пелагеи девок и подцепив какую-то безносую старуху, бьет ее по плеши скелетом обглоданной селедки.

Пелагея завистливо косится на Людмилу Афанасьевну — черт, такую пропустил!.. Но рыцарским жестом наливает в чашку мадьярский коньячок.

— Пожалуйста, мамзель, за всех трудящихся, то есть за вашу женитьбу, ги-ги...

При этом, однако, соображает: тот, высокий, молчит, верно, будет покрупнее Чира. Если Высоков надбавит — словлю. Нет, примусь опять за шубы. Охота зря возиться!.. Конец один — поймают, к стенке, бац. Пока что хоть пожить в свое холостое удовольствие, без лишних хлопот.

Курбов томился. На Катю не смотрел. Слов не слышал. Глотал спирт, а в уши бил град: грохот локтей об стол, бряк чашек, брань, все те же «цыпленки», гадко, нагло «хочущие жить». Так час, а может, два. Наконец кулаки сжались, мысли стянулись, наступило человеческое, деловое: заговорить. Это — девчонка, если причастна — проболтается, и хвост, тот знаменитый, недоступный хвостик,

о котором тосковали на Лубянке — окажется в кармане. Но как? Прежде всего — взглянуть, освоиться.

Все завертелось. Дело, партия, Ресефесер железным шрапнельным роем прочь ринулись, многих спугнув,— так Курбов поглядел, так ясно значилось в серых разъяренных глазах — этот все может, так запахло в «Броду» Октябрем — броневиками, пулеметными лентами, волей, смертью. Это с другими. Сам же Курбов сразу опустел. Вынули подпоры, и дом забился на ветру, разметанной купой, из окон выкатились кубарем жильцы, крыша вовсе снялась и улетела. Пожарных, что ли, звать или писать слюнявые стихи? Нет, просто человек чумеет. Видит смуглую сухую щеку — пахнет степной травой, перегаром пахнет, дышит звериным, пушистым, розовым теплом. Впервые в жизни Курбов теряет память. Рука, приподнятая, не знает, что ей делать: схватить ли папиросу, или, стол оттолкнув, уйти, или смуглое, полынное, сухое прижать к себе, как прижимают голодающие на вокзалах караваи смоляного, пахнущего кислой жизнью хлеба? Нечто явственно меняется. То есть вместо не только 1921 и Р. К. П., но и (пространней) человека в брюках по степи полынной, знойной, обжигающей и ноздри и копыта, средь перепуганных печенегов иль прочих «тараканщиков» мечется взбесившийся бык. Даже не мечется, стоит понуро, голову пригнув, только белые холодные глазища наливаются багровым током, и никаких арканов: прыжок, рог, смерть. Впрочем, возможно, это ручная граната; постучал, бросил, остаются три секунды. Дальше — разъединение рук, ног, языка, глаз — всего, что было еще недавно человеком. Курбов вступает вновь в недели сыпняка. Ноги, ненужные, легко отваливаются. Сами, тонкие и к миру безразличные, шагают по Сретенке, по всем Мещанским, к заставам, вырастают в бессмысленные водокачки, и где-то, среди снега, на иксовой версте, гибнут. Руки, напротив, здесь, но живут раздельно: левая еще, по старой памяти, чуть поддерживает голову, готовую скатиться, как сентябрьское яблоко, правая же, свернувшись лодочкой, тянется к Кате: хочет немного, ну на грош промыслить чуждого жара, ради, ради... (когда-то было «бог» — съели Спиридон и глиста). Глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит, и птицами, от изумления вереща, присели на узкие подрагивающие плечи Кати. Язык на месте, во рту. Но тщетно Николай пытается что-либо сказать — огромный ком мяса копошится улиткой и только. Да, да, совсем — сыпняк! Очень жарко, снять бы куртку, и сплошная, густая дрожь.

В «Тараканьем Броду» вдруг стало тихо. Хоть всё и все на месте. Очень тихо: воркот Игнато-Белорыбовский, да чавканье Ивана Терентьича, воспринимающего барыши, как щи,— вслух. Что будет?

И спасает Катя. Видит смятение Курбова: нет, такой не может!

И как она подумала? Случайно с ними. Пелагея все что нужно узнает у того с прыщами. Еще — Игнатов с девушкой. А Катя сейчас свободна (ведь был же день, когда звенели вазочки на полках — потом? Потом придет, конечно, Лиза, впрочем, теперь «потом» не будет — на днях — умрет). Взяла у Леща пропревшую колоду (Лещ играл в железку) и первое, простое, Николаю — да, бык, граната, сыпняк! — она же беззащитная, да, заговор! — она же девочка, простое, средь общей сторожкой тишины:

— Вы умеете домики строить?..

— Я?..

Нечленораздельное глухое бормотание. Слово бьется в горле, прорывая кокон. Кризис. Синие большие принимают Курбова всего — не стой на улице, там холодно, ну, милый,— войди!..

— Умеете?

— Да, да, конечно...

Пригибают уголки, и карты, просмоленные потом чуть ли не поколений, стойко стоят. Стол обрастает этажами. Курбов, залюбовавшись:

— Хорошо!..

И от последнего особенно большого «о» домище падает, как Курбов давеча, разбегается красными и черными мастями. Но другое держится: могут говорить. О чем? — о домиках. Катя — всегда любила. Мама вечерами долго сидела, зябнущая, подбирая локтями верблюжьи уши оренбургского платка, и клала пасьянсы, с именами были, смешные имена — «Бисмарк», «Могила Наполеона». Потом карты переходили к Кате. Вырастали пагоды, китайские дворцы. Катя ясно различала запах ванили в трубочке (любила забираться в буфет и нюхать), шелест чайных деревьев, нарисованных на цыбиках, и нежное серебряное содрогание чащи колокольцев. Это были широкие — шестнадцать карт внизу. Другие — вверх: башня, десять этажей, там будет жить с героем, с Наполеоном (он не умер — неправда!) или с Демоном (он, бедный, совсем не страшный — просто Тамара злая). Внизу водопад шумит, совсем как в ванной, когда наливают воду, только гораздо сильней. Она будет ему рассказывать сказки и гладить руку ласково...

(Здесь как-то руки Кати и Курбова на миг столкнулись — поезда А и Б — и обе отчаянно вниз, в пропасть; такого гула и сияния не вынести...)

Строила. А после, нарочно, дула — было это горько, но необходимо: скорей разрушить.

Нет, Николай не так: карточных не признавал. Рассказывает про свои — из спичечных коробок. Ночью высчитав: восемь вниз — фундамент, дальше пролеты арок, последняя рвется ввысь. Спички шведские (Лапшин внизу), на коробке — кораблик, и башня преоб-

ражается в корабль, плывет, перелетает море, средь бури стойкая, прямая — Коля все рассчитал. Вырастет, построит такой же город из железа, выведет маму, Мишку, всех из мушиных комнатушек в один огромный дом, и дом отчалит. Еще — катушки... Нет, надо такой, чтобы не падал. Никогда.

Катя спорит: выросла теперь большая, а все же, как и прежде,— должен упасть, лучше уж самой скорее дунуть. Про маму — как лежала: руки на груди. Про маятник. Учитель был Демоном, остался пьянчужка с красным носом. Вазочки от счастья дребезжали, а час спустя явилась Лиза. Их повенчали. Все так. Год за годом Курбову дарит свои лета прекрасные, разбежавшиеся красными и черными мастями. Давно не в «Тараканьем» — где-то на отчалившей многоэтажной башне. Николай вбирает уж не ушами — мало! — легкими — грудной широкий шепот. Когда доходит до гвардейца, покупавшего лайковые белые, вобрав в себя наконец-то знакомое, свое, сам просторно выдыхает:

— Так прямо перчатками? Милая, вот хорошо!..

И снова от «хорошо», от слишком большого «о» что-то валится, на этот раз не на столе, а в Кате. Накинув угольные брови на синь глаз:

— А может быть, и очень плохо...

Стрелка несколько минут колеблется. Размолвка может стать разрывом. Спасают не слова, но теплота опять столкнувшихся случайно (случайно ль?) рук. С пальцев ток бежит по телу и глухо отдается в висках: вот это, здесь, не уходи, уйдешь и ничего не будет — бутылки, тараканы, сугробы, ночь. Катя смиряется, уступает:

— Нет, конечно, хорошо. Я и сейчас поступила бы так же...

(В голове: Высоков, «пятерка», устранить, ведь это как перчатками.)

Курбов забывает даже синь впустивших, весь — к руке. Это крохотная, с голубизной, из детской — ее бы согреть за пазухой, дышать на пальцы — все они мизинцы, а мизинец — просто в шутку — значок, вот эта — и может ударить. Здесь переход от Курбова, недавно рассекавшего метель, от Курбова с Лубянки, от члена и прочее — к быку, который метался по степи, к ребенку, только что слушавшему на диване, под платком, сказки о китайских домиках. Николай уверенно продолжает:

— Я сразу почувствовал, что вы — наша.

Катя чуть приподымается. Неужели?.. Что-то в Курбове от вечера средь облачного пара, когда домашний затхлый бас братца Наума пророчески гремел. Так и знала!.. С ними случайно, наш! Длинное византийское лицо переходит в иконный лик, в тот белый,

дневной, суровый, что буйствовал в углу и Катю требовал к ответу.

— «Как попустила»?..

Катя восторженно:

— И вы? Нельзя, чтобы все молчали... Китайцы пытают... У Щедровых расстреляли сына... Умирают с голода, а в Кремле — шампанское... Насильники... Не русские... Чужие...

— Вы это...

Не кончает. Хрипя, давясь, проглатывает кучу слов, обиду, боль, отчаяние. Трах! — отрезвел. Ясно — из заговорщиков. Зачем потратил вечер на бабью стрекотню? Надо было использовать, пощупать, выпытать. Но это завтра. Сейчас не может. Идти.

Стул падает. Катя, ничего не понимая, нежно и доверчиво:

— Уходите? Мы с вами ведь встретимся еще? Хотя бы здесь. Я даже не знаю, как вас зовут...

Курбов себе — спокойно! Через пять минут ты сможешь бесноваться, там, среди сугробов, здесь — не портить дело — узнать, разведать — спокойно же!

— Владимир Иванович Захаров. Служу в губпродкоме. Надеюсь здесь еще встретиться с вами. Спокойной ночи.

Оглядывается. Стол опустел. Белорыбова с кавалером куда-то исчезли. Пелагея сейчас в апогее величия: тащит наверх трех девок сразу, двух просто, а Маничку за косы, чтобы не оглядывалась на Леща. Курбов уходит с Чиром.

Метель уж улетела за безлюдные заставы. Тихо, мягко, светло. Чир, раздраженный счастьем Пелагеи, изжогой от мадьярского и Курбовым, который, невзирая на занимаемую должность, с бабой возится, плюется.

— Что же, товарищ, девка — смак?..

Николай сперва не понимает. Осматривается. Потом — кулак.

— Молчи!

И в сторону, за угол. А может быть, вернуться, объяснить ей, убедить, сказать: ну, милая, ведь ты не та, милая, ты с нами, со мной?.. Нет. Домой. Пять шагов. Домой не может. Все сначала. Жар, метание, немота. Мысль со стороны: ведь это только начинается... что же делать? Снег съел дома, фонари, заборы. Лес с кочками и газовая заводная луна. Тихо по-давнему, даже вне веков, совсем не по-человеческому тихо. Выдуманная кем-то Москва, идеи, работа, завтрашнее утро — все это миф. А правда под рукой: ком снега, он твердеет, жжет ладонь, как Катина рука. Много снега. По снегу мечется, роняя тяжелые глубокие следы, подшибленный зверь, дикий бык, с кочки на кочку. Еще минута — и выскочит, закружится по лесу, обгоняя Николая, чудовищный смертельный вой: ну что же, что же делать?.. Заговор. Завтра. Папки дел. Ликвидировать. Смуглая. И кажется — любовь — ведь это так зовется?..

23

Белорыбова с Игнатовым раньше вышли — ждать не могли. Уверенно вела Людмила Афанасьевна своего массивного младенца, обходя особо скользкие площадки подъездов, в особнячок, бывший князей Дудуковых, вела молча, торжественно, как Антигона слепца. Игнатов, закрыв глаза, доверившись хотя мягкой, но решительной руке, плавно плыл. Очнулся он на льдистом паркете парадной залы, где тускнела бронза вытекших трюмо. Плаванье пришлось сменить на эквилибристику. По неопытности схватился за нечто, оказавшееся изваянием княгини Дудуковой. Музейная комиссия изваянье большинством семи против четырех забраковала. Солдаты не прельстились. Осталось осенять развалины. И вдруг от легкого прикосновения Игнатовской руки оно упало, загрохотав, как тяжелый снаряд. Дверь кабинета приоткрылась, в экономную до крайности щель пророс красный нос заведующего хозяйственной частью. Голос раздался, методический, почти приват-доцентский:

— Товарищ Белорыбова, я неоднократно просил соблюдать после 12 часов ночи тишину. Сон совершенно необходим, чтобы восстанавливать энергию. Я даже на двери наклеил соответствующее объявление.

Молчание — нос жаждал оправданий. Но произошло необычайное — из глуби зала Белорыбова томно зашептала:

— Ночь вовсе не для сна. Все романы протекают ночью, ночь — для любви!..

Этого нос никак не ожидал; пометавшись растерянно, как будто на него села досадливая муха, он скрылся. Людмила Афанасьевна же осторожно приоткрыла другую дверь и нежно втолкнула Игнатова в возвращенный рай. О том, что это рай, сказал немедленно горячий пар, дико вырвавшийся в залу: не менее двадцати градусов. Игнатов окунулся в тропики, щеки сладостно зачесались, нос увлажнился — чувствовал — тает весь, от сосульчатых усов до тончайшей кишки, впервые оттаивает после трех морозных лет, после полярного главка и метельной Сухаревки, беспаспортный въезжает гордо в Ниццу.

В середине бывшего будуара исступленно гудела дивная и дикая волшебница — большая чугунная печка. Ее бока от удовольствия краснели, а живот даже белел слепящей страшной белизной. Коленчатые трубы содрогались. Жар кругами метался по комнате, так что кисея на бывшем туалетном столике самой княгини билась в перепуге. Поспешно расстегивая все, Игнатов на минуту все же среди тропиков припомнил житейское, то есть долготы и широты. Он недоуменно пробасил:

— Откуда у вас дрова?

Кокетливо улыбаясь, Белорыбова подкинула в печку, обрадованную даром, еще полено:

— Я служу в одном месте... то есть в Наркомпросе, только особом... там выдают...

Игнатов подумал: какой он симпатичный, этот Наркомпрос. Может, бросить всякие «пятерки» и туда зарыться: тепло? Но тотчас же осилил: пребудет верен законному престолонаследнику. Впрочем, поразмыслить как следует помешала Людмила Афанасьевна. Томная, упала на Игнатовские колени, подбавляя к жару печки свой особый, тяжелый, влажный, как летняя испарина лугов. Игнатов, задыхаясь, пролопотал:

— Красо-ты! Вене-ра!

Это были именно слова, способные свести с ума Белорыбову — не «душечка» или «кошечка»,— а выспренность, поэзия, музей. Вспомнила открытку в магазине художественных принадлежностей на Арбате и вся заколыхалась: опознана, понята, живет.

— Милый, закройте на минуточку глаза.

Игнатов охотно согласился — и так смыкались от жара. Погрузился в горячие водовороты, которые его кружили по комнате, по рощам Бразилии, кидая с магнолии на колибри: маленькая птичка, но на ней шестипудовый бывший ротмистр взлетал к звезде, и птичка щебетала. Впрочем, это был не щебет, а скрип крючочков и шуршание юбок.

— Теперь откройте.

Открыл. Но также и рот. Даже вздернутые гордо усы от богомольного умиления стыдливо поджали свои великолепные хвосты. Весь — экстаз. Перед ним, на маленькой кушетке, с нее стекая на ковер, в позе классической Венеры, совершенно голая, белая до ослепления, лежала Людмила Афанасьевна. Одной рукой, не забывая об открытке, она поддерживала грудь, но изобилье не поддавалось учету — тело все же вырывалось широким водопадом и сливалось с бушующими валами живота. Это было неистовство огромной бескрайной плоти, прорвавшей наконец плотины «исходящих» и «премиальных», юбок и любовных церемоний, готовой захлестнуть не только особняк, бывший князей Дудуковых, но и Москву, весь мир: потоп.

Игнатов молча обмирал, только раз икнув — и то скорей от свойств «тараканьего коньяка». Обмирал, как дрезденские немцы, налитые по горло пивом с пеной перед Сикстинской Мадонной, забыв о поле и о прочем. Только когда Людмила Афанасьевна кротким, но густым, насыщенным вздохом подозвала, он упал, погрузился в огненную хлябь.

Час спустя усталая, но благодарная Венера подносила Игнатову бутерброды: масло капало, а колбаса потела. Обнимая Людмилу

Афанасьевну, он поглощал их, один за другим,— дивные плоды. Воцарилось особенное благодушье, доверчивая нега, те высокие и редкие минуты глубокого союза душ, когда даже зачерствелые циники способны на неожиданные излияния. А Игнатов был далеко не циник — скорей романтик. Даже в давние лета, когда, производя дознания, читал любовные письма, даже тогда мечтал — вот кто-нибудь напишет и ему нечто поэтическое. Кокотки и влюбчивые дамы, вроде m-me Натанчик, его не удовлетворяли — они томили, как после ужина сальные застывшие тарелки: скорей убрать. Теперь, напротив — перейдя от нечеловеческой страсти к бутербродам, умащенный двойным потом, он испытывал блаженство. Немудрено, что этой, по видимости, чужой особе, он выложил свою заветную героическую тайну:

— Милочка, а ты какого звания?..

От неожиданности и непонятности вопроса Белорыбова даже всплакнуть хотела.

— Я?.. я же тебе сказала — в особом Наркомпросе...

— Нет, я про другое... Прежде... Словом, дворянка или мещанка?..

— Папа служил в архиве. Кажется, дворянка...

— Я так и знал — породы не утаишь. Теперь слушай: недели через две твоему Наркомпросу крышка...

Это было грустно, даже в такую ночь. Людмила Афанасьевна печально поглядела на шкапчик, где хранились масло, колбаса и прочее приятное.

— Но почему?..

— Потому что прибудет законный престолонаследник. Я во главе. Я тоже въеду в Кремль. У нас двадцать тысяч «пятерок». Всех чекистов проклятых перевешаем на фонарях. Будут снова звания. Я закажу беф-строганов и учиню бо-льшой допрос.

От коньяку, от тропиков, а главным образом от тисков Белорыбовой накопилась страшная сонливость. В самый патетический момент она сразила Игнатова, и, зарывшись усами в телесные подушки, он уснул. Но не сон одолевал Людмилу Афанасьевну — ужас. Полюбив поздно, она зато уж крепко полюбила. Из слов Игнатова полудремотных поняла: готовится нечто роковое. Боялась не за себя: пускай повесят — она теперь познала любовь. Нет — за него. Казался ей ребенком. Вот тихо, невинно дышит в грудь. Если бы не усы — подумать можно — к материнской припал. Хоть шесть пудов и сорок лет — нежнейшая, хрупкая игрушка, одуванчик, мотылек. Должна его беречь, ходить за ним. И вдруг — опасность. В успех не верила: звания и наследник казались глупой сказкой, слышала о них когда-то, девочкой. Теперь есть служба. Есть чека. И это крепко, нетленно, вечно. Андерматов схватит милого, начнет допрашивать, товарищ

Аш вытащит ножницы и продиктует Людмиле Афанасьевне: «К высшей мере». Не станет. И снова Венера превратится в машинистку, груди бесцельно будут течь, течь будут года. Нет, этого она не может!..

Щекотнула ласково Игнатова. Приоткрыл глаза. Сразу приступила:

— Милый, откажись. Ничего из этого не выйдет. Только расстреляют, а я одна останусь. Лучше день и ночь любить. Хочешь, я тебя устрою в нашем... особом... паек... дрова...

Игнатов возмутился. Даже вскочил и неприступно подтянул слезавшие на пол кальсоны:

— Никогда! Ве-рен престолу.

Но тепло, накопленное под одеялом, приманило (печка уж остывала). Милочка терпеливо ждала. Прилег и, повозившись немного, себя вознаграждая за прерванные сны, уснул.

Теперь Белорыбова знала — упрям, не переспоришь. Но как спасти? Была уже готова записаться сама в эту глупую «пятерку»: погибнут вместе, когда под утро пришла простая, но гениальная мысль. Она откроет все товарищу Курбову и выпросит за это, чтобы Игнатова, малосознательного (молод, случайно втянут в дело), простили. Может, даже его пристроят на службу в том же отделе. Решив, едва дождалась девяти — вовсе не спала. Тихонько выволокла свои груди, оставив заместительницу — подушку. Затопила печку. Игнатов, оглушенный ночью, прихрапывал. Подумала, целуя осторожно хвостик уса, от храпа подрагивавший: милый, маленький, ведь он на службу еще не ходит, я его спасу от злых «пятерок», устрою, усажу за стол — не спеша бумаги нумеровать и получать паек. Потом написала: «Возлюбленный! Я ушла на службу (опаздывать нельзя, вычитают). На столе для тебя бутерброды, съешь перед тем, как идти, чтоб не натощак. Приходи ко мне вечером. Твоя Венера». Записку положила ему на грудь и, еле оторвав глаза от этой выпуклой, объемистой груди, побежала на Лубянку, быстро, быстро, обгоняя толпы сотрудников с портфелями и кульками, всех обгоняя,— спасать любовь.

24

К утру зима не выдержала, начала публично гнить. Среди сугробов задышали черные, весьма сомнительные дыры. Поерзало. Покапало. И сразу все до того переменилось, стало простоватым, размяклым, ленивым — окна, носы и прочее, что выползшие к десяти те самые сотрудники, которых бойко обгоняла Белорыбова, не знали: зачем спешить? Недописанный доклад, недоголосованные резолю-

ции, даже капуста недоданная уныло ждали в затонах затхлых учреждений. Между вчерашним благом и блаженством этой первой хлюпкой лужи значилась дыра.

Да, дыра! И тщетно Курбов хочет забросать ее комами слов, грудой словопрений о каких-то новых комах, работой наспех, стоя, по дороге, на лестнице, чтоб ни минуты не было того, вчерашнего, чтоб не дышала среди снега черная жирнеющая таль. В днях, в летах — разрыв. Конечно, не уступит, усерден, на посту: карандаш, в особо неприятные минуты, въедаясь в лист, ворчит сердито. Конечно, здесь и первый: еще пустые столы, курьерша тов. Анфиса подметает, а чайник закипающий поет, в форточки весело влезают холод и говор, чтобы, увидев горячие сухие трубы, отношения, чернильницы и курбовские закушенные губы, подумать: скучно, чинно осесть. Все как в гимназии до начала первого урока. Конечно, это — свое, и Курбов не изменит. Но достаточно обследовать всю сухость губ, от которых так тошно ранневесеннему деньку, обмороки карандаша, падающего в самые напряженные минуты, сутулость, скуку, холодную, прозрачную деловитость, явно отчужденную от влаги задрожавших палисадников, от громыханья и от пара, от весны, достаточно, чтобы понять: конец. Конечно, снег еще лежит. Конечно, Курбов здесь, не помышляет даже о чем-либо другом, кроме папки с очередными докладами. Конечно... Но все это — продление. Николай погиб. Дальше — судороги. Морозный день. Как бы возвращенье к высокому периоду боев и диаграмм. Только видимость. Погиб.

Неужели мог? От маленькой, тонувшей в шубе, которая в захарканном притоне выдумала строить домики, после рассказывала глупые романы, жизнь по Желиховской с обаянием шпор, и, наконец, рассевшись всласть, привыкши и раскисши, разоблачилась — выложила на столик, провонявший основательно колбасой, свои сухаревские подсолнушные идеи: «в Кремле шампанское». Неужели от такой? Нет. Неправда! Знает. Видел. Мог бы устранить десятки Кать, сотни, миллионы. К черту василечки, рожь мила, над рожью синяя пустая высота! Нет, не от Кати гибель. Катя какое-то бревно, подкинутое злоумышленниками на рельсы. Могли быть Маня или Саша. Могла быть просто черная и теплая дыра в снегу. Все дело в страшном сотрясеньи ночью, среди мерных шорохов и мерзких песен, где-то возле Трубы, в местечке, открытом прыщавым Чиром, в тесной тараканьей щели.

Ведь несмотря на тяготу и сдачи, на белого, расстрелянного под Черниговом, на девочку, облившуюся смертным потом и слюной, на месяцы и годы, Курбов являл высокую гармонию. Равновесие и точность химических весов. Как бы сверкал медными частями, вторым и третьим солнцем. Про таких писали прежде: олимпиец. (Например, огромный план Вселенной, с точностью до миллиметра,

который в парике и в туфлях с серебряными застежками прогуливался по уличкам заспанного Веймара.) Курбов был спокоен, светел, в слепоте играя роями глаз, как ночь; в жестокости уподобляясь желтому небесному образчику, изливая, как оно, живительную пагубу зноя. Когда в автомобиле, пугая волчьими глазищами и воем, он носился по ночной Москве, с невымирающими замоскворецкими лабазниками, с часовнями Пантелеймонов, ревностно хранящими густые запашки душегреек, молельниц и кладбищенского ладана, с шелудливым юленьем Тверских,— носилась просто воля в короткой куртке, и лабазники поспешно преставлялись, в распахнувшиеся двери часовни влетал озорной мороз, с морозом взвод курсантов, а разные Тверские забивались под комиссарские постели, с перепугу готовые шить всю жизнь кальсоны для Красной армии. Воля. Поворот. Колесо под рукой.

И вот вчера воля затрещала, как будто она лишь сгнивший стол под локтем разгулявшегося Леща. Вздор. Редкая нелепость. И все же в половине первого... Катя здесь ни при чем. Ну да, глядела, загибала уголки карт, смуглая рука и прочее. Гибель в нем. Ходил, чертил, не зная, что сам доверху начинен чем-то тягостным и страшным.

Взрыв. Он в кольце. Как некогда Олег Глубоков. Встали, идут. Мокрота и все. Стихия — чужая, топкая, похожая на портяночную, курную и рыхлозадую Рассею, обступающую главки, комы, разум. Это было в нем. Сам выкормил и не заметил. Гибнет. Скорей всего уже погиб.

И падает карандаш. Подымает. Пересиливает, пишет: «Срочно... принять меры... твердость...» Пальцы твердеют: не выпустят карандаша.

Стук. Людмила Афанасьевна. Подойдя вплотную к Николаю, сразу, без предисловий, как во всех романах.

— Товарищ, понимаете ли вы, что такое любовь?..

Курбов вспыхивает. Ну, это слишком!.. Неужели выписано на лице?..

Но Белорыбова не замечает. Ей все равно. Ей нужно милого спасти, того, оставшегося дома, глупенького, мальчика еще. Не ждет ответа. Слова скачут, как недавно по улицам скакала Белорыбова сама, вперегонку, скорей, скорей. Все ночное обработано и претворено в трогательный рассказ. (Кто после этого скажет, что Людмила Афанасьевна лишена художественных возможностей, что она зря была записана в библиотеке?) Игнатов сам признался. Случайно втянут. Ужасные злодеи. Хотят через неделю въехать в Кремль. Особенно интересуются, кто какого звания. Сам Игнатов предан революции. Он еще мальчик. Она должна сознаться — любит. Любовь не шутка. Товарищ, конечно, это знает. Умоляет его пощадить. Он

останется среди заговорщиков. Все выпытает. Сообщит через нее. А после, может быть — местечко, хотя бы внештатным или секретным. Но только чтобы и паек, и с маслом. Отощал — необходимы жировые вещества. Умоляет. Любовь порой приходит поздно: ей двадцать пятый, и впервые, но, когда приходит, это очень страшно. Страшней, чем пишут. Товарищ знает. Товарищ спасет.

У Курбова первое про себя.

— «Ах, значит, эта... Катя... с ними... вот что!..»

Белорыбову успокаивает:

— Хорошо. Исполню. Прошу вас все, что вы узнаете об этом заговоре, сообщать мне лично.

Один. Какая гадость! Любовь — кудахчущая баба над жировыми веществами для миленка. Ей можно. Впрочем, может, можно всем. В ушах снова топорщатся вчерашние «цыпленки» — что делать? «Хочут жить». Да — всем. Но не ему. Он не хочет. Даже если это не Белорыбовское масло, а сто томов прекраснейших стихов — все равно — противно. Брр! Вот встретил какую-то девчонку, не только повторявшую кухонные сплетни, но еще замешанную в пошлейшем заговоре со званьями, с въездом цугом в Кремль, встретил и раскис. Разве не мерзость?

Теперь осилит. Девчонка глупа, любит душу излить. Сразу все выболтает. Он пойдет еще раз в эту трущобу; встретить, полюбезничать и, между шепотов о разных христах или демонах, мимоходом подобрать детали заговора. Чует — раз «бог» притянут, не без Высокова... От мысли снова встретить Катю на минуту слабеет: слишком сильно бьет в глаза синь влажных глаз и солнечная щемящая охра руки. Жмурится — уберите прочь! Вздор — стыдно! Вошедшим Ашу и Андерматову:

— У меня нити... Заговор... Как будто монархический, с царем и прочим. Полагаю, высоковские штучки. Выяснится на днях. Собираются в «Тараканьем Броду».

Аш ножницами: чик-чирик. Диктует Людмиле Афанасьевне, и вскоре на столе кокетничает синенькая папка, как институтка в форме, еще вполне невинная. Выведено красным:

«Дело о Заговоре в «Тараканьем Броду».

Андерматов мечтает: заговор. Начнут хватать по алфавиту. Много. Тысячи. Вдруг (ведь бывает — закинут сеть, а попадется золотая рыбка) среди прочих изменница, Зинка проклятая, с тапером. Тогда... Отвернувшись, чуть улыбается, в газетный лист вышептывает тихо: тогда я покажу им, на рассвете, по-петушиному — «кукареку»...

Обычный день. В учрежденьи, то есть в чеке, солнце и пыль. Шип машинки. Курбов, откладывая доклады, берет «Известия». Еще раз: люди могут быть только людьми. Концессии иностранным капитали-

стам. Возможность экономического отступления. Все правильно, обдумано, неизбежно. Запад не поддержал. Развал. Длительная пауза. Пока же необходимо жить, то есть поспешно жевать теплый душный хлеб, греться у мурлыкающей печки и любить. Да, любить, как видно, нужно многим, может быть, и всем. Вот у товарищей подруги, жены, правда, партийные единомышленницы и прочие. Но разве от этого легче? Разве они, любя, не корчатся, не мечутся, не столбенеют? Разве не подходит вот такое, что кровь со сгустками уж не течет, а, будто в ледоход мосты ломает, крутит, губит? Наверно, так. А значит, и они цыпленки: «Хочут жить». Нет, нужны система, звездный план, воля к единому. Все выстроить. Тогда — другое. Тогда придет любовь — не смерч, не напасть, не бедствие, а равнодействующее начало, точное соотношение, колонка цифр, простая радость, благо. Пока — нельзя. Пока — работать — вдвое, втрое. Пусть концессии, отступление. Пересидеть тех брюшковатых и беспечных, в Европах, играющих в футбол и пляшущих фокстроты. Пересидеть и пересилить. Снова берет доклад.

В окошко торкалась весна. Она с отменной наглостью влезала в короткую минуту между докладами, чтобы кой о чем напомнить, смутить и всласть побередить. Была нерадостной. Гнилые черные провалы на мостовых, на крышах. Даже пахло гнилью. От всего мутило. Слова докладов, маленькие и привычные, вдруг до того разбухли, что не влезали в голову. Каждое по нескольку раз кидалось в глаза и, наконец дойдя до мозга, лопалось. Оставалась труха, то есть буквы. Надо работать. Только не любовь! Такая пошлость! Заговор, девушка и тараканы. В докладе: «Обнаружены тенденции»... Что? Откуда? Хорошо бы крепкого чайку стакан. Баловство. «В некоторых губерниях...» Губернии — где это? Не здесь... Большое «Б»...

Курбов уснул, не выпуская папки из цепких рук. Спал долго сидя, и этого никто не замечал.

Когда же Андерматов заметил и пристально вгляделся в землистое, сразу сдавшее всю жесткость, почти тряпичное лицо — он, даже не заслоняясь для приличия газетой, крикнул Людмиле Афанасьевне:

— А товарищ Курбов, видно, по ночам не спит...

Белорыбова вспомнила другого, безмятежно спавшего, оставленного в пустом будуаре, и чувствительно, глубоко вздохнула. Курбов проснулся. Сам не осознал, что спал. Вернулся к той же букве:

Большое «Б»... Да, беспорядки в Тамбове. Надо работать. Работать, и вовсю.

25

Катя остановилась перед вывеской «Вегетарианская столовая «Не убий». Постояла. Было очень страшно, пожалуй, страшней, чем Жанне д'Арк подняться на костер. Потом, про себя «раз, два, три», как девочкой, когда, купаясь, кидалась в холодную, секущую все тело воду, шею вытянула, выпростала руки и влетела в часть официальную. На этот раз не имелось даже простокваши: просто морозный кошачий дух. Потолкалась в какие-то сомнительные двери. Ведро опрокинула. На барабанный грохот выплыл наконец Иван Терентьевич. Катю недоуменно обследовал:

— Ты что же, без кавалера? Нельзя.

— Пустите! Мне очень нужно.

Еще раз осмотрел. Глазом намозоленным залез под шубку. Ползал всюду, так что Кате от взгляда сразу стало щекотно, стыдно, нехорошо.

— Пожалуйста, пустите.

Осмотр, как видно, был благоприятен, ибо Иван Терентьич, раньше сердито хрипевший, теперь цедил малиновый сироп.

— А ты не скандалистка? То-то. У нас ведь живо — за косы и на мороз, да так, что после три года будешь плешь отращивать. Скандалить не полагается. Человек создан по божьему подобью, вот что, не скот какой-нибудь (при этом Иван Терентьевич сапогом подкинул забредшую виновницу местных ароматов кошку Титьку так ловко, что Титька, пролетая спиралью, запищала, как масляная сковорода). Что же, если будешь соблюдать порядок — можно. Ты особа не без приятностей. О прочем я с тобой отдельно потолкую. Открою, так сказать, устав.

Катя вошла. Неловко села на какой-то гвоздастый ящик. Иван Терентьевич, деньги спросив вперед, принес чашку самогонки, голубизной похожей на осеннее небо. Уставившись на новенькую, «тараканщики» хихикали. Но Катя не замечала. Перед ней было одно живое — дверь, рыжая, хитрая, поросшая войлочной бородой, способная сейчас раскрыться — дать радость, весенний холодок, стальные, тяжелые глаза или обмануть, впустить других, вот этого молодчика с серьгой в одном ухе и с мордой столь припухшей, что вся она — один всесильный нос. Открывалась дверь не сразу, капризничала, жалостно скрипела, и по скрипу Катя всякий раз пыталась угадать: кто?..

С того вечера ждала его. Искала всюду. По-детски. На улице. Увидев сзади куртку, кидалась вслед, догоняла, и удивленно на нее взирало чье-нибудь усатое лицо. Один даже милицией грозил. Разыскала губпродком. Караулила и в десять и в четыре. Наконец осмелилась: спросила у какой-то пигалицы — не знает ли товарища За-

харова, Владимира. Пигалица пиликнула: не знаю. Злая пигалица! А его все не было. Был он очень, очень нужен! Все остальное как-то истончилось, зачахло, стало похожим на заспанный сон: если рукой пощупать — текучий воздух. Все эти дни не вспоминала даже о «пятерке», о том, что скоро кого-то убьет. И не молилась. А раз, взглянув на лик в углу, пронзительный и дикий, вместо молитв, шепнула — «Владимир»; глазами сбрила бороду, вместе с бородой исчезла благость. Грозил, судил и — судя — томился, ждал ласки, ну, самого простого утешения. Перст, поднятый к небу, хрустел и леденел. Был похож до потрясения. И на того — другого, летавшего высоко, где гул воды и грохот лавин, обиженного злой грузинкой. Какой-то монастырь!.. Впервые Катя с отвращением подумала о чистоте, о белой стенке, о душе крахмальной и неуязвимой: таких бы вниз!

Когда позавчера зашел Высоков, сразу вспомнила: ведь я в «пятерке». Чуть удивилась: это не входило в мир последних дней, наполненных до края гудом крыл, дрожанием ресниц, сверканием серых глаз, то серо-синеватых, как клинки, то серо-желтых, серных, цвета грозовых туч. Впрочем, не отстранилась. Дело спаялось с ним: он такой же — поймет. Убийство перестало быть своим, раздельным, родившимся от топота поклонов в углу под Спасом — общее теперь, почти любовная тайна: он и она. Жалела об одном — о времени: так скоро. Не успеет погладить длинной, закинутой бог весть куда руки, руки — весла, руки — прорыва в оттепель и в ночь. Утешить не успеет. Помочь. А в ней такая жалость. (Может, не только жалость, но другое слово суеверно обходила, так и о злой грузинке думала: почему не пожалела? Иногда, стыдясь себя, уже полуспящая, в подушку: почему не поцеловала?) Нет, надо его скорей найти!

И Катя наконец решилась отправиться в ужасный кабак, где встретились тогда. Что там — не знала. В тот вечер, глядя на грозно-серые и на весло, не заметила ни Леща, ни Игнато-Белорыбовской идиллии. Только прорывались клочья шумов: ругань, слезы, смех. «Тараканий Брод» ей вспоминался страшным и прекрасным адом. Не то сошел туда, тоскуя о человеческом, простом, суровый, подымавший перст в углу, не то оттуда вышел отверженный (ночь и лавины), влача по грязным скользким половицам свое поломанное крыло.

Да, ад. Вошла со страхом и билась, стиснутая глазищами Ивана Терентьича, как птенчик в кулаке. Но, глядя на живую, изворотливую дверь, страх забывала. Придет! Придет ли?

А «тараканщики», вдоволь наглядевшись, всласть насмеявшись, решили приступить к знакомству. Чир особенно. Хотел себя вознаградить за двойную обиду: за Курбова, проделывавшего куры с этой щуплой мамзелькой, и за Пелагею, поразившего весь «Брод» избытком и денег и энергии. Теперь Чир всем покажет: новенькая и ба-

рышня — не то что, верно с голодухи, девять юбок обменяв на хлеб, последнюю решила попросту задрать, боится — вот с такою он, прыщавый Чир, величественно проследует в верхний «номер». А Курбову при встрече скажет: «Так и так, вы разные дискуссии, а мы с ней по-семейному». Так мечтая, Чир скинул с колен оскорбленную Свеклокушу, после излияний Высокова вправду возомнившую, что она, несмотря на широчайший зад, духовная особа, и, небрежно сплюнув, подсел к Кате.

— Что, мамзель, уединились? Позвольте поухаживать — зовут меня товарищ Чир. В некотором отношении почти что местный совнарком. Оно, конечно, с непривычки здесь неароматно. Но позвольте угостить вас заграничным коньячком.

Катя злобно отстранилась. Ощерилась, как маленький зверек. С дверью все же не могла расстаться.

— Оставьте меня. Я жду знакомого.

— Как же, нам все известно. Мой товарищ. В прошлый раз ведь вместе пили. Разве не помните? Только он митинговый человек. А язык — мягкий, языком дела не наладишь. Я без всяких резолюций, исключительно озабочен наслаждениями дамы...

И с этими любезными словами Чир Катю решительно сгреб. Вырвалась. Кричала. Чир ругался, а Свеклокуша, почуяв, что теперь и она может выступить, стала выкладывать свою ревность и обиду:

— Да как ты смеешь, тварь постная? Кости бренчат, а тоже задается... Барышня, и между прочим, на людях ненапудренная ходит — рожа, как самовар. На наших кавалеров пялит свои телячьи... Вон отсюда!

Все сильнее распаляясь, Свеклокуша, также предпочитавшая дела дискуссиям, в зените гнева, ловко рукою въелась в волосы Кати. Чашка взвизгнула. Катя закачалась, проступили слезы, минута — и упала бы под мощным прибоем Фемиды — Свеклокуши. Но пришло спасенье: подплыл корабль — Иван Терентьич. Свеклокушу коленкой в зад, подмигнул приятельски Чиру:

— Девочку зачем же обижать...

Катя:

— Я уйду. Я подожду у двери.

— Вот как, кавалера ждешь? Ну, на улице не очень-то удобно. Замерзнешь. Да еще пристанет кто. Разденет. Ты лучше наверх пойди. Там комнатки такие — тихо, народу нет. А как придет твой хахальчик — жена нас позовет. Я-то с тобой пойду. Такой у нас порядок. Каждый разок. Вроде как в трудовую книжку записываю: отработано. Да ты не сомневайся — я человек семейный, тихий. Жену спроси или дочек.

Глаза Ивана Терентьевича от избытка семейных воспоминаний увлажнились. А потная ерзкая ручища уже пробиралась под Катину

шубенку. Поднял. Катя упиралась. Подталкивал ее, огромный, как упрямого ребенка, за тоненькую шейку. Уж возле лестницы, извернувшись, Катя вынырнула из мокрых рук, ринулась к знакомой, почти любимой двери. И дверь в ответ, сочувственно застонав, распахнулась. Курбов! Катя,— волосы стекают вниз, платье на груди расстегнуто, слезы — к нему:

— Владимир!

Может, если б встретила его час тому назад, было бы другое: беседа, спор, медленные усилия, за шагом шажок на льду, вырубая ступеньку, чтобы подняться выше. Но сейчас не до того. Мысли разметались, как купа этих волос. Только нежность, неслыханная, страшная, которая способна взять язык с синтаксисом и с Далем, взять и сделать из него какой-то детский лепет, пенье дикаря, одни слога, обломки фраз, почти что придыханья, но полные значимости: вот в этом бездумном звуке — года. Здесь было все: и как искала, и как колючий на Никитской, обомлев, чуть-чуть портфель не выронил — «куртка вроде вашей» (счастливая улыбка: нашла, теперь-то наверняка), и как похож — в углу, без бороды, и после какой он бедный — надо пожалеть, и странные прозвища «Заяц», вовсе невнятное «Левун», и теплота слезы, скатившейся на руку Курбова, и снова извержения слов грозных в ласковости, и, наконец, последнее, преодолев все суеверие, несказанное, но только вычерченное детскими еще губами, кинутое внутрь и все же понятное, горькое «люблю».

Курбов пришел уверенный, сухой и деловой, почти как в кабинет чинить допрос, и только. Сначала он хотел понять — что же случилось — слезы, ужас — не смог. Слова обволокли, как будто опустилось облако, все стало невесомым, белесым, пустым. Потом (и это было, пожалуй, страшней всего) — сквозь белесоватость четко проступила почти что напечатанная фраза: «Я снова схожу с ума, мне уже не хочется разбираться в ее словах, только бы слушать». И снова пусто. О Христе ничего не понял. Колючий с Никитской показался страшным сном. Зато «Левуна» признал, как нечто свое, давно знакомое. «Левун» — теплый и пушистый. Вроде щеки. В это время руку обожгла увесистая крупная слеза. Одна, но продолбила. Даже вскрикнул. Во рту закопошилось: какие-то слова хотели выйти, но не могли никак пролезть в сузившееся горло. Наконец, выдохнул. А может быть, и не те, совсем другие — помельче, порасторопней:

— Я тоже ждал вас. Очень ждал.

Это было правдой. Сейчас не помнил, зачем пришел. Заговор? Да, это было, но давно: некогда, до рабочих, топотавших в переулке, до сибирского детеныша, до мамы, приносившей к сундуку запах мыла и домашних слез, до всего — в угрюмом, преджизненном, ледниковом сне, под синей папкой, на Лубянке. Пришел — увидеть. Уйти с ней. Пришел... и снова слово затопорщилось. Его необходимо

было вытолкать наружу. Все время ведь молчал. Слово голое, пустынное вслух:

— Пришел, чтобы погибнуть.

Здесь началось невнятное. Здесь Катя вся прояснилась последним светом, как будто было сказано: «Чтоб жить». Опознала свое, почти уютное, почти микстурное, и, немного поборовшись, ответила ему так, как никогда бы не сказала, даже не подумала бы, если б он, счастливый, смеялся, говорил, как счастлив с нею, если б он лежал в ногах или, торжествуя, вел ее под руку, никогда, только сейчас, и сразу после томного «погибнуть» вдогонку ринулось высокое «люблю».

Курбов это понял. Не переспросил. Не смутился. Знал — иначе нельзя. Согнувшись низко, не глазами, губами нашел ее маленькую ручку, затерявшуюся в мехе, и к ней прижался, как к граниту. Долго дышал смолью, солнцем, донесенным сюда по хлюпающему снегу — от детства ли, от дачи, из которой зной высасывал сосновый дух, или — дальше — от случайно затесавшейся прабабки, от цыганки в кибитке, прожженной насквозь, так что даже гортанные призывы напоминали скрип сухого дерева? Дышал и ничего не ждал. Длительная пауза.

Даже «тараканщики» примолкли, так молчат, когда кто-нибудь рядом кончается или просто молится стеклянноглазому, чужому, но все же Богу. Было в этой общей тишине большое напряжение двух людей, готовых сейчас же на месте выстроить из спичечных коробок гигантские шагающие пирамиды или вместо строек изойти, паром вылететь на улицу, в прореху разбитого окна. Тишина начинена была тысячами шумов: от героических — выйти на Трубу и, кинув это сердце, взорвать миры, до атомов, до счета дыхания умирающего, до журчания слезы, до хода нарастания и отмирания травяной, незрячей просто — жизни.

Только Иван Терентьич въедался в торжественную тишину своим юлением. Мигом забыв о прежних планах, страсти остудив, смиренно дожидался: потребуется «номерок» — без этого не обойдется, надо только в подходящую минуту оказаться под рукой.

Паузу ликвидировала Катя. Почувствовав, что значил этот поцелуй, это молчание, широко, до холода в кончиках пальцев, распахнулась, как давеча дверь. Открыто, совсем, без утайки, без одного чего-либо скрытого, в уголочке, чтобы после можно было опомниться, утешиться, отчитаться перед самой собой. Нет — настежь. И что ему дать? Главное ведь вышло, выдышанное ходит вместе с дымом под причудливыми трещинами потолка, и выше, под желтыми поспешными оттепельными облаками. Дала это «люблю», эту руку, эту тишину, что же дальше? Может, если бы женщиной была: мудро, легко и просто, со всей великой чистотой повела бы Николая за руку

наверх в мерзкий «номерок», перед этими Лещами, которые и усмехнуться бы не посмели,— такова любовь. Но Катя могла припасть и покориться, вести же не умела. Тогда встало: дать ему, даже не дать, почти по-детски — подарить стеклянный шарик на мамином комоде с метелью в воде,— весь тот особый мир, страшный, прекрасный, призрачный, сейчас такой далекий и игрушечный, где гремел Наум и угрюмый Высоков говорил с уютцем о смерти, мир, кем-то названный «пятеркой», Катин прежде — подарить ему. Милый, бери — иди со мной, вместе розы головешек у ног, костер Жанны д'Арк и лик, обрадованный этим подарком двух жизней, того, второго, двойника — в углу. Катя заговорила.

Сначала Курбов воспринимал ее слова, как тот же сон, как нежное продление «Левунов» и прочего. Стеклянный шарик в детской ручке весело дрожал, хлопья порхали, была метель, и где-то обрастали святочным снегом диккенсовские фонари. Но шар рос. Снежинки, слипшись, уже душили желтые, воспаленные глаза Кремлевских окон. Курбов почувствовал: запахло бурей. Но, нежась еще, знакомый запах обрядил в легенду: дитя.

— Мы должны убить крупного чекиста Аша или Курбова.

Здесь Курбов не выдержал — ласково усмехнулся. В детскую случайно заглянул: играют в индейцев. И с особой мягкостью, почти неловкостью взрослого, который хочет войти в такую игру, путается и робеет, спросил:

— А кто же организует?.. «Ястребиный Коготь»?..

— Высоков.

И это было концом. Четко вышли отвислые груди Свеклокуши, прыщи Чира, сало Ивана Терентьича, проступающее сквозь две фланелевые рубашки и пиджак, чашки, скамейки, грязь, плевки, на блузке Кати верхняя кнопка отстегнута, сейчас три четверти десятого, пришел по делу — допытать и вот барахтается...

«Высоков!» Уж не снежинки в шаре. Антанта. Деньги. Мерзость. Смерть. Надо пресечь. Скорей, сейчас же. Схватить ее. Пойти за ней. Выследить. Ведь если дать таким ходить, целовать, бесноваться, убивать — всему конец. Это изъяны. Дыры. Черные, гнилые в снегу. Как грибы — только поплачет сверху — вскакивают, бухнут. Газ спертой, гранитом сдавленной земли. Загнать их снова в юродивые топи, в соломенную ерунду. Ну, Курбов!..

Катя почувствовала слом и выпад. Почему — не знала и не решалась спросить. Она дала ему волшебный мир, свою «пятерку» — что же еще? Как сгладить эту страдальческую синь под серыми и серными, готовыми истечь огнем? Вспомнила лампадное масло: сухой судил, а навощенный золотил и миловал. Не рассудком, чутьем догадалась.

— Милый, все это не то... Не главное, второе, сейчас одно: люблю.

Бедный Курбов! Жестокий зверь, лютый садист всех кумушек — как он ребячлив, как слаб, как молча, тихо гибнет, не вмешивая в хмельной, беспечный вздор «Тараканьего Брода» своей звериной тоски! Что делать? Да, она права! Все это не то. И хуже: огромное, правое, родное — все главки и учеты, тоже не то. «Сейчас одно: люблю». Так в маленькой девчонке — вся на ладони — больше силы, больше правды, чем в нем, обдуманном, вымеренном, безупречном. Сейчас одно... Но это «одно» — прекрасное для миллионов, для поэта и для токующего тетерева, для подгнившего за зимы схоластика и для жадной лилии с исступленным пестиком и с вздрагивающими тычинками, для всех прекрасное, лишь для него: позор, отказ, гибель. Он не может. Сам себя построил. Строил год за годом: Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях. Строил для высокого и длительного горя: дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле — великий строй. И сам теперь запутался в двух-трех словах, зацепился о горячее дыхание, упал. Нет, этого нельзя! И Кате вслух:

— Нельзя!..

Но ясно — этим не спасешься. Надо рубить. Если сам не может, ее заставить убежать. Дать ей ненависть, если в нем неистребима нежность. Пусть глупо для дальнейшего, теряет нити, выдает себя — что делать? Он с изъяном. Пусть жестоко и пахнет мертвечиной, заглоданным младенцем, насильно затравленной любовью еще в пуху, что ж — ему не выбирать: ведь гибнет.

— Вы должны меня ненавидеть. Я не Захаров. Я тот самый Курбов, которого... Поняли? Теперь идите. Готовьтесь с Высоковым. Я тоже буду готовиться... Кто-нибудь погибнет... Прощайте.

Даже слов не разглядев — только голос, Катя встает. Как маленькая и еще согнулась! Плечи — вниз. Зуд в голове. Вот и пришла Лиза. Счастье отбирают. Его убить? Господи, за что же?.. Надо идти. Гонит. Милый! Чекист. Пытает. Высоков говорил, что он вбивает гвозди в тело. Серые мои, родные! Умираю. Идти. И Катя кидается в дверь, сулившую все, обманувшую, скрипящую: прощай! Чекист! Дверь упирается. Трясутся плечики. Ушла.

А Курбов занят одним — дыханием. Спасен. Может встать и сесть. Может даже выйти. И, не глядя на оскорбленного Ивана Терентьича, напрасно готовившего «номерок», выходит. Подмерзло. Скользит. Но просто — расставить ноги. Он будет жить. Он не погиб. Работать. Двигать дальше этот проклятый воз, с накиданным до неба жалким скарбом испорченных локомотивов, ленивых скаредных сердец, двигать, проталкивать дальше в гулкие просторные века, где воз очнется изумительным мотором или, снявшись с земли, гудя,

взлетит. Толкать. Подгонять отставших. Утреннее, гнилое и мутящее, исчезло. Легкий морозец заштопал дыры, подчистил все.

На Сретенке остановился перед желтеющим стеклом. Когда-то магазин. Теперь клуб комсомольцев. Вошел. Полутемь. Какая-то лекция по космографии. На белом экране рождаются стройнейшие фигуры, напоминая: таким и ты родился, таким ты должен,— слышишь,— должен быть! Все остальные нахлынь, произвол, случайные клубы облаков: выдохни немного ветра, прояснись же. Ты Курбов. Ты — как мы.

Экран темнеет, будто зимний день к четырем. Взамен встают другие звезды, пойманные, замкнутые в стекло, прирученные и вышколенные. В комнате оказываются молодые и задорные. Готовы взять тотчас же звезды с потолка, с экрана, с неба, заставить их стадами биться и звенеть по всем ухабам московских улиц. Курбова узнали. Гордость — к нам пришел! И, как маме кантату к именинам, выстроившись в ряд, смущенно улыбаясь, затягивают «Интернационал». Потом, омытые своими же голосами, летящими подобно косому проливному дождю, забывают смущение, именины, даже Курбова. Идет здесь, в тесном магазине, после скучной лекции какого-то инструктора, с незримыми врагами: с сединой, с залежами книг, с временем — «последний и решительный бой». Время (может, это седенький инструктор, верящий в диплом и презирающий все революции?), покашливая, уступает. Ясно: древний Хронос ползает в ногах. Еще одно «это есть наш» — и он издохнет, просыпется трухой. Останутся лишь звезды в кулачках, голос, пролет.

Курбов поет. Для этих Курбов — гордость, вождь. Для себя сейчас: спасен, довольно! Не Николай Курбов, не человек, способный любить и уступать любя, нет, среди многих голосов — такой-то голос, слитый, так что не отцедить его от прочих, среди рук — рука.

26

Как будто прошли недели. «Пятерка» родилась в морозный вечер, когда братец Наум тайком вздыхал о Даниииловой печи. Теперь же совсем тепло. В палисадниках, на мокрой Спиридоновке, вязкая земля уже обрызгана чем-то зеленым и ужасно праздничным.

Но Высоков хмур. Ему не до травы. Из Орла плохие вести: должны были поднять крестьян видением Всех Скорбящих. Хамы — умилились, и все тут, даже комиссара продкома не потрудились укокошить. Подъемные пятнадцати ребятам, куш псаломщику, сработавшему (впрочем, очень чисто) чудодейственное явление,—

все зря. Из генштаба ждал нежную записку: состав частей у западных границ — обещал за мелкую услугу друзьям-полякам. Что же,— военспец съел франки и надул. Попробовал напомнить — грозится: вызову чеку. Моральное разложение России приняло воистину ужасающие размеры. Царство дьявола. Надо будет, когда в Париж вернется, написать об этом едкую статейку. Пока что — ерунда. Связался с девчонкой — дура чрезвычайная! Разыгрывает Юдифь, а время идет. Говорят — чеку распустят. Еще, пожалуй, декретируют вегетарианство. Миролюбцы! Тогда что делать?.. Без крови и мухе скучно. Вся «пятерка» ненадежная. Брюхатый годен на одно: служить панихиды, и то по всякой мрази — по поросячьим камергерам. Усач — невероятно глуп: такой способен, плотно пообедав, пальчики дамские лизать или заниматься геральдикой. Одна надежда на босяка: парень деловой, но плут редчайший, требует вперед за все надбавки. Сегодня утром явился на свиданье с цельным индюком. Заявил: или вперед на стол сто тысяч «царских», или к черту — будет целую неделю лопать индюшачие котлеты и плевать на тараканов. Не угодно ли? Выгнал. А теперь жалеет: без Пелагеи, кажется, не обойтись.

Остальные в сборе. Перемены не только в палисадниках Спиридоновки — в глазах Игнатова. Потерял всю важность владетеля жаровни на Сухаревке, человека, сознающего и днем и ночью свое звание. Вместо этого невиданная томность, тургеневский, чисто девический оттенок. Даже тело прояснилось, хотя и не убавилось в весе: поддерживала Белорыбовская колбаса. Просто, проникая каждый вечер в разогретый Эдем, стал приучаться к прозрачности и духовности, свойственной всем ангелоподобным существам. «Пятерочные» разговоры еле доходят до него — в ушах гнездятся: «милый», «я твоя Венера», «скушай еще».

Наум, напротив, общителен до крайности. Весел. Несмотря на сырость сезона, совсем забыл свой ревматизм. Правда, перед заседанием лечился: Высоковская пачка убывала, но не без сладости. Сегодня утром, по случаю, приобрел бутылку «смирновки» и честно, скромно распил оную во славу Господа, тостов суесловных избегая, но после каждой стопочки провозглашая «аминь». Теперь заигрывает с Высоковым:

— Что, сыночек, покуролесим, а? Бомбочку-конфеточку — и прямо на Лубянку...

Высоков цедит:

— Разумеется.

В себя: болван! Взять бы такого и буравом пузо... Всех устранить, чтобы было только: голая земля, беленькие косточки и черный огромный некролог, в миллион строк.

Открывает:

— Итак, господа, к делу. Удалось ли проследить образ жизни Курбова или Аша?

(Ах! Пелагее, быть может, и удалось, но Пелагеи нет — бастует. Зачем утром прогнал? Надо было б индюка приправить соусом из пикантных франков.)

Молчание. Высоков злится.

— Но вы же что-то делали. Ходили в какой-то «Тараканий Брод». (Игнатову.) Вот вы, насколько мне известно, даже свели знакомство с подозрительной особой?

Игнатов, просыпаясь:

— Что вы! что вы! Исключительно духовное общение. После стольких лет одиночества — среда. Девица прекрасного происхождения: дворянка. Подозрительного ни-ни. Служит в Наркомпросе. Изредка заглядываю: выпить чашку чая и совместно поговорить об отечественной литературе.

Кате:

— Вы?

— Нет.

Потеряв любовь, еще упорствует: нет, не знает, нет, не раскроет, кто сидел тогда с Игнатовым в «Броду» и терпеливо строил домики — высокий, дикий, темный. Найдут другие, прикажут — покорится, подымет эту руку, которой недавно любовалась (теперь: лучше б отрубила), выстрелит в милого, любившего башни из катушек, как будто теплая грудь — устав чеки, звезда, кокарда, номер. Но сама не скажет, смиренная и отчужденная сидит, почти враждебная. Надежда одна: того, другого, Аша. Да, конечно: чекистов надо истреблять, надо мстить за всех. Она убьет чудовище — невиданного Аша, который, верно, свирепый, рыжий, с засученными рукавами, как мясник, убьет нечто с Лубянки. А Курбова?.. А Курбова пусть кто-нибудь другой... (где-то очень глубоко, где кончаются последние лучи, в темно-зеленом бутылочном иле барахтается женская томительная полнота — приписка: да, пусть другой и, может... может, промахнется...), для Высокова и прочих: голова болит.

Окончательно раздосадованный, Высоков вынимает из кармана две карточки:

— Вот фотографии обоих. Приглядитесь. Может быть, вы и видели их в этом «Тараканьем Броду»? Пелагея мне клялся, что кто-то из двоих туда шляется.

(Зачем прогнал? Жрет индюка, мерзавец!)

Сначала смотрит Игнатов. Курбова не узнает. Как будто лицо знакомое. Нет, это только так показалось. В тот вечер, сжигаемый двойным огнем мадьярского бензина и белорыбовского бюста, не видел мира зримого, то есть низменного. Как бы томился в

чистилище, предчувствуя температуру и флору Парадиза. Но что-то запомнилось:

— Глаза, знаете ли, знакомые... Впрочем, это бывает: психологический обман... А красивый мужчина — и зачем такому чека понадобилась?..

Другая... Нет, и этого не знает.

Катя сразу, стараясь не смотреть:

— Нет.

И все же смотрит. На скверной, линючей фотографии, с выглоданными рыжими подпалинами, темнеют глаза. Все темнее, все суровей, приказывают Кате: встань, иди сюда, служи в чеке, будь цифрой, я сложу тебя с миллионами других; плюс, знак равенства, к высшей мере. Так говорят глаза. И Катя почти готова встать, идти, служить, даже пытать: булавину под ноготь — слишком доверчиво и нежно гнется шея, а сзади, где фон провинциальной фотографии (колоннада и ландшафт), чует: хрустит, и жалобно влачится поломанное крыло.

— Нет, я его не знаю!

И, пользуясь сумятицей, быстро прячет карточку под блузку, где чекист неистовый тотчас же принимается за дело: вбивает гвоздики в замученную грудь.

Суматоха от Наума. Увидав фотографию Аша, загрохотал:

— Как же, как же! Каждый день его вижу. Не подозревал, что он палач и грешник, даже содействовал. Хитер злодей! Могу его доставить, куда прикажете.

И Катя:

— А я его убью. Вот хорошо!.. (Едва не хлопает в ладоши, как девочкой, когда сказали — вместо уроков в театр, на «Спящую красавицу».)

Но Высоков думает иначе: отнюдь не хорошо. Что Аш? Букашка! Эффект ничтожный, пожалуй, во французских газетах канальи даже не напечатают. Таких, как Аш,— тысячи. То ли дело Курбов. В «Matin» — статья. Номер «Известий» в черной раме. Поздравленья. И прочее. Нет, надо попытаться через Аша выследить Курбова. Науму директивы:

— Вот что: вы этого субъекта мирно и по-хорошему куда-нибудь зазовите, ну к себе, что ли. Припасите винца. И расспросите. Только толком. Обо всем. А станет отпираться: дверь на замок, к виску наганчик. Поняли? Вот вам на расходы и «собачка». Может быть, я сам загляну.

Наум трясется. Снова ревматизм? Нет, поздно! Сам вызвался. Судьба. Что ж, примет мученический конец. Сопричислен будет.

27

Счастливый соперник Андерматова, бывший тапер Иосиф Пескис стоял, как всегда, на Пречистенском бульваре и, чрезмерно вытянув гусачью, изъеденную ржавчиной веснушек шею, выводил тончайшим тенорочком:

За красу я получила первый приз,—
Все мужчины исполняют мой каприз.

Лицо его не выражало, впрочем, никакого счастья. А голос был столь печален, что молодые бабы, останавливаясь, тягостно вздыхали, думая: одни — о драчливых мужьях, другие — о том, что хлеб снова на три тысячи вздорожал: не жизнь — бурчанье. Бабки же, напротив, быстро семенили мимо, суеверно крестясь — пенье походило на нечто нечистое, хотя бы на вой кладбищенского ветра. Немудрено: Иосиф Пескис пел и думал о вещах скорее мрачных: вчера половина трухлявых брюк решительно ушла, легла в изнеможеньи на пол, и Зина, обе половины тщательно исследовав, заявила: починить нельзя, все расползается. Теперь беженцы приколоты двойной булавкой, но ясно норовят, трюк повторив, остаться на булавке. Дальше — хуже — Зина вздумала обзавестись еще одним ребенком. То есть вовсе не вздумала, просто так случилось, как и почему, сам Пескис не знает, он не доктор и не Бог: на всякого мудреца довольно простоты. Расходы экстраординарные, а денег, между прочим, вовсе нет. Прежде были балы и свадьбы: кадрили, вальсы, венгерки. Чистая прибыль за вечер — пять рублей и ужин. Теперь — бульвар. Мороз, дождь, пекло. Иосиф Пескис каждый день регулярно приходит, вытягивает шею и поет, поет все то же «за красу».

Сначала он пытался артистически перевоплощаться: стать гейшей и, подымая с земли кленовый лист, им, как веером, обмахивал веснушки. Но вскоре понял: безнадежно. Пел просто. Давали мелочь. Зина теперь тоже подрабатывала, по категории беременных «карточка А». Сынишка ел картошку, супруги же суп на картошке. Все это было хоть печально, но выносимо. Хуже — страх. Иосиф Пескис с младенчества боялся мира. Вселенная, а следовательно, и Москва, и комнатка в Николо-Песковском — походили на девственные леса, полные засад: огромных микробов, бомб, побоев, тюрьм, расстрелов. Когда полоскал рот (воды никогда не пил, а, глотая суп на картошке, утешался: он ведь кипяченый), чувствовал: заболевает холерой. Чесался, бок укусила: сыпняк. Пел: схватят, не дозволено. Шел: схватят — зачем? куда? откуда? Каждый человек ему казался чекистом, особенно если он

шагал уверенно: ясно — с мандатом! И часто гейша, обрывая свой кокетливый вой, при виде кожаного шлема или меховой ушастой шапки, стройной ланью кидалась по бульвару. Сейчас же Пескис пел и думал: даже убежать нельзя, стоит только расставить шире ноги, и половина брюк немедленно отвалится: улика, отыщут, засадят, напечатают в «Известиях»: «Иосиф Пескис». Ой!

«За красу я получила».

Братец Наум, от ужаса переживая смертельный зуд в желудке, но зная, ничего не поделаешь — назвался груздем и прочее, стойко приблизился к извергу Ашу, то есть к Иосифу Пескису, и, не дав ему допеть о первом призе, пробасил:

— Сын мой, следуй за мной!

Пескис задрожал, но скрыться не попытался — брюки, предательские брюки! Рысью он помчался рядом с огромной глыбой, шагавшей в Кривоарбатский. Навстречу им кидалась из палисадников, из двориков весна, в виде клейких веток, глянца луж, собачьих свадеб. Также — люди. Но никто не знал, что этот огромный оголтелый бык и трусящий рядом жалостный теленочек следуют на бойню, замирают оба от предсмертного томленья, прощаются с каждой лужей, с каждой сукой (кому же охота умирать?).

Час спустя, приступая ко второй бутылке, смертники пили на брудершафт. Наум сказал: «Хер» после «Иосиф Прекрасный», Пескис: «Эпидемия», «Певучий Дунай». Облобызались. Вошел кто-то третий, вовсе не веселый. Посидел с минуту, а после отозвал в переднюю Наума. Нервы хотя пузатого, но все же деликатного героя не выдержали, и, слушая угрюмое шпыняние Высокова: «Вы и-ди-от. Тот большой, высокий, а это карлик. Тому лет пятьдесят, если не больше, это мальчишка. И вообще никакого, слышите вы, ни-какого сходства. А деньги пропили?» — братец не сдержался, заплакал. Весь сразу замок и готов был, моля о снисхождении, замочить сухие известковые щеки Высокова, но тот, зловеще лязгнув дверной цепочкой, спасся. Оставалось выложить обиду этому лже-Ашу. Жиденок был кротчайший, и в глазах Наума, продолжавших лить щедро влагу, он с каждой рюмкой обрастал кудрявой белой шерсткой, превращаясь в пасхального барашка.

— Ты агнец.

Иосиф Пескис пролепетал:

— Мерси.

— Я перед тобой покаюсь. Заблуждался. Счел тебя за губителя, знаешь за кого? за главного чекиста.

Пескис подпрыгнул, икнул:

— Ой! Где чекист?

— Найдем, всех перебьем. Ты хотя и жид, а славный, можно прямо выразиться, симпатичный жид, должен сам понять — не до-

пустим такого поруганья. Нас знаешь сколько? Сто миллионов. И все «пятерки». Теперь считай: сто миллионов подели на пять.

Ничего не понимая, Пескис чуял: страшный счет, страшные статистики погибших от тифа или расстрелянных чекой, поэтому он считал чрезвычайно долго. Сто на пять вскоре разделил, в нулях же запутался. Наконец:

— Кажется, двадцать миллионов.

— Вот-вот! Двадцать миллионов «пятерок». Каждая «пятерка» убьет одного чекиста. Понял. Теперь считай — сколько всего мы перебьем?

Нет, Пескис считать больше не мог. Он бегал по комнатке, попытался открыть запертую дверь, у окошка погадал: второй этаж — может, прыгнуть, но изможденный свалился на сундук. Наум, наоборот, развеселился и, быстро совладав со второй, принялся за третью. Глаза саботировали. Исчезли и пух, и сам барашек, и вообще присутствие чего-либо живого. Белое сверкание, а в ушах идущий от сундучка мышиный писк. Послушав и подумав, Наум сообразил:

— Мышь, побойся творца всякой твари сущей, пей!

Иосиф Пескис водки никогда не пил, боялся тошноты, менингита и участка. Но сейчас он перешел пределы страха — все равно ведь! и рукой уже загробной он поднес к холодным губам посмертное питье. Кишки, облитые керосином, мигом вспыхнули. Даже губы накалились. В голове произошел полный подлог. Пескиса вынесли и похоронили. Сидел нахал, пил спирт, не боялся ни тифа, ни чекистов и даже поддакивал:

— Ровно двадцать миллионов. Смешно!

От Пескиса этот новорожденный субъект сохранил только одну, правда особенно интимную и никому, даже Зине, неизвестную страсть. А именно — бывший тапер, стоя на Пречистенском бульваре, в перерывах между двумя саморекламами гейши, любил исследовать различные слова, разлагая их на части и выявляя при этом скрытый мистицизм своей натуры. Так, например: «гей» — буйно, «ша» — тихо, гейша — умница, всюду проживет; «чек-ист»,— конечно, если иметь чек, особенно на американский банк, можно всегда откупиться, а если нет чека?.. «Бур-жуй» — жевал белый, ручку от калача, пеклеванный с изюмом, жуй бурый, мокрый, жуй — ком (отсюда продком — только там еще: продуться). Так вот развязный собутыльник Наума, выпив ровным счетом три рюмки, приступил к подобным увеселениям. Прежде всего он тявкнул:

— Наум, что тебе пришло на ум?

Братца Наума от этой нечистой игры чуть затошнило:

— На ум пришло, что ты крапленый лягушонок: бородавки сеешь, вот что!

Но лягушонок, не смущаясь, приблизился к шкапчику, в оном покопался, под огурцами и носками нашел пухленькую книжицу, вынул, раскрыл.

— «Книга Наума Елкосеянина». Другие пшеницу, то есть булки, я бородавки — мясо, а ты что? Елки сеешь? Так и запишем. Елки-палки. «Вянет Васан». Какой Васан? А вот какой: Всероссийская асбестовая антимония. Ты против? Против сана? На Лубянку! «Так и ты опьянеешь и скроешься». Куда? Не скрыться никуда. Пьян, эпидемия, как сто микробов! Бунтуешь против Аммона? Против Моно? Стремишься подсунуть народу опиум. Между прочим, здесь предсказана твоя судьба: «пожрет тебя огонь»: расстреляют из пушки — ядром в слепую кишку, «посечет тебя меч»: будут латыши котлетки делать, «поест тебя, как гусеница»: без соуса и мигом. Наум, Наум! пришло ли тебе на ум и что пришло?

Чем больше квакал и подпрыгивал на корточках этот лягушачий пророк, тем все страшнее становилось Науму. Он отступал, как полк, теряя пядь за пядью. Шея лиловела. Забился в угол. Здесь страшный враг, прикидывавшийся долго пасхальным агнцем и лишь в болотном виде обнаруживший интимность своих отношений с Сатаной, нанес ему последний удар. Высоко подпрыгнув, почти до потолка, и для торжественности, предварительно напялив на редкий пух полосатую каскетку, он выпалил:

— «В страх труса». «Пятикнижие». «Навечерие». «Пятерку» в Вечека. Предсказано. Ква-ква.

Это была победа. Ни о чем не думая, Наум ринулся к дверям. По лестнице. По Кривоарбатскому и дальше. По Арбату. Через мост. Ничего не замечал. На вокзале было темно. Но Наум нашел где-то на стенке, под декретами и под «Гудком», проталину: старое, старорежимное расписанье. Потом прокрался на платформу. Шел, балансируя, по рельсам, а дойдя до безжизненного, всеми брошенного паровоза, остановился. Стал упрашивать: «Сын мой! Понатужься! Вывези из этой окаянной Ниневии. Я тебе дам третий звонок!»

Губами фыркал: бум, бум, бум. Трепал ласково заржавленное брюхо. Но паровоз упирался. Тогда Наум в отчаянии подпрыгнул, проревел:

— Упорствуешь, Аммон? Хочу дальше. Бровары, Бобровицы, Бобрик-брр. Еще дальше. Нежин. Здесь. Круты, Плиски. Вкрутую и всмятку, по копейке за яичко. Любезный, понатужься?

На крик пришли. Еле сняли — отбивался и одному красноармейцу прокусил ухо. Братец Наум так пахнул, что всем стало завид-

но: винный погреб. Поругались, но все же препроводили в комиссариат.

Это — Наум. Но в комнатке на Кривоарбатском остался победитель. Иосиф Пескис вторично торжествовал: после красавца Андерматова он одолел и семипудового пророка. Но победы не означают счастья. Дальнейшее тому пример. Оставшись в одиночестве, дерзкий прорицатель сразу лопнул, в точности подтвердив слова Наума о лягушке. Лопнул явственно, воскрикнув при процессе: «Ой». Остался прежний Иосиф Пескис, с «гейшей», с улепетывающими брюками, а главное, с неистребимым страхом. Как и что случилось? Он попал в какие-то ужасные «пятерки». Убьют, двадцать миллионов. Хорошие шутки! Так просто возьмут себе и убьют. А он, Иосиф Пескис, если даже не убьет, все равно замешан, притянут, погиб.

Неизвестно, как он выбрался из дома пыток, как добрел до Театральной площади. Но утром, часов в девять, милиционер увидел в сквере чудного человека: на одной ноге имелись честь честью брюки, другая же, очень худая и волосатая, разгуливала нагишом. Человек выл дико: «Ой-ой!» Милиционер полюбопытствовал:

— Гражданин, вы что же того, и в беспорточном виде?..

Пескис, забывшись и на минуту приняв Театральную площадь за Пречистенский бульвар, деловито вытянул шею:

— «За красу я получила»...

Но тотчас же оборвал. Вспомнил ночь. Ясно — конец. Ущемив рукав милиционера, стал вопить и биться:

— Я же не виноват! Меня туда затащили! Дали водки. Я непьющий. У меня жена — Зина, сын Абрашенька и будет еще сын — Моня... по карточке беременных... Там такие ужасы! Двадцать миллионов «пятерок». Убивают всех чекистов. Какой-то пророк Наум, ужасно толстый. Я же не могу, товарищ! Вы поймите — я так боюсь!..

Иосифа Пескиса арестовали. Путь от Театральной до Лубянской был недалеким, но очень трудным путем. Какой-то парень в папахе, продававший зажигалки, шествие увидев, крикнул:

— Ведут!..

И от удовольствия даже неистово чирикнул колесиком машинки. Выпорхнули искры. Баба перекрестилась. Пескис больше не визжал. Услышав «Лубянка» — сгинул. Шли только ноги: одна обыкновенная, другая же как будто в назидание: нагим пришел, нагим и ухожу.

28

В глуби большого дома, среди винтов, спусков, тупиков, вымышленных новым Пиранези, сидят ноги Иосифа Пескиса. Ноги не могут думать. А Пескиса, который слишком много думал и, думая, пытался проникнуть в скрытый смысл различных слов,— такого больше нет. Давно исчез. Ноги смирно сидят. Одной надоедают появившиеся мухи. За стенкой май приносит чириканье, сирень, сюда же из всех весенних выдач доходят только докучливые мухи. Ноги сидят вглуби: в дверь направо, налево, лестницы, еще направо,— камера 17.

В том же доме — третий этаж с парадного, сидят, нет не сидят, а заседают Аш голубоглазый, красавец Андерматов и над клавишами «Ундервуда» от неизбывной неги размякшая Белорыбова. Апартаменты внутренние и внешние сообщаются. Два раза ноги Пескиса должны были спуститься и подняться, чтобы предстать пред мрачным Андерматовым. Ноги, как ногам и подобает, ничего не говорили. Но милиционер, арестовавший Пескиса, показал: проходимец лопотал о неких таинственных «пятерках». Поэтому все касавшееся неопределенных ног попало в чистенькую папку с наклейкой «Заговор в «Тараканьем Броду». Но тщетно Андерматов пытался расшевелить замлевшие, немые ноги, попеременно играя с «собачкой» браунинга и раскрывая окна на площадь, где в избытке обретались солнце, люди, голуби и прочие соблазны. Ноги, расставленные тупо, в тупых щиблетах, проявляли редкостное равнодушие.

Ноги находятся в камере 17. Ноги согласны умереть.

Андерматов же хочет жить. А жить как следует — ведь это значит мучить. После допросов, когда валяются в ногах, от ужаса икают, целуют полированные тщательно ногти, особенно приятны эти буколические радости: громкое вторжение солнца в комнату, барышня, прошедшая по улице, от того же солнца раскачивающаяся, как уточка. Мысль: хорошо бы и ее привлечь. Допросить. Отомстить за гнусное «кукареку». Ах, если бы наконец разыскать эту пакость Зинку!.. От одной надежды расцветает, как будто солнце, не довольствуясь стекляшками пенсне, вскочило внутрь и завертелось, где-то в самых Андерматовских глубинах.

Прерывает негу слоновий топот курьера, товарища Анфисы. Подает записку. Фамилья: Зинаида Пескис, по какому делу: арестован муж. Стоит ли?.. А впрочем, бабы все болтливы, во всяком случае, разговорчивей этих симулирующих ног. Можно попытаться. К тому же, верно, молоденькая, он гаркнет, она ручку, пальчик, ноготок оближет. Ну? а потом?.. Словом, пустить!

Андерматов сегодня нежен. Черный демонический усик греется на солнце. Глаза закрыл. Открывает, и сразу резкий пры-

жок к двери. Почти что леопард. В дверях — не сон под Новый год, но видение многих лет — живая, в шляпке, Зина, Зинка, изменница! Она — жена того прохвоста! Но быстро себя осаживает — не сразу, понемногу, ведь это, наконец, награда за усердье, за терпенье, за все.

— Гражданка Пескис? Зинаида?

Но «гражданка» ничего не отвечает: узнала. Понимает — конец. Раз он в чеке — прощай, Иосиф, прощай, сынок Абраша, жизнь, прощай.

— Если не ошибаюсь, мы знакомы? Кажется, встречались?

Шляпка от ужаса сползает. Вырываются космы волос. Огромный, бесповоротно выпяченный живот трясется. И наконец — два слова:

— Игнат!.. Прости!..

— Дура! Куш! У ног. Забыла? Я не Игнат — я Эльзевир. Владыка. Лижи ботинки!

Зина ложится покорно на пол. Шляпка отваливается. Андерматов, чуть улыбаясь, вынимает из бокового карманчика заветный листок «кукареку».

— Это помнишь?

— Эльзевир! Владыка! Простите!

Через минуту:

— Эльзевир, что с ним?

— С ним? С музыкантом поганым? Что захочу, то с ним и будет. А захочу... а захочу... на твоих глазах пристрелю... Сейчас я вызову его. И вместе... Поняла?.. Будете кричать «кукареку»...

— Но я ведь... (и в отчаянии хватается за свой живот, распираемый, весь в пламени, дольше невыносимый...)

Дальше ужасный вой. Зина бьется в корчах. За дверью скрип. Входит Аш тишайший. Лицо Андерматова тотчас же принимает глубоко деловое выражение. Выполнял тяжелую, но важную работу. Протягивает Ашу лист:

— Мне удалось добиться...

А Зина все кричит и бьется. Коленки подпрыгивают, как безголовые курицы. Уже нет лица — только эти исступленные колени, еще живот и крик. Но Аш не смотрит. Снятое молочко невинных глазок льется мимо, мимо Андерматова, мимо весны, куда-то в угол. Вероятно, там какая-нибудь дивная идея. Он кроток, очень кроток, кротче обычного. Отвечает Андерматову:

— Хорошо. Я вас только попрошу на минутку в мой кабинет.

Вошли. Аш рассеян. Аш что-то ищет. Вылезают ножницы, и Андерматов, не сдержавшись, улыбается: вот-вот сейчас «чик-чирикнет», и Зине конец. Нет, Аш искал не ножницы.

— Я слышал все.

Глазки все те же: колыбель, лазурь и тишина. Но Андерматов готов упасть под стол, как Зина, ползать, целовать ноготь, на все готов.

— Я... я...

— Да — вы.

От готовящегося взрыва слез, особенно катастрофического, ибо никогда в жизни не плакал, пенсне взлетает. В голове проскакивает «кукареку». Безумно жаль себя: уволят, еще, пожалуй, разоблачат, еще... Но даже пожалеть нельзя — поздно. Аш наставил револьвер, Аш стреляет. Впервые — раньше не приходилось, вот только жене грозил дуэльным пистолетом. И крик.

Нет Андерматова. «Кукареку», и жалость, и прочие дрянные мыслишки разлетелись, перепачкав розовые обои кабинета. Аш спокоен. Он не мог иначе — так хотела идея, суровая и нежная, стоявшая в углу на дозоре. Вытирает аккуратно — забрызганный чем-то скверным и липким очередной доклад.

А Зина все кричит. Над ней Анфиса. Аш понимает, если так кричат — нельзя работать. Встревоженный, спрашивает Анфису:

— Товарищ, как вы полагаете — она долго еще будет кричать?

— А кто ее знает... ведь рожает баба... напужали...

Это очень странно, сложно и нет на помощь какой-либо соответствующей идеи. Конечно, женщины рожают. Это так. Но, кажется, в больницах. При чем же тут чека? Но понимая в чем дело, Аш хочет действовать — хуже всего бездействие. Он даже суетится. Зину несут через площадку: в комнате двенадцатой — кровать.

Врач:

— Роды преждевременные, вряд ли удастся спасти.

Аш весь вечер сидит в коридорчике на табурете и слушает угрюмый, звериный вой.

Часам к двенадцати вопли понемногу расходятся, последний исчезает. Аш дремлет, видит он во сне нечто очень нежное: большая, монументальная мать, конечно, пролетарка, держит младенца. Венок из красных гвоздик. Просыпается от хныканья Анфисы. Уже светает.

— Родила?

— Кончилась. Да разве можно? Напужали...

На столе копошится нечто живое, красноватое, пискливое, как мыши ночью в кабинете. Аш очень осторожно мизинцем касается головки. От ужаса отдергивает руку: мягкое, вроде хлеба. Успокаивают — будет твердым, крепким. И долго Аш стоит над этим невиданным комочком. Две пары глаз, до крайности похожих друг на друга, встречаются. Аш согласен опоздать на заседанье. Аш страшно умилен. Аш, оглядываясь, чтобы не услыхали (все

же неловко, он — ответственный работник, заведующий отделом) — шепчет:

— Миленький!.. совсем сынишка...

Анфиса же с гордостью:

— Новый гражданин Ресефесер.

29

Когда причудница судьба, взяв доску, двух постояльцев стерла губкой, а третьего вписала, Курбова не было в строении Пиранези: пропадал на важных заседаниях, таская тоску по зелени столов, где затейливые параграфы резолюций и кусты окурков образовывают цветники.

Утром пришел, прошел к себе, сел. Испытывал легкое головокружение, отмирание рук — щипцов и скреп. Это было привкусом, оставшимся после свидания с Катей. Явно ослабел, стал как будто близоруким, то есть с каждым часом погружался в хлябь деталей. Интересовался уже не просто человеком, а придаточными — нос какой, как зажигает папироску, забавно скашивая глаз, как, покряхтывая, говорит, «музыку люблю», и прочим. Мир распылился, разложился: сделался огромной и никчемной лабораторией. Люди, а за людьми понятья теряли контуры, раскладывались на две, на шестнадцать, на сотни частиц. Ночью Курбову казалось: вселенная загромождена циклопической пылью, грандиозной ерундой. Под этим задыхался, тщетно ища какой-нибудь знакомой цельной формы. Вместо стройных кубов, пирамид, трапеций сновали холерные запятые, величиною в дом. Впервые многое заметил: залежи чужих, но все же правд, слабость, хрупкость, жалобность, всю земную золотушность. Оказывалось, люди идут не прямо, но скачками, вправо, влево, назад, плутают, залезают как тараканы в щели; годами барахтаются на спине, подрыгивая лапками; все вместе это называлось жизнью. Неужели он прежде жизни не замечал?

Сам чувствовал: тончает и мельчает. Вместо каменной громады — облако. А все от точки зрения, от деталей, от невозможности увидеть гору (справа возле камня репейник). Болезнь, подобная склерозу, его одолевала: сложность. Теперь всякое петитное соображение вертелось, показывая себя кокетливо со всех сторон: обожди, подумай, может быть, не так, сегодня — правда, завтра вздор, для тебя — добро, а для Ивана — пакость и дальше, дальше распространяясь до тома философии, до полного предельного бездействия.

Курбов старался это все преодолеть. Язвил себя: вот — вот! — хорош! — влюбился и раскис... Работал. Делал все, как прежде. Чужие ничего не замечали, кроме разве чрезмерной бледности, да иногда среди заседаний отчужденности (заседал только пиджак, а человек далеко был); последнее приписывали, впрочем, важным государственным заботам. Извне — все в порядке. Болезнь загонялась внутрь, и там внутри впервые вместо фигур валандались различные сомнения, похожие на рубенсовские гнусные туши.

Так и в это утро. Даже не мысли,— какая-то тяжелая, неотцеженная муть. Еще не принимался за работу, когда вошел товарищ Аш. Был он после бессонной ночи, вчерашних тягостных хлопот и душевного сближения с новым гражданином Ресефесер еще голубоглазей, еще бесплотней и, пожалуй, еще чудней. Сразу озадачил:

— Товарищ Курбов, вы должны меня арестовать. Я совершил преступление перед партией.

— Вы?

— Да. Вчера, около 7 часов вечера, я убил нашего сотрудника и члена Р.К.П. Андерматова. Поступить иначе я не мог.

Аш рассказал, как он работал, как раздались крики, не дававшие возможности работу продолжать. Пошел осведомиться. У двери услышал, остолбенел: Андерматов сводил свои личные счеты с какой-то женщиной, издевался над ней, над гражданкой, над женщиной, над матерью. Аш понял: устранить.

— Он осквернял достоинство партии. Это чистка...

(Так вот как звали дивную идею, стоявшую вчера в углу и кончившую андерматовские дни: «чистка партии».)

— Я знаю, что я поступил неправильно. Я должен был его арестовать. Заявить вам, в цека... Я проявил непозволительное самоуправство. Вы должны меня арестовать. Я сдам дела. Но я не мог иначе. Он позорил партию...

Курбов, взволнованный, встает. Высокий, сильный, прямой, как кол. Да это прежний Курбов! Вот лекарство от всяких сложностей: молочные щенячьи глазки и древнее железное «не могу иначе». И Курбов обнимает Аша, прикладывается к личику, похожему на смятый лист бумаги, целует. Выложить тома? Нет, он ожил, как будто вылечился, одно кидает, захватанное, замаранное в пыли всех главков, в сале всех Сухаревок и все же самое простое, самое торжественное слово:

— Товарищ!

После работал до трех. Хорошо работал. Разобрал все дело о польских шпионах (Высоков не всегда прогадывал: на этот раз удалось ему изрядно попакостить). Вышел: пора на заседание в Кремль. Возле Театральной площади в глаза вскочил плакат —

голубенький, пахший сухо — скошенными васильками и монпансье. Прочел:

«Дети — цветы жизни».

Как в детской сказке, эти цветы передвигались, продвигались навстречу, выстроенные парами, в одинаковых мешковатых, ужасно уродливых платьицах. Детский дом... В дугах ножек, в глянце голодном глаз, скачущих вдогонку бабе с пирожками, во всей картинной истонченности, прозрачности был знак: не просто дети — цветы вот этих лет. Цветут наперекор Высоковым, Антанте, незасеянной площади, испорченным локомотивам, наперекор всему. Вгляделся в последнего: бутуз, важно, непреклонно семенящий — не отстать. Ему бы булку. Но он доволен — в руке трепещет самодельный флажок. Не забава взрослых — игра, а значит, большое и ответственное дело. Подымая навстречу ветру флажок, мальчик вовсе не улыбается — суровое довольство. И Курбов видит: знакомые глаза, сегодня утром они сияли в чеке, прекрасные глаза. Да, Аш — дитя. Он тоже, как надпись на плакате,— цветок. А Курбов взрослый. Курбов знает. Нет, не вылечился: снова отовсюду выскакивают гнусные вьюны и пересмешники: вопросительные знаки, скобки, томительные многоточия. Нежной улыбкой проводив флажок, идет печальный, очень, очень одинокий.

Пасть Кремля с зубами часовых. Дальше тихо. Неподходящая, злая резиденция. Конечно, другие любуются: история, архитектура, купола и голуби, словом, идиллия. Курбов чувствует иное. Здесь накопилась вся ханжеская пакость, все лицемерное бесстыдство огромной степи с тремя кобылами и девятью царицами, которую звали Русью . . . .

. . . .

Заседание. Увидел всех.

Насмешливый слегка, простой, как шар (не это ли вожделенная фигура?). Слова расходятся спиралями. Точен — аппарат. Конденсированная воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем за книгами (или за кружкой бюргерского пива), а после в две недели ставший мифом, чье имя сводит равно с ума и пекинского кули, и джентльмена из Лидса, чуть испачканного угольной пылью.

Доморощенный Буонапарте, шахматный игрок и вождь степных орд, вышколенных, выстроенных под знаменем двадцати одного пункта некоей резолюции. Этот — треугольник.

Трапеция — почтенный в кашне. Как будто пьет чай вприкуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку m-r Эпфеля явно разбирает дрожь.

Молоденький, веселый. Идеальная прямая. Грызун — не по-

падись (впрочем, это только хороший аппетит, вместе со смехом всем передается). «Enfant terrible» — говорят обиженные в разных реквизированных и уплотненных, здесь же, очевидно: просто-напросто живой, не мощи: человек. (Таким был задуман и Курбов, если б не вмешалась жизнь.)

Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование, преданность и теплая, шершавая нежность: здесь свой, отсюда не уйду.

Тяжелое, неповоротливое заседание: не миноносец — баржа, перегруженная сводками, отчетами, цифрами. Голод. Редеющие города. Деревня, послушная и неприступная, ожидающая еще подачки: коммуны не хотим, а, впрочем, все— большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит...

Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое эпическое напряжение: об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота — шепот только: изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цинготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все же не предает. Даже в этой болезненности — великий миф. Кабацкая земля с мошной (по карману — звяк), с половыми и Стешами, с мадамами Жюльет из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над Сомовской маркизой, а между вздохами обмазывающей рожу человека «соусом бордэлез» — эта земля, «избранная Богом», обхарканная посему духовными и светскими персонами — стала просторной, голой, суровой, с коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому не нужные бумажки. Кто забудет эти годы: девятнадцатый, двадцатый?.. Теперь — перелом. Значит...

А Запад? А всемирная?.. И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато с звездою: если надо, сейчас же умрет. (Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку.) А дальше — дальше огни, бутылки: жизнь. Почти как прежде. Европа раскачивается в фокс-троте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктейли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа: имя — «доллар», на платье портрет благообразного янки, может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир, на то он доллар. Где-то в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены, в бараках Круппом зацелованной Пикардии рабочие вымирают, просто, без мифа, без коминтерна, без звезды — так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокс-тротская чечетка: вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. Еще в сторонке сто социалистов деловито раскалываются, критикуют «пагубную тактику России» и обещают — когда-нибудь, конечно... но теперь? Теперь нельзя. Да, конечно! Когда-нибудь

вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся, дикий скрип раздираемых, крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них громадные Кронштадты, Сена — Темза — Шпрее,— ничуть не хуже наших Моек и Фонтанок, все придет... Теперь же?.. «Теперь нельзя». Значит...

Так от докладов, сводок, речей и от счетов и выкладок родился пухлый младенец с отменно старческим лицом. Сразу — в люльке рвался к аршину, требовал вина и лихача, хлопал о голенькую грудку, предчувствуя ее взбухание, в виде солидного бумажника. Был он всем ужасно мерзок. Составляли гороскоп (хотелось верить — не жилец). Окрестили: «Нэпо» (впрочем, имя было слишком итальянским, следовательно, романтическим, и вундеркинд, через месяц войдя в года, «о» выкинул).

Курбов, присутствуя при этих нерадостных родах, понимал: так надо. Не спорил. Только слышал под окнами глухо кудахтанье тех самых, что ужасно хотели жить. Нет, не свернули шеек... Не успели... Отводят место: до сих пор, не дальше. До сих пор цыплячий рай, а дальше суровая работа. Цыплята же бойкачи, им не очень страшно.

Имя «Нэп» уже летело к Эйфелевой, и башня, хихикая, тряслась. Кадык гадал: может, бросить Высокова (столько денег ухлопали — все зря), стать полуангличанином и вырвать какую-нибудь жирненькую концессию? А князь Саб-Бабакин, писатель и председатель, уж волочил к вокзалу свои свисающие щеки — пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к святой рязанской и калужской. Зачем же ползать по подстилке «Монико»? Предвидятся ковры полегче, попушистей. Строчил наспех манифест: «Я, князь Саб-Бабакин, того... слегка заблуждался. Большевики, оказывается, русские — рязанские, калужские...» Дальше ничего не выходило, все равно — кого-нибудь попросит дописать. Главное — не опоздать бы.

И ближе в уплотненных, реквизированных цыплята, недорезанные, смиренно продышавшие три года в вате мандатов, суетились: скоро даже биржу откроют, вот как!

Курбов это слышал, и было очень, очень тяжело. Да, да, конечно!.. Государственные тресты. Монополия внешней торговли. Цыплят не слишком распускать. А после? — после «всемирная» и прочее. Если бы он был прежним Курбовым или веселым грызуном — на этом точка. Дальше — работать. Пусть еще труднее, пусть тысячи опасностей — не привыкать. Ну, нэп, уступка, отступление — разве мы не отступали до Волги, до Смоленска, до Орла, чтобы снова побеждать? Но Курбов был уже другим, погибшим, не воля — нудное раздумье. И, оглядев зеленый стол, милых, верных до конца людей, папки бумаг, он выудил иное. Цыпленок

рос ежесекундно — под перышками обозначилось Власовское брюхо, на желтом клюве — пенсне Глубокова. Раскрыв свой нежный пасхальный христианский ротик, он проглотил вот этих, и шар, и треугольник, и идеальную прямую, всех, не подавился ни папками, ни пишущей машинкой, ни «всемирной». Брр! Какая пакость!.. И Курбов, подбежав к графину, вплеснул в себя стакан воды. Робко прошмыгнула мысль: может, это чисто физическое, от переутомленья, тогда взять отпуск... Мигом цыкнул: в такое время, когда особенно нужны работники. Нет, никогда! Просто — строго смотреть за собой, зарыться в дело с головой, совсем.

Когда он вышел, было девять вечера. На счастье Кремль, проглоченный темнотой, отсутствовал. Появились укрепляющие звезды. Путь древний — с детских лет. Что нэп? Что отступление? Что Катя и любовь? Есть безошибочные исчисления. Подняв воротник, шагал: сухо, отчетливо, как стук машинки. Прошел ворота. И вдруг навстречу дико ринулись две звезды. Оказались не на небе, на лице, под грузом бровей. Неистовствовали. Слепили. Это была Катя.

30

Все произошло совершенно случайно. Но обоим показалось неизбежным. Катя шла к подруге на Ленивку, за книжкой. Встала стеной его спина сухая, замкнули путь углы плеч. Все прежние сомнения ей показались излишеством, глупым и стыдным. Одно — догнать его, быть с ним. Чекист? И пусть! Ведь можно полюбить совсем чужого, например магометанина или разбойника. Это у него профессия, то есть нечто внешнее (даже не белье — костюм), для женщины неинтересное. Под пиджаком, под рубашкой простая грудь, как у всех. Нет, вовсе не такая — единственная, любимая! И кинулась к нему.

Вначале молчали. Молча постояли, молча пошли, не разбираясь куда. Оказался сад, хотя замызганный, но все же весенний, обдающий влажной теплотой земляного тела. Скамейка. Без уговору сели. И сразу заговорили, как добрые знакомые, просто, по-каждодневному:

— Вот хорошо, что мы встретились... Я шла к подруге. А вы где были?

— В Кремле, на заседаньи.

Катя — вторая, спиридоновская, высоковская, та, что в «пятерке», на минуту насторожилась, ощетинилась: конечно... чекист... может, и меня выслеживает... надо быть с ним осторожней... Но было в саду тепло, и от земли и от Курбова шло густое

приторное наважденье: его вдохнув, Катя — вторая, с идеологией, задохнулась. Осталась просто Катя, и эта ласково спросила:

— Что ж там было?

Курбов стал доверчиво рассказывать, как старому товарищу, какие все они чудесные — шары и треугольники. Рассказывая, увлекся, вскочил и с нежностью, столь неожиданной в этом сухом точеном теле, зашептал:

— Ведь он больной... измученный... простреленный... а как работает...

И Катя заражалась. Кажется, она уже любила этих колючих, занозливых, чужих людей. В теплом тумане Кремль, Совнарком, Николай, все становилось слитым мифом, огромной рощей прекрасных, сероглазых, распятых, точащих (в рифму) кровь и любовь, древним полувизантийским гнездом, где грохоты воскрылий не демона, но целой стаи демонов. И Катя вслух сказала:

— Они хорошие...

Так был положен мост наспех, без свай и без быков. Был он необходим. Никто не требовал устойчивости, логики, обоснований. Пусть через час провалится. Сейчас можно ступить. Ступить же необходимо: слишком долго ждали, слишком много — целые ушаты тепла и горя вылила на них весна, слишком лепка любовь. Так были перепрыгнуты в одну минуту сомнения, стены, громады, арараты сомнений, нагроможденные в течение недель, если не лет — «пятерка», чека и прочее, чтобы просто очутиться двум влюбленным в залузганном Александровском саду, без чисел, без Христа, совсем обыкновенным. Это было, конечно, чудом и конечно же самым будничным житейским делом. Это напоминало «жизнь».

Вмешались в дело руки. Уже не отскакивали друг от друга, как в «Тараканьем» — касаясь — сливались, сливаясь — срастались. Звуки и цвета услужливо приспособлялись к древней теме. Бой башенных часов, взрыв листвы от налетевшего внезапно ветра и меланхоличный припев папиросника: вот «Ира», «Ира», «Ира» — звучали иволгами и придыханьем волн, то подымаясь до грома с рассеченными тучами — скальдами, изливающими вместо крови звонкий огонь, то сбиваясь на драже какого-нибудь Верди. Вместо махорочной едкой гари кислый запах травы, растертой в руке, и пряных медовых левкоев. Вся скамейка, полуразвалившаяся, без спинки, с огромными щелями, была готова стать лодкой, зазвенеть отсутствовавшей, впрочем, цепью и уплыть. В лодке двое. И разве могло быть иначе, не так, как во всех лодках мира, когда звенят иволги и кисло пахнет трава? Конечно, не могло. И чья голова первая пригнулась, налитая густой пудовой страстью? Неизвестно. Безразлично. Обе вместе. Так случился по-

целуй. Когда-нибудь он должен был случиться. Мостик оказал услугу, оправдал себя. Безо всякой муки, просто, чисто, даря свой застоявшийся жар, они поцеловались. Это было в среду, в десять с четвертью (последнее отметили угодливо кремлевские часы).

Засим — перерыв. Мост захотели укрепить. Искали материала: ощупью, вслепую, ни о чем не помышляя, доверившись всецело тому звериному и мудрому, что вот сейчас, минуя рифы, как самый зоркий лоцман, губы привело к губам.

Снова заговорил Николай. По своим следам назад от Кремля до Лубянки. Когда он шел, случилось что-то очень важное. Но что? Да, дети!.. Значит, о них. О дымной сибирской избе, где угостили кислым молоком с плававшими мухами, где было как в сотнях тысяч изб, и где случилось чудо — палец сосал, сам крохотный так бередил, замучил, запомнился на жизнь. Как они глаза таращат на пуговицу, вот эту... Как тянутся ручонками: достать. Сегодняшний был с красным флагом. Не правда ли, вот так, вот с ними, ради них жить стоит: сидеть на заседаниях, приговаривать к «высшей мере», заслонившись синей папкой, планом будущего века, от этого майского дурманного тепла (иначе не выходит: май хочет, чтобы всех поцеловал, ему же нужно устранять).

— Если сказать правду, кого я люблю, только ребят...

И после обоюдные терзания: он — неужели? а партию? а число? Катя — он так сказал после всего, что было, после того, как губы говорили совсем иное — значит, не меня.

Но мост выдержал всю тяжесть недомолвки. Курбов снова заговорил.

— Вы знаете — сейчас мне страшно захотелось...

Нет, не договорил. Стыдливый и суровый, никак не мог договорить. Последнее слово, самое важное и тяжелое, застряло в утробе. Но Катя его опознала: «сына». Ведь это слово копошилось и в ней. Ах, это отнюдь не литература, не разговоры о «таинстве материнства», даже не мысль — себя продлить: смутная необходимость, темный сосущий голод. Как лечь или закрыть глаза. Предельная потребность синей и летучей, столь легкой, что мечется по свету от «пятерки» до восторгов перед гнездом Кремля, вот этой вздорной и задорной — наконец, потяжелеть. Узнать долгое прозябанье, простейшие законы: выносить, родить, откормить. Явилось это сразу, раньше и не думала. Пришло от теплого тумана, от теплоты большого, крепко сколоченного тела — рядом, в лодке, на скамье. И не глядя и не слыша, касаясь лбом его плеча, Катя призналась:

— Да... от тебя...

Лодка плыла. Плечо почувствовало всю сухость и нежность

лба. Николай, укачиваемый, знал: подходит. Раньше были: дети. Почти символ. Когда сказал ей о том, что хочет, эти безликие сгустились в одного, в своего, в собственного, в сына. Теперь же сын смешался с нежным грузом на плече, с мятной горечью разжатых губ, с синим буйством, с единственной, с любимой. Да, только от нее! Это совсем не походило на мысль о «цветах жизни», о новом веке, нет, тысячеверстый простор исчез, мир сузился до щели. Трудно дышать, но в этой щели — счастье. Сюда входили долгие ночи с мятой, с сухим чугунным жаром, звериное, ощеренное: только я, только мое, радость — я ей дал, несет мое, и после новое, в чем дико, дивно слиты он — Николай, его глаза, ее глаза — сплав, амальгама и в нежном тельце какие-то таинственные припоминания всех ночей: мой, наш. Да, это счастье.

Дальше показалась жизнь того, другого. Если Курбов не мог, сломался, если не смогут эти, за стеной, в Кремле — он будет, он продолжит. Курбов переживал довольство продления, рост веток. Корни сладко ныли. Лабазник Павлов думает — вот будет сын, Ванюша, дело возьмет, не пропадет все даром (все — то есть лабаз и дедова конторка). Так же Курбов: продолжит; стройный рой, организация, зеленое и праздничное насаждение, на перекопанной глубоко земле, чудных фигур. И Кате, показывая рукой в ночь, туда, где за двойной цепью зубов — зубов Кремля, зубастых курсантов — еще сидели шар, треугольник, прочие:

— Он будет таким же!..

Здесь мост, не выдержав, заскрипел. Сам Курбов усомнился. Ну, хорошо, весна, любовь, природа, иметь ребенка и так далее. Но почему же от нее, от такой чужой и чуждой, пусть милой, но все-таки враждебной? Чтобы научился кликушествовать, биться под образами? Чтобы вырос еще один эстетический террорист, в стиле Высокова. Ведь встречал немало женщин, хороших, славных, всячески пригодных — своих, любивших его дело, его жизнь — почему же не от них, от этой — как понять такое? Неужели он — разумный, конструктивный человек — тоже только «вареный и жареный цыпленок»? Где же тогда высокая безошибочность его расчетов? Уравнение нарушено. Притом одно не заменено другим. Курбов, мирно целовавший какую-то девушку в Александровском саду, не способен занять место члена Р. К. П. Но член — он также давно с пробоиной. Снова в итоге опустошающее столкновение. Не только мост скрипел — скрипел, сжав зубы, Курбов. Тонула лодка. С нею тонул и человек.

В Кате фраза Николая помогла родиться, вернее, подняться, от груди к голове, давно барахтавшемуся чувству — ревновала. Это началось, когда он заговорил о заседаньи, но тогда нахлынь нежности осилила. Теперь же было охлажденье, то есть между

лбом и плечом щель с внезапным ветром. Обрадовавшись случаю, ревность выпрыгнула, выпустила свои кошачьи когти. Даже теперь об этом думает... Он любит не меня, а это... это... Имя все равно. Что из этого, если вместо соперницы, с лицом и с грудью, нечто большое и сложное, нагроможденье рук, слов и новых этажей — город, мир. Ее ведь туда не пустят. Ревновала к революции, к каким-то числам и фигурам, к партии.

Через пять минут, кормясь наставшей тишиной и потемневшими от всяческих сомнений глазами Николая, ревность обжилась. Как любая ревность, она потребовала у Кати точных данных, деталей, цвета волос, которые можно, хотя бы в мыслях, вырвать, оттенка глаз, чтобы мечтать: подойду и выцарапаю. Катя отвечала: партия (это было все же конкретней чисел). И партия стала женщиной. Катя прежде всего ее язвительно высмеяла: такая смеет тягаться! вульгарная (даже точнее: вульгарное лицо с плаката «Росты»). Потом обида: со мной минута, объедки, после нее — ведь к ней ходил на заседание — и то случайно встретились. Наконец, отчаяние: нет, ничего не будет, ни любви, ни сына — он и теперь, когда Катя раскрылась, когда девушка, все переступив, сказала стыдное и страшное, он и теперь о той подумал, он хочет сына от нее. Кате надо уйти к себе домой, на Спиридоновку... И ревность, довольная удачей, добавляла: в «пятерку» ибо ревность хотела мстить.

Все это было молча, про себя. Вслух — ни слова. На мост ни Курбов, ни Катя ступать не решились. Признаться же — провалился — не могли, как перечеркнуть вот этот час (или два? или три?), быть может, самый важный? Оставалось молчать, Курбову ворочать кули своих вопросов — «почему? как же?», Кате кормить собою злую советчицу. Так и было. Еще час (или два? или три?).

Встреча кончилась так же случайно, как началась. К скамейке прокрался какой-то субъект. Остановился. Помялся. Спросил:

— Товарищ, дозвольте узнать, сколько сейчас времени будет?

Катя машинально подумала: ведь это тот босяк, что приходил с Игнатовым. Как его?.. Да, Пелагея! Но сразу о нем забыла. Курбов же вздрогнул. Тонущая лодка оказалась поломанной скамейкой. Взглянув на часы, ответил:

— Тридцать пять минут первого...

Встал, взял Катю за руку:

— Ну, мне пора домой... уж поздно... завтра надо рано вставать...

После всего это было невыносимо обыкновенным. Могло означать все и ничего не означать. Полная неопределенность. Шли по Воздвиженке — Николай провожал Катю. Вот уже и Спири-

доновка — ни слова. Встреча, полная чудовищных признаний, пенья иволог и растравы единственного поцелуя, кончалась томительным ничем. Что же дальше? Кто победил: те, первые часы или сказавшаяся напоследок разность?.. Неизвестно. Партия между волей и любовью кончилась вничью. Неужели завтра начинать сначала?.. Все исходы казались правдоподобными. Николай мог бы через неделю-другую жениться на Кате, иметь сына, даже, с годами, многих сыновей. Мог также завтра утром подписать ордер: Екатерину Алексеевну Чувашеву — арестовать. Мог еще, пренебрегая партийной дисциплиной, убежать с нею в Австралию. Словом, сотни различных возможностей. Пока — молчали. Шли быстро и остановились сразу у подъезда, дружно откинувшись назад, как паровоз.

Стали прощаться. И все.

Лубянка. Завтра с утра допросить этих шпионов.

«Пятерка». Шла за книжкой на Ленивку, придется завтра пойти. А вечер? А скамейка? Ну, что ж...

— Прощайте.

Уж дверь толкнув, Катя все же не выдержала. Откинув советчицу, она сказала тихо, ласково:

— Николай, когда мы увидимся снова?..

Он хотел было ответить: зачем? Так уж мысли шли, правильно, по рельсам. Но ласковость, но широта разлива, почти захлебыванье в слове «Николай» произвели крушенье.

— Когда хотите. Завтра я не могу: весь день заседанья.

Ах, так! Завтра с ней. Советчица быстро показала остренькую мордочку — я здесь.

— Когда же вы свободны?

— Хотите в пятницу?

Если бы сразу предложил: конечно, да. Теперь же знает, завтра он с другой. А в пятницу придет Высоков. (Той, с когтями и с остренькой мордочкой, очень хотелось, чтобы Высоков пришел, хотя сама еще не знала, зачем он.)

— В пятницу я занята.

— Ну, тогда в субботу.

Хорошо. В субботу. Где? Курбов предложил: он придет к Кате. Если неудобно, пусть Катя к нему придет. Но недаром она выросла в душной спаленке с запахом камфары, со смуглыми иконами, недаром годами билась, причитала бабой: и здесь нашелся чудной, юродствующий изворот:

— Нет. Приходите в «Тараканий».

— Но там ведь мерзко...

Катя настаивала: обязательно туда. Там встретила его. Простая, еще ничем не тронутая радость — первый вечер: встреча, кар-

точная башенка. И тот, второй: сначала оскорбленья «тараканщиков», потом одна минута блаженства: пришел, и обухом по голове — чекист. Там развернулся весь недлинный, но запутанный роман. (Сад и зеленый запах на руке являлись исключеньем.) И Катя полюбила гнусную трущобу. Предчувствуя: суббота будет важной, может, самой важной,— хотела там встретиться, только там.

— Что ж. Хорошо. Пусть в «Тараканьем»...

Было по-прежнему тепло, туманно. С пустой, стеклянной, легчайшей головой, ни о чем не думая, Николай шел к себе. Раздеваясь, впрочем, подумал: завести часы. А остальное?.. Остальное — завтра.

31

Катя встретилась с Курбовым в среду. Собрание «пятерки» было назначено на пятницу, в семь вечера. Но не было еще шести, когда в щель двери нырнула голова Высокова. Катя откровенно испугалась. Она всегда его боялась, особенно когда он усмехался очень невесело: «Ну что ж, устраним...» Но после вчерашней встречи с Николаем этот смутный страх оделся мясом, имя получил, приобрел нечто от кудахтанья наседки с выводком, которая чует сужающиеся круги ястреба. Если б заслонить его. Знала — невозможно. Ведь она сама лишь камешек в высоковской руке, рыжей, волосатой. Разрешалось только плакать.

Порой Катя вспоминала все свои обиды: его любовь к другой, далекой, сделанной из палочек и цифр, невозможность просто взять за руку, остаться вместе всю жизнь, поехать куда-нибудь, хотя бы в Сокольники, и собирать землянику, а тревога становилась сладкой на вкус. Глаза Высокова, носившие в своей серой свинцовой массе очередной некролог, тогда сулили избавление. О том, что дни идут, что, может быть, сегодня или завтра ей придется убить Курбова,— Катя вовсе не думала. Вероятно подумав и додумав до конца, то есть до крови на милом выпуклом виске, сказала бы: нет, не хочу! Не думая же, знала: невозможно. Это общее: было вчера, будет завтра, расплывчатое и привычное. (Настанет и пойдет. Скажут: «стреляй», и выстрелит). Думала же Катя эти дни о весьма конкретном: в субботу увидятся. Возможно, после этого конец, то есть будут молчать, как позавчера. Молчанье же, еще не выслуженное общим горем, томило: заливало оловом горло, било неистово молотом с плаката в виски. А может — счастье; рука в руке, теплая земля, земляника, лукаво припрятавшаяся среди лапчатых листьев ночи, сын. Веря — так может быть — и земляника и сын,— Катя все же не вырывалась из злобного спиридоновского логова, где, вместо икон, в углу

давно стояли дикие, остановившиеся, как часы, глаза Высокова.

В ней как-то необъяснимо сочетались несосветимые миры: револьвер, хранившийся в сундучке, и годы вместе, «пятерка» и ребенок. Это объяснялось тем, что Катя, много думая, не умела вовсе думать. Ее мысли, лишенные пропорций и строя, образовывали какой-то несуразный и вместе с тем строго замкнутый хаос, где инфузории ступали мамонтами, где гиганты тысячами поскрипывали под ногами (песок), где солнце еще сильнее разжигало рой звезд. От мыслей таких срастались веки, спину ломило, наступало одурение.

Из длительного полусна (ноги поджав под себя, в углу), напоминавшего, пожалуй, быт с уютцем засидевшихся смертников, Катю вывел приход Высокова. Все сразу прояснилось. И в Кате запрыгала синеглазая девчонка: просто страшно. Был он на этот раз особенно угрюмым, особенно тяжелые спадали фиолетовые веки, здороваясь особенно, рыжая рука схватила Катину и по-щучьи проглотила. Все говорило о пятом акте. Сын опал. «Пятерка», вылезшая из белесых окон, вступала в права, готовилась поставить точку.

Высоков и вправду был сегодня необычайно уныл. Причины имелись в изобильи. Предприятие с похищением Аша кончилось печальным, но и скандальным фарсом. Ко всему, этот болван Наум исчез. Должно быть, спьяна икая, между прочим, проболтался. Катя должна сегодня же искать ночевку: духовный кобель общителен, а когда чекисты пузо чуть пощекочут, все сразу Ашу выложит на стол. Дальше: один из агентов Высокова сообщил, что в чеке сидит какой-то уличный певец по делу о «заговоре в «Тараканьем Броду». Совсем плохо. Еще: из Парижа приехал курьер. Делишки — дрянь. Колеблются. Съездить бы туда и выплюнуть статейку о грозном разложении благородной эмиграции. Саб-Бабакин, несмотря на телосложение, колышется, как тростинка, а это скверный признак: такое брюхо — барометр. Кадык отвиливает. Граф из посольства и француз (почти — социалист) умоляют Высокова: как можно скорее, несколько эффектных выступлений. По меньшей мере, солидное восстание на окраине и пара террористических актов. Необходимо, чтобы настроение поднять и меняющих стадами вехи (или чеки) немного озадачить: не так спешите, господа!.. Насчет восстания позаботится. Достал такую командировку — не лист бумаги, панцирь — через неделю — в Самарканд. С актами сложнее. Наладил вторую «пятерку» — засыпались ребята. С этой ерунда. Хуже всего, что наша милая Юдифь вызывает сильнейшие опасения. Здесь центральный пункт угрюмости Высокова. Сомнения достаточно обоснованы. Разуверившись в Науме, Высоков решил пойти на мировую с Пелагеей.

Ледяное сердце «тараканщика» он согрел десятком золотых. Сегодня утром Пелагея сообщил Высокову нечто потрясающее, почти неправдоподобное: в среду Катя сидела с Курбовым в Александровском саду. Роман. Счастливые влюбленные как ни в чем не бывало нежно ворковали. Что же это? Может, Катя — провокатор, сотрудница чеки? Но Высокова не так легко провести: старый воробей, на провокаторов особый нюх, гордится, Бурцеву даст сто очков. Для этого девчонка слишком глупа. Значит, знакомое явление: бомба под юбкой. Высоков никогда не верил в политические убеждения женщин. Подбирая террористок, усмехался: половая истерия, впрочем, надо использовать. Катя, без сомнения, также истеричка. Беда в том, что, по описанию Пелагеи, не только она влюблена по уши в этого негодяя, но и он — хорош марксист! (ах, дайте Высокову газету — он разоблачит!) — тоже неравнодушен. Дело пахнет семейной буколикой, отнюдь не актом...

Все это взвесив, Высоков был крайне зол. Но все же решил без боя позиций не сдавать: потребовать, пригрозить и психологию тоже подпустить. Для этого пришел раньше условленного часа: по душам, наедине.

Начал с дипломатии:

— Новости слыхали? В чеке совсем чудовищные вещи. Курбов арестовал свою бывшую любовницу и ее мужа. Пытал ножницами. Шомполом бил. Женщина была в интересном положении. Преждевременные роды. Умерла, несчастная.

Говоря, врывался взглядом. Катя слушала рассеянно, почти что безразлично. Вместо слез отчаяния или дикой защиты Курбова она лишь обронила ничего не значащее:

— Да?

Высоков разъярился:

— Представьте себе. Самолично. А младенца он задушил.

Здесь Катя слегка оживилась. Брови взлетели. Впрочем, сдержавшись, отгородилась:

— Это неправда. Вы лжете.

Пелагея недаром слопал золотые: подтверждение. Идиотка — влюблена! Через неделю в Самарканд, и ничего не выйдет! Высоков издавал какие-то притушенные яростные звуки: тк, тк. Наконец привел себя в порядок. Надо попытаться применить все меры.

— Вы знакомы с Курбовым?

— Да.

Высоков должен был призвать на помощь присущие ему различные добродетели, как-то: терпение, сдержанность, самоотверженную преданность идее, чтобы не вскочить, не плюнуть, не ударить эту пакостную овечку. Просто «да»! Как будто — «знакомы

ли вы с Иван Иванычем!» До чего невинность бывает наглой! Хоть бы смутилась. Здесь бесполезно убеждать. Единственное — выволочь угрозы: клятва «братства», нарушение и прочее. Кровавая расправа.

Высоков, вместе с портсигаром, вынул браунинг, как будто невзначай.

— Екатерина Алексеевна! Вы вошли в «пятерку», ознакомившись с уставом «братства» и, если память мне не изменяет, сами предложили убить чекиста Курбова...

Катя с минуту помолчала: вот и пришло... Значит — неизбежно.

— Я завтра его увижу. Я сделаю все, что надо. А револьвер спрячьте — вы мне уже дали один.

Высоков, ошеломленный, быстро изрезал комнату острыми шажками. Он считал себя тончайшим психологом, был убежден, что Катю видит насквозь: девчонка. Но здесь настало полное непониманье. Провокация? Вряд ли. Испугалась? Но он ведь даже не успел потребовать, не то чтобы пригрозить. Сидит какая-то будничная, может сейчас чайник на печку поставить, черт побери! Глаза Высокова, разбиравшиеся, как в брелочках своих часов, во всех трагедиях истории, готовые разложить детально, расписать все мученическое благородство Каина или Иуды, заблудились в этих васильковых, ситцевых глазенках. Долго он шагал и молча чертыхался: этой сосредоточенной работе помешал бас мармеладный Игнатова:

— Дружище! Как дела?

Фамильярничает балбес! А теперь что скажешь?

— Завтра выступление «пятерки». Вы должны быть на своем посту.

Посоветовавшись с Катей, точно указал:

— В половине восьмого вы зайдете за Екатериной Алексеевной и с ней направитесь в известный вам «Тараканий Брод».

Игнатов не ответил. Он только тяжело закряхтел, как старый диван, на который сразу опустились почтенные пуды. Завтра ведь суббота, Людмила Афанасьевна освобождается в четыре, обещала приготовить блинчики со свежим клубничным вареньем. Да и она сама, становясь с каждым днем все гуще, все слаще, могла легко затмить любое, даже довоенное варенье. Возможно — арестуют, спустят в подвал, снимут сапоги — и крышка. Ужасно щекотливое положение. В особенности теперь, когда белорыбовская температура, наркомпросовский паек и нежная любовь почти что заменили Игнатову жандармское управление на Малой Никитской. Но что же делать? Отказаться невозможно: звание, честь, престолонаследник. Следовательно, одно: кряхтеть.

Ушел Высоков успокоенный, даже веселый. Насвистывал изученный в Берлине, проездом, сладенький бостон. На ночевке, предварительно поиздевавшись тщательно над какой-то вдовой попадьей, преданной идее «братства», но ужасно неуклюжей, сел в шелковом парижском трико писать некролог, первый черновик. Подумав, вывел на бумаге число, значительное для многих, и зажмурился — цифры пахли пресно и тяжело, как в мясной, где с белых, облупленных полок каплет дивный аромат:

— «28-го мая пал тиран Николай Курбов».

32

Бывший будуар княгини Дудуковой был загроможден ароматом бакалеи. Хоть не пробили стенные еще шести, в нем уже настоялась густая пахучая ночь. Глаз еле различал предметы, нос же, предаваясь пиршеству запахов, мог свободно уверовать, что здесь большая гастрономическая лавка. Блинчики старательная Людмила Афанасьевна обсыпала ванильным порошком, и дух его остался. Также дух клубники, свиного сала, цедры, гари. К этому широчайшая княжеская кровать, спинка коей была украшена лебедем, щекочущим бабищу в теле, подливала запах пота и пудры. На ней, как на прилавке бакалейной и гастрономической торговли былых времен, возлежали две рыбы: белорыбица и сиг, лоснящиеся, белые, обещая закусывающим прокурорам блаженство балычка. Были это Игнатов и Людмила Афанасьевна, пережившие все блинчики, все ласки и тихо отдыхавшие, вперившие свои остановившиеся мутные глаза в пространство, где пролетали ароматы, порой показывая лик: ваниль простоволосую с стрючками, золото лимонов над синевой Мессины и прочее. Рыбы дружно, в такт, дышали.

Тогда пробило шесть. Каждый удар Игнатову звучал, как бой кремлевских колоколен, встречающих наследника на белом. Себе промолвил: князь Пожарский, встань! Встать было нелегко, еле-еле оторвав от белорыбицы свое мужественное тело, сиг приподнялся. Людмила Афанасьевна, не размышляя о причинах, обхватила его крепко и повалила назад, на широчайшую, так страстно задышав при этом, что Игнатов надолго был лишен возможности слушать голос часов.

— Милый, еще!

А пробило уже семь. Игнатов стал томиться, вздыхать, пытаться вынырнуть из-под одеяла. (Так некогда, еще в холодных водах плавая, почуяв сеть, барахтался прообраз — сиг.)

— Пузанчик, что с тобой?..

— Должен все тебе открыть. Тверд, как древний муж. И ты

мужайся. Сегодня совершится. Большевикам скоро каюк. Может быть, я погибну. Утешься сознанием. Будешь фрейлиной при дворе. А я... а я...

И сахарный басок, еще особо услащенный клубничным вареньем и предсмертной нежностью, заколыхался, расплылся, едва-едва докончил:

— А я пришел с тобой проститься. Навеки. Милая, любовь моя, прощай!

Тропическая ночь разрешилась ливнем тяжелых, холодных слез, быстро увлажнивших грудь и живот Игнатова. Он только ежился. Это рыдала Людмила Афанасьевна. Но разум, столь неожиданный в меланхоличной читательнице Гамсуна, взял снова верх.

— Скажи мне толком — в чем дело?

— Сегодня вечером одна из наших, из «пятерки», застрелит чекиста Курбова. Я должен ее сопровождать в «Тараканий Брод».

Людмила Афанасьевна легко вспорхнула. На себя накинув одеяльце, проскользнула в кабинет, где жил заведующий хозяйственной частью. К счастью, он отсутствовал. И, не увидев щедрот соседки, остался верен своей хозяйственной части. Людмила Афанасьевна, схватив телефонную трубку, ее прижала к мокрой щеке, как руку друга. Никто не отвечал. Томилась, наседала всей полнотой своей на аппарат, била палочку и голосом, еще нечистым от застоявшихся слез, гнусавила:

— Станция? Станция?

Дверь оставалась приоткрытой. Игнатов, изнывавший от жалости и нежности, слушал этот знакомый голос, так часто по ночам звеневший в оранжерейной теплоте подобно пенью птиц экватора. И теперь она произносила металлическое, сухое «станция» с такою томной страстью, что получалось нечто пушкинское — «стансы». И с ней расстаться — какая мука!.. Затихла. Снова:

— Станция? Коммутатор Вечека? Кабинет товарища Курбова?

Здесь не было уже ни пушкинского тембра, ни жалости, ни неги: измена, предательство, смерть. Но даже возмутиться, но даже одной мыслью, одним вздохом проводить обманувшую любовь не мог Игнатов: времени не было. Быстро вскочил. Живот от страха вытанцовывал сложнейшие фигуры. Осторожно прокрался к окошку и раздвинул шторы. Брызнул синий сумеречный свет. Игнатов, как был в одном белье, выпрыгнул, вернее вывалился из окна и, грузно шлепнувшись, разбил седалище. Хотелось хотя бы почесаться — не смел. За ним вдогонку гнался страшный, скуластый и раскосый «Коммутатор». Побежал. Дама, с виду благородная, обиженно несшая со Смоленского никого не соблаз-

нившее богемское фамильное стекло, увидев чудище в кальсонах, упала, завизжала, зазвенела. Час спустя милиционер вытаскивал из гущи ротозеев Игнатова. Он шел, потупив стыдливо взор, усы поджав и с музейной грацией прикрыв рукой прорехи.

Трагическое бегство Игнатова было выполнено быстро и умело. Белорыбова ничего не слыхала. Правда, она слушала в это время гул, щедро лившийся из трубы и затоплявший ухо.

— Товарищ Курбов? Это я — Белорыбова. Я хотела вас предупредить... Простите — это очень спешно. Малосознательный товарищ мне открыл. Они сегодня хотят убить вас. Да, да — «пятерка». Так что вы не ходите в «Тараканий Брод». Товарищ, простите, еще минуту... Помните, я вас просила... Нельзя ли пристроить его, хотя бы внештатным. Он очень предан. Но чтобы паек. Хорошо? Я вам очень благодарна...

Успех — спасен, получит место, паек, теперь уже не расстанутся, до гроба. И Людмила Афанасьевна мчится назад порадовать скорее любимого пузанчика. Лицо, омытое дождем, сияет. В глазах радуга: радуйся, потопа больше не будет, все на месте и еще паек...

В комнате никого. Брюки, скорбно согнувшись, висят на стуле. Ног же нет. Окно раскрыто. Катастрофа. Сбежал. Не поверил. Презрел. Трагически подняв руку, как погребальный факел, к тусклым сосулькам княжеской люстры, Белорыбова взором обходит опустевший парадиз: на туалетном столике рыжая сальная сковорода: милый, блинчики любил!.. Шкап с никому не нужными продуктами: вот возьмет и выкинет все масло, три фунта, на улицу — так скорбь сильна!.. Размытая недавней любовной бурей кровать; большая впадина — здесь он лежал, и ус его задорно, залихватски, кавалерийски подталкивал Людмилу. Все кончено!

Она не плачет. Подняв с полу белый, заштопанный носок — целует. Слез нет, не может быть — ни тропиков, ни ливней. Прошло. Могла быть свадьба, усы, густое дремотное дыханье. Выпало вдовство — десятка пик.

33

Людмила Афанасьевна быстро отложила трубку и не слыхала, как пронесся далекий, легкий вздох Курбова. Да, услыхав взволнованное донесение рьяной покровительницы «малосознательного», Курбов прежде всего страшно, до неприличия, обрадовался. Все эти дни его вязали лилипуты: узлами двойными, тройными и прочими хитрейшими. В итоге не мог уж шелохнуться. Например, отчего вместо субботы не встретился в четверг:

ведь все равно на важном, очень важном заседании, где надо было видеть, слышать, говорить — молчал, отсутствовал, не смотря на подпись. Зал мнился глубоким дном. Он — водолаз, с огромным, сложным аппаратом, ныряет, ищет. Впрочем, аппарат испорчен, аппарат уже воспоминание, биография. Кругом вода, мертвенная зелень, тишина и гул. Слова доклада — глухие, темные теченья. Мелькает рыбий глаз. Окаменелость. Ночь. Веревку дернуть: довольно! поднимите! Но никто не поднял, только секретарь, тщетно в третий раз уже попросивший подписать протокол, учтиво промолвил:

— Вы, кажется, переутомились, товарищ Курбов?

Все это были лилипутовы узлы. Начинаясь с капли, свалившейся почти случайно, с Катиной слезы, упавшей в «Тараканьем», расширяясь четким потоком, любовь давно уже перестала быть частью, ущербом, даже наводнением. Среди жадной хляби метался мелкой щепой воистину допотопный ковчег. Дело не в Кате, хотя о ней он думал непрестанно, нет, думать не мог — шар, поставленный на шест, пометавшись с минуту, падал — вбирал ее. Образ зыбкий и дикий, вливаясь валом, наполнял Николая давкой, ходынкой красок. Все формы вопреки природе сливались, распластывались, извивались вьюнами. Это грозило то полной изоляцией: ничего не нужно, все — зыбь и дрема,— тогда сидел часами в кресле и пропускал меж пальцами мысли, слова, отчеты, годы напряжения, как песчинки. То, напротив,— хаотичным и практичным вздором: взять отпуск, уехать с ней на север, где шалаш, белесый свет и кислая морошка (все время хотелось пить), уехать — не вернуться (при этом точное, но слишком хладнокровное, со стороны — «какая подлость»). Но это все — начальные, простые, первичные узлы. Страшнее другое: начало нового, некурбовского зрения, как будто у него прорезался третий глаз, опрокинувший и опровергший равновесье двух прежних.

Где голый, новый город, асфальтом заливавший топь, изгонявший цвета и цветы, величественная формула для каждодневного скрипа? Вместо него — шалаш с морошкой. Стыдно, Курбов! И все же не может — если сейчас, вот здесь по соседству, вместо потного, слюнявого Кремля взойдет тот вожделенный город — Николай в нем не останется, тихонько улизнет далеко в топь и в ночь. Там ведь Катя, во всей прекрасной несуразности: просчеты, изъяны, гимназическая чепуха. Что же делать? Строить для других? Не может: на острие циркуля, как на булавке, проколотой бабочкой, бьется Катя. Узел двойной.

Тройной: сам любит это безобразие! Читал, считал и вычислил, а вот теперь доволен, что вприпрыжку прибежала девочка и выкладки перемешала. Курбов не отвиливал: опасность в нем. С каж-

дым часом вырастало запоздалое пристрастие к ошибке, к неоседланным стихиям — к ветру или к огню, ко всяким отступлениям: заблудиться, стать еретиком, выследить свою особую, чудную правду, такую же шершавую и теплую, как это прозвище «Левун», вот нет такого в словаре! Два прежних глаза еще смотрели, и Николай хранил сознание пропорций. Да, эта правда маленькая, не вглубь растет, а вширь, ею щедро других не оделишь. Но что же делать, если крохотная рыжая ягодка морошка может затмить сверканье всех шестигранных солнц неслыханного городища? Еретик. Тогда зачем же еще восседает под многоэтажными диаграммами и красным карандашиком отчеркивает на докладе Аша «принять меры»? Как он смеет?

И вчера, когда медлительная секретарша принесла на подпись бумагу — разразилась решительная катастрофа. «К высшей мере». Подписывал не раз такие, уверенно и просто — полол огромный огород, выдергивая разные бурьянные фамилии. Но теперь... Ведь знал — этих за дело: сам допрашивал — польские шпионы. И все же перо, нырнув в чернильницу, выплыть не смогло, жалко барахталось. Как он может?.. Ведь его же самого, предателя, вздыхающего о какой-то приятельнице Высокова, шкурника, озабоченного морошкой и шалашом (знаем эти «шалаши» — квартирка с обстановочкой), его — такого — следует немедленно к «высшей мере». Нет, не может! Перо осталось мокнуть. Курбов с бумажкой побрел искать спасенья:

— Товарищ Аш, может, вы подпишете? А я... я не могу...

В голубеньких глазенках с минуту потолкалось удивление. Они заботливо прошли по Курбову: есть ли рука, не отвалилась ли от чрезмерной работы? Оказалось — рука на месте. Тогда Аш подписал и не задумался: некогда, перегружен работой. А Курбов, к себе вернувшись, свалился в кресло: трус! негодяй! Встать не удалось. Узлы оказались затянутыми на славу. Работать? Не может. Бросить дело, партию? сбежать? Тоже нет. Сиди. Так погибают от мушиной личинки, от крохотного микробчика гиганты.

И вот сегодня звонок Людмилы Афанасьевны. Нежданные просверкали ножницы (не Ашевы — другие): узлам конец. Кто-то за него решил. Чужие, враги, может быть, Высоков самолично, определили: «К высшей мере». Правильно. Легко. О Кате вовсе не подумал: зачем? за что? Неужели просто заманивала? Был весь охвачен блаженством подступающего грохота и света, легкого конца.

Радовался лжи. Вот так погибнет, и никто не скажет: отступник. Простреленное тело не откроет этих трактатов о величии морошки. У Белорыбовой не будет лишней липкой книги, чтобы,

прилипнув, стенать: «Ах, так любили!..» Попал в ловушку. На посту погиб, как истинный чекист. Даже поддержка прочим: берегитесь, крепитесь!.. Утешаясь столь невзыскательным обманом, привел в порядок срочные бумаги, из кармана вынув одну секретную, вложил ее в конверт, пометил: «Т. Ашу», запер. С револьвером немного повозился. Угрюмая игрушка раза три пропутешествовала из брючного кармана в ящик стола и назад, наконец, крепко осела между двух папок: так лучше, чтобы соблазна не было...

Впервые, спускаясь по лестнице, он понял тайну этого мифического дома, хватку Пиранези: ступени, переходы, винты и штык. Шел так же ровно и бездумно, не продвигаясь к цели, но по инерции проделывая известные движения, сгиб колен и прочее, как шел недавно Иосиф Пескис, как шли другие постояльцы внутреннего решетчатого флигеля. Безразлично — куда, на сколько и зачем.

В дверях столкнулся с Ашем. Светлоглазый на работу спешил. Даже шагая, явно обдумывал проект. Ноги чиркали по камню, подчеркивая трудные места. Наверное, сегодня не обедал: занят, «перегружен». Любовь? факт в полоску? Оставьте! Он видит новую, угрюмую идею: недотрога, как с такою жить?.. А все же любит и все же победит: «Роль чека при нэпе». «Некоторые товарищи напрасно полагают»... Раздосадованная нога перечеркивает всех еретиков, и Николаю стыдно, очень стыдно. Хоть бы прошмыгнуть сторонкой, чтобы не увидел. Ведь на курбовских запавших голубоватых щеках выведено: морошка, любовь к индивидуальным проявлениям, вплоть до «пятерок», проще и короче: «подлец». Но Аш поворачивает свою коротенькую домоседливую шею. Заметил:

— А, товарищ Курбов! Вы куда же? В Кремль?

— Нет, в «Тараканий Брод».

— Все с заговором возитесь? Мы так перегружены...

Курбов не хочет больше обманной славы.

— Товарищ Аш, я иду по личным делам. Я, видите ли, самый обыкновенный шкурник...

В синих каплях молока такое младенческое недоумение, что Курбов не может, бежит прочь. Чувствует, как Аш стоит и грустно думает: «Принимая во внимание общее нервное переутомление...» Потом стойко идет наверх и со стрекотом разверзает над миром («бритье и стрижка») свои величественные ножницы. И в Курбове — вдруг жалость, незаконная, приблудная: бедный Аш! Да, бедный, ужасно бедный, совсем не винт безукоризненного механизма, а просто чудак, астролог, мечтатель в парике.

Задумавшись, свернул, пошел кругом, через Трубную. Здесь

определенно праздновали крестины рослого уродца, рожденного в Кремле в тот вечер, когда блестящий шар сиял всей безошибочностью исчислений, а углы треугольника поскрипывали дико, повернутые к заспанному Западу. Наспех, не теряя драгоценнейших часов, темнотой пренебрегая, какие-то шустрые голубчики сколачивали ларь. Подмигнула нагло забытая, почти из детства выползшая витрина гастрономического магазина. Смущенно остановился, как перед забиякой, высунувшим среди бела дня язык: нака! выкусь! Зарей сияла розовая семга, грудились гордо золотые апельсины, окорок, томно нежась, всем предлагал: «Целуйте, я так нежен», важничал упраздненный и восстановленный во всех правах академик слезливый, затхлый сыр. Все вместе, хором, включая даже скромную чайную, поджавшую свой хвостик, подпевали: «Так-то, это тебе не карточка, не категория!» Глубокову немного балычку. А Власов предпочитает ломтик жирненькой ветчинки.

Курбов сначала витрине показал кулак. Но рыбья морда семги безразлично, царственно взирала вдаль. Тогда усмехнулся: тоже морошка, личные дела. Даже обрадовался: не только он, все слабы, все «цыпленки». Однако (жест прежнего Курбова) сплюнул:

— Сволочь, «хочу жить»!..

На Цветном бульваре какой-то разморенный цыпленок в заграничном пиджачке, который, моде повинуясь, создавал из небытья бабий зад и груди, в стоптанных, охровых, еще не обновленных младенцем нэпом солдатских сапожищах, вталкивал в пролетку визгливую девицу.

— Варенька, часок на дутых...

Из распираемых карманов, похрустывая, выглядывали непоседливые «лимончики». Варенька зачем-то здесь же на ветру припудривала свой большой, мясистый, от веснушек рыжий нос, столь щедро пудрила, что лихач и тот разок чихнул. Посадка длилась долго. Успело подкатить какое-то существо в лохмотьях и, вцепившись в руку Вареньки, занятой серьезной художественной работой, проголосить:

— Товарищ... барышня... голодающим... яви такую...

Рядом с Курбовым стоял, вероятно тоже увлеченный ретроспективной живописностью картины, сотрудник эмчека и древний «тараканщик» Шмыгин. Сначала, по инерции, он, зажмурившись, хотел сгрести томного мужчину с бабьими придатками. Явно — спекулянт. Нетрудовые элементы. Но быстро вспомнил: нэп, инструкция, теперь того... И в раздражении крикнул голосившим лохмотьям:

— Гражданка, проходите! Не приставайте к публике!..

Лошадь рванулась. Из-под копыт взлетела стая искр. Лохмотья, отвалившись, дальше проволочились. Шмыгин тоже ушел.

Курбов видит: цыплячий рай широк и необъятен, в нем дивно сочетались древние тенистые традиции и буйство новой поросли: нос Вареньки, пахнущей отныне не иначе как цикламенами. Еще раз радуется звонку сухому Людмилы Афанасьевны.

Вот за угол. Третий дом направо. Сейчас конец...

В «Тараканьем Броду» необычайное оживление. Сегодня утром младенец нэп (а это имя повторяют набожно, елея не жалея: «святой младенец»), гуляя по обнадеженной Москве, и в Девкин заглянул, в кривое окошко густо пахнущего дома, улыбнулся мученику за веру — самому Ивану Терентьичу. Праведных награда ожидает, и мученик расцвел. Верное известье: разрешают рестораны с легким вином. Ныне самые почтенные «тараканщики» (среди них Чир и Пелагея) обсуждают реорганизацию передней части «Тараканьего» (задняя по-прежнему пребудет неофициальной — для водочки и девочек). «Артель» и «Не убий», отслужив свой век, как прочие романтики и утописты, просятся в отставку. Вместо вегетарианского фасада — ресторанчик с пожарскими котлетами и с удельным. Как окрестить? Лещ, который вечно чванится своею образованностью, предлагает: «Авангард». Очень красиво, но невнятно, Пелагея предпочитает по-нашему, по-русски, чтобы все знали: «Ешь и пей». Иван Терентьич соглашатель по природе.

— А мы и так и этак, и для фасона и для ума. Маляру дам бутылку — мигом наляпает — это тебе не «пролетарии, соединяйтесь».

Курбов не слышал этих дискуссий. Сел в угол и, почувствовав страшную внезапную усталость, голову на стол уронил. Так ждал. Рахитичные мысли путались и, только что родившись, умирали — скоро должна прийти. Расстреляет. У нас снимали сапоги: резонно. А офицерик, под Черниговом, к сапогу прилип. Боялся. В общем, кажется, это легче, чем жить. Катя опоздала. А как же карты?.. Может, построить домик?.. И морошка... Дрянь! Дерет в горле... Пожалуй, стоит пока поспать...

34

Пока он спал, тупо, без снов, Катя бежала длинным кольцом зеленых, жадных, разыгравшихся бульваров. Она не замечала ни нэпа, ни колбас, ни лихачей. Вокруг одно — любили. Какая-то громадная идиллия, на каждой скамейке теснота дыханья, запрокинутые губы — жестяной, жесткий, порой жестокий поцелуй. Все это было декорацией, не живыми судьбами, но плоским фоном.

Катя шла убить Николая Курбова. В полотняной сумочке, рядом с зацелованной фотографией, которую как-то принес Высоков, холодел чопорно браунинг. И дуло нетерпеливо уже прикла-

дывалось к улыбающемуся лицу. Шла быстро: на службу, не опоздать бы. Деловой шаг. Старалась думать только о дороге: сейчас киоск, половина Тверского, потом площадь, короткий Страстной... Когда же в голове цепь бульваров прерывалась какой-нибудь грохочущей и грузной мыслью, Катя от испуга останавливалась. Идет убить. Зачем? Остановиться! Выкинуть из сумки злой Высоковский подарок, а карточку еще раз, подойдя к фонарику, чтобы видна была улыбка, поцеловать. За идею? Но идей больше нет. Вероятно, их никогда не было. Приснился трудный сон — слова Наума, Вера Лерс на диване и рыжая прохладная ладонь Высокова. Довольно! Теперь спуститься, и Трубная... Кольцо текло немного, до новой встряски. Он же — тот! Ну да, и желтый, маслом умасленный, и обиженный грузинкой, волочащий по канцеляриям крыло. Нашла его. Любить! Век не отходить! Каждое дыханье, заслонив от ветра рукой, вынашивать, чтобы стало вихрем. Родить сына, сероглазого, большого, неприступного, как он. И Трубную прошла. Теперь в гору. Шаг реже. Назойливей мысли. Захватывает дух. Убить? Нет, никогда! Если нужно, если только скажет, прикажет, хрустким пальцем повернет — пойдет куда угодно. Станет сама чекисткой. Высокова застрелит — вот этим черным, в сумочке. Но только, чтобы он не думал о своей, о краснолицей, с тычинками цифр вместо ресниц, о ненавистной «Партии». Будет думать. Будет сидеть ночами в чеке. Дышать черным шорохом докладов и паром красных чернил. Расстреливать будет. Так партия хочет. Проклятая партия! Значит, снова идеи? Да, да — идеи: Курбова, чекиста — убить. Вот и Девкин... Пришла.

Увидев Николая, Катя все забыла. Сумочки не стало, хотя висела, тяжело впиваясь в левую руку. Он спал. Детское, прелестное лицо, чуть затемненное синим отсветом предсмертья. Милый мальчик! Такому бы под подушку деревянную саблю, плитку шоколада. Убить? Да нет же!.. кто сказал?.. Любить! Утешить!

Осторожно, материнским обходом подошла и окунула руку в теплый мех волос. Курбов взметнулся. Головой покачал, стряхивая обморочный, теплый, тяжелый, как летний ливень, сон. Наконец сообразил: уже пришла, я спал как будто, что же... а теперь — конец... Не видел глаз Кати, из сини впавших в густую черноту от любованья и любви. Кратко сказал:

— Наверх. Там удобней.

И на радость Ивану Терентьичу, наконец-то дождавшемуся от притязательного гостя признанья его хваленого «номерка», они прошли по скрипучей лесенке наверх. Молчали. Ни о чем не думали.

В комнате духота, одурь. Кровать, покрытая лоскутным сальным одеялом. Рыжий таз, в котором плавают огрызок огурца и окурки. Николай глаза закрыл, прислонился к стене. Катины,

напротив, все ширятся, вбирая его, с колючей партией, всего. Брошенная сумочка обиженно топорщится на подоконнике. Николай ждет. Слышит, кроме одури, мух, Катиного быстрого дыхания: нудный гул. Так растет в раковине уха тишина — кругами. Гибель.

Катя подходит ближе. Вплотную. Дыханье убивает гул — слишком близко. В ответ ему свирепо отвечает сердце Николая. Замедление. И сразу дикий поворот (сумка на подоконнике, некролог написан, Курбов привел дела в порядок, все готово, где-то на Сретенке ходит Высоков, ждет): просто, в сторону, иначе, могло быть быстрым выстрелом, ответным грохотом — оказывается поцелуем, водоворотом, встречным исступлением, тоже концом, но непредвиденным.

Здесь — первая любовь, под мухами, над тазом с огурцом, на сальном и лоскутном, в предельной мерзости, здесь, где у дверей довольный Иван Терентьич смакует тишину, здесь — все равно! Великая и мудрая, простая! Этого никто ведь не отнимет у неуживчивых, помешанных людей. Мясо, слово, задыханье — одно. Должна была быть смерть. Не вышла, задержалась, пропустила вперед такую же хищную и дикую соперницу. Оба жили: не только имена,— идеи, годы, обношенная теплая одежда. Здесь нагота и пустота. Здесь последнее глухое сопротивление и круженье камня вниз, вниз до обморока, до неподвижности, до ощущения в пальцах ног гудящей долготы времени.

Так, кажется, прошли часы. Пока не началось некоторое робкое объединение, мельчайшие симптомы раздельной жизни, медленное сгущенье отличных тел. В верхние минуты были только груда, глухое молчание, любовь. Потом возможно стало ощущать блаженную, бессмысленную, почти идиотическую в животной мудрости улыбку Кати и руку Курбова, бессильно свесившуюся вниз, как сломанный и никому не нужный инструмент. Хотя по-прежнему присутствовало счастье, но оно уже не принадлежало каждому отдельно, и надо было, подавая губы, чуть скосив глаза и выдыхая рой прозвищ, это счастье ревниво оберегать.

Впрочем, Катя проявляла крайнее спокойствие. Не успев еще подумать, что именно произошло, она уже знала насыщенностью тела, отмираньем и тяготой — нечто важное. Лежала: наконец-то разрезанная и прочитанная книга. Все двадцать с лишним, демоны и Лермонтовы, Наумы, идеи, жертвенная чесотка, поклоны — только подготовка этого часа, в каморке, над тазом с огурцом. Зачем ей какие-то идеи?.. Предать себя, метаться, слабеть, но уголком одним задернутого глаза все же видеть, как милый от радости чумеет, выгребает из вздорного комочка золотую жизнь. И, крепче сжав глаза, плавно погружаясь в гудящую ночь, где только вспышки искр — нежный фейерверк от слишком густой и теплой

мглы, Катя начинала видеть по-иному. Время исчезало: минута длилась век, минута говорила: будет век, века, века веков, ничто, минута. Мира, то есть цвета, объема или веса давно не существовало. Жизнь, как в древнейший период, едва-едва копошилась в ее утробе. Начальное тепло, простейшие растения, прикрепы клеточек, связь, сон. Постепенно это становилось все реальней и реальней. Тепло твердело. Тогда Катя вдруг вспомнила: ведь будет ребенок... сын! И это было столь диким ликованьем, что губы с всплеском раскинулись в улыбку. При этом они коснулись щеки Курбова. Тогда произошло неизбежное: изъяснение, первое сцепление доселе совершенно несвязных слов. Катя, зная, что надо нечто вычеркнуть, смыть словом уже смытое красным, теплым крапом на этом лоскутном, тихо попросила:

— Дай мне мою сумочку... там на подоконнике...

И, вынув гадкий дар Высокова, его подала Курбову.

— Возьми... Я не буду больше...

Это было очень смешно, с убежденностью до слез, как после шалости девчонкой маме. И правда, разве не детская шалость все эти «пятерки»? — игры («разбойники и солдаты», «когда море волнуется» и пр.). Теперь же взрослая: жена, мать. Не будет больше так глупо проказничать. Курбов должен взять.

И Николай взял. Металлический холодок, чужой, невнятный после теплоты и мягкости тела, хотел напомнить о другом. Понимая, что Курбов растерян и потерян, он прибегал к простейшим понятиям: заговор, «пятерка», чека, трубка телефона. Так Курбов вспомнил, что все происшедшее лишь искажение плана: Катя шла его убить. С любопытством взглянул на маленькую ручку, темневшую под щекой. Этот взгляд, сам по себе невинный, скорее всего праздный, Кате показался карой. Дрогнула, взметнулась робко, с собачьей нежностью, пряча провинившуюся руку, губами поискала его (щипцы). Такой минуты как будто достаточно, чтобы сразу отженить, разлучить, сделать радость выдуманной и разоблаченной. Но теперь имелась прививка: сын. И сцена с револьвером кончилась сухим, коротким поцелуем: сургучная печать, конец, молчи, мы вместе. Дальше снова забытье.

Пробуждение настало только для Курбова. Катя, когда наконец отхлынуло его большое тело, незаметно погрузилась в любование своей судьбой: будет сын. Кажется, ему успела шепнуть об этом, а может быть, и нет. Даже Николай стал ей ненужным, являясь частью внешнего, неубедительного мира, тоже огрызком в тазу (пускай прекрасным). Вступив впервые в мир иной, утробный, полный ненареченных вещей, она жила жизнью напряженной и в то же время тишайшей, травяной. Жизнь эта просто и неприметно перешла в глубокий сон. Одну руку по-детски подложив

под щеку, другой прикрыв маленький живот, Катя спала. Комнатушка полнилась нежным дыханьем, казавшимся походкой часов и лет.

Смутные и смятенные мысли Николая постепенно переживали фазы рождения миров. Вначале кипь и зной, тяжелый, полный частиц несуществующих предметов. Дальше части сталкивались, сцеплялись, отвердевали. Явились первые понятия, сушь дней. Курбов уж ясно понимал свершившееся. Вновь на тело, легкое до мыслимости испаренья, пал груз: это наседала биография. Но, несмотря на тяжесть, он страшно радовался: морошка не обманула, оказалась верным счастьем, огромным миром. Улыбнулся. Прекрасный хаос, способный перетасовать всех людей и, выкинув одну крохотную женщину, ею покрыть, раздавить чудовищные материки, этот хаос торжествовал.

Но торжество было недолгим. Сгущение продолжалось. И после биографии, после пафоса одной ночи (не в «Тараканьем», не в Москве, внемирной ночи) появились по-песьи оскаленное завтра, со всеми родственниками, то есть с «послезавтра», «через месяц» и так далее. Оно даже не хотело дождаться до рассвета. Еще густо плавала непроцеженная мгла и снизу по шаткой лесенке поднимался рев «тараканщиков» — отрыжка многих бутылок, чайников, ковшей. А Курбов уже метался по комнате, затравленный вот этим «завтра». Искал лазейку. Искал наивно, неумело, глупо, как всякий деловой и дельный, обычно слишком сильный и любовью ушибленный мужчина. А именно: минуя спящую рядом Катю, он пытался смастерить объяснение, оправдание, согласовать вчера и завтра. Понятно, ничего не выходило. Вся правда первой любовной ночи бессильно отступала перед взводом выстроенных доводов. «Как будет завтра жить?» И в комнату съезжались спешно все сомнения последних месяцев.

Подвел итоги — честно, стойко. Быть прежним, работать, думать, выполнять свой ясный план? — не может. Удолговечить эту ночь, сделать из лавы дыханья, из прибоя тел, из забвения нечто твердое, стойкое, многолетний дом? — тоже нет сил. Значит, жениться и мирно существовать?..

Так, извиваясь, шатаясь из угла в угол, жил час-другой. Наконец, остановился у окна. Ночь, накануне сдачи, еще кичилась своим великолепием. Николай врылся глазами в синеву, и здесь произошло простое разрешение. Было ль это только любовью, или строгой последовательностью рока, немыслимыми воспоминаниями, но Курбов, зачатый в такой же час, когда над скрипом Завалишина бушевали светила, Курбов, передавший земным калечным цифрам утаенный свет, делавший любую диаграмму небосводом — взглянув теперь на стаи звезд, в древнем гневе распластавшиеся над «Тараканьим Бродом», труднейшую задачу сразу раз-

решил. Нет, правда не в такой любви! Синеве и веку: долой морошку!

Правду знал, был с нею дружен, запросто, годами на «ты». Пусть ссоры и размолвки: то ненависть подлизывалась (ведь с ненавистью много легче), и тогда скользил, падал в лужу бурой нудной крови, то подвертывались под ногу проклятые Андерматовы, то просто ноги, слабые — кость и мясо — гадко ковыляли. Но правда, обижаясь, не покидала.

— Чтили Христа, сказавшего: «Огонь пришел я низвести на эту землю». Мы же низводим на злобную, огнем охваченную, звездный строй, единый план вселенной.

Да, правда — его, Курбовская,— в жадных взглядах, в голосе крутого комсомольца, в голом городе, в черной, пулеметной, ротационной беседе. Это — ясно.

Ясно и другое: он выбыл из строя. Он не может. Перепутанное уравнение. Машина испорчена и настолько, что никак не починить. Идти назад? Шагать на месте? Пробовать работать, косым взглядом, пронырливой мысленкой, юрким вздохом пытаясь улизнуть к ней, к спящей, полной тяжести, тишины и горя, как «мать-земля» всех ветхих песен? Нет! это недостойно...

Черная, холодная, знакомая с давних лет вещица по-собачьи лизнула руку Курбова. Напомнила: дурные травы надо полоть. Правильно, товарищ Курбов! Это было последним даром звезд, последней, закономерной и точной точкой в книге: устранить себя.

И, уходя, невольно прислушался, заслушался: легкое дыханье. Катя, беспомощная, но взявшая верх, все так же спала. Ее лицо являло мудрость и довольство. Мысль — как прабабушка... (кто-то злой, насмешливый подставил: и как правнучка, такую никогда не одолеть — земля).

Внизу еще шумели. Чир и Пелагея, для услады, травили кошку, с помощью двух подбодренных колбасою кобелей. Кошка отчаянно, истошно, по-древнему мяукала. Когда же замолкала кошка, гнусавый, отбитый кашлем и самогонкой голос с педантизмом немецкого философа пояснял ученикам:

— И ён смутился и застрелился,—
Цыпленки тоже хочут жить.

Николай Курбов, впрочем, уже отсутствовал. Он был в кремлевском зале, где сияет обточенный на славу шар и поскрипывает треугольник, где еще хотят и могут, где огромный зеленый стол скрипит под тяжестью классифицированных, прирученных звезд: прощался, жал наспех сухие, отрывистые руки.

С этим сблизил друг другу полюбившиеся дуло и висок.

Февраль — ноябрь 1922

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

Необычайные похождения
Хулио Хуренито.

Жизнь и гибель
Николая Курбова

Романы

Составители:
Юрий Николаевич Жуков и
Сергей Николаевич Земляной

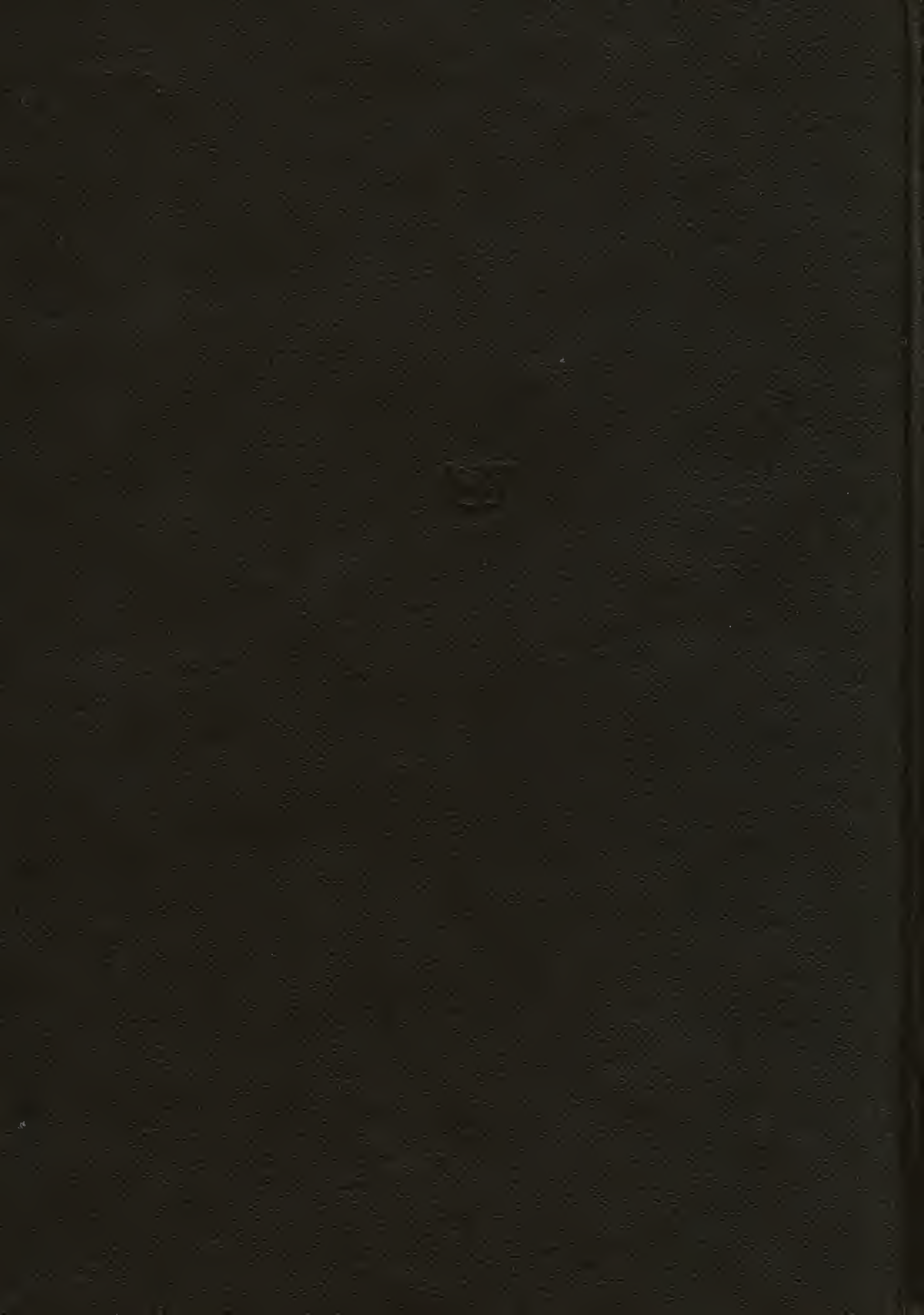
Заведующая редакцией
Н. Буденная
Редактор
О. Русина
Художник
А. Кущенко
Художественный редактор
Н. Старцев
Технический редактор
Л. Беседина
Корректоры
З. Кулемина, З. Комарова

ИБ № 4671

Сдано в набор 05.10.90. Подписано к печати 27.05.91. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,32. Усл. кр.-отт. 22,55. Уч.-изд. л. 24,72. Тираж 75 000 экз. Заказ 1248. Цена 4 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ